www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

“Дружба Народов”

# “Антология Азербайджанской литературе”

№ 3 2006

2012

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Bu elektron nəşr WWW.KİTABXANA.NET - Milli Virtual Kitabxananın “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinə gələn xarici qonaqlar, turistlət və soydaşlarımız üçün Azərbaycan kitablarını, eləcə də yazıçılarımızın əsərlərini müxtəlif dillərdə, rəqəmsal - e-kitab formatında hazırlamaq..." Kulturoloji-innovativ Layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 17

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 17 - 36 (2012)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası

# “Дружба Народов”

# “Антология Азербайджанской литературе”

## № 3 2006

**Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал**

Перед вами мартовский номер журнала “Дружба народов”. Он посвящен азербайджанской литературе.

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 17 (36 - 2012)

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

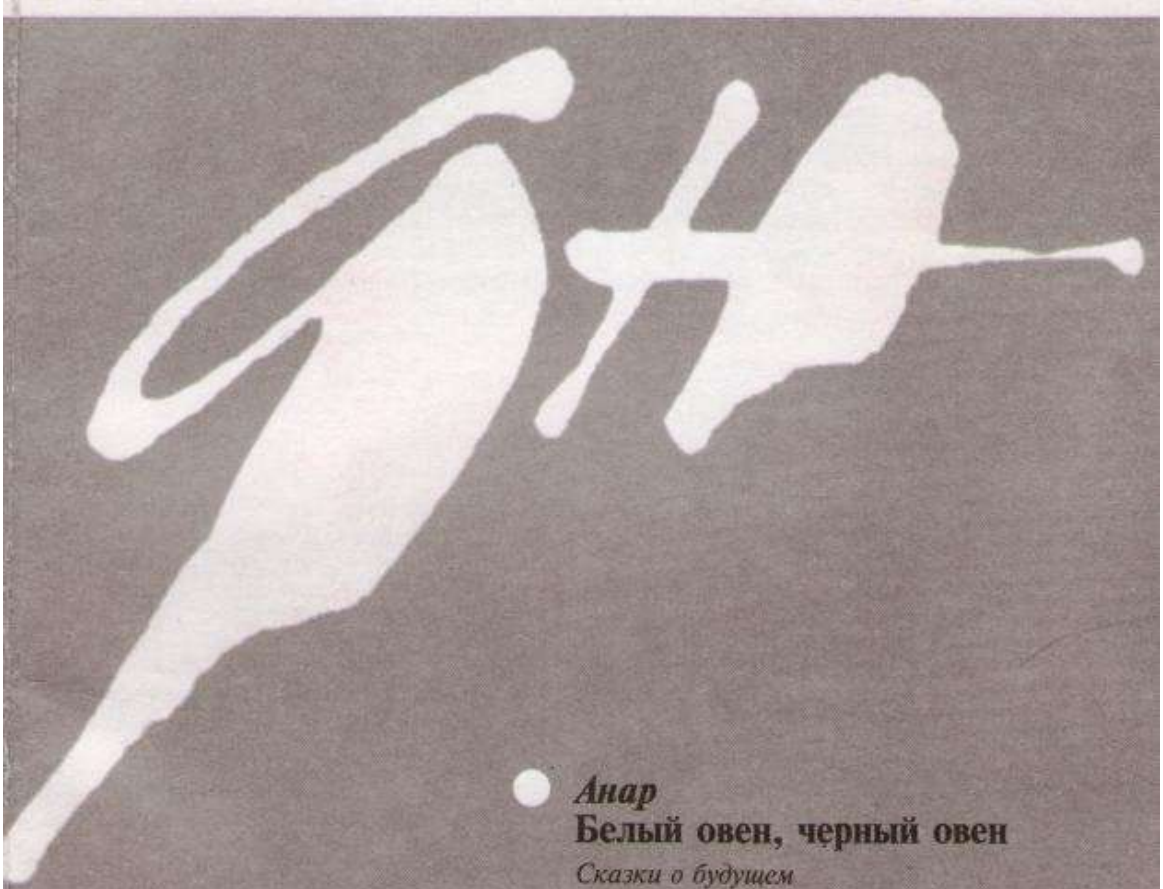
Aydın Xan (Əbilov) - yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana

Bakı – 2012

ISSN 0012-6756

# ДРУЖБА НАРОДОВ



- ***Анар***
  **Белый овен, черный овен**
  *Сказки о будущем*

- ***Афаг Масуд***
  **Гений**
  *Рассказ*

- ***Фикрет Годжа***
  **Тебе выбирать...**
  *Стихи*

- ***Сейран Сехавет***
  **Интервью, взятое у собаки**
  *Рассказ*

- ***Эмиль Агаев***
  **Вперед в прошлое**
  *Ситуация в историческом ракурсе*

3'2006

# “Дружба Народов”

# № 3 2006

## Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Перед вами мартовский номер журнала “Дружба народов”. Он посвящен азербайджанской литературе.

Перед вами мартовский номер журнала “Дружба народов”. Он посвящен азербайджанской литературе. Этим номером практически завершается цикл мероприятий, реализованных в рамках года Азербайджана в России. 2006 год уже объявлен Годом России в Азербайджане. Уверена, что он станет ярким явлением в культурной, экономической и политической жизни нашей страны.

“National issues” is one of “DN’s” projects meant to contribute to the revival and consolidation of mutual cultural contacts among the peoples of the ex-Soviet territory and to fill in the information gaps which appeared within the last 10—15 years.

This issue is dedicated to the newest Azerbaidzhan literature.

Next to the names that are well-known to the Russian readers for a long time such as Elchin, Anar, Fikret Godji one will meet at these pages the names of prosaists and poets of the new generations; next to traditional mugam — super-modern western minimalism.

Friendly relations between Russian and Azerbaidzhan literary persons number ages and ascend to the great names of Lermontov and Akhundov. So we are trying to do our best to be worthy of this tradition and to contribute to it.

## Содержание номера:

## Проза и поэзия

Мехрибан АЛИЕВА. Обращение к читателям Посла Доброй Воли ЮНЕСКО

Самед ВУРГУН. Философия жизни

Перевод Бориса Пастернака. К 100-летию со дня рождения

Афаг МАСУД. Гений

Рассказ. Перевод М.Гусейнзаде

Эльчин ГУСЕЙНБЕЙЛИ. Рассказы

Перевод М.Гусейнзаде и С.Мамедзаде

Фикрет ГОДЖА. Тебе выбирать...

Стихи. Перевод Мансура Векилова и Вячеслава Зайцева

ЭЛЬЧИН. Смерть Сталина

Перевод Г.Ковалевича

Чингиз АБДУЛЛАЕВ. История одной свадьбы

Рассказ

Мамед ОРУДЖ. Лебедь на асфальте

Рассказ. Перевод Н.Агасиева

Рашад МЕДЖИД. Таксист поневоле

Рассказ. Перевод М.Гусейнзаде

Фикрет САДЫХ. Лучше миг один

Перевод Мансура Векилова

Натиг РАСУЛЗАДЕ. Дом

Повесть. Перевод автора

Октай МИРКАСЫМ. Бильярдист

Рассказ

Салим БАБУЛЛАОГЛУ. ...И уходи ты, ради Бога!

Стихи. Перевод Ниджата Мамедова

Сейран СЕХАВЕТ. Интервью, взятое у собаки

Перевод С.Мамедзаде

Кямал АБДУЛЛА. Верблюжий дождь

Рассказ. Перевод М.Гусейнзаде

Ильгар ФАХМИ. Бакинская мозаика

Фрагмент. Перевод С.Мамедзаде

**Строки, рожденные на московской земле**

Насиб Набиоглу. ...Сияла звезда над скалой!

Стихи. Перевод Николая Горохова

Тофик МЕЛИКЛИ. Пошли мне тепло твоих рук

Стихи. Перевод Ильхама Бадалбейли

Сабир АБДУЛЛА. Всего лишь горсть земли...

Стихи. Перевод Николая Горохова

АНАР. Белый овен, черный овен

Сказки о будущем. Перевод Сиявуша Мамедзаде

**Мемуары**

Чингиз ГУСЕЙНОВ. Лета к воспоминаньям клонят

Фрагмент книги мемуаров

**Публицистика**

Эмиль АГАЕВ. Вперед в прошлое

Ситауция в историческом ракурсе

**Критика**

Асад ДЖАХАНГИР. Глобализация или национальное: в чем выход из дилеммы?

Афаг МАСУД. Письмена души

Беседу ведет Людмила Лаврова

Гасан ГУЛИЕВ. Банин: на пересечении литератур

**Эхо**

Горгуд, где твой гопуз?

Рубрику ведет Лев Аннинский

Summary

## Мехрибан Алиева

## Обращение к читателям Посла Доброй Воли ЮНЕСКО

Уважаемые читатели!

Перед вами мартовский номер журнала “Дружба народов”. Он посвящен азербайджанской литературе. Этим номером практически завершается цикл мероприятий, реализованных в рамках года Азербайджана в России. 2006 год уже объявлен Годом России в Азербайджане. Уверена, что он станет ярким явлением в культурной, экономической и политической жизни нашей страны.

Азербайджан и Россию связывают 200 лет общей истории. В этой общей истории для нас чрезвычайно важны такие литературные штрихи, как поэма Мирзы Фатали Ахундова на смерть Пушкина, написанные в Азербайджане строки Сергея Есенина и Велимира Хлебникова, празднование 800-летнего юбилея Низами в блокадном Ленинграде. Понимая всю невозможность даже беглого охвата всех этапов нашего совместного пути, могу сказать лишь одно – все эти годы были годами истинного диалога наших культур.

Новая эпоха, начавшаяся с коллапса СССР, известила, что “короткий”, по определению Ю.Хабермаса, XX век стал достоянием истории. Литература, с облегчением сбросив с себя функцию идеологического воспитателя строителей коммунизма, сегодня находится на весьма сложном перепутье поисков своего предназначения в уже сложившихся новых исторических реалиях. Заполонившее книжный рынок половодье детективов, дамских романов, приключенческих, кулинарных и астрологических опусов вызвало к жизни странно звучащий вопрос о том, что же есть литература, а что ею не является, обладая всеми формальными признаками принадлежности к таковой.

Лозунг советской эпохи “Дружба народов – дружба литератур” всегда предопределял содержание журнала “Дружба народов”. В свое время немало иронических реплик было высказано по поводу того, что литературы народов СССР дружат между собой в рамках этого журнала, а за дружбу с литературами других народов мира “отвечает” журнал “Иностранная литература”. Однако если беспристрастно перелистать старые номера журнала “Дружба народов”, то можно убедиться в том, что на его страницах была

сформирована уникальная хрестоматия по литературам народов СССР. Невозможно представить себе, в каких объемах советская литература, создаваемая практически на 80 языках, переводилась на русский язык, равно как и русская литература, зазвучавшая на всех национальных языках.

Все это тоже наша общая история. И в наши дни мы гордимся тем высоким уровнем литературоведческого анализа произведений различных азербайджанских авторов, который осуществлялся на страницах этого журнала, по-прежнему трепетно воспринимаем попытки осознания такого явления, как национальный писатель, пишуший на русском языке, сопоставляем достоинства и недостатки переводов произведений азербайджанских писателей на русский язык. Вместе с тем жизнь продолжается и есть надежда, что этот номер способен в наступившей поре собирания камней внести достойную лепту в формирование стратегии предстоящего сотрудничества.

Встреча с российским читателем, достаточно “избалованным” великой русской литературой, – это всегда особая встреча. Трудно найти в современном мире человека, не испытавшего в своем личном и творческом становлении живительного влияния российской культуры. Может быть, именно присущая ей безграничная духовность способна помочь всем нам найти адекватные ответы на устрашающие прогнозы о грядущем столкновении цивилизаций и изначально заложенном конфликте культур.

Азербайджанская литература – это литература, в которой всегда чрезвычайно ярко была выражена сила традиции. Одной из таких традиций является празднование в марте азербайджанского Нового года. В пронизанном национальными символами, магическими кодами, юнговскими архетипами Новрузе есть и такой феномен, как магия слова, способного заставить ярче сиять солнце, растаять снег, пробудить землю и вешние воды. Именно в Новруз азербайджанская литература гостем входит в ваш дом. Входит, чтобы разделить с вами радость этой встречи, равно как и горечь утрат прошлых лет.

# Проза и поэзия

## Самед Вургун

### Философия жизни

***Перевод Бориса Пастернака. К 100-летию со дня рождения***

Как уносятся птиц вереницы,
Поколенья уходят в отлет, —
Человечество то веселится,
То отраву смертельную пьет.

То в тисках, то ломая оковы,
Точно русла стареющих рек,
Изменяются снова и снова
И вселенная, и человек.

Всех нас счастье влечет изначала,
Но над нами, смеясь искони,
Подпускало к себе, ускользало
И звало на бегу: “Догони!”

О безумная, дивная пери,
Брось негодную, злую игру.
Я свидетельствую и верю:

Все живое стремится к добру.

Этой тяги таящейся ради

Окажи свою помощь живым.

Смерть — проклятое ада исчадье,

Жизнь — сияющий серафим.

С сотворения мира две силы —

Свет и тьма — в вековечной войне.

Тьма — зияющая могила,

Солнце — к воле взывает извне.

Зло досталось вселенной в наследье

В незапамятные времена,

Но, дыханье зимы обезвредя,

Настает в наших душах весна.

Между горестями и весельем

Нет похожего ничего.

На два мира особенных делим

Мы уныние и торжество.

Но крылит из столетья в столетье

Мысль, исполненная огня, —

И фантазия щелкает плетью,

Погоняя веками коня.

Утро счастья, таинственный гений,

Перелей благодать через край.

Осчастливь и направь поколенье,

Руку помощи людям подай.

Чем ты радовать станешь, стихия,

Если будешь, как камень, гола?

Как бездетности недра сухие.

Бесполезные гибнут дела.

Не сойди же со сцепы в бесплодье,

Стань за новую правду горой.

Дай победу над рабством свободе,

Славой сторону нашу покрой.

Божество прошлых дней, угнетенье

Нами вдоволь натешилось встарь.

Отжила и становится тенью

Эта подлая, старая тварь.

Счастье — детище нашего века

И, как истинное дитя,

Улыбается человеку,

Солнцем будущего светя.

1942

**Афаг Масуд**

# Гений

***Рассказ. Перевод М.Гусейнзаде***

*Уже покойным и пока живым членам Союза писателей, верно служащим великой литературе, посвящаю.*

Автор

…О том, что Поэту наконец-то дали квартиру, раньше всех узнали в литературном центре “Перо”…

Во второй половине дня, ближе к вечеру той знаменательной среды, редактор центра, лауреат премии “Золотое перо” Ахмед Аглепе вдруг неожиданно возник в фойе на первом этаже помещения центра. С трудом дотащившись до маленького окошка с надписью “Буфет”, он обессиленно облокотился о прилавок, как смертельно отравленный тянется к заветной склянке с противоядием, залпом выпил три стакана айрана1 и только после этого поплелся на второй этаж в кабинет директора, чтобы сообщить эту потрясающую новость…

Обнародование оной именно под конец рабочего дня кое-кто объяснял тем, что власти, мол, не были уверены, какой она может вызвать резонанс, и поэтому решили, что для подобной акции как нельзя более подходит вторая половина дня, а именно время, когда у Поэта и подобных ему любителей поэзии — людей темпераментных и непредсказуемых — угасает творческий пыл, остывает и притупляется воспаленный мозг.

Другие возражали им, считая, что власти скрывали свое намерение, до сих пор движимые только единственным желанием — преподнести Поэту и его поклонникам своеобразный

сюрприз в канун съезда Объединения писателей. Впрочем, и те, и другие сходились в одном — они, там, наверху, сделали это только потому, что слишком много народа стало уезжать, считая для себя оскорбительным жить в стране, которая не может обеспечить квартирой своего лучшего Поэта.

Газеты писали: “Профессиональные литераторы постоянно говорят и пишут об этом, голоса тысяч любителей творчества Поэта сливаются в грозную волну возмущения, которая может перерасти во всенародное восстание, и только руководство Объединения писателей и государственные чиновники остаются совершенно равнодушны…”

Кое-кто в литературных кругах связывал такое безразличие властей к поэзии со слишком теплым отношением Поэта к предыдущим властям и, в частности, к экс-президенту. И особенно усугубилось это пренебрежение после того, как Поэт написал стихи, посвященные бывшему президенту.

Хотя литературоведы считали, что эти стихи — “образец Высокой Поэзии независимо от того, кому они посвящены…”

Были и такие многочисленные представители оппозиции, в которых ненависть к властям крепла, перерастая в любовь. Они уверяли, что это стихотворение Поэта сильно потрясло моральные основы нынешней власти, причем говорили с такой уверенностью, будто собственными глазами видели эти самые основы.

Такие пересуды чрезвычайно нервировали друзей Поэта. “Ну зачем он ввязался в политику? — говорили они, качая головами. — Какое ему дело, кто в кого и зачем бросает камни? Ведь он выше всякой политики и всех политиков…”

В том, что Поэту до сих пор не предоставлена квартира, виновато только руководство Объединения, считали его наиболее агрессивные члены и не упускали случая где-нибудь на страницах газет, по радио или телевидению назвать Объединение беспомощной, жалкой или, того хуже, мертвой организацией.

Говорят, что более всего от этой неприятной ситуации страдал председатель Объединения Вафа-муэллим, человек с тонкой душой интеллигента. Он неоднократно писал во все инстанции, что Объединение, которое после обретения независимости должно было бы стать одной из наиболее демократических организаций, влачит вместо этого жалкое

существование. Но никто, казалось, его не понимал, нарочно не хотел понять. А его документально аргументированные напоминания о нерешенном квартирном вопросе Поэта растворялись в воздухе с быстротой капли, упавшей на раскаленную сковороду.

Сотрудники Объединения уверяли даже, что эта проблема в последние месяцы очень сильно повлияла на здоровье Вафы-муэллима. Находились даже свидетели, видевшие, как он один-одинешенек лежал в большой палате, уставленной мягкими, обитыми сверху искусственной кожей диванами, и ждал, когда ему сделают успокаивающий укол. По слухам, теперь Вафа-муэллим стал рано приходить на работу. Он запирался в своем кабинете, а с теми, кому удавалось прорваться к нему, говорил пренебрежительно, давая всем своим видом понять, что ему мешают. Оставшись один, он снимал очки, тер ладонями лицо и задумчиво устремлял усталый взгляд на висевшую на противоположной стене доску, на которой были запечатлены автографы уже покойных корифеев национальной литературы…

Рассказывают, что однажды коллега Поэта во время какого-то из своих выступлений предложил освободить помещение Объединения и предоставить его семье Поэта в качестве жилья. Услышав об этом, Вафа-муэллим срочно собрал секретариат Объединения и поставил этот вопрос на обсуждение. Когда же выяснилось, что превратить это помещение в жилое нет никаких возможностей, глаза Вафы-муэллима вновь угасли, на лицо вернулось выражение скорби, а полный безысходности взор вновь обратился к доске с великими автографами.

Но больше остальных нищенское, бездомное существование Поэта, вынужденного снимать однокомнатную полуразвалившуюся, пропитанную запахом гнили и сырости хибару где-то в поселке на окраине города, беспокоило его коллег, сотрудников литературного центра “Перо”, и в первую очередь директора этого центра — драматурга и прозаика Гулама Гусейнли, человека чрезвычайно нервного и впечатлительного.

Еще за несколько дней до того как Ахмед Аглепе влетел в центр со своей потрясающей новостью, Гуламу Гусейнли почему-то ночью приснилось много солдат. Они окружили двухэтажное здание центра и с улицы с грозными лицами заглядывали в окна…

Наутро Гулам Гусейнли явился на работу в большой задумчивости. Он немедленно вызвал в кабинет своего друга Фараджа и, все так же задумчиво глядя вдаль, рассказал ему свой сон во всех подробностях.

Внимательно выслушав его, маленький седой издатель, по привычке дергая бровями, произнес:

— Видно, следует ждать нового государственного переворота…

Гулам Гусейнли по хитрым глазам Фараджа не мог понять — говорит ли его друг искренне или шутит.

И оттого, когда в конце рабочего дня в дверях кабинета появилось растерянное лицо Ахмеда Аглепе, Гулам Гусейнли немедленно вспомнил свой сон и с не свойственным ему терпением стал ждать — что же скажет Аглепе.

— Гулам-муэллим, наконец-то Поэту дали квартиру!— воскликнул Аглепе и замолчал, будто споткнулся на восклицательном знаке.

От этой ну совершенно неожиданной новости на глаза Гулама Гусейнли навернулись слезы, и сквозь эту пелену ему, как в тумане, явилось лицо Поэта.

Поэт посмотрел на него полным страдания и муки взглядом и, как всегда чуть иронично, проговорил: “Да не переживай ты, Гули, так было всегда. С поэтов сдирают заживо кожу, разрисовывают их грудь пулями…” — Сказав это, он, грузно покачиваясь, исчез.

— И говорят, что сам президент распорядился выделить ему эту квартиру… А в конце встречи, когда уже все стали расходиться, президент вдруг остановился, поднял левую руку, чтобы остановить людей, и, правда это или врут, но наизусть прочитал строку из его стихов. — Все это Аглепе выпалил одним духом.

— Да кто это все тебе наговорил? — спросил неизвестно когда появившийся в кабинете поэт Дениз. Он только теперь смог пройти на свое любимое место у окна, откуда и задал свой вопрос, скрестив руки на груди и глядя на улицу.

— Гая Караель.

— А при чем тут Гая Караель? — с тоской в глазах спросил Гулам Гусейнли и нервно дернул плечами.

— Я встретил его на улице Истиглалиет2, он спускался вниз. Никогда еще не видел его таким взволнованным, даже голос дрожал.

Повисло долгое молчание. Каждый был погружен в свои мысли. В этой тишине осторожно приотворилась дверь.

Фарадж, словно прочувствовав атмосферу, царящую в кабинете, неслышно прошел и сел в свое любимое высокое массивное кресло.

— Он сам все рассказал. Я даже ни о чем не спрашивал. Говорит, что вчера ночью ему позвонили домой, срочно вызвали в аппарат президента, там попросили написать что-то типа справки о Поэте.

Аглепе замолк и оглядел присутствующих.

Гулам Гусейнли все так же с тоской во взоре смотрел куда-то вдаль, Дениз, скрестив руки, — на улицу, Фарадж закинул ногу на ногу и внимательно разглядывал свой башмак с отставшей подошвой, поэт Асланоглы задумчиво поигрывал спичечным коробком, остальные с немым вопросом на лицах смотрели на него, Аглепе…

— Да, теперь Караель попрет как танк. Будет рассказывать, что Поэт получил квартиру благодаря ему, — неожиданно выкрикнул Асланоглы и, глядя на собравшихся, покачал головой.

Раздался телефонный звонок, и на том конце провода послышались крики Гая Караеля. Он торопливо, но подробно рассказал, как вчера, уже глубокой ночью, он в аппарате президента писал справку о Поэте и его творчестве, а потом, не дожидаясь ответа, повесил трубку. Или это на линии что-то разъединилось?

Гулам Гусейнли некоторое время вертел трубку в руке, словно ждал еще чего-то, потом положил ее на место.

— Говорит, что именно после его справки… — задумчиво сказал он.

— Что? — простонал кто-то в противоположном конце кабинета.

— Он говорит, что этот вопрос подняли только ознакомившись с его справкой,— глухим, растерянным голосом проговорил Гулам Гусейнли.

Его всегда раздражали путаница, бессмыслица, неопределенность. И в прозе своей Гулам Гусейнли был таким. В каждой фразе, каждом обороте он старался быть предельно ясным и логичным, что постоянно отмечали анализирующие его творчество критики.

— Ну, что я говорил? Убедились? — выкрикнул Асланоглы, оглядывая присутствующих, при этом в глубине его глаз вспыхивали непонятные огоньки.

— Ради Аллаха, потише, — потирая лицо, проговорил Гулам Гусейнли. — И без тебя тошно.

Смеркалось. Собравшиеся разбрелись по домам, остались только, как это всегда бывало в экстремальных случаях, Гулам Гусейнли и Фарадж. И хотя в кабинете горел полный свет, по мере того как за окном темнело, мрак, казалось, сгущался и в кабинете.

— Тут может быть несколько вариантов,— говорил Фарадж, вглядываясь в клубы табачного дыма. — Во-первых, вероятно, президент просто хочет этим поступком войти в историю. То есть остаться в истории справедливым шахом, создавшим условия для жизни великому Поэту… — Фарадж взглянул краем глаза на Гулама Гусейнли, чтобы убедиться, что тот его слушает, и продолжил: — А может быть, стихи Поэта произвели на президента, любящего поэзию, впечатление, и он сделал это безо всякой задней мысли, во имя великой литературы. Но есть еще одна версия…

Эти рассуждения прервал резкий звонок телефона. Гулам Гусейнли чуть ли не всем телом обрушился на аппарат. На том конце провода послышался взволнованный голос Дениза:

— По-моему, тут есть только одна версия — президенту нужна любовь поэтов…

Дениз начал распространяться о том, какую огромную энергию может дать человеку любовь Поэта, после чего торопливо попрощался и бросил трубку, словно внезапно куда-то заспешил.

— Третья версия… — как ни в чем не бывало продолжил Фарадж, загибая очередной палец.

— Значит, он способен понять художественное слово… — прервал вдруг Фараджа Гулам Гусейнли, и неясное сияние разлилось по его лицу. — Значит, он все понимает, — взволнованно проговорил он. — А мы-то…

…Фарадж, давно не видевший друга таким, слегка растерялся.

— Конечно, понимает, — ответил он, недоуменно пожимая плечами. — Я всегда говорил и опять повторяю: быть может, он самый великий писатель…

— Значит, он нас понимает, — будто самому себе сказал Гулам Гусейнли и почувствовал, как от восторга комок подкатывает к горлу.

В такие мгновения, когда Гулам Гусейнли был чем-то растроган, Фараджу становилось не по себе. Он расстраивался, ему казалось, что это он довел своего друга детства, крепкого мужчину, автора нескольких книг, до столь жалкого состояния.

И сейчас сердце Фараджа, больше жизни любившего литературу, болело за друга. Ему было больно видеть этого здорового пятидесятилетнего человека беспомощным и растерянным, как внезапно осиротевший ребенок…

* * *

Вечером в своей маленькой однокомнатной квартире Гулам Гусейнли в задумчивости сидел в глубоком кресле перед телевизором и вспоминал, как Фарадж, перечисляя версии, загибал свои маленькие пальчики, точно на кнопки надавливал.

Во всем этом единственной реальностью было предоставление президентом квартиры Поэту, без устали поносившему во всех газетах и зарубежных радиоголосах власти и их “инфантильную политику”.

За раздумьями Гулам Гусейнли незаметно задремал в своем кресле, и приснился ему Фарадж.

— Его самое крупное произведение — это мы, — подмигивая, говорил он.

Наутро в литературных кругах, во всех редакциях и творческих объединениях царило необыкновенное возбуждение. Всюду “обмывали” квартиру Поэта, произносили в его честь тосты, направляли через газеты пышные поздравления Поэту и благодарственные телеграммы президенту.

Рассказывают, что группа литераторов, потрясенных этим сообщением, послала президенту телеграмму на двадцати трех страницах, в которой говорилось о силе художественного слова, о том, какие перемены способно произвести оно в душах людей, о физической мощи Слова, которое властно изменять ход событий.

А поклонники Поэта, по слухам, видя в этом событии символ торжества поэзии и искусства, даже отправились в паломничество на могилу какого-то средневекового поэта. Там они провели День поэзии, читая стихи виновника торжества, и закончили возложением цветов на могилу…

…Рассказывают еще, что несколько собратьев по перу поехали к Поэту, рассчитывая увидеть своего друга на седьмом небе от счастья. Но вместо этого нашли его печальным, даже сонным, лежащим спиной ко всему миру.

Увидев их, он встал, и ноги его были опухшими, похожими на столбы, потому что было в квартире тесно, и жизнь оттого Поэт вел малоподвижную. С трудом переставляя ноги, он двинулся к ним с выражением вины на лице.

— Это он сам… Я ни о чем не просил, — растерянно бормотал Поэт, вглядываясь в лица пришедших.

Новость о том, что президент дал квартиру Поэту, откровенно поддерживающему оппозицию, и даже прочитал на память его стихи, в тот же день вышла за пределы кругов литературных и разлетелась по кругам, никакого отношения к литературе не имеющим.

Многие сочли это рекламной акцией для привлечения на свою сторону армии поклонников Поэта, оппозиционных партий, которым сочувствовал Поэт, литераторов.

Другие видели в этом расчет президента на то, что благодарный Поэт со временем создаст и его, президента, поэтический портрет.

В памяти у многих остались стихи Поэта, посвященные экс-президенту, после которых тот из обычного ученого-языковеда, почти против своего желания ставшего президентом, вдруг превратился в личность легендарную, во всеобщего любимца. Видно, тот феномен привлек внимание и нынешнего президента…

И если бы теперь Поэт с присущим ему вдохновением воспел президента, рожденного властвовать над людьми, создал образ мудрого руководителя, отдающего себя без остатка народу, тогда уж ни годы, ни тысячелетия не стерли бы имя этого человека из памяти потомков…

* * *

Вечером следующего дня — холодным, ветреным, осенним вечером — Гулам Гусейнли, все еще тонувщий в море версий, брел домой. За одним из поворотов он нос к носу столкнулся с каким-то человеком.

— Ах, дорогой, — слабым голосом простонал этот некто, уткнувшись лицом ему в грудь так, будто специально караулил его за этим углом. — Я знал, я всегда знал, что среди нас самый сильный, самый смелый — это ты… И снова ты… снова Гули…

Только по мягкому певучему выговору Гулам Гусейнли узнал во встречном Салаха Сарызаде, всю жизнь писавшего романы о трудной жизни простых нефтяников с черными от мазута руками, но светлыми душами.

— Значит, все было напрасно? Все было ложью? Литература… — тут голос старого писателя словно куда-то отдалился, а потом зазвучал совсем рядом: — Литература, которой мы отдали всю свою жизнь, ради которой терпели столько лишений, никому, значит, не нужна, Гули?..

Сарызаде продолжал говорить, все еще уткнувшись лицом в грудь Гулама Гусейнли, и казалось, отстранись он сейчас — и тут же упадет. Он даже плакал. Или это Гуламу Гусейнли так показалось?..

Гулам осторожно отстранил от себя худое, хилое тело старого писателя, взглянул ему в лицо.

— Почему же не нужна?

— Не нужна… Не нужна… Если б была нужна, если б они ценили литературу, то не поступили бы так…

Тут голос старика задрожал, он закашлялся, лицо его сморщилось, отчего он стал похож на обиженного ребенка

— Да что же они такого сделали, Салах-муэллим?

— Я уже пятьдесят лет в литературе, автор тридцати двух романов, ста четырех рассказов, инвалид Отечественной войны, рядовой литературы, посвятивший ей всю свою жизнь,

живу у черта на куличках, в коммунальной квартире, а они раздают квартиры тем, у кого и так по три-четыре дома.

Гулам Гусейнли насторожился. Он внимательней взглянул на старого писателя, которого до тех пор считал человеком тонким, добрым.

— Вы кого имеете в виду, Салах-муэллим? Если вы о Поэте, то он, бедняга…

— При чем тут Поэт, милый?! Мне сейчас позвонили и сказали: президент в честь съезда дал квартиру каждому члену Совета аксакалов…

Гулам Гусейнли собирался ответить, но Сарызаде неожиданно повернулся и, продолжая что-то бормотать о Совете аксакалов, пошел прочь, шаркая старыми, стоптанными башмаками.

— Я новый роман написал. Пришлю! — крикнул он уже с другой стороны

улицы. — Опять про нефть!

Дома Гулам Гусейнли включил телевизор. Транслировали встречу из дворца президента.

Президент на этот раз вошел в зал не как обычно через широкие двустворчатые двери, а возник из какого-то таинственного пространства между стен. Он на некоторое время величественно остановился на фоне трехцветного знамени, будто ждал чего-то, а потом, словно повинуясь не слышному обычному уху приказу, прошел на свое место во главе огромного круглого стола, оглядел собравшихся светло-серыми глазами, настолько светлыми, что зрачки почти сливались с белками. Потом на его розовых губах заиграла улыбка, он что-то сказал.

Писатели-аксакалы — они почему-то все сидели рядом, с правой стороны — смотрели на президента с благодарностью и напряженно улыбались.

Президент что-то говорил, глядя на сложенные на столе руки. Но при этом видел всех присутствующих в зале. Или это Гуламу Гусейнли только показалось?!

Затем камера повернулась к аксакалам, и на экране одно за другим стали возникать крупным планом их лица. Гулам Гусейнли невольно затаил дыхание.

Лица писателей, которых он знал не один десяток лет, вдруг показались ему настолько изменившимися, что Гулам Гусейнли пришел в ужас.

Сидевший первым народный поэт Кюскюн почему-то был похож на сидевшего рядом с ним народного писателя, прозаика Тары Вердиева. Вердиев, в свою очередь, — на сидевшего от него через два кресла прозаика и драматурга Сумбатлы, который как две капли воды походил на сидевшего последним народного поэта Атиллу Зардушта, а того, что самое удивительное, было не отличить от Сарызаде, с которым Гулам Гусейнли только что столкнулся на темной холодной улице.

Через несколько минут народный поэт Кюскюн, медленно передвигая плохо разгибающиеся ноги, направился к стоявшей в верхнем углу зала высокой, как шпиль, трибуне, тяжело оперся о нее локтями и с побелевшим лицом почему-то заговорил об успехах, которых достигла страна за последние годы, о добыче нефти и успешной внешней политике.

В это время на столике рядом с креслом зазвонил телефон.

— Гулам-муэллим! — зазвучал откуда-то издали сквозь неясный свист и завывания голос Ахмеда Аглепе. Гуламу Гусейнли показалось даже, что он говорит откуда-то с острова посреди бушующего океана. — Вы слышали, что случилось? — Временами голос Ахмеда пропадал, словно пенистые волны океана заливали телефонный кабель.

— Говори громче, я плохо слышу! — крикнул Гулам Гусейнли, прикрывая микрофон ладонью.

— Поэт Кюскюн умер!

— Кюскюн?! — воскликнул Гулам Гусейнли. Он посмотрел на экран, где Кюскюн, все такой же бледный, продолжал говорить о внешней политике, и почувствовал, как все тело покрывается противным холодным потом. — Ты что, свихнулся?! Да вот он.

— Это запись! Встреча закончилась в шесть часов! Он прямо там и скончался, в лифте! Говорят, у него вдруг подкосились колени, голова упала на грудь… Сначала думали, что обморок, а потом приехала “скорая” и все стало ясно!

Долго еще, перекрикивая свист бури и заливающие кабель океанские волны, Ахмед Аглепе рассказывал обо всем, что происходило после встречи с Президентом…

По словам Аглепе, Кюскюн оказался не единственной жертвой этой встречи. Так, дважды лауреат Государственной премии, автор романов о национальной трагедии, народный писатель Неймат Озал тоже в коридоре администрации президента почувствовал себя плохо. Прибывшая “скорая” определила сердечную недостаточность, и прямо оттуда писателя отвезли в одну из центральных больниц.

Да и другие чувствуют себя неважно.

— Перед дворцом президента стояло столько машин “скорой помощи”!.. — Аглепе уже явно охрип от крика.

— Ты откуда говоришь? — тоже почему-то крикнул Гулам Гусейнли.

— Да я здесь, под вашим домом! — снова закричал Аглепе.

Долго еще гудело в ушах Гулама Гусейнли после того, как он повесил трубку, а от рассказа Ахмеда Аглепе пересохло в горле.

Старых писателей, как раненых бойцов из окопов, выносили из здания администрации президента и укладывали в машины “скорой помощи”.

А на экране они пока были живы-здоровы. С побелевшими лицами они по одному выходили к трибуне, гордо и взволнованно говорили о чем-то, не имевшем отношения к литературе, и такие же бледные возвращались на свои места.

Встреча закончилась, старики уже расходились, как вдруг камера показала президента.

— Одну минутку! — громко сказал он, подняв руку.

Президент задумался на мгновение, потом подозвал к себе мэра города и безо всяких объяснений и предисловий отдал распоряжение выделить каждому из участников встречи по четырехкомнатной квартире, потом громко прочитал строку из стихов одного из присутствовавших поэтов. На этом встреча закончилась.

Ночью Гулам Гусейнли долго не мог заснуть.

Ему виделась площадь перед дворцом президента, кишащая машинами “скорой помощи”, он вспоминал президента, который говорил, глядя на свои руки, снова видел непостижимым образом изменившиеся лица писателей.

Эти картины не оставили его и во сне. Но теперь среди писателей оказались и повесившийся несколько лет назад от нищеты Мамедъяр, и разрушивший свою печень алкоголем Сеид Мирза, и умерший во сне Сурхай, и Эльбрус, который всегда говорил так громко, что умер от кровоизлияния в мозг, держа речь, здесь же суетились и работники администрации президента, укладывающие на носилки безжизненные тела стариков. А Ахмед Аглепе кричал из телефонной будки, стоящей на одиноком острове посреди бушующего океана:

— Он делает это во имя великой литературы! Во имя великой литературы!

И от этих слов волосы дыбом вставали.

Наутро весть о том, что президент раздал квартиры писателям-аксакалам, и слухи о пошатнувшемся здоровье награжденных снова всколыхнули литературные круги.

Похороны поэта Кюскюна, согласно решению государственной комиссии по организации похорон, должны были состояться через три дня, на следующий день после съезда Объединения писателей.

По сведениям, Неймат Озал всю ночь провел без сознания, а когда он наконец пришел в себя, у него вдруг резко поднялась температура.

Врачи, которые никак не могли связать это резкое повышение температуры с сердечной недостаточностью, решили провести полное обследование больного, собрали все необходимые анализы, сделали рентген, флюорографию, а потом пригласили на консилиум светил местной медицины. Однако светила к единому мнению прийти не смогли.

Очевидцы рассказывали, что старого писателя, отдавшего всю жизнь литературе, до утра бил озноб. Он лежал, укутавшись в одеяло, а под утро, приоткрыв глаза, прошептал:

— Он сделал это ради меня, — и снова потерял сознание.

Нечто непонятное творилось и с Атиллой Зардуштом. Возвратившись после приема у президента, этот беззаветный труженик литературы, ни слова не говоря домашним, заперся в своем кабинете и не открывал дверь, несмотря на настойчивые стуки домочадцев и присоединившихся к ним позже соседей.

Лишь глубокой ночью, когда соседи взломали дверь и вошли в кабинет, Атиллу нашли лежащим на полу с перекошенным ртом.

Санитары, спускавшие его на носилках по лестнице, рассказывали потом, что старик, еле шевеля парализованными губами, прошептал:

— Он сделал это ради меня…

И снова поползли версии и догадки по поводу подарка, сделанного президентом писателям-аксакалам.

Часть литераторов утверждала, что президент, блестяще стабилизировав ситуацию в республике, этим своим распоряжением решил пристыдить замечательных мастеров слова, демонстрировавших пылкую приверженность бывшим президентам.

Другие говорили, что президент просто не знает о существовании в стране молодых, талантливых литераторов. Поэтому для него вся национальная литература воплотилась в этих пропахших нафталином старцах, и он этим указом решил продемонстрировать накануне съезда писателей свое отношение к ним и т.д. и т.п.

* * *

Когда Гулам Гусейнли, все еще под впечатлением от своего сна, вступил в фойе центра, часть членов объединения “Авангард” уже разошлась.

Увидев его, председатель Объединения Дунья Годжагюль, убрав за спину сжатые в кулаки руки, зло двинулся в его сторону по-борцовски быстрыми, короткими шагами.

— Знаю, знаю… Но сейчас я не могу, Дунья, — пробормотал тихим голосом Гулам Гусейнли, отталкивая Дунью.

— Надо бы посоветоваться,— сказал Дунья Годжагюль, идя по лестнице за Гуламом Гусейнли.

— О чем советоваться?

— Мы подготовили обращение.

— Что еще за обращение? И вы квартир хотите? — спросил Гулам Гусейнли и с ненавистью посмотрел на раскрасневшееся от только что закончившегося митинга лицо Дуньи Годжагюля.

— А почему бы не хотеть? Мы здесь голодаем, наши дети ютятся по чужим домам, а квартиры дают старикам, у которых и без того по пятьдесят квартир по всему городу.

От возбужденного ли тона Дуньи Годжагюля или от траурного настроения после вчерашнего известия о смерти поэта Кюскюна, а может, и от приснившегося Аглепе, который кричал: “Он делает это во имя великой литературы!” — волна тошнотворного отвращения вдруг накатилась на Гулама Гусейнли.

— Оставь меня в покое, Дунья. Честное слово, мне не до того. Делайте как хотите…

Фарадж сидел в своем любимом кресле, закинув одну на другую свои маленькие ножки, и ждал Гулама.

— Телефон не работает? — спросил он, едва Гулам вошел в кабинет, и беспокойно заворочался в кресле.

Велев никого к себе не пускать, Гулам весь день провел в кабинете с Фараджем. Окутанные туманом дыма, они блуждали в тумане догадок.

— Старый организм не вынес слишком большой радости, — резюмировал наконец Фарадж.

— Все сложнее, — проговорил Гулам Гусейнли, задумчиво глядя вдаль. — Все гораздо сложней, чем мы думаем.

Ближе к вечеру кто-то осторожно постучал в дверь.

Растерянный не менее вчерашнего, Аглепе прокрался в кабинет и замер у двери.

— Что еще? — полный самых страшных предчувствий, спросил Гулам Гусейнли.

— Молодым тоже дают квартиры… прямо сейчас… Президент дал распоряжение… И стихи, говорят, читал…

— Кто?

— Президент. Из последнего цикла Саххата Гурумгея.

— Стихи нашего Саххата?

— Да.

Аглепе хотел было сесть, но почему-то передумал и остался стоять у двери в выжидательной позе.

Фарадж взглянул на Гулама Гусейнли, его глаза метали молнии. Гулам Гусейнли в замешательстве посмотрел на Фараджа, потом перевел взгляд на старые, стоптанные туфли Аглепе.

Вечером Фарадж провожал Гулама Гусейнли до дома. Друзья долго стояли у входа в подъезд и, не замечая дождя, смотрели друг на друга.

Фарадж поднял воротник мокрого плаща, стиснул маленькими ручками воротник и, дрожа от холода, проговорил:

— Я боюсь…

— Чего? — спросил Гулам Гусейнли, глядя в полное страсти умное лицо Фараджа и чувствуя, как у него слабеют колени.

Фарадж молчал. Глаза его слезились от холода. Или это рыдания подступили к горлу?

— Боишься, что кто-нибудь из молодых тоже может не вынести счастья? — полушутя-полувсерьез спросил Гулам Гусейнли, но Фарадж не шевельнулся.

Дома Гулам Гусейнли включил телевизор. Транслировали встречу президента с молодыми литераторами.

Президент снова остановился, оглянулся, опять поднял левую руку и прочитал стихи.

Ночью он приснился Гуламу Гусейнли.

В белом халате он стоит перед огромным столом, заставленным различными колбами, банками самых причудливых форм, заполненными какой-то жидкостью разных цветов.

Гулам Гусейнли тоже находится в этой лаборатории. Он прячется за тяжелой бархатной портьерой и наблюдает за действиями президента.

Президент поднимает одну из колб, разглядывает ее содержимое на свет, потом берет маленькую бутылочку с зеленой жидкостью и аккуратно капает несколько капель в колбу с красной жидкостью. Жидкость в колбе начинает пениться, дымиться… Дым, клубясь, вытекает из колбы, заполняет лабораторию. Он уже скрывает от глаз Гулама Гусейнли президента, стол, заползает в горло… Гулам Гусейнли кашляет…

И в этот миг откуда-то совсем рядом слышится властный голос президента:

— Поменьше следи за мной, Гулам.

* * *

В ярко освещенный зал театра президент вошел через главный вход. С выражением усталости на лице он посмотрел на стоя приветствующую его публику, помахал рукой, а потом, чуть прихрамывая, пошел вдоль первого ряда.

Следом за ним шли остальные руководители государства, которые расселись позади пустого ряда, занятого президентом.

Съезд начал свою работу.

Ораторы сменяли один другого, и каждый начинал с того, что в меру своих способностей приветствовал президента, а потом, как и на всех предыдущих собраниях, говорил о природных богатствах страны, добыче газа и зерноводстве.

Гулам Гусейнли и Фарадж молча сидели в заднем ряду.

Гулам время от времени беспокойно оглядывался, пытаясь найти Дениза.

— Он не придет, — сказал, не отрывая взгляда от сцены, Фарадж. — Говорит, ему все это опротивело…

И тогда Гулам Гусейнли вспомнил, как однажды Дениз, по обыкновению стоя у окна со скрещенными на груди руками, сказал:

— Вся разница между нами в том, что они в этой жизни стоят на черных полях, а мы — на белых…

Писатели среднего поколения еще два месяца назад подготовили резко критические речи против руководства Объединения, вот уже несколько лет безразличного к их творчеству и трудной жизни. На этом основании они собирались требовать отставки руководства. Они сконцентрировались в левой части зала и оттуда грозно смотрели на сидящего в президиуме и скрывшего глаза за черными очкам Вафу-муэллима.

— Чувствую, что-то произойдет, — не оборачиваясь, тихо сказал Фарадж.

— Что произойдет?

— Не знаю, — ответил Фарадж. Он оглянулся на Гулама Гусейнли и, испуганно расширив близко посаженные круглые глаза, добавил: — Видишь, он хромал.

— Ну и что? — шепотом спросил Гулам, пожимая плечами.

— Да ведь он никогда не хромал,— проговорил Фарадж, беспокойно ерзая на месте.

И уже до конца заседания Гулам Гусейнли смотрел туда, в первый ряд, но со своего места мог разглядеть только часть левого плеча президента.

Самым поразительным было то, что за все это время плечо ни разу не шевельнулось. Казалось, президент ушел, оставив вместо себя пустой пиджак.

К концу заседания президент поднялся и, все так же хромая, медленно прошел к трибуне.

И тогда Гулам Гусейнли подумал, что президент прихрамывает потому, что ему жмут его до блеска начищенные, новые черные туфли.

Президент некоторое время помолчал, обводя печальным взглядом полутемный зал, словно искал кого-то, а потом, сотрясая зал своим мощным голосом, заговорил об искусстве слова, о достижениях национальной литературы за последние годы.

Он говорил о тонкой душе писателей, кровью сердец создающих свои произведения. Потом перешел на заботу со стороны государства, в которой эти люди нуждаются, а под конец, подняв левую руку, объявил, что отдал распоряжение о выделении квартир всем пятистам пятидесяти шести членам Объединения…

После подобного сообщения президента в зале на миг воцарилась тишина.

И в этой тишине президент, все так же прихрамывая, сошел со сцены и, сложив руки за спиной и ни с кем не попрощавшись, с печальным лицом покинул зал.

И только тогда стены зала содрогнулись от аплодисментов и криков, так, что Гулам Гусейнли почувствовал, как сжался в спазме его желудок, а на ресницах задрожала набежавшая откуда-то слеза.

Фарадж не аплодировал, он смотрел на зал, стены которого, казалось, обрушатся от шума, глаза его были полны страха.

* * *

На следующий день все правительственные газеты опубликовали новый указ президента.

Он гласил, что в честь XXXIX съезда Объединения писателей и, учитывая заслуги в развитии национальной литературы, все члены Объединения обеспечиваются квартирами.

Ближе к полудню из Объединения пришло сообщение, что по личному распоряжению президента в нагорном квартале города в нескольких километрах от жилого массива на территории, обнесенной высоким забором, для членов Объединения выделено двадцатиэтажное жилое здание в пятьсот пятьдесят шесть квартир.

В литературных кругах воцарилась странная тишина.

Гуламу Гусейнли, у которого после этих окутанных тайной событий совершенно расстроились нервы, стал часто сниться этот ужасный дом.

Вот он стоит окруженный высоким, чуть ли не до неба, забором, пятисот пятидесяти шестиквартирный гигант, похожий на серое надгробие. А жители его — нежный, легко возбудимый творческий люд — ходят в униформе, в желто-зеленых пижамах. А обслуга — врачи, парикмахеры, киоскеры, продавцы — все в белых халатах.

И только одному Гуламу Гусейнли не хватило пижамы, поэтому ему не разрешается выходить из дома, и он карабкается на высокое двустворчатое окно, выглядывает оттуда и кричит, зовет Фараджа. А тот в большой, не по росту, пижаме играет во дворе с другими жильцами в чехарду…

1 Освежающий напиток из кислого молока.

2 Одна из центральных улиц Баку, в верхней части которой находится дворец президента.

**Эльчин Гусейнбейли**

**Рассказы**

*Перевод М.Гусейнзаде и С.Мамедзаде*

*Гарачуха Эльчин Гусейнбейли — известный прозаик, драматург, публицист; родился в 1961 году, окончил МГУ, его книги переведены на русский, грузинский, английский языки.*

## Невеста с Севера

### Немного длинный рассказ

В эту историю я влип, можно сказать, не то чтоб на ровном месте, а прямо на ходу. Шел я себе, шел, долго ли шел или коротко, по горам да долинам, брел по ущельям, карабкался по скалам... Стоп, да меня, кажется, опять заносит в альпинизм...

Начну-ка лучше снова. Выехали, значит, как-то я да мой портфель в путь-дорогу, направляясь к нашим северным соседям. Меня с моей поклажей ждали в городе N (не стану называть его, вам это не интересно, да и в моем рассказе он будет играть самую что ни на есть второстепенную роль) на какое-то мероприятие врачей для животных (на вашем языке их называют ветеринарами). Чтобы вспомнить, что это было за мероприятие, надо было бы покопаться в куче пригласительных, но во-первых, не так уж и важно, что это было за мероприятие, а во-вторых, у меня не хватит терпения искать то приглашение, а у вас — ждать, пока я его найду. Уверен, что, как истинных азербайджанцев, вас больше интересует случившееся со мной. Вот о нем я сейчас вам и расскажу.

Но прежде чем перейти к сути, совершенно искренне скажу вам — я стал ветеринаром из-за нашей буйволицы. Купили мы ее у Миркиши давно, еще когда я был совсем маленьким. И вдруг эта буйволица, которая стоила целого стада, серьезно заболела. Начался у нее понос, и так она и скончалась. А перед смертью выкатилась из ее глаз слезинка. Я-то к тому времени хорошо знал, какие это страдания, когда тебя проносит, поэтому прекрасно понимал, как она, бедняжка, мучается. А остальным все было нипочем. Видно, у них никогда не болели животы. Может, когда и болели, но я что-то не помню, чтобы они часами просиживали в уборной. Ну разве что бабушка могла посочувствовать нашей бедняжке-буйволице. Она тоже, бывало, жаловалась на запоры. Вот тогда-то я назло домашним решил стать не человечьим врачом, а ветеринаром. Поступил в техникум у нас в райцентре, проучился там два года, получил, как говорила бабушка, царский диплом, опровергнув тем самым мнение, будто у меня каменное сердце.

Чтобы между нами не было никаких недомолвок, я должен разъяснить эту историю насчет каменного сердца. Надо вам сказать, что в детстве я слыл искусным охотником на соседских кур, которым умел ловко перебить ногу. Разумеется, все наши соседи и близкие находили мое поведение крайне антигуманным. На самом же деле я лишь претворял в жизнь мечты бабушки. Потому что бабушка, завидя в нашем огороде соседскую курицу, швыряла в нее камнями, целясь именно в ногу. Но ни разу бабушке не удавалось поразить цель. А ваш покорный слуга отличался поразительной меткостью, но вместо призов ему доставалась только брань от домашних и соседей. Все это, конечно, теперь уже далеко позади, и мне удавалось не раз доказывать, что мнение обо мне, как человеке жестокосердом, весьма ошибочно. А теперь перейдем к мелодраматической части моего рассказа.

Сначала все шло хорошо. Купил билет, сел в самолет, долетел. Пропущу всякие несущественные мелочи, скажу только, что в клубе ветеринаров мне дали двухметровый чертеж — как проехать в поселок, где будет проходить это самое мероприятие. Через полчаса я уже стоял на перроне, откуда отходят пригородные электрички, и ждал поезда, одновременно выясняя — ходят ли вообще поезда до поселка Рог (наши северные соседи почему-то именно так назвали поселок, где намечалось это ветеринарное мероприятие). Но никто не мог дать мне вразумительного ответа. Я не отчаивался и продолжал расспросы, пока меня не отослали к стоящей в некотором отдалении небольшой группе людей. Я подошел к ним и спросил, едет ли электричка в этот проклятый поселок. И опять я не получил никакого ответа. И не то что не ответили, даже не обратили на меня внимания. Даже повернулись ко мне спиной. Я совершенно отчетливо понял, что эти люди игнорируют меня только за то, что в этой компании блондинов я оказался единственным брюнетом. Тут во мне бурно взыграло самолюбие, и я выдал по полной программе все, что о них думаю.

Сейчас мне неохота пересказывать всю мою тогдашнюю речь, могу только упомянуть весьма удачную, на мой взгляд, мысль — “я — врач, и насмотрелся на блондинистых баранов вроде вас”... Слово “врач” я произнес с особым пафосом и собирался уже хлопнуть портфелем оземь, но какая-то пожилая женщина перехватила не столько даже мой портфель, сколько злобу, и спокойно сказала: “Успокойтесь, молодой человек. Поберегите ваши нервы для старости, а уехать в ту дыру можно именно с этой платформы”. Я вошел в вагон гордый, как аист. (Неплохое сравнение, да — гордый, как аист? А еще кое-кто говорит, что в моих рассказах мало образности.) “Здесь свободно?” — спросил я. И опять никто не ответил. Я плюнул и сел, не дождавшись ответа. Да и зачем мне нужно чье-то разрешение? Что, оно ему по наследству досталось? Или это его папа изобрел поезд? Сижу себе, думаю обо всем этом и тут замечаю, что рядом со мной сидит молодая женщина. Собственно, то, что она молодая, я понял только тогда, когда она спрыгнула с поезда. Потому что нижнее белье ее оказалось плиссированным, а такое белье носят только молодые. Рядом с ней сидел маленький мальчик. На это я уж совсем не обратил внимания, о чем потом горько пожалел. Знал ведь, что на детей надо обращать особое внимание, что надо в первую очередь сдружиться именно с детьми. Иначе... Короче, сижу себе, любуюсь пейзажем за окном. Думаю о чем-то. Не важно о чем. Готовлюсь плавно к сладостному, беззаботному, но крайне необходимому процессу дремы, как вдруг чувствую, как что-то обжигает мне бок. Оглядываюсь и вижу, как этот самый мальчишка, что был рядом с женщиной, стоит сбоку и совершенно спокойно совершает деяние, недопустимое в общественном месте, а попросту говоря, вынув свое мужское достоинство, впрочем, какое там достоинство, вот инструмент, который Залха увидела у нашего односельчанина Имралы, — это достоинство, а тут так себе, отросток не больше шелковичного червя, и орошает меня из него. Я с криком вскочил на ноги. Высказал его матери все, что думал по поводу ее сына. Та, не переставая, твердила: “Простите, Бога ради...” Окружающие смеялись. Видя это, она тоже присоединилась к остальным. Тогда я в бешенстве сорвал с себя рубашку и выжал на нее эту (примите к сведению!) вонючую жидкость. Судя по всему, женщина этого не ожидала. Она тоже завопила и вскочила на ноги. “Нахал!” — воскликнула женщина. Я с достоинством ответил, что это она нахалка, ее отец — нахал, все их семейство, включая кошку, — нахалы. С утра морочит людям голову рассказами о благовоспитанности своей кошки, но не может научить приличиям своего оболтуса-сына. Женщина возразила, что я бездушный и бессердечный человек, а обгадивший меня мальчик — еще сущее дитя, и нельзя так раздувать всякую ерунду. “Да знаете ли вы, кто я такой?” — закричал я. И не дожидаясь ее ответа, вытащил из портфеля журнал, где я был запечатлен обнимающим одного из своих “пациентов” — ягненка, а под фотографией была напечатана статья “Друг животных”. “Это я бессердечный?” — орал я, тыча им в глаза журналом. Я неистовствовал, но вдруг, взглянув на свое улыбающееся фото, успокоился. До чего же я выглядел счастливым. И ягненок улыбался и даже чем-то был похож на меня. Женщина, увидев мою фотографию, тут же растаяла. Итак, даже здесь, в российской глубинке, мне удалось доказать, что я не бессердечен. Она стала уговаривать меня не нервничать, оправдывалась тяжелым характером своего Вовочки, который, едва увидит возле нее мужчину, тут же спешит его... ну, это самое. Что значит: “это самое”? — удивился я. Все имеет свое название, и должно быть названо. Но я — врач, и верный клятве Гиппократа, тут же взял себя в руки, тем более что вспомнил женщину на перроне, уговаривавшую

меня не нервничать по пустякам. Кажется, в нашем техникуме в клятве Гиппократа был этот самый пункт насчет нервов. Потому что стоило мне начать нервничать, как преподаватели тут же напоминали мне о клятве Гиппократа. Но даже если это было не так, в настоящий момент о Гиппократе необходимо было вспомнить. Я уже собирался подвести итог этим размышлениям, как мое внимание снова привлек звонкий голос женщины. Он зазвучал у самых моих ушей и был на этот раз мягким и нежным. Она говорила о том, что мероприятие, на которое я еду, будет проходить недалеко от ее дома. Она приглашала меня к себе, обещала отстирать рубашку. Говорила, что дома нет никого, кроме ее матери и Вовки.

— А ваш муж?

— У меня нет мужа, — ответила она.

— Как это? А кто отец мальчика?

— У него нет отца... — Она произнесла это так гордо, будто иметь мужа было чем-то постыдным и неприличным.

— То есть как это — нет. Не с неба же он свалился, — удивленно спросил я, тыча мальчика в бок.

— Не с неба свалился, а на земле нашелся. Мы нашли его на дороге.

Потом Вера (так звали мою попутчицу) сказала, что была бы рада, если бы я принял ее приглашение. Что, мол, я не пожалею. Но, увы, я пожалел. То есть поначалу, до того момента, как я начал жалеть, все шло хорошо.

Мы пришли к Вере домой. Но перед этим Вера потянула за стоп-кран и стала уговаривать меня спрыгнуть на землю. Отсюда, мол, до поселка ближе. Но я, естественно, отказался, не желая рисковать по пустякам. Вера с Вовкой спрыгнули. Поезд тронулся, и тут я увидел, что Вовка размахивает папкой, в которой хранились все мои газеты, журналы, документы, то есть все, что составляло смысл моей жизни, мою визитную карточку, если хотите. Видно, мальчишка успел стянуть ее еще в вагоне, пока я бился в истерике. Я тут же бросился к двери, рванул ее и с портфелем под мышкой выпрыгнул из вагона. До

самого дома мы с Верой ругались, но тут снова мне на помощь пришла клятва Гиппократа, и я вынужден был в “чужом монастыре” взять себя в руки.

Вопреки ожиданиям, у Веры меня встретили хорошо. Собственно, если говорить о встрече, то мать Веры с кошкой в руках ожидала дочь у крыльца. Мать с дочкой многозначительно переглянулись, и я ни минуты не сомневался в том, что этот обмен взглядами касался моей персоны.

Справедливости ради должен сказать, что Вера выполнила все свои обещания. Она быстро отстирала и высушила мое белье. А я тем временем искупался в бане, которая была больше похожа на крытый загончик, хлев, но достаточно чистый. Тишина и покой дома настолько расслабили меня, что я даже стал забывать о мероприятии, ради которого приехал сюда. Но имидж друга животных вернул меня к действительности.

Естественно, мы отправились туда вместе. Я вел себя как и положено гениям. Впрочем, я имел на это право. Ведь не каждого приглашают на подобные мероприятия, тем более не каждого ветеринара. А потом вышло так, что я на этом мероприятии слегка выпил, и меня потянуло на тосты о том, как прекрасна профессия врача, о важности дружбы между народами и животными. Впрочем, не хочу вам морочить этим всем голову. Но наутро, когда я проснулся в том же аккуратном хлеву, Вера с большой охотой пересказывала мне мои речи, утверждая, что я человек особенный, ни на кого не похожий. А потом предложила мне пару дней погостить у них, если я не особенно спешу, и я тут же согласился. Как выяснилось позже, совершенно зря. Потому что оставшихся дней вполне хватило на то, чтобы я Верочку полюбил (с тех пор я называл ее только Верочкой, что было, согласитесь, проявлением моей к ней бесконечной любви).

Итак, однажды я наслаждался подаренными мне радостями жизни и любви. Рядом довольно мурлыкал и кот Веры, который, кажется, тайно ревновал меня к хозяйке, но, в отличие от Вовки, ничего лишнего себе не позволял. Разве что изредка поглядывал на меня и мяукал. Я только-только начинал осознавать, что женщины не такие уж противные существа, как вдруг зазвонил телефон.

— Алло, можно Веру Аракеловну?

— Кого?

— Веру Аракеловну.

Я ответил, что здесь такая не живет, и повесил трубку. Но телефон позвонил снова. На этот раз говорил женский голос. Спрашивали Веру Аракеловну Погосову. Я спросил у мамаши (так я уже по-семейному звал маму Веры), живет ли здесь Вера Аракеловна. Конечно, ответила она, ведь это же наша Вера. Ярость азербайджанца ударила мне в голову. Как это, Вера — армянка? Кажется, при этом даже лицо мое изогнулось в форме вопросительного знака.

— Нет, русская, — ответила мамаша.

— А откуда тогда взялся Аракел?

— А из увольнительной. Выяснилось, что отец Веры, Аракел, служил здесь в армии и как-то пошел в увольнение, случайно споткнулся и упал аккурат на Верину маму, причем упал так удачно, что ровно через девять месяцев, опять же совершенно случайно, на свет появилась Вера. В те времена на матерей-одиночек смотрели с неодобрением, поэтому в документах она записала Аракела отцом Веры. Хотя, может быть, им был вовсе и не Аракел. Но как докажешь?.. Наука в те времена не достигла еще нынешних высот, люди не умели ни предохраняться от беременности, ни определять подлинность отцовства. Глупы были люди. Слава богу, что по случайности Аракел забыл у них свою увольнительную, которая и явилась единственным доказательством его причастности к рождению ребенка, во всяком случае, ее хоть можно было предъявить в качестве оной работникам загса. Впрочем, знай она тогда, что все обернется именно так и страна советов развалится, она не стала бы делать подобной глупости. Но откуда ей было знать, она же простая женщина, а не пророк... Записала бы вместо Аракела какого-то Ваську. В конце концов, не так уж трудно было бы уговорить и самого Ваську, и работников загса. “Все мужики одинаковы”... Вы уже поняли, что этот утешающий монолог принадлежит Вериной маме.

А я никак не мог смириться с происшедшим. Как же здесь, на просторах России, я опозорил свою нацию! Я думал об этом, и кровь мчалась у меня по жилам, как испуганный ишак Моллы Насреддина. (Вот вам еще одно образное сравнение.) Скандал, учиненный мной, был столь же стремителен и яростен. Я кричал, что они нарочно заманили меня в свою ловушку. Потом бросился на чердак, горя желанием покончить с собой, ибо не видел другого способа смыть свой позор. Как это, я полюбил армянку! Обнимал, ласкал ее. Останься я здесь еще немного, она бы от меня забеременела.

Я лез на чердак, а Вера уговаривала меня не делать этого. Ясно, что я бы не убился — это точно, а покалечиться случайно мог. А если бы и умер, меня хоронил бы Васька. Но я был против Васьки. Я представил свою смерть. Дом Веры вместе с чердаком высотой не более десяти метров, но это не помешало мне увидеть, как я падаю с гораздо большей высоты, точней, лечу вниз головой с ускорением, которое рассчитал еще Ньютон. Особое удовольствие доставило мне зрелище Веры, рыдающей и рвущей на себе волосы над моим бездыханным телом. Не над каждым умершим любящая женщина будет рвать волосы. Потому-то азербайджанские поэты веками воспевают своих возлюбленных, чтобы после смерти обеспечить себе женщину, рвущую на себе волосы. Жаль все-таки, что Вера армянка, а не азербайджанка. Видно, это моя судьба. Я уж не говорю о священнике на похоронах. Он будет отпевать меня: “Во имя отца, и сына, и святого духа”. Я слышал уже церковный хор. Это было прекрасней всего. С детства я люблю слушать хоровую капеллу.

Собственно говоря, ни религиозные, ни музыкальные проблемы не имеют к моему рассказу никакого отношения. Но я думаю, что это недостойно: родиться мусульманином, а быть похороненным по-христиански. Хотя я и не знаю, как становятся мусульманами. Например, христиане своих детей крестят в святой воде, а мы с какого момента можем считаться мусульманами? Но мне было не до философствований. К тому же лучше всего умирать в Азербайджане. Положат покойного посреди комнаты и давай рвать на себе волосы да раздирать лицо. А русские сначала примут водки. А потом уложат покойного на стол, еще и “бабочку” ему на шею нацепят. Или же сначала положат покойного на стол, а потом принимаются за водку. Впрочем, какая разница — они исполняют свои традиции. Но мне не понравился костюм, который надела на меня Вера. Это, кажется, осталось еще от ее покойного отца. Мне стало не по себе. Я уж не говорю об этом Ваське. Он же плачет понарошку. Ведь этот сукин сын ни разу не видел меня. Если б он меня видел, то и я должен был бы видеть его. Я же его не видел. Да, картина, прямо скажем, была малоприятной. Я с самого детства не о такой смерти мечтал. Я должен умереть дома, слыша рев нашего осла, вой собаки, кудахтанье кур. Так записано в книге моей, и я не имел права изменять своей судьбе, нашим ослу, собаке, кошке. Вера умоляла меня. И чем дольше смотрел я на слезы, текущие по ее щекам, тем больше мне становилось жаль ее. Я уже проклинал все на свете — что она родилась от армянина. Да, я любил Веру, но не так-то просто жениться на дочери врага, опозорить свою нацию. Поэтому я собрал в кулак все свое мужество и национальное самосознание и покинул Веру. Я сел в первую же электричку и снова встретил ту пожилую женщину, с которой познакомился до всей этой трагической истории моей любви и которая советовала мне не нервничать. Она улыбалась...

Я же, стремясь забыть ее, свою большую любовь, сел писать домой. Но естественно, что сам я оказался дома раньше, и мне было стыдно читать собственное письмо. В письме я признавался, что люблю ее. Как же низко я пал. Полюбить армянку! Впрочем, во имя национальной гордости я отказался от великой любви и поэтому чувствовал себя гордым и возвышенным, как растущий перед домом тополь. Да, теперь я сидел на верхушке этого

тополя, до нижних веток которого раньше не мог и дотянуться, ел виноград и швырялся ягодами в лысые и косматые головы, проплывающие под деревом... Какими жалкими и ничтожными казались люди. Я в полушаге между счастьем и несчастьем. Потому что все вышло совсем не так, как я предполагал, и были вещи посложней попыток забыть мою великую любовь, и были они суждены мне задолго до того, как родился я. Может быть, и родителей моих тогда еще не было на свете...

Но чтобы не мучить вас, скажу, что через несколько дней раздался телефонный звонок. Звонили не мне, а нашему директору. Тот вызвал меня, долго, изучающе смотрел на меня, потом встал и подошел к окну. (Вы такое могли не раз видеть в кино.)

— Ну, что за х... ты опять спорол?

— Ничего я не делал. А в чем дело?

— Это у тебя надо спросить. Потому что тебя разыскивает КГБ... — Для большего эффекта, чтобы нагнать на меня больше страху, слово “кагэбэ” он произнес чуть ли не по слогам и с расстановкой. — Точней, они тебя нашли и вызывают туда... — Он кивнул в сторону здания КГБ.

— Не знаю, может, это связано с последними экспериментами. Ведь я работаю над проблемой скрещивания в естественных условиях английских племенных телок с нашими быками.

— Нет, эксперимент тут ни при чем. Подумай как следует.

Я, естественно, не задумываясь, ответил, что больше ничего за собой не знаю.

В КГБ меня встретил мужчина средних лет в очках. Одет он был безлико — белая рубашка, черный галстук. Впрочем, они все похожи друг на друга, даже если и не похожи, для меня они все на одно лицо...

— Значит, это вы герой? — В его голосе было больше укора, чем вопроса.

— В каком смысле — герой?

— Не спешите отвечать на вопросы. Правда, и вопросы еще не начались... Насколько близко вы знакомы с Верой Аракеловной?

У меня лицо вытянулось от удивления, и каждая мышца на лице затрепетала.

— А вы ее откуда знаете? — И в ответ услышал хорошо знакомые по множеству фильмов слова:

— Здесь вопросы задаю я, молодой человек.

Я ответил, что прекрасно знаю ее, и, не дожидаясь дальнейших вопросов, рассказал этому человеку все до мельчайших деталей, конечно, опустив несколько интимных подробностей. А в конце я сказал, что принес свою великую любовь в жертву национальной гордости.

— Значит, армянка... любовь... Молодой человек, вы не хуже меня знаете, что вся эта любовь — это чушь, все осталось в прошлом. Времена Лейлы и Меджнуна прошли.

Я попросил его говорить только о себе. Заявил, что Вера не имеет никакого отношения к армянам. Что она никогда не видела своего отца. Что осталась сиротой еще до рождения и не знала отцовских ласк. Что отец ее даже не слушал, как она стучит в живот матери. Кстати, последние слова принадлежали моей несостоявшейся свекрови.

— Это все болтовня, вот пошлем тебя в отдел фильтрации, сразу поумнеешь.

В оправдание я сказал, что отца Веры вполне могли звать не Аракелом, а, скажем, Адилем. И фамилия ее вполне могла бы быть Пашаева. И все это простая случайность.

— Дети случайно не рождаются, молодой человек. Во всяком случае, не настолько. Или ты думаешь, что мы здесь не знаем, откуда берутся дети?..

— Но она и по-армянски ни слова не знает. — Теперь я уже защищал Веру, и поэтому глаза гэбэшника наливались кровью, как у испанского быка. (Вот вам еще один образ. Пожалуйста...)

— Это мы обсудим позже, — проговорил он.

Меня заперли в какой-то маленькой комнате, где я предался раздумьям. И каждый из вопросов, которые я задавал себе, вполне тянул на объект изучения целого научно-исследовательского института. Откуда им известно о моем знакомстве с Верой? А может, это часть большой провокации, организованной против меня? А может, и Вера с ее мамой участвуют в этом? Почему они оставили меня жить у себя? Ведь я им никто. Они хотели что-то выведать у меня? А может, и женщина, которая смеялась в поезде, тоже была сотрудницей КГБ? От этой глубокой и мудрой мысли мой высокий лоб, свидетельствующий о несомненном уме, покрылся холодным потом. Я вскочил и начал быстрыми шагами расхаживать по своей клетушке, явно напоминая при этом несгибаемых коммунистов. Я вспоминал каждую деталь нашего знакомства — как кадры киноленты, замелькали они передо мной. (В кино вам не раз доводилось видеть, как воспоминания героя оживают у него перед глазами.) Морщины на лбу свидетельствовали о напряженной работе мысли. Ага, та смеющаяся женщина и была мамой Веры. Только она загримировалась. Потому, наверное, Вера и стащила меня с поезда на ходу, чтобы мать успела домой раньше нас и подготовилась к встрече. А ребенок, это дитя... Да никакое это не дитя... А хорошо подготовленный сыщик. И мои документы он взял намеренно, чтобы я пошел за ними. Это им нужно было для дальнейшей операции. Причем здесь могла быть замешана и Интелленджис сервис. Да и вообще все разведки мира, может, и Интерпол интересуется мной. А вдруг мои исследования действительно имеют огромное, невиданное до сих пор в мировой цивилизации значение. Моя бедная покойная бабушка, она с детства верила, что я стану великим ученым. Живи она сейчас, знай, с какими могущественными силами и во имя чего я веду свою борьбу, может, она и не умерла бы. Я в растерянности потирал лоб. Конечно, дело здесь серьезное. Может, это проверка? Возможно. Может, это один из способов проверить, насколько граждане преданны своей родине? Они имеют возможность убедиться, что я не болтун. На встречу с инопланетянами можно посылать только хорошо проверенных людей, умеющих держать язык за зубами. А ведь они могли узнать, что я с детства интересуюсь инопланетянами и мечтал стать космонавтом. Ведь когда сдохла наша буйволица, бабушка сказала мне, что она не умерла и душа ее на том свете. Что-то у меня с памятью: когда бабушка говорила мне это — после смерти буйволицы или дедушки? Но говорила — это точно, и добавила еще, что и ее душа улетит на небо. Но ведь я мог спасти их. Только теперь я понял, что как не случайно рождаются дети, так и я не случайно стал ветеринаром. Может, поэтому

меня и хотят направить в другую Галактику, на встречу с внеземной цивилизацией. Во всяком случае, это дело довольно серьезное. Ни в чем нельзя признаваться. Я вспомнил фильмы про разведчиков. Да, я должен все отрицать! “Я ничего не знаю. Ничего не слышал. Помню ли я партизан? Им не провести меня...” Конечно, здесь не последнюю роль сыграло и то, что я два года проучился в техникуме, и мои нынешние эксперименты. Клятва Гиппократа. Поведение волков, попавших в западню...

— Я никого не знаю, — заявил я конвойному, который пришел отвести меня на второй допрос.

— Расскажешь это там, — сказал он.

В кабинете гэбэшника я увидел и нашего директора. У него глаза полезли на лоб, когда я повторил свое гордое заявление.

— Как это не знаешь? Вера сама приехала к тебе в Баку, а теперь сидит в изоляторе КГБ. Она во всем призналась. “...Это еще одна проверка. Не может быть...”

— Ничего не знаю. Это все ложь, — упрямо твердил я. — Я никого не знаю.

Директор переглянулся с гэбэшником, покачал головой и повертел пальцем у виска.

— Мы направили туда письмо, — сказал тот. — Все подтвердилось.

— Что подтвердилось? Вы лжете!

— Не волнуйтесь, молодой человек, — обратился ко мне гэбэшник. — Наши подозрения оказались безосновательными. — С этими словами он протянул мне письмо. Оно было из города N, на конверте стоял специальный гриф. Из письма следовало, что у учительницы Погосовой Веры Аракеловны никогда не было отца. Вообще никогда не было...

События, последовавшие за моим отъездом, развивались со скоростью хорошо продуманной операции. Разлука со мной оказалась для Веры невыносимой. Она бросилась за мной в Баку. В аэропорту заглянули ей в паспорт и тут же задержали. Меня мучили угрызения совести. Как я мог не верить женщине, которая так любит меня, как мог сомневаться в искренности чувств женщины, готовой рыдать и рвать на себе волосы над моим трупом! Я не мучился так даже тогда, когда умерла наша буйволица. Будь жива сейчас бабушка, она, наверное, ругала бы меня за то, что я не поверил своей Великой любви. Стала бы она кормить меня яичками, яблоками? Пошлют ли меня теперь в далекую Галактику? Я не находил ответов на эти вопросы. Бедная Вера. Ее выслали обратно прямо из аэропорта. Мне только разрешили попрощаться с ней через окно. Вы не можете не почувствовать — насколько была невыносима эта ситуация. Поэтому поговорим лучше о “хеппи-энде”.

Итак, я снова в поселке Рог, стою у дверей Веры.

— Вера, Верочка, это я, — говорю.

Вера бросается мне на шею, обнимает. И тут я чувствую, как постепенно намокает моя штанина. А рядом стоит Вовочка и... А мы отражаемся в небольшой лужице, рожденной Вовочкиной ревностью...

*Перевод М.Гусейнзаде*

**Дед, бабка и коммунизм**

Моего дедушку арестовали за то, что он косо смотрел на коммунизм. Кабы глядел прямо — жил бы в добром здравии в родном селе, в своем очаге, растил бы потомство, как все мужики, а не оставил бы детей на бабушкиной шее.

Деда моего не расстреляли благодаря бабушкиному племяннику, сослали в Сибирь — только и всего, точнее говоря, его не поставили к стенке потому как он доводился супругом моей бабке. Ей-ей, еще легко отделался. А то бы за такие дела — косо на советскую власть глядеть! — пустили бы в расход как пить дать.

Тот племяш бабкин — я, говорят, в него пошел, мир его праху — ушел на войну и не вернулся. Покарай Аллах и бабку Гитлера, чтоб и ее племяш сгинул. Бабка моя гордилась, что деду влепили пятнадцать лет. Не будь бабки, ее племяш не стал бы обивать пороги ради деда — ведь кто бы стал искать какого-то чабана захудалого, и, конечно, давно бы деду моему тлеть в сырой земле.

Дед из Сибири не вернулся и, по догадкам бабки, там же, наверное, обзавелся семьей, не вернулся в село из-за страха перед советской властью. Бабка считала, что в Сибири власти советской нет. Потому, мол, и сослали деда туда. Глушь — она и есть ссылка, как и наша сельская дыра. Но там всегда валит снег. Причем снег еще белее, чем у нас, потому что небо там ближе к земле. По словам бабки, Сибирь она во сне видела, и рассказал ей о ней приснившийся сосланный дед...

Я уже, кажется, говорил, что дед влип из-за бабки по сути. Потому как, когда приехали деда сфотографировать в газету, бабка оказалась рядом с ним на выгоне, и дед, человек ужасно ревнивый, осерчал, что бабка так и впилась глазами в аппарат, и рявкнул на нее. Фотограф растерялся в тот момент и щелкнул его. Бедняга испугался деда — здоровенного человека. Ел, говорят, за семерых. Когда бабка вспоминала об этом, губы ее трогала улыбка, и она смущенно прикрывала рот платком — яшмагом. Она гордилась тем, что дед из-за нее и загремел в ссылку, не могла нахвалиться на его богатырскую стать. Вообще, бабка всю жизнь блюла этот обычай — даже когда яшмаг был обьявлен пережитком прошлого, она продолжала прятать пол-лица платком. Этот знак качества азербайджанской женщины пожизненно оставался на бабушкином лице...

Когда деда фотографировали, ему полагалось смотреть вперед, в светлое будущее, а он окрысился на бабку, а получилось, что на коммунизм. Между тем дед одним из первых записался в колхоз вместе с парой гусей и одним мулом — больше у него ничего за душой и не было, во всяком случае, так молва гласила. Потому и решила власть, видимо, портрет сознательного деда опубликовать в газете. Бабка моя до той поры газет и в глаза не видела, но догадывалась, что это нечто красивое. Может, при фотосъемке деда случилась

иная закавыка. Во всяком случае, все обернулось деду во вред. Бабке как на грех приспичило поглазеть на это событие и воочию пронаблюдать, как такой огромный мужчина может поместиться в этом самом аппарате... И смех, и грех...

Весть о прибытии фотокорреспондента застала всех врасплох. Он, бедняга, проделал весь долгий путь, трясясь на хромой кляче Мохаммеда, которая отроду не могла скакать, поэтому стоило кому-то делать работу медленно, как ему припечатывали кличку “Кляча Мохаммеда”.

В силу внезапности прибытия фотокора дед с бабкой не успели осознать значимость события. Знай бабка, какой бедой оно обернется для деда, ни за что бы не позволила фотографировать его. Как впоследствии она не позволяла нам сниматься.

Итак, снимок деда дошел до высоких кабинетов, и лицезрение деда вызвало сильные сомнения в его политической благонадежности. Этого оказалось достаточно, чтобы деду пришили дело с клеймом “кулак”. Бабка-то узрела злополучный снимок позднее, когда деда уже увели и в село пожаловал следователь, как в народе говорили, “силистчи”, для дознания, показал ей фото и наставительно изрек: “Положено, бабуля, смотреть вперед, так сказать, в светлое будущее, а твой спутник жизни вместо этого, видишь, рот скривил, рожу скорчил, это же форменное издевательство над коммунизмом!”

Бабушка по простоте душевной клюнула на удочку и подтвердила, да, мол, муженек ее смотрит тучей, глазами сверкает. Где ей было знать, что следователь ловит ее на слове.

Бабушкин племянник привез из Баку какую-то судебную бумажку. Бабка до конца дней хранила эту бумагу как реликвию, память о деде. Позднее исчезла эта цидуля. Могу предположить, что бабка забрала ее с собой на тот свет, чтобы свести счеты с дедом и этим следователем. Бумажка эта, видимо, была копией обвинительного заключения. По словам бабушки — сама-то она была неграмотная, ей зачитал племянник, который потом погиб на фронте, — там говорилась, что жена Гашима Арых-оглы Гонча Молла Мохаммед-кызы подтвердила, что ее супруг “мрачно смотрел на коммунизм”. “Чтоб отсох мой язык, если я такое говорила!..” — сокрушалась бабушка, с ее слов следователь записал, что, когда сосед Бадиргулу нарек новорожденного сына именем “Коммунист”, мой дед посмеялся: “Коли коммунистам позарез нужны моя хромая кляча и пара гусей, то дальше некуда”. А следователь, сукин сын, возьми и политическую подкладку подведи, что написано пером, того не вырубишь топором... До этого охальника не дотянешься, не докричишься — город далеко. Вот и божилась, клялась, обращаясь к судебной бумаге, валлах-биллах, у мужа и в мыслях не было, чтобы над коммунистами изгаляться, так просто, в шутку подначил... И добавляла, что “Бадиргулу за словом в карман не полезет,

ответил на дедовскую подначку: "Мой Коммунист еще мал, а вырастет удал..."" Бабушка рассказывала, ей при беседе со следователем казалось, что ей удалось убедить последнего, что слова деда были сказаны в шутку. А теперь сокрушалась: "Где было мне знать... Думала, раз он уже знает мужа моей внучатой племянницы Мамедгасана, не станет цепляться за мои слова, подводить под статью... А он оборотнем оказался..."

Итак, бабка там подтвердила, что на фотоснимке фигурирует мой дед, уверяла, что дед смотрел аккурат прямо перед собой, а не куда-нибудь, а причину кислой мины на лице надо искать в другом, наверное, внутри аппарата лицо покривилось или же его смяли, когда снимок брали в руки. Следователь занес в протокол и эти мудрые суждения бабушки, но, не веря в их искренность, пригрозил посадить ее за то, что выгораживает мужа, косо смотряшего на коммунизм, правда, потом смилостивился и пощадил, учитывая ее доброе знакомство с Мамедгасаном, промышлявшим рытьем колодцев. Тот следователь впоследствии и сам бесследно исчез, видимо, Аллах покарал его за зло, причиненное моему деду.

Мой отец извлек урок из этого события. Потому всю жизнь смотрел только вперед. Даже траву косил не наискось, по дуге, а по прямой линии, а если садился за руль трактора, то выбирал только прямолинейный путь. И сфотографировался только один раз. После того как председатель колхоза, ныне покойный, Мухтар накричал на него, стал на фоне занавески, повешенной поверх стенки хлева, и устремил оптимистический взор на буренок, пасшихся на лугу, и ночами не спал, пока снимок не извлекли на свет божий. Бедная бабка моя ублажила фотографа Афсара большущей, с ягненка, индейкой, чтоб он был осторожным и чтоб отец на фотографии получился как положено, с подобающим целеустремленным взглядом и выражением лица. Отец получился как есть: с орлиным носом и выпученными глазами, устремленными в светлую даль.

Из-за этого поступательно-прямолинейного движения по жизни отец мой однажды угодил вместе с трактором в арык, а в другой раз наехал на бычка Миралы. После такой незадачи он пошел из трактористов в волопасы как бы по стопам деда, чем возрадовал дух усопшего. А вот бабка моя до самой смерти не верила в то, что у ее муженька есть дух. Так как сильно сомневалась, что дед отправился на тот свет. И вообще, считала она, будь у деда дух, то он не стал бы бояться советской власти и вернулся бы в эти края, хотя бы приснился ей... Ведь дух-то не арестуешь... Правда, дед после отправки в ссылку снился ей, но всего-навсего пару разочков.

Итак (это выражение, как и "простите, что сижу к вам спиной", пристало к языку, никак не отделяется, видно, наследственное), деда моего упекли за то, что косо смотрел на коммунизм. Бабка рассказывала нам об этом по меньшей мере раз в году, а уж если выпадал снег — то непременно. Потому что деда забрали на рассвете того дня, когда к

вечеру выпал снег и дед не смог прихватить с собой теплую одежду. Бедный, как выдержал этот мороз без теплой одежды, горевала бабушка. Порой бабушке приходило на ум, что деду следовало рвануть из той глуши и никакой сукин сын его бы не догнал. Позже следователь, прибывший в село, сообщил, что дед пока содержится в городе. Бабка кинулась в райцентр и вместе с племянником, жившим там, приехала поездом в Баку, там попала на прием к чиновнику, как две капли похожему на нашего земляка Бахшалы, растолковала на простецком языке причину, почему дед косо (при слове “косо” она понижала голос) смотрел на коммунизм. Чиновник не усек, тогда на помощь пришел племянник — машаллах, язык у него был подвешен, — объяснил что к чему, и деда не расстреляли, ограничившись ссылкой. Бабка именно тогда впервые увидела злополучную газету со снимком деда.

Накануне дня, когда арестовали и увезли деда, бабке, беременной моим будущим родителем, страх как хотелось татарника, и деду наутро надлежало отправиться в низину за этим зельем, а если не найдется — и где было взяться татарнику в разгар зимы, — то чего-нибудь похожего принести, да упокой Аллах душу его родных, хотя и крут был дед, а все равно милосерд, и бабка моя разрешилась моим будущим отцом, причитая “гангал, гангал”, то бишь татарник. И пусть Аллах отнимет душу у бабушек тех, кто увел моего дедушку, и чтоб они при смерти так вот и причитали...

После того как деда упекли в край, откуда нет возврата, приходили сватать бабку мою разов десять, особливо зачастили в годы войны, когда и ячменных лепешек не сыскать было, но бабка моя, щадя чувства моего отца, всем дала от ворот поворот. А по деду не шибко убивалась и была права, потому как даже по прошествии пятнадцатилетного срока дед не вернулся.

Как я уже говорил, бабушка точно учуяла, что дедушка обзавелся новой семьей и обосновался в Сибири. И теперь наверняка есть у него детки, которые доводятся едва ли не ровесниками моему папаше. И вот однажды, когда я вырос и, как у нас говорят... стал носить брюки (будьте любезны, многоточие домыслите сами), из далекой заснеженной тайги пришло к нам письмецо. За подписью “Володя Гашимович”... Черт побери, бабушка как в воду глядела!..

*Перевод С.Мамедзаде*

## Письмо серого осла

Сколько ни кричал я, никто на зов не отозвался…

Письмо, без адреса отправленное мною в село, попало к нашему ослу, оставленному там впопыхах во время повального бегства при нашествии армян. Получив от нас весточку, осел довольно долго кричал от радости и тоски, вместе взятых, но ни звука не было ему в ответ. Тогда-то он и решил написать мне ответное письмо.

Прежде чем перейти к его содержанию, должен сказать вам, как уже и раньше говорил, что мое особое отношение к ослу имеет много причин. Во-первых, я родился в один день с прадедом нашего осла. Во-вторых, мать, отец и осел во дворе — это первое, что видит ребенок, появившийся на свет в нашем селе. В-третьих, спина осла, так же как и спина матери, нередко служит для него колыбелью. Четвертое — и самое главное — у нас в селе на человека, не имеющего осла, смотрят как на вышедшего из тюрьмы…

Свое особое отношение к нашему ослу я уже описывал в рассказе “Баллада об осле”, потому не вижу необходимости останавливаться на этом подробно, чтобы не отнимать вашего драгоценного времени. Так что перейдем к письму, написанному мне нашим ослом. Посмотрим, что он пишет.

…Гага1 (“Гага” — это слово наших мест), со времени вашего отъезда, то бишь бегства, я перестал быть ослом. Теперь я уже и не осел вовсе, ничего во мне от осла не осталось. Причиной тому — все, приключившееся со мной за это время, и если я не поведаю тебе этого, то сердце мое разорвется на части. Значит, так, проснувшись однажды утром, я, как обычно, прокричал один раз, потянулся, повалялся с боку на бок и стал принюхиваться к оставшейся с вечера траве. Но тут появился твой старший гага, положил передо мной охапку сухого сена, причем не заперев калитки забора, за которым стоял стог сена. Потом он погладил мне спину, ничего не сказал, то есть не оседлал меня, отвязал с шеи моей веревку и ушел. Обычно, когда меня угощают травой, я брыкаюсь от радости. Но дело в том, что мне дали сухой травы, тогда как есть свежая. Это было очень странно. Такое поведение гага меня удивило настолько, что я забыл о своем важном ритуале —

взбрыкнуть от радости. Обычно, отвязав веревку с шеи, отводили пастись на выгон, где привязывали за ногу. На этот раз такого не было. Будто почувствовав неладное, я, слегка вытянув шею, понюхал пахнущие сеном руки гага. Только он не заметил этого и ушел.

1 Гага (диал.) — уважительное обращение к старшему брату, дяде.

На какое-то время я занялся едой, не двигаясь с места. Меня, правда, отвязали, но я ведь забыл об этом, потому как никогда не разгуливал с неповязанной головой в свое удовольствие. Я же мусульманский осел.

Так и стоял я до полудня и лишь когда, решив поваляться по земле, опустился на правый бок, почувствовал, что голова моя не на привязи. И снова я был поражен и долго размышлял над этим. Но ты ведь знаешь: где у меня голова, чтобы думать? (Шучу.) Даже если и есть она у меня, то думать терпения нет. Я вышел во двор, взмахнул ресницами-метелками и огляделся вокруг. Чтобы нарушить окружавшую меня тишину, сделал еще пару шагов к середине двора. Честно говоря, тишина эта меня ужаснула. Средь бела дня вспомнился волк, и я закричал. Но ответа не было. Тогда я повалялся во всех самых приметных уголках двора, слегка пощипал листву с тутовых деревьев, и снова никто не кинулся ко мне, не прогнал. Понюхал цветы во дворе — опять никого. Страх и беспокойство охватывали меня все больше.

Гага, осел без привязи, без веревки и не осел вовсе, а что-то вроде взбесившейся собаки. Аллах создал осла для того, чтобы человек с него не слезал, бил, ругал, ни на минуту не оставляя в покое.

Чтобы развеять полнившую сердце грусть-печаль, я вышел на дорогу. Взбрыкнул пару раз, поднимая себе настроение, и в четыре ноги поскакал к мосту, где прокричал раз в одну сторону села и раз — в другую. Ни звука. Вдалеке как будто послышалось что-то, напоминающее ослиный крик, но тут же пропало. Я потрусил через железную дорогу и долго бегал по футбольной площадке, куда водил ты меня пастись. Побегаю — покричу, постою — покричу, все без ответа. Вокруг ни души. Свесив уши, опустив голову, вернулся я к себе во двор. На вожделенный стог сена даже глазом не повел. Прилег потерянно, пытаясь разобраться. Такое внезапное исчезновение всех не могло быть хорошим знаком.

Отец как-то рассказывал мне, что в былые времена люди, перекочевывая из долин в горы и с гор в долины, всех забирали с собой, в том числе и ослов. Он говорил об этом с

гордостью, песнею пел, в доказательство демонстрируя стертую спину и старое седло. Особенно голосисто он пел о том, что люди не могли обходиться без ослов, что эти два создания живут вместе с сотворения мира и, даже умирая, не разлучаются. А как-то он с грустью рассказал мне о том, как его двоюродный брат оступился в горах и рухнул со скалы вниз вместе с седоком, так что оба приказали долго жить… Но теперь ведь не могло быть так, что вы ушли в горы, а меня оставили здесь. Долго размышлял я обо всем этом — и, может, ты не поверишь, но в тот день я ничего не ел и не пил.

Когда рассвело, обошел двор, глянул на мяч у забора, с которым играли дети. Поддев его ногой, выкатил из-под забора, провел по нему носом, вдыхая сохранившийся аромат детских игр и забав. Потом, робея, прошел в открытые двери сарая, где стояли мешки с мукой. Подошел к дому и, упершись передними ногами в основание веранды, заглянул внутрь: палас, оставшийся от вашей бабушки, расстелен посреди веранды, но комнаты пусты. Подумалось, что вы, вероятно, переехали. Расстроившись так, что сердце черной кровью изошло, вышел на середину дороги и в поисках собеседника направился в верхнюю часть села. Неохотно напился воды из родника Симузяр, тогда как всю жизнь мечтал об этом. Оглядел пастбище, лужи, где обычно нежились буйволы. Никого не видно. Лишь вороны, каркая, чуть поодаль кружили над еще не подсохшими коровьими лепешками…

Прошло два дня, не знаю, вечер то был или полдень. Как вы сверяете часы по моему крику, так и я время дня определял по тому, когда отправляли меня за травой. Надо сказать, день был солнечным, и вдруг словно гром загремел, сверкнула молния, небо разверзлось, и что-то большое, со страшным звуком упав к нам во двор, взорвалось.

Двор содрогнулся.

Собака Тамаши, оказывается, пряталась под домом и теперь, повизгивая, выскочила, отбежала к арыку и вдруг, повалившись набок, упала в воду. Я ничего не понимал. Но то, что упало с неба, не было градом или чем-то еще, оно было очень большим и на земле оставило огромную воронку.

По версии одноухого осла Кархулу Гуламали, это нечто, неожиданно свалившееся с небес, было карой Аллаха, посланной людям за неразумность. А позже в село пришли люди, говорившие не на вашем языке. Они осмотрели меня со всех сторон, даже под хвост заглянули, потом по очереди сидели на моей спине. Наконец, угостив меня пинком под зад, ушли. И больше не приходили. Я уже готов был их принять за хозяев. Судьба у нас такая: чтобы быть ослом, нам нужен хозяин. Как бы ни было тебе обидно, должен сказать, что наш патриотизм определяется хозяином. Все равно сейчас нас никто за ослов не

держит. Даже волки близко не подходят. Да и ты, если увидишь меня, не узнаешь. Совсем упали в цене…

Иногда, скучая, мы беседуем о том о сем с одноухим ослом Кархулу Гуламали, о котором я тебе говорил (оказывается, он долгое время не отвечал на мои крики по причине глухоты своей). О прошлом говорим, делимся наболевшим. Вспоминая, как дети, радуясь, ездили на наших спинах за травой, печалимся. Что может быть лучше, чем порадовать ребенка. Оказывается, осел Гуламали глух от рождения. Говорю от рождения потому, что он никогда не слышал своего крика и даже не знает, как он звучит вообще. А сам так орет, что все живое вокруг разбегается. Он хоть и глухой, но очень умный и мудрый осел. Говорит, что с детства так пристрастился к газетам и столько их прочитал, что в конце концов Кархулу Гуламали отрезал ему ухо. Но ему это нипочем — зачем глухому ухо, только мешает, если в колхозный сад там зайти или еще куда…

Каждый день я слушаю и не могу наслушаться его сказок о прошлом и соображений о будущем. Ты ведь знаешь, как я сказки люблю и этим похож на прадеда своего. “Весна придет, клевер прорастет” — эта мудрая поговорка посвящена нам, но и вы порой ею пользуетесь. Ну и на здоровье. Чем мы лучше вас… Из одного родника воду пили. Сказал “родник” и вспомнил, что родник Симузяр пересох, на днях пустил последнюю слезу.

Но не будем о грустном, чтобы не расстраивать тебя.

Осел Гуламали, то есть мой друг и брат, рассказывает очень интересные вещи. По рассказам его наши с ним прадеды дружили чуть ли не с сотворения мира.

Твоя мысль о том, что “все зависит от судьбы”, часто приходит мне на ум, и я судьбой своей доволен, раз дети двух старых друзей наконец-то нашли друг друга. Не стану утомлять тебя рассказами об их дружбе, но иногда осел Гуламали рассказывает такое, что трудно поверить. Гага, он говорит, что мы, ослы, раньше могли плавать и парить в небесах. Не знаю, правда ли это. Да еще каждый день повторяет, что сможем летать и сейчас, если захотим. Иногда, показывая на гору Моллалы, говорит, что уже долгое время тренируется и придет время, он оттуда взлетит. Если тело тяжестью своей потянет вниз, дух его взмоет к небесам.

Был бы ты рядом, спросил бы у тебя, правду ли говорит он. Надо сказать, у осла Гуламали нет имени. Ослам так и так не дают имен. Но я, пользуясь случаем, то есть отсутствием людей, назвал его “Тайгулаг”1, и он не обиделся, потому как не слышит. Бедный Тайгулаг

не слышал и звука посланной Аллахом кары. А Кархулу Гуламали, уходя, даже не отвязал его. Как услышал я это, сердце сжалось, так жалко его стало. Ты ведь знаешь, какой я жалостливый еще с тех пор, как был осленком. Бедняга, три дня и три ночи он молчал в страхе перед волками. Наконец пришла собака Гуламали, перегрызла веревку и выпустила его на свободу. Он тоже долго бродил в поисках живой души, пока случайно не встретил меня. Клянусь, гага, если б я не встретил его, то сейчас забыл бы, как кричать по-ослиному. Ведь мы кричим, в основном встречая друг друга, от радости, потому что боимся одиночества. К тому же, зная, что его никто не услышит, ослу и кричать не хочется. А еще наш род кричит для того, чтобы уверить и себя, и других в том, что мы есть на этом свете.

Гага, душой твоей клянусь, я забыл все свои обиды. Только бы вы вернулись. Без вас эти края утратили вкус. Дразнясь, вы называли меня приданым Муртузы, так и осталось за мной это имя — “Джехиздик”2 … Помнишь, когда у старшего гага родился ребенок, Муртуза подарила меня внуку, и вы все подсмеивались надо мной.

1 Тайгулаг — одноухий.

2 Джехиз — приданое.

Я тогда только-только стал возить поклажу и, гордо вышагивая, не подавал виду, что мне тяжело, когда дети все разом садились на меня или же впрягали в тележку. Обижался на то, что вы так дешево меня цените. Поверь, теперь я не обижаюсь. Такое бывает. О вас же я помню только хорошее. Помнишь, как-то везя с ребятами сено, вы решили ехать наперегонки. У меня тогда болела нога, не мог бежать как следует, а тебе, родной, это не нравилось. Ты всегда хотел быть первым и ударил меня серпом по голове. В глазах у меня потемнело, ноги стали спотыкаться, и я, не удержавшись, повалился на землю. Ты сразу спрыгнул с моей спины, открепил телегу, поднял меня, поставил на ноги и обнял мою голову. Этого я никогда не забуду. Я тебя так полюбил тогда. Вспоминая те дни, я страшно тоскую. А однажды, помнишь, ты так гнал меня, что оглобли вдруг оказались впереди меня и ты, перелетев через мою голову, упал на землю. Еле сдерживаясь от смеха, я тотчас остановился, чтобы телега не раздавила тебя. Да, хорошие были деньки.

Гага, я сильно скучаю. Хожу по селу из конца в конец. Вволю брыкаюсь, катаюсь по земле с боку на бок, кричу, в общем, делаю все то, чем наградил меня Всевышний. И еды вдоволь. Я даже поправился, морда округлилась и выровнялась. Теперь я похож на вашу породистую корову, которой всегда завидовал. Наедаясь здесь и поправляясь, я словно предаю вас, съедая вашу долю. В общем, мне есть о чем написать да рассказать тебе…

А мечта осла Гуламали сбылась. Как я ни просил, не послушался он меня. Сказал ему, не лети, кто на земле тогда останется, кто будет моим собеседником? Не послушался он и спрыгнул вниз. Сколько ни дергал ногами, взлететь не смог и со стуком упал на землю. Открыл глаза, улыбнулся: “Хорошо я летел, не так ли, дух из тела вон. Иду искать своих. Вспоминай меня, глядя на небо, ищи среди звезд”. Сказал так и закрыл глаза. Не объявлялся ли он в ваших краях… если кто видел или слышал о нем, так сообщи сюда…

Теперь я один. По утрам смотрю, как солнце всходит, по вечерам — на закат. Ночью играю с Луной. Глаз от ворот не отрываю. Как какой стук, ушки на макушке. Жду вас, скучаю…

Недавно отправился я в Ял-оба, пощипывая травку, прошел сад Гурбаналы и вышел к Одинокому тутовому дереву. Помнишь, ты приводил меня туда пастись. Я дремал в его тени, лакомился его листвой. Делился с ним своей печалью. Рассказывал о твоем озорстве… Одинокий тут тебя очень любит. Ты ведь в детстве часто спал под ним. Мама твоя собирала хлопок, а ты у его подножия, сладко посапывая, спал. Помнишь? Теперь это гордое дерево, что гостеприимно принимало всех в своей тени, стоит понуро. Постарело, выцвело. Будто стыдится своего вида. Престарелый Одинокий тут. Ты, наверное, знаешь его историю. Все понял из шелеста, шепота листвы его: как грудью встал он перед врагом, как прятал в своем дупле Гачага1 Гара… Гага, сказал “Гачаг” и кое о чем подумал. Скажу, даже если обидишься. У нас говорят: храбрость — десятка, девять из нее — платье, один — бежать. Наши, кажется, выбрали десятый вариант. Однако сейчас не время осуждать.

1 Гачаг — беглец, ведущий борьбу против угнетателей в Азербайджане XIX—нач. XX в.

Бедный Одинокий тут. Хотел заплакать я, он не дал. Чего, говорит, плачешь, я ведь не умер. Бедный старый Одинокий тут, постарел совсем, устал и потихоньку стал желтеть да вянуть. Кому нужно дерево, тень которого никому не нужна…

Пересох и мельничный арык, где вы купались в детстве, и рыбы в нем поумирали от тоски. Какая цена воде без рыбы, арыку без воды…

И птицы улетели отсюда навсегда. Словно и нет здесь ни весны, осени. Деревья не цветут. А для кого им цвести… Для одного осла, что ли? Кто с ним считается…

Гага, пишу это не для того, чтобы тебя расстроить, а просто чтобы сообщить о положении дел в селе…

Гага, ответа от тебя не хочу. Знаю, что, как всегда, у тебя много работы. Лишь одна у меня просьба. Закончив письмо, я пару раз прокричал в вашу сторону по-нашему, по-ослиному. Если есть такая возможность, прокричи и ты нам сюда…

Февраль 1999

**Фикрет Годжа**

**Тебе выбирать...**

*Стихи. Перевод Мансура Векилова и Вячеслава Зайцева*

**По миру течет Араз**

Протекает по миру Араз —

Огнь с водой

Разделяют реки полосу.

Вид его берегов — не для глаз:

Перцем жгут,

Высекая слезу.

Протекает по миру Араз —

Его волны,

Друг с другом борясь,

Косят солнечных прядей лучи

На закате и в утренний час.

И дрожит молодая луна,

В водах этой реки раздвоясь...

Между хмурых бровей,

Между двух моих глаз,

Словно пот, солонясь,

Протекает Араз...

Он течет кровью в сердце моем,

Наполняя мечты окоем.

Как близки по тоске стали нам

Страны-двойни: Корея, Вьетнам...

Их Араз разделяет, Араз!

Он незримо течет среди нас:

Из-под всякой границы течет,

Из-под разницы вер и рас,

Из-под прошлых бесчисленных дней

В день, которым мы живы сейчас...

Он течет через мир преград,

Мой Араз —

И пускай течет, —

Но с народом народ,

С братом брат

Да не будет вовек разлучен!

## Канатоходцы

С утра шумит большой базар —

Галдит, ругается, смеется...

А над базаром высоко —

На проволоке —

Канатоходцы.

Они являются сюда,

Где толчея и суета,

Не торговать, не красть,

А с жизнью поиграть!

Их путь пружинист и высок, —

Попробуйте, измерьте!

Блестящий тонкий волосок

Их бережет от смерти.

Ни влево и ни вправо —

Опасная забава!

Внизу — базар,

Любой товар:

Есть пахлава

И похвала,

Есть вина

И невинность,

Есть в бочках ложь медвяная

И ложка деревянная,

И соль здесь есть,

И совесть,

И что ни спросишь, — все есть!

Продал,

купил —

вошел в азарт!

С утра кипит большой базар!

Здесь каждому неймется...

А над базаром —

словно бы

По краешку колодца —

Идут канатоходцы.

Им разве жизнь не дорога? —

Чуть только соскользнет нога...

Никто и не помянет:

Базар — он делом занят.

Упал один —

Встает другой.

Канат пружинит под ногой...

Канат блестит на солнце...

Идут канатоходцы!

**Между прочим...**

Говорят,

что с годами

Слабеет умом человек.

Но к чему обобщенья?

Скажу между нами:

Тем мудрее мудрец,

Чем длинней его праведный век,

А глупец — это да:

Потихоньку глупеет с годами...

**Тебе выбирать...**

Человек вершиной станет —

Если он живет как надо,

Человек песчинкой станет,

Если унижаться будет.

А в диапазоне этом —

Бесконечном —

Люди, люди...

И возвыситься нетрудно,

И унизиться нетрудно, —

Это тоже неподсудно...

Перевод Вячеслава Зайцева

## Деревья

Редеет лес по берегам Куры,

Деревья сохнут,

Падают стволы,

Как будто бы в округе нет воды.

Откуда ждать спасенья от беды?

Но нет, не от грозы,

Не от пилы,

Не от безводья падают стволы.

В лесу побеги юные встают,

И шепчутся над мертвыми стволами,

И жизнь во всем значенье познают,

С ее знакомясь острыми углами.

Стволы, стволы, стволы по берегам —

Деревья пали у речной излуки,

Безжизненные ветви — словно руки.

А каждое при жизни — великан.

Повержены могучие стволы,

Как будто здесь рубился Кёр-оглы.

Нет, ежевичный куст не упадет:

Он мал,

Он неприметен,

Он живет.

А эти дорастали до небес,

Упали и лежат...

Редеет лес.

## Грузинская здравица

Над столом

Рог с вином

Возникает сперва,

А над рогом,

Потом —

Тамады голова.

И, ответственность всю понимая,

Тамада

Не спеша произносит слова:

“...Валико — знаменитый чабан!

Шалико — знаменитый шофер!

Генацвале, какой разговор!

Мы же рог поднимаем —

не жбан!”

Пьем, естественно, за Валико,

Пьем, естественно, за Шалико.

Тост за тостом...

Конец — далеко.

Пьем за всех!

Это, брат, нелегко!

Положенье гостей таково,

Что обидеть нельзя никого!

Я поднял бы за каждого рог

И за каждого выпил до дна,

При условии, если бы мог

Выпить столько вина!”

**Проклятье юного Хевсура своей невесте**

Ответь же мне, хевсурка, наконец,

Чем недоволен твой отец,

Что против моего имеет рода?

Я к черту ваши разнесу ворота!

Двенадцать раз

Я посылал сватов,

Моих друзей,

Моих орлов!

Безжалостнейшая из всех

Земных невест, красавиц горных,

Притворнейшая из притворных!

Пусть твой очаг остынет под золой,

Пускай, укрыв полночной мглой,

Тебя из дома украдут,

Огласке имя предадут

Мои друзья,

Мои орлы!

Меня сжигаешь на огне,

Но ты еще заплатишь мне,

Так передай своей родне:

Настанет искупленья день,

Падет на ваши лица тень,

Тень откровенного стыда,

Чем вы откупитесь тогда?

Не хватит в погребе вина,

Мы выпьем все вино до дна,

Поскольку веселы и злы

Мои друзья,

Мои орлы!

**ЭЛЬЧИН**

**Смерть Сталина**

*Перевод Г.Ковалевича*

*Эльчин — народный писатель Азербайджана, прозаик и драматург, автор широко известных романов и пьес “Смертный приговор”, “Белый верблюд”, “Махмуд и Марйам”, “Мой любимый сумасшедший” и др.*

Холодное утро 4 марта 1953 года выдалось солнечным. Но появление солнца над городскими улицами никак не вязалось с черной вестью, перевернувшей вверх дном жизнь всей махалли, весть ошеломила, и даже в том, что взошло солнце, чудился вражеский умысел: суровые взгляды вездесущего вагонного проводника Абдулкерима словно старались пригасить солнечный блеск утра. Мощенная булыжником улица была пуста. Казалось, и камень продрог под ледяными зрачками Абдулкерима; только воробьи, садившиеся на голые ветки раздвоенного тутового дерева на площади перед Желтой баней, не обращали внимания на воцарившуюся в махалле тишину. Их суматошное чириканье заглушало случайные звуки. Крашенные зеленым, коричневым, синим ворота дворов да выходившие на улицу окна лепившихся друг к другу домов были плотно закрыты; а облупившиеся от дождей и снега стены Желтой бани придавали махалле еще большую сиротливость.

Горькая потерянность людей, притаившихся в дворах за глухими воротами, в домах за темными окнами, проникла на улицу, и она вместе с этими воротами, окнами, с торчащими по тротуарам старыми электрическими фонарями на столбах как бы спрашивала настороженную тишину: что за беда пришла?

В среду рано утром люди столпились на площади перед Желтой баней. Не верили в жуткую весть, но и не верить было нельзя, потому что это касалось человека, по поводу которого шутки шутить — упаси аллах! Ждали, когда почтальон Музаффар достанет из сумки газету, наденет очки с отломанными дужками — едва держались на резинке, натянутой на затылок. Музаффар развернул газету, нацепил очки. За толстыми стеклами глаза казались очень большими и страшными. Часто глотая воздух от волнения, дергая кадыком, Музаффар прочитал в газете “Коммунист”, еще пахнувшей типографской краской:

— Правительственное сообщение о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Центральный Комитет… Совет Министров… сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища И.В.Сталина… В ночь на 2 марта, — читал дальше почтальон Музаффар, — произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания…

Далее сообщалось, что для лечения Сталина привлечены лучшие медицинские силы. Среди них профессор-терапевт П.Е.Лукомский, действительные члены Академии медицинских наук профессор-невропатолог Н.В.Коновалов, профессор-терапевт А.Л.Мясников…

В этом месте проводник Абдулкерим, прервав почтальона, спросил с угрозой:

— Как там, говоришь, первая фамилия? Первого врача?

Даже в такой момент никто не посмел прикрикнуть на проводника, почему, мол, перебиваешь? Лишь покосились недовольно и снова вперились в почтальона.

— Профессор-терапевт П.Е.Лукомский, — сказал Музаффар.

Абдулкерим с сомнением покачал головой:

— Слушай, а вдруг это еврей, а?

Сомнение проводника смутило махаллинцев. Откуда было знать простому почтальону — еврей или нет терапевт П.Е.Лукомский? В газете было написано, что Лукомский — профессор. И больше ничего. Но раз такой человек, как Абдулкерим, известный своей бдительностью, о чем-то подозревает, значит, есть что-то такое, о чем жители махалли пока не знают.

Проводник сам ответил на свой вопрос:

— Нет! Евреем не может быть. Лукомский… Лукомский… Да нет же, нет! Не поставят!

И разрешил Музаффару читать дальше.

— Ввиду тяжелого состояния здоровья товарища Сталина, — продолжал Музаффар, — Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР признали необходимым установить с сего дня публикование медицинских бюллетеней… Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР, как и вся наша партия, весь советский народ, сознают все значение того факта, что тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за собой более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности…

Теперь не выдержал и перебил почтальона сапожник Агагюль. Тот самый Агагюль, который был учеником у Баланияза, сына старухи Фатьмы, а после того как Баланияза арестовали, сел в сапожной будке на его место. Сапожник с уверенностью сказал:

— Слушай, Сталин знает семьдесят два языка! Болезнь ничего ему не сможет сделать. Пусть хоть тяжелая, хоть легкая, любая!

Люди одобрительно вздохнули, и почтальон Музаффар вновь уткнулся в газету:

— Центральный Комитет и Совет Министров… со всей серьезностью учитывают все обстоятельства, связанные с временным…

Сапожник Агагюль опять не удержался:

— Видали? Временным! В солидной газете написали, что “временным”!

— …временным уходом товарища Сталина, — читал почтальон Музаффар, — от государственной и партийной деятельности… Центральный Комитет и Совет Министров

выражают уверенность в том, что наша партия и весь советский народ в эти трудные дни проявят величайшее единство и сплоченность, твердость духа и бдительность…

Проводник Абдулкерим как будто чуть-чуть утешился:

— Вот в этом все дело!

— …твердость духа и бдительность, — подтвердил почтальон Музаффар, — удвоят свою энергию по строительству социализма в нашей стране, еще теснее сплотятся вокруг Центрального Комитета Коммунистической партии и Правительства Советского Союза.

Почтальон Музаффар умолк, и перед Желтой баней повисла такая тишина, какой не было даже в далекий летний день сорок первого, когда тот же почтальон в той же газете читал о начале войны. Из собравшихся тогда на площади мужчин и парней больше половины уже не было на свете: кто погиб, кто пропал без вести. В это утро никому не грозила новая война, и все же нынешняя тишина была во много раз тяжелей, чем двенадцать лет назад. Речь шла не только о собственной жизни, но и о жизни детей: что с ними будет?

Стали расходиться, площадь перед Желтой баней постепенно пустела. Мужчины сгорбились так, словно к ногам привязали пудовые гири.

Сапожник Агагюль, дотащившись до хлебной лавки, купил для старухи Фатьмы полкило белого хлеба, вошел в маленький асфальтированный дворик напротив керосиновой лавки, по деревянной лестнице поднялся на второй этаж, постучал в дверь и передал хлеб старухе Фатьме и потом закрылся в своей сапожной будке.

* * *

Старуха Фатьма ничего уже не ждала на этом свете. Беды, свалившиеся на нее, она снесла безропотно. Стало быть, выносливая и даже более, чем выносливая, — глупая, глупая! Во всяком случае, старуха Фатьма сама так о себе думала. И то, что еще жила, дышала, испытывала голод, жажду, ей не нравилось — она стеснялась так жить. Но когда от

сапожника Агагюля услышала, что Сталин заболел, слова не смогла вымолвить. Агагюль закрыл за собой дверь и ушел. Старуха некоторое время безмолвно смотрела вслед, сердце вдруг так сжало, так сделалось страшно, что показалось — дверь не откроется больше никогда и пора умирать.

Муж Фатьмы Ашраф был шапочником. Весенней ночью тридцать девятого года пришли и забрали шапочника Ашрафа. С тех пор не видели его ни во дворе, ни в шапочной будке у двойных крепостных ворот Ичеришехер. Обвинили шапочника в том, что кто-то, сидя у него в будке, высказывался против товарища Сталина. Кто был этот “кто-то”, кто донес в НКВД — неизвестно (проводник Абдулкерим тогда еще не жил в махалле). Поговаривали, что расстреляли Ашрафа на острове Булла, а некоторые утверждали, что умер от тифа в поселке Колпашево Томской области, о которой Фатьма (наверное, и сам покойный) в жизни не слышала… Фатьма осталась с двумя сыновьями — старший Аганияз, младший Баланияз. Потом началась война, Аганияза взяли на фронт (Баланиязу возраст не вышел), и в один из февральских дней сорок третьего почтальон Музаффар с похоронкой в руках постучался в дверь Фатьмы. В похоронке было написано, что под Сталинградом, возле какой-то Бекетовки, о которой Фатьма тоже никогда не слыхала, Аганияз во время наступления геройски погиб за Сталина. После войны начальник жилищно-эксплуатационной конторы Габарли установил перед конторой большую Доску почета (она называлась “За Сталина”) и, несмотря на то что Аганияз был сыном врага народа, поместил и его фотографию. Ее сняли два года назад — в сентябре пятьдесят первого, потому что тогда же среди бела дня забрали Баланияза прямо из сапожной будки: словно бы кто-то из его клиентов порочил Вождя. И по махалле разнесся слух, мол, донес не кто иной, как проводник Абдулкерим. Сын врага народа отправился по стопам отца. И уже ровно два года о нем никаких вестей. Кто говорил, что Баланияз в Сибири, кто — в Казахстане, а кто как страшную тайну, чтобы не дошло до ушей старухи Фатьмы, сообщал: расстреляли Баланияза. Старая Фатьма не знала, в какие двери стучаться, у кого спросить о сыне. Поручив Баланияза аллаху, часами сидела на деревянной лестнице во дворе, уже ни плакать не могла, ни проклинать судьбу (а из людей кого проклинать?). Управдом Габарли после такого происшествия, даже если бы Аганияз был светом его очей, не мог, конечно, оставить портрет на Доске почета.

Закрылась дверь за сапожником Агагюлем — для старухи Фатьмы словно бы навсегда…

* * *

Этим холодным утром почтальон Музаффар, с полной сумкой шагая по улицам нагорной части Баку, отворяя знакомые двери, раздавая газеты, журналы, письма, каждый раз встречал во взглядах людей — мужчин, женщин, молодых и старых — выражение великого горя. Шагая по асфальтированным тротуарам, по мощенным булыжником улицам, почтальон Музаффар удивлялся, что жизнь продолжается, хотя все погружено в печаль, она впиталась в стены и камни, а жизнь — она сама по себе. Как прежде, он разносит газеты, письма, журналы, по улицам ездят машины, кто-то что-то покупает, кто-то куда-то идет…

В газете “Коммунист” опубликовали “Бюллетень о состоянии здоровья И.В.Сталина”. В бюллетене говорилось, что “к двум часам четвертого марта у И.В.Сталина наблюдалось значительное расстройство дыхания, участился пульс, степень нарушения функций головного мозга несколько увеличилась…” Внизу были напечатаны фамилии врачей и фамилия министра.

Почтальон Музаффар не понимал многие слова и выражения в этом бюллетене, но такие, как “участился пульс, нарушения увеличились”, напомнили ему о болезнях жены, детей, его самого, других жителей махалли, с которыми делился заботами, выпивал по скорбным и радостным датам. Но не понимал, как это Сталин мог заболеть. В самом слове “больной” звучало бессилие. В той же газете “Коммунист” были статьи и о подарке Болгарской Академии наук Московскому университету, о том, что члены колхоза имени Л.М.Кагановича Ишимлинского района обязались выполнить план заготовок животноводческой продукции к празднику 1 Мая, о награждении орденами и медалями работников азербайджанской нефтяной промышленности, о нападении правительственных войск на бандитские отряды Чан Кайши в Бирме… Только все это происходило точно не на земном шаре, а в каком-то другом мире, на Луне или Марсе, потому что заболел Сталин, а если заболел Сталин, что могло быть более важным? Всему, что было на свете, болезнь Сталина ставила предел. Иначе и быть не должно! Вдруг почтальону Музаффару пришло в голову, что может появиться и что-то хорошее, например амнистия, и немного повезет несчастным, которые глаза выплакали по своим сыновьям и братьям. Почтальон Музаффар растерялся. Такие мысли означали, что болезнь Сталина… Дальше Музаффар не думал, только пожелал, пусть аллах заберет от его жизни, что осталось, и добавит Сталину, удлинит жизнь этого великого человека.

Почтальон Музаффар поудобнее приладил сумку на боку и ускорил шаг.

* * *

Когда в сентябре пятьдесят первого года забрали Баланияза, его ученик Агагюль не дал двери сапожной будки наглухо закрыться. Сел на место Баланияза, надел его синий фартук, взял в руки молоток и нож и стал с утра до вечера подбивать подметки. Каждый день он навещал тетю Фатьму, покупал ей съестного, а из заработанного половину откладывал — отдать Баланиязу, если вернется. Налог же, назначенный государством на будку и способный перебить человеку хребет, выплачивал из своей доли. Возвращение Баланияза было делом очень неясным, а в махалле не нашлось такого образованного, чтоб знал законы. Пошел бы, разузнал, что с несчастным, но Агагюля кто в НКВД за человека считал, близко бы подпустил! Однажды, когда забрали Баланияза, пошел к Большому дому, что около бульвара, там его спросили: ты ему кто? друг? может, один из тех, кто болтал? После этого Агагюль сторонился Большого дома — столько страху на него нагнали. Конечно, стыдился собственной трусости, но не было другого выхода, кроме как, опустив голову, латать старые башмаки, потому что в доме рядом с Желтой баней, где раздвоенное тутовое дерево, каждый вечер ожидали Агагюля шесть сестер, мал мала меньше… Агагюль был уверен, что Баланияза оклеветали. При нем никто не посмел бы говорить против Сталина. Баланияз еще во время войны вытатуировал портрет Сталина у себя на груди, над сердцем; и такие сделанные тушью портреты Вождя, имя Вождя, сердечные слова о нем были на руках, на груди всех махаллинских парней, ибо считалось, на свете нет человека более великого. Баланияза продали те, кому он не нравился. Простые люди уважали его за доброту и деликатность, в жизни он не пробовал анаши, никого не обидел… И Агагюль, как и другие жители махалли, подозревал, что в аресте Баланияза виноват проводник Абдулкерим.

Абдулкерим был в махалле пришлым человеком, после войны получил здесь квартиру, женился на молодой русской; жили вдвоем, детей не было. Хотя в махалле поговаривали, что у Абдулкерима в российских городах много детей (молодую жену из России привез), он совершенно не походил на человека, у которого могут быть дети. Никто не представлял себе проводника Абдулкерима в роли отца. И Агагюль хотел взять сапожный нож, ночью на улице преградить дорогу этому негодяю, спросить о Баланиязе, но не отважился. Проводник Абдулкерим был непростой человек, всегда восхвалял правительство и всюду искал врагов — встать ему поперек пути было все равно что Советской власти. Если бы с сапожником Агагюлем что-нибудь произошло, сестры его с голоду бы померли (и отец, и мать были в лучшем из миров). Да и бедняга Фатьма оказалась бы одна на всем белом свете без Агагюля. Старуха Фатьма очень сдала: с утра до вечера безмолвно сидела на деревянных ступеньках во дворе, и ни слезинки не было в ее глазах. Сколько можно плакать? Выплакала она свои слезы за долгие годы… А что же будет теперь? Не только со старухой, не только с Агагюлем и его сестрами — со всей махаллей? Как жить, что их ждет? Сталин заболел… Сталин! Агагюль, по правде говоря, был уверен, что Сталин выздоровеет, но на сердце было тревожно: не надежен мир… И дела в мире, и люди не надежны… У Агагюля в горле вставал комок, слезы щипали глаза. На фанерных стенах его маленькой сапожной мастерской, как и на стенах керосиновой и хлебной лавок и в каморке кассира в Желтой бане, были развешаны портреты Сталина. Баланияз вырезал из

газет, журналов, особенно из журнала “Огонек”, и приклеивал на стены. И на базаре у фотографов покупал и приклеивал: Сталин в форме генералиссимуса, Коба с черной бородой и шарфом, закинутым за спину, Сталин и его сын генерал Василий Сталин, Сталин с маленькой девочкой на руках, Сталин с Мао Цзэдуном, Сталин с Берией, Микояном и Кагановичем, Сталин и Горький, Сталин со своей матерью… И Агагюль, приколачивая к мужским туфлям резиновые набойки, хоть и верил свято в выздоровление Сталина, но с беспокойством в душе поглядывал на портреты на стенах будки: это были портреты самого дорогого, самого доброго человека, но этот родной, добрый, дорогой человек находился на недосягаемой высоте величия, и какой бы ни была болезнь, ее силы не могло хватить, чтобы добраться до этой высоты. Болезнь могла сделать что угодно махалле, городу Баку, даже всему миру, но Сталину ничего не могла сделать.

Открыв для себя эту истину, Агагюль с особым усердием вбивал гвоздики в подметки…

* * *

И еще день прошел в тревоге. В пятницу, шестого марта, жители махалли снова собрались перед Желтой баней под раздвоенным тутовым деревом. На лицах была такая печаль, что могло показаться, опечалились и поникли стены домов, тутовник и не желтой, а серой стала баня. Почтальон Музаффар сквозь толстые очки водил глазами по газете “Коммунист”, голос дрожал и срывался:

— “Дорогие товарищи и друзья! Центральный Комитет… Совет Министров… Президиум Верховного… с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался… Иосиф Виссарионович Сталин…”

Из груди собравшихся на площади вырвался общий вздох. Как невидимый смерч, он пролетел над площадью, качнул Желтую баню, уличные фонари. Почтальон Музаффар, дергая кадыком, глотал сырой воздух:

— “…Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя Коммунистической партии и советского народа…”

Громко заплакали дети, мужчины вытирали глаза. Даже на похоронах отцов, братьев, близких скрывали слезы, а сейчас плакали. Проводник Абдулкерим тоже был на площади, и когда на кого-нибудь падал его взгляд, то на всякий случай всхлипывали еще громче. Плакали, конечно, искренне, но раз и проводник Абдулкерим здесь, пусть видит… Сам проводник Абдулкерим не плакал, а зорко следил за людьми, и чувствовалось, хочет выяснить: кто как плачет.

Почтальона Музаффара душили рыдания, буквы, напечатанные в газете “Коммунист”, расплывались перед глазами, колени дрожали. Долгие годы круживший с почтовой сумкой по улочкам Баку, взбиравшийся в гору, не знающий усталости, этот человек вдруг обессилел. Однако взгляд проводника Абдулкерима заставил Музаффара взять себя в руки.

— “Продолжая бессмертное дело Ленина, товарищ Сталин привел советский народ… товарищ Сталин вооружил партию великой и ясной целью построения… — читал Музаффар. — Смерть товарища Сталина является тяжелейшей утратой для всего…”

Над площадью снова прокатилась волна рыданий, и сапожник Агагюль, из покрасневших глаз которого лились слезы, дал себе клятву, что обязательно женится, родит сына и обязательно назовет его Коба — обязательно, обязательно. Да будет так! Сапожнику Агагюлю было двадцать четыре года, молодость проходила, он столько работал, заботясь о сестрах, что не находил времени подумать о женитьбе. Но в это мартовское утро твердо решил жениться, не откладывая. Родит сына, которого назовет Коба. Те, у кого есть совесть и честь, должны поступить так же: сыновьям давать имя Коба, в каждой семье был бы свой Коба… Правда, на свете никогда больше не будет такого великого человека, как Сталин, никто не может до него дотянуться, зато все дети будут носить великое имя.

* * *

Проводник Абдулкерим, вернувшись в то мартовское утро с площади перед Желтой баней, брился на кухне и не без удовольствия рассматривал в зеркале свое намыленное лицо. Зеркало, прибитое к стене над умывальником, было, конечно, очень грязное, и Абдулкериму пришлось встать на цыпочки, чтобы получше себя разглядеть. Мясистый кончик носа уперся в стекло. Жена терпеть не могла домашние дела, где что бросит, там и

оставит. Кроме картофельного супа, ничего варить не умела. Тряпку не возьмет в руки — зеркало протереть. Проводник Абдулкерим злился, но, как и всегда по утрам, в это утро перед его мысленным взором возникла белая пышная грудь жены, такая белая, что Абдулкерим зажмурился. Наташа еще нежилась в постели, лежа на спине, полные руки закинула за голову. Она спала, утомившись от ночных утех. Проводнику Абдулкериму почудился запах рыжих волосков у нее под мышками, и по всему телу прошла приятная волна. Захотелось снова залезть в постель, но не надо спешить, еще целых три дня впереди… Наташа была намного моложе — ему тридцать, ей всего двадцать. Проводник Абдулкерим привез эту пышущую здоровьем девицу из Ростова и, чтобы она безусловно, как говорится, на все сто принадлежала только ему, официально с ней расписался. На бесчисленных станциях России проводнику Абдулкериму еще не встречалась такая красотка (а бесчисленные станции России были для проводника Абдулкерима чем-то вроде гарема). Неряшливость Наташи, правда, иногда раздражала, но этот недостаток забывался в объятиях молодой супруги. Абдулкерим сам брался за тряпку, протирал зеркало, смахивал пыль с окон и мебели, подметал пол, плотно завесив шалью окно кухни, выходившее во двор, стирал в тазу белье — свое и Наташи. К столу всегда было свежее мясо, свежая рыба, икра, прекрасная домашняя колбаса, купленные или обмененные на разные вещи на станциях России. Баловал Наташу. И сам, чтобы достойно ее обслужить, беспрерывно жевал курагу, зелень, орехи, лакомился яичницей на курдючном сале — в ход шло все, что покалорийнее. Отправляясь в рейс, не оставлял жену одну в доме, а отвозил к своей сестре в Баладжары. Наташа и там только спала и ела. В семье сестры не смели и словом ее попрекнуть.

Проводник Абдулкерим за годы службы сплел, как паук, собственную паутину между Баку и станциями России вдоль следования поезда Баку–Москва и, скользя по нитям этой паутины от станции к станции, с выгодой менял яйца на картошку, картошку на птицу, птицу на рыбу, рыбу на керосин, керосин на сорочки, сорочки на икру… У проводника Абдулкерима всегда был хороший доход, и все, даже самые большие начальники, закрывали глаза на его делишки: боялись.

Разоблачая среди работников Азербайджанской железной дороги замаскировавшихся врагов народа, проводник Абдулкерим в тридцать седьмом году вступил в ВКП (б), на всех партийных собраниях призывал к бдительности, а если сомневался в чьей-либо политической благонадежности, немедленно писал в НКВД, в ЦК КП (б) Азербайджана, в Москву. В праздники — 7 ноября, 1 Мая, а потом 9 Мая, нацепив на грудь алый бант, с лозунгом в руках проходил перед трибуной в первых рядах железнодорожников; каждый год посылал телеграммы: 21 декабря — Сталину, 19 ноября — Калинину, после смерти Калинина — 19 мая Швернику, от души поздравляя с днем рождения; и его межстанционная торговля была на хорошей смазке. Как колеса вагона, в котором он разъезжал по стране. И если во всем Баку набиралось с десяток человек, довольных жизнью, то одним из них был проводник Абдулкерим. Всю войну он просидел

в тылу — дали бронь, чтобы не связываться.

Бритва же, которой в это мартовское утро брился на кухне проводник Абдулкерим, была трофейная, немецкая (привез из Грозного, обменяв на что-то) и такая острая, что в мгновение ока перережет горло кому угодно.

Бреясь, проводник Абдулкерим вспомнил, что умер Сталин. И Сталин, оказывается, может умереть… Небось, считал: он — Сталин, целый мир под ним, а не подумал, что и Александр Македонский умер, а мир как был, так и есть… Сидел на троне в своем картузе, будто это корона, а не картуз, усы пушил и худа не чуял… Теперь вот сунут в сырую яму, тогда узнает! Но как не вовремя загнулся старый черт! Кто знает, как теперь будет, кто придет, кто станет новым Сталиным? Нет, совсем не время было помирать… Проводник Абдулкерим, когда злился или нервничал, ругался по-русски: “Сволуш!” И сейчас выругал покойного: “Сволуш! Нашел время подыхать!”

Его взгляд скользнул по двору и уперся в деревянную лестницу дома шапочника Ашрафа: там когда-то жил человек по имени Баланияз, сапожником был, как кошка на молоко, исподтишка пялился на Наташу (такие вещи, естественно, не укрылись от проводника Абдулкерима). Что ж, кинули ему десятку, по-ошел, сукин сын!.. А как, если амнистию объявят? Те, вернувшиеся, что скажут? Проводник Абдулкерим был вне себя: “Сволуш! Нашел время подыхать, старый хрыч!”

Сквозь кухонное окно он в изумлении увидел на деревянной лестнице старуху Фатьму. Сидела наверху и горько плакала. Эта женщина, которая долгое время не раскрывала рта и никто от нее не слышал ни слова, сидела на лестнице и рыдала в голос!

* * *

Когда сапожник Агагюль с исплаканными глазами вошел в комнату и положил на стол полкило белого хлеба, у старухи Фатьмы упало сердце — так гроздь винограда, срезанная ножницами, падает на землю: старуха поняла, что умер Сталин. Всю ночь она не спала; вчера молила аллаха, чтобы пришла какая-нибудь весточка от Баланияза, чтобы вернулся невредимым, а в эту ночь молила и за Сталина, чтобы не умирал, потому что, если Сталин умрет, не останется и малюсенькой, с кончик иголки, надежды. Пропадет мир, еще хуже будет, чем с Ашхабадом после землетрясения… Старуха Фатьма не дотронулась до хлеба, не заварила чаю. Показалось ей, будто комната это не комната, а могила. С трудом

поднявшись с паласа, на котором сидела скрестив ноги, она вышла, спотыкаясь, из дому. Ее обступила темная душная теснота, словно чем-то заслонили все вокруг, и это неведомое “что-то” и двор превратило в могилу. Старуха Фатьма примостилась на верху деревянной лестницы и зашептала, плача:

— Что же будет? Аллах, что за несчастье? Как ты такого человека не пожалел, о аллах! Что с нами будет?..

* * *

А на голые ветки раздвоенного тутовника перед Желтой баней с шумом садились воробьи, улетали и возвращались — в это холодное мартовское утро только они ни о чем не жалели.

**Чингиз Абдуллаев**

# История одной свадьбы

**Рассказ**

*Чингиз Абдуллаев родился в 1959 г. Народный писатель Азербайджана, секретарь Союза писателей, вице-президент ПЕН-клуба, доктор юридических наук. Книги писателя переведены на семнадцать языков и изданы общим тиражом более 20 млн экземпляров. Американская газета "Крисчиен сайенс монитор" назвала его одним из лучших авторов в жанре политического детектива.*

Вы никогда не приезжали в Баку в середине прошлого века? Значит, вы не могли почувствовать атмосферу вечного карнавала, которая царила в этом южном городе. Самые красивые женщины были известны по именам, и каждый их проход по городу вызывал изумление и восторг у местных жителей. В любой компании, собравшейся в бакинском доме, можно было найти представителей разных народов, говоривших на особом

бакинском диалекте русского языка с вкраплениями азербайджанских слов. Причем у всех был одинаковый южный акцент, азербайджанцы, грузины, армяне, русские, евреи, лезгины, татары говорили на одном языке, и зачастую их трудно было отличить друг от друга.

Распахивались окна, и отовсюду доносились звонкие женские голоса. А какие “пижоны” ходили по Торговой! Самые лучшие нейлоновые рубашки и чулки, самые разноцветные водолазки, самые немыслимые сумки появлялись в Баку не позже, чем в других крупных городах Европы. Здесь любили жизнь и умели ею наслаждаться. Казалось, что сама погода благоволила жителям этого удивительно красивого города, расположенного у моря. Это был единственный город — столица республики, находившаяся у моря. Рига выходила на Балтийский залив, а остальные города имели лишь реки. Может быть, море как-то влияло на нравы людей? Запах йода, огромная масса воды, делающая людей более спокойными и уравновешенными. В огромной стране, занимавшей шестую часть суши, было только два таких южных города, где солнце, море, смех, вино, музыка, очаровательные женщины, красивые мужчины перемешивались друг с другом, создавая особую и неповторимую полифоничность.

Эта история произошла в Баку в конце сороковых годов. Только недавно закончилась самая страшная война, которая когда-либо происходила на нашей планете. Тысячи похоронок, тысячи инвалидов, тысячи детей-сирот, оставшихся без родителей. Казалось, самое время ожесточиться, стать эгоистом, думать только о себе, упиваться своим горем. Но с людьми происходили удивительные метаморфозы. Соседи помогали друг другу. Незнакомые люди старались подбодрить случайного прохожего. Кража хлебных карточек у детей считалась самым постыдным поступком даже среди воров. Люди только начинали приходить в себя после изнуряюще долгой войны, затянувшейся на многие годы. Это только сейчас кажется, что война длилась целых четыре года. Четыре года это тоже очень много, невообразимо долго и страшно. Спросите у матери, чей сын ушел на войну, узнайте у жены, мужа которой забрали на фронт, спросите у любого, кто ждал целых четыре года. И он расскажет вам, что это были самые долгие, самые длинные годы в его или ее жизни. Но на самом деле война началась еще в тридцать девятом, когда советские войска отбивали нападение японцев в Монголии. Потом была советско-финская война, на которую тоже мобилизовали тысячи мужчин. Затем — Великая Отечественная. Едва она закончилась, как многие части начали снова перебрасывать на Дальний Восток, против Японии. И только в сорок седьмом, сорок восьмом, сорок девятом начали возвращаться домой ветераны.

Повзрослевшие дети не узнавали отцов. Но это были самые счастливые дети. Многие так и не дождались возвращения с фронта своих близких. Многие так и выросли, никогда не увидев своих отцов. Гордые бакинские женщины выходили на дороги, набрасывая на головы келагаи, и пытливо всматривались в каждого прохожего. Тысячами получали

сообщения о пропавших без вести родных и близких. И они тоже ждали своих мужчин, надеясь вопреки всякому здравому смыслу на чудо. И чудеса иногда происходили.

Может, поэтому в те годы люди воспринимали боль соседей как свою собственную и умели радоваться сообща. Это были особые бакинские дворы со своим неповторимым внутренним пространством. В одном из таких дворов на Дивичинской жило несколько бакинских семей.

Этот дом был построен в начале двадцатого века известным человеком Каблеи Дамиром, которого уважали не только потому, что он побывал в Кербеле. Этот строгий мужчина, владелец дома, был отцом многочисленного семейства. Но после революции в доме произошли некоторые изменения. Ему оставили несколько комнат, конфисковав остальные. Можно считать, что ему повезло, так как у него была большая семья и ему оставили три большие комнаты. Каблеи Дамир никогда не выступал против режима, и поэтому новая власть решила проявить столь не свойственное ей впоследствии благоразумие.

В остальных помещениях поселились новые жильцы. Первой появилась семья тетя Берты, которая прибыла из Воронежа вместе с мужем, бывшим политруком агитационного поезда имени товарища Фридриха Энгельса. В другой части дома поселился старый лезгин Мустафа с пятью детьми и вечно беременной женой. В пристройке, бывшей когда-то комнатой для гостей и перестроенной уже в двадцатые годы, жил татарин Хабибулла, приехавший в Баку из Казани и женившийся на украинке Галине, которая научилась готовить бакинские блюда ничуть не хуже местных женщин.

Так они все и жили в этом дворе. Иногда ссорились, иногда спорили, но никогда не доводили дело до серьезных столкновений. В этом дворике отмечали все праздники вместе — Навруз-байрам, Курбан-байрам, православную Пасху, еврейскую Пасху. Разумеется, отмечали Первое мая и Седьмое ноября, Новый год и даже в ленинские субботники все вместе выходили чистить и без того чистый двор, а женщины почему-то выбивали в этот день свои ковры.

Чаще всего вместе пили чай под старой чинарой. Мужчины играли в нарды, женщины стирали белье, судачили о своих детях, ценах на рынке, о вернувшемся из Германии и ставшем инвалидом войны Гусейнбале, который без ног умудрился жениться во второй раз. Гусейнбала был хороший жестянщик и снимал комнату у Мустафы, оплачивая ее из собственных средств. Такой мастер, как он, всегда мог найти работу, обеспечивая не только себя и свою новую жену с ее двумя детьми, но также и прежнюю супругу, от которой имел сына. В те времена безногий жестянщик был символом благополучия и

вполне мог прокормить сразу две семьи. Его жена Фатима сразу пришлась по душе всем соседям. Они уже знали, что она мать близнецов, которые никогда не видели своего отца. Свадьба состоялась в пятницу, двадцатого июня сорок первого года, а через два дня началась война и мужа Фатимы забрали на фронт. Его убили в сентябре сорок первого. В марте сорок второго она родила двух мальчиков. Фатиму уважали и за ее трудную судьбу, и за ее молчаливую покорность. Она помогала всем соседям, ее мальчики всегда были аккуратно и чисто одеты.Но никто и никогда не видел, чтобы она смеялась. Говорили, что она очень любила своего первого мужа.

Муж тети Берты умер в тридцать пятом. Ему было всего сорок два года, но он сильно болел — сказывалось революционное прошлое, — и открывшаяся язва убила его. Наверно, ему отчасти повезло, его хоронили с оркестром, а на могиле установили памятный знак с красной звездой и произнесли немало хороших слов. Кто знает, проживи он еще несколько лет, не обвинили бы его в каком-нибудь вредительстве или не установили бы, что он был одновременно японским, корейским и германским шпионом? А так тетя Берта получала хорошую пенсию, и ее даже несколько раз приглашали в местные школы выступать с рассказами о героическом муже.

В тридцать девятом, словно предчувствуя войну, в Баку переехала ее старая мама из Воронежа. Тете Рахили было уже под семьдесят, но она сохраняла ясный ум и довольно быстро вписалась в дружный коллектив бакинского дворика на Дивичинской. Должен отметить, что эта улица, находившаяся рядом с кинотеатром имени Двадцать восьмого апреля, построенным здесь уже после войны, называлась так из-за верблюдов, которые останавливались в этом месте в начале века. На самом деле она была Давячинской, но со временем ее стали называть Дивичинской.

У тети Рахили была лишь одна существенная особенность, отличавшая ее от других: она ходила в синагогу. Это было невозможно, неправильно, неразумно на двадцать пятом году революции. Тетя Берта ее все время отговаривала, но никак не могла убедить. Тетя Рахиль кормила мацой весь бакинский дворик, она никогда не скрывала, что была набожной женщиной и уважительно относилась к христианке Галине, шиитам Гусейнбале и Каблеи Дамиру, суннитам Мустафе и Хабибулле, хотя ни один из них подобной набожностью не отличался.

Но в сорок втором им пришло трагическое известие: сын тети Рахили, брат тети Берты Борис пропал без вести на Юго-Западном фронте. Там как раз в это время шли самые ожесточенные бои. Тетя Рахиль, до того жизнерадостная и энергичная, вмиг постарела на несколько лет. Весь двор утешал ее, понимая, что такое несчастье может коснуться всех. Гусейнбала тогда еще во дворе не жил, но двое сыновей Мустафы ушли на фронт в сорок первом, а в сорок третьем несчастный отец получил похоронку на старшего.

Однако нужно было знать тетю Рахиль. Она не могла и не хотела смиряться. Теперь она еще чаще посещала синагогу, словно пытаясь вымолить у Бога жизнь своего сына. И дочь уже не возражала против частых походов в синагогу. Да и сама власть словно поменялась. Людям, настрадавшимся за время войны, стали разрешать посещать церкви, мечети, синагоги. Даже самая безбожная власть понимала, что им в такой момент нужно помочь найти утешение.

Девятого мая сорок пятого пришло сообщение о Победе. В этот день все плакали. Кто жил в Баку в середине прошлого века, может подтвердить, что такое случалось в городе лишь два раза. В первый раз девятого мая сорок пятого — от радости и во второй — в марте пятьдесят третьего, когда умер Сталин. Тогда всем казалось, что жизнь не сможет продолжаться без “вождя”, и многие искренне горевали.

В День Победы тетя Рахиль уговорила дочь отправиться вместе с ней в синагогу. Тетя Берта не была набожной женщиной, она была вдовой члена партии и атеисткой. Но в тот день согласилась пойти с матерью в синагогу. И впервые искренне попросила у Бога, чтобы ее брат нашелся. И он каким-то чудом нашелся. В конце сорок шестого они получили абсолютно, казалось, невозможное известие: ее брат Борис возвращается домой. Почему это казалось им невозможным? Потому что Борис был обрезанным евреем, а это в плену означало верную смерть. Оказалось, что Борис действительно попал в плен, но выдал себя за мусульманина. К тому времени фашисты уже усвоили разницу между евреями и мусульманами. Бориса отправили в концлагерь, по дороге он сбежал. Затем примкнул к партизанам в Югославии и воевал до сорок пятого. В мае пытался пробиться к своим, но был тяжело ранен и лишь в сорок шестом сумел настоять на отправке домой.

С того дня тетя Берта стала часто заходить в синагогу. Вскоре приехал и Борис. Весь двор радовался за помолодевшую тетю Рахиль.

В мае сорок девятого должна была состояться свадьба старшей дочери Каблеи Дамира. К свадьбе готовились загодя, как и полагается в хороших бакинских семьях. Сначала в доме появились свахи, которые получили согласие на переговоры. За ними пришли мужчины. Они долго сидели за столом напротив мужчин из семьи Каблеи Дамира. В конце встречи подали сладкий чай, а это означало, что семья девушки согласна выдать ее замуж. Затем начался обмен подарками. В сорок девятом обычный кусок мыла или небольшой кусок материи были большой ценностью. Семьи старались как могли. Свадьба была назначена на шестнадцатое мая. Получить молодого мужа в сорок девятом было почти чудом. На десять девушек в стране приходилось не больше трех-четырех молодых людей.

Свадьба должна была состояться во дворе дома невесты. Готовились столы, завозилось мясо из соседних бакинских сел. Каждый старался как мог, свадьба обещала быть веселой и многочисленной, почти на сто человек. Это сейчас все привыкли к шумным застольям на пятьсот или шестьсот человек в особняках с пластмассовой лепниной. А тогда и двадцать человек казалось много. Ну а сто — почти невероятная цифра.

Разумеется, на свадьбу пригласили и всех соседей. Каждый готовился к событию по-своему. Только тетя Берта была несколько не в духе. В последние дни ее мать часто болела. Тете Рахили было уже под восемьдесят. Тринадцатого и четырнадцатого мая к ней вызывали “скорую помощь”. Она отказывалась ехать в больницу, считая, что не имеет права покидать дом в такой торжественный момент.

Пятнадцатого мая ей стало лучше. Она даже ходила по комнате, успокаивая дочь. А шестнадцатого утром, когда во дворе уже раздавались голоса женщин, начавших расставлять стулья, Берта подошла к матери и с ужасом увидела, что та умерла. Умерла во сне, как праведница, как умирают очень счастливые люди, с улыбкой на устах.

Тетя Берта задернула занавески и села у изголовья кровати. Перед ней стояла очень непростая дилемма. Согласно строгим канонам иудейской религии, покойную следовало похоронить до заката солнца.

С другой стороны, сейчас о смерти матери нельзя объявлять: придется отменять свадьбу, к которой столько готовились, испортить людям праздник, возможно, даже всю жизнь. Они навсегда запомнят случившееся и уже никогда не смогут быть счастливы.

Берта сидела и плакала, а время шло неумолимо.

За окном раздавались крики и радостные поздравления прибывавших гостей. Вскоре появились и молодые. Несколько раз в Бертино окно стучала мать невесты, приглашая на свадебную церемонию. Берта решилась. Она поднялась, накрыла мать свежей простыней, умылась, переоделась и, взяв заранее приготовленный подарок, вышла во двор. В тот вечер ни один человек не узнал о случившемся в доме Берты. Она улыбалась, поздравляла молодых, даже выпила за их здоровье. И всем говорила, что ее мать просто плохо себя чувствует.

Вернувшись в свою комнату поздно вечером, она подошла к телу, села рядом и начала рассказывать о свадьбе, словно мать могла ее услышать. На следующее утро Берта объявила, что ее мать ночью умерла. Кажется, никто из соседей даже не догадался, но мать невесты, войдя в комнату и почувствовав характерный запах, подошла к Берте и, обняв соседку, долго плакала, словно благодарила.

Эта подлинная история случилась в доме моего деда Каблеи Дамира на Дивичинской. Рассказала мне ее моя бабушка. Я не очень верю в потусторонний мир, но абсолютно точно знаю, что мать Берты, набожная Рахиль могла попасть только в Рай.

А свадьба оказалась счастливой. Молодожены прожили вместе почти полвека. У них было пятеро детей и восемь внуков. Сейчас есть даже правнуки. Берта умерла через тридцать лет. Ее оплакивали всем двором. Я был на ее похоронах и помню улыбку на ее лице. Может, Бог простил ее семье воинствующий атеизм, ведь она совершила праведный поступок. Наверняка она встретилась и со своей матерью, и с мужем в том мире, откуда не возвращаются. Я хочу в это верить.

**Мамед Орудж**

**Лебедь на асфальте**

Рассказ

*Перевод Н.Агасиева*

Ужасная жара превратила город в кипящий котел. И его удивляло то, что, несмотря на это, жизнь в столице текла своим чередом; горожане, как обычно, по утрам спешили на работу, по вечерам— домой, и даже культурно-массовые мероприятия проводились организованно.

Солнце едва взошло, а на открытие памятника уже собралось довольно много людей, и непрерывный поток прибывающих говорил о том, что их будет еще больше.

Предполагалось, что открытие будет транслироваться по государственному телевидению, а красную ленту перережет сам президент. Услышав об этом, он подумал, что все это выдумки местных властей: будто президенту больше нечего делать, как тратить свое драгоценное время на открытие обычного памятника. Был бы памятник известному поэту или полководцу — другое дело. А на что президенту этот повисший на шее матери ребенок?

Ребенок обнимает мать. Скульптор решил запечатлеть в камне именно это мгновение.

Наверное, о памятнике завтра напишут газеты: об этой счастливой матери и счастливом ребенке.

Он знал, что в городе есть кафе “Матери и ребенка”, но до сегодняшнего дня не знал, что и улица такая есть. Пластиковые таблички с этим названием, выведенным латинскими буквами, сразу привлекли его внимание. Они были как мостик между прошлым и будущим улицы.

Заново переработанный академиками латинский алфавит давался ему с трудом, правда, не настолько, чтобы он был не в состоянии прочесть название улицы. В конце концов пять лет писал и читал на латыни! В результате стал зубным врачом. Покойный отец всегда говорил: “Учись быть профессионалом, таких несчастья обходят стороной”. Вот тебе и профессия... Если б не халтура, давно бы с голоду помер.

Уже больше часа он стоит на этой улице, вернее, у памятника “Мать и дитя”, и почему-то ему кажется, что причиной появления этого памятника послужило название улицы...

Рядом с названием улицы развевался флаг. Вообще флаги, транспаранты, лозунги были повсюду. Взгляд задержался на одном из них. Прочел по слогам — лозунг, который в третьем классе заставила его выучить наизусть старшая пионервожатая, — просто теперь он написан латинскими буквами.

Интересно, сможет он когда-нибудь читать газеты, журналы, напечатанные латинским шрифтом? Хотя зачем ему это? Шоферит себе... Скажут направо, едет направо, скажут налево — поедет налево.

Машину водить он умеет с детства, но шоферить стал с 1993-го, когда обосновался в Баку. Что с того, что он дипломированный стоматолог? Что с того, что зангеланцы, которым он делал зубы, до сих пор ими орехи щелкают? А что ему оставалось? Никто в этом городе не шел к нему лечить зубы... Нет, ему не в чем упрекнуть зангеланцев. Пропади она пропадом, эта нужда...

Когда он только начинал халтурить на бакинских улицах, ему было очень тяжело брать с пассажиров деньги, возвращать сдачу, поднимать таксу. Сквозь землю готов был провалиться, когда на своем “Москвиче” с эмблемой такси на боку встречал знакомых. А потом привык. К чему только не заставит привыкнуть нужда!

Может, и вас ему приходилось возить на своем “Москвиче”? Высокий такой, худой мужчина. На скуле — родинка, в глаза бросается. Основной маршрут его — от поселка Гюнашли до станции метро “Халглар достлугу”. Но если попадется хороший клиент, может и от маршрута отклониться. Вот и сегодня, изменив маршрут, он оказался на открытии памятника.

Два часа простоял на своем обычном месте, тысячу раз умоляя Аллаха послать ему клиентов, когда к нему подошла высокая белолицая красавица. Рядом одна лучше другой семь девочек в танцевальных нарядах. Посмотрел он на них, растерялся и даже цены не назвал. Но, выйдя здесь, у памятника, женщина заплатила ему даже больше, чем он ожидал, и сказала, что после окончания церемонии они вернутся в Гюнашли, так что, если у него есть время...

А что у него есть, кроме времени? Иногда за целый день ни одного пассажира не дождешься.

— Хоть до вечера, — сказал он, не скрывая радости, — не беспокойтесь.

Она хотела что-то ответить, но в этот момент перед ней вырос мужчина в соломенной шляпе и стал отчитывать ее как школьницу.

— Вы, Айгюн-муаллима, должны были быть здесь ровно в восемь, а сейчас девять, — сказал он в конце, — пишите объяснительную!

В то время как Айгюн-муаллима краснела и бледнела, не зная, что сказать этому грубияну, он вдруг, высунув голову из машины, вмешался в разговор:

— Они опоздали из-за меня, колесо спустило по дороге.

Спасая незнакомую женщину, он сам оказался под ударом, потому что этот здоровенный мужчина в соломенной шляпе, который вел себя здесь по-хозяйски, неожиданно сказал ему:

— Помолчал бы, пока цепь не дергают, — и, смерив его взглядом, исчез в бурлящей, как муравейник, толпе.

“Надо было ответить ему, сказать: оно и видно, кто на цепи сидит...”

Он внутренне сожалел о происшедшем. Кто этот грубиян? Кто бы он ни был, видно, организация мероприятия поручена ему. От постоянной беготни с его мясистого подбородка стекал пот. В такую жару и стоя на месте потеешь, не то что бегая туда-сюда... У него еще и сумка через плечо перекинута, то и дело он достает ручку, тетрадь и что-то записывает.

От какой-то женщины, которую мужчина этот распекал, он услышал его имя: Азим-муаллим! Тоже мне учитель нашелся! Кажется, в его обязанности здесь входила еще и организация танцев. Правда, некоторые добровольно пускались в пляс, но их были единицы. Вывел на середину танцевать старика, а сам стал прихлопывать да пальцами прищелкивать.

А старик этот какую собаку здесь потерял? Или его тоже силком привели? Может, решил: если не придет — пенсию убавят? Ну и поделом ему...

Улица и площадь, кажется, со вчерашнего дня были выметены, да так, что хоть маслом поливай да слизывай. Лишь изредка на эту чистоту падало несколько черных ягод с тутового дерева, что, казалось, выводило из себя руководителя этого мероприятия. Мужчина в шляпе то и дело недовольно взглядывал на тутовые ветви.

Не отчитывать же ему еще и дерево? Ствол его был так выбелен, что, может, ни на одном из тысяч собравшихся здесь мужчин не было рубашки белее.

Группами подходили школьники; мужчина в соломенной шляпе, как волчок вертевшийся по площади, тут же брал их на учет и указывал, где встать.

Те, кто попадал на солнцепек, выражали недовольство, потому что на площади было с десяток деревьев.

Оказавшимся в тени повезло. Около тридцати мужчин и женщин в белых халатах стояли под деревом, что, кажется, было связано с особым отношением к врачам этого промышленного района мужчины в шляпе. Видно, их привели сюда прямо с работы: какой врач выходит из дома в рабочем халате?

Живя в Зангелане, он тоже надевал белый халат. Случалось и на улицу выходить в нем. Все здоровались с ним, уступая дорогу. А здесь кто знает, какой он хороший зубной врач? У него осталась привычка обращать внимание на рот говорившего. Не ускользнуло от него и отсутствие зубов у той красавицы с семью девочками, которых он утром сюда привез. Неужели некому привести в порядок ее зубы? И отчего у нее они выпадали? От воды без йода? Нет, это все пустое, — от нервов. Для зубов самый жестокий враг — нервы. Но разве скажешь, что она нервная?

Он смотрел на нее издали, на нее и на ее девочек. Эти дети уже больше часа танцевали без перерыва под ее руководством. Иногда и сама она вскидывала в танце белые руки, но, наверное, только для того, чтобы воодушевить девочек.

Музыкантам соорудили место — напротив памятника, где они сейчас сидели и играли.

Этот ансамбль, в котором были собраны десятки инструментов, от электрогитары до саза и зурны, был виден со всех сторон, но взгляды собравшихся были прикованы к “семи красавицам” в центре площади.

Такие крохи — и как танцуют!

Красиво исполнили “Назелямя”. Порой они сбивались, когда музыканты меняли мелодию, но чувствовалось, что и те не виноваты, они играли по программе. Звучали песни и стихи, посвященные в основном Родине, матери и президенту. Однако маленьким танцовщицам не давали уходить с площади. Казалось, им этого и самим не хочется.

Солнце же поливало землю огнем. Пекло! Он встал в тени, рядом с бывшими коллегами. Кто что скажет ему? Может, он был здесь единственным, кого не привели сюда насильно.

Где бы ни было, всегда можно отличить инвалида войны от инвалида с детства. Он не раз наблюдал за ними: у инвалидов с детства — особое выражение лица.

Что же здесь делают эти инвалиды войны? Они собрались все вместе, словно знали друг друга. С интересом слушали что-то говорившего инвалида в коляске. Он тоже прислушался и так понял, что после открытия ожидается торжественная раздача им земельных участков.

...Вот если б и ему перепала в этом городе горсть земли! Поставил бы домик себе, да что себе — вся семья его из шести человек покончила бы наконец с нищетой в подвале рабочего общежития шестидесятых годов…

У него не одна беда, не две, чтобы он жил как хочется, шел куда вздумается, он даже с этого торжества уйти не может. После окончания повезет этих танцовщиц и их учительницу в Гюнашли на своем “Москвиче”, чтобы получить заработанное.

Чаще школьников стихи читали актеры “Аздрамы”, но пока, кажется, просто репетировали. Видимо, настоящее представление начнется прямо перед открытием

памятника. Несомненно, тогда же покажут, на что они способны, уже сейчас завоевавшие признание зрителей маленькие танцовщицы.

Вдруг он услышал, какую должность занимает этот здоровяк в шляпе, распоряжавшийся здесь с самого утра. Выяснилось, что он — глава муниципалитета. Толком не зная, что за слово “муниципалитет”, смысл сочетания он в общем-то понял. “Выходит, здесь он — полноправный хозяин...”

Иногда, глядя на танцующих девочек, он и им давал какие-то указания, которые, чувствовалось, раздражают их учительницу, не спускавшую глаз со своих подопечных.

Она с самого утра нервничала. Может, уже из дома вышла такой? И кого вынуждена здесь выслушивать?! Этого грубияна в шляпе — главу муниципалитета...

...Может, он и простоял бы рядом с коллегами в белых халатах под тутовым деревом все торжество, но вдруг узнал одну из женщин. Они вместе учились в институте и даже пережили любовное приключение. Он испугался. Испугался, что Севда узнает его. Если бы он хоть выглядел прилично, не стал бы избегать этой встречи, но сейчас он и сам стеснялся своего внешнего вида. Неделю не брился. Одет в купленные прошлым летом в уцененном магазине брюки и поношенную рубашку. А какой шофер убережет свою одежду от копоти проклятого “Москвича”?

Незаметно оглядев Севду и вспомнив подробности их последней встречи, он ушел из тени тутового дерева и встал так, чтобы она не смогла его увидеть и узнать.

У нового его места были свои преимущества: пока здесь солнце, но вскоре сюда будет падать тень от стены. К тому же отсюда видна вся площадь. Чего только не вытворяли маленькие борцы, тяжелоатлеты, фехтовальщики? Их выход словно вдохновил танцовщиц.

Теперь девочки танцевали “Джанги”, да так, что чувствовалось — они прошли серьезную школу танца.

Солнце нещадно палило. Он подался под дерево, ни один листок которого не шевелился. Народ прибывал. Но вездесущий глава муниципалитета никому не давал теснить площадку, отданную танцовщицам.

Площадь становилась все оживленнее: маленькие богатыри показывали новые номера, танцовщицы — новые танцы, а ему вдруг стало скучно, даже сердце сжалось.

Сердце его и так часто схватывало после наступившей неделю назад жары. В такие минуты лоб его покрывался холодным мелким потом, вот и сейчас заполнил все морщины. Он достал из кармана платок, но тот был в таком виде, что пришлось обойтись без него.

Бедность, с которой он столкнулся в этом городе, отучила его от многих привычек, но не от сигарет. Едва успев два-три раза затянуться, он вздрогнул от вцепившейся в плечо большой волосатой руки.

— Простите, вы от какой организации?

Он не знал, как ответить на этот вежливо заданный вопрос.

Какой организации? — переспросил он.

— Мы хотим знать, кто вас сюда прислал?

Вообще-то и на этот вопрос надо было ответить вопросом: кто вы такие и почему думаете, что меня сюда кто-то прислал? Но решительный тон молодого человека вынудил его не говорить лишнего, а сказать все как есть. Он представился, но понял, что это не удовлетворило молодого человека, и стал рассказывать, как здесь оказался, показывая машину на противоположной стороне улицы. Однако молодому человеку и этого было недостаточно. Иначе тот не стал бы заталкивать его в полицейскую зарешеченную машину.

В машине было еще двое молодых людей. Один, кажется, только проснулся и, окинув его холодным взглядом, снова закрыл глаза. Другой протирал пистолет.

Приблизительно зная, куда его привели, он не понимал почему. Думал, опять будут расспрашивать. Только они этого делать не стали, сказали, чтобы выворачивал карманы.

Он испугался. Страшно испугался! Слышал, как забилось сердце. Не потому, что в кармане что-то было, а потому, что там ничего не было. Но что им стоило найти там это что-то? С ним самим такого пока не случалось, но он знавал тех, кому пришлось с этим столкнуться...

Дрожащими руками выложил грязный носовой платок, две сигареты “Астра”, удостоверение беженца, заработанные утром деньги и полученное вчера письмо от сына, что служит в Муровдаге.

Молодой человек, притащивший его сюда, только это письмо и взял. Пробежал глазами, вернул и тихо сказал:

— Можете идти.

Неужели это правда? Весь сыр-бор только из-за этого? Он может идти?

Кажется, его замешательство и беспокойство заметил парень, протиравший пистолет, и сказал, что на прошлом мероприятии кто-то бросился под ноги президенту, передал письмо, и трое из их системы лишились работы. Все было ясно, и ему на родном языке говорили, чтобы шел восвояси, но он ждал. Ждал, когда успокоится сердце, встанет на место, чтобы спросить, почему из тысячи человек именно он привлек их внимание, вызвал их подозрения? Однако, придя в себя, осознав, что опасность миновала, не нашел в этих своих вопросах никакого смысла. Зато увидел, что к машине тащат, как и его недавно, еще одного мужчину.

Микрофонам прибавили звук, так что от музыки закладывало уши. Чтобы кому-то что-то сказать, надо было приложиться к его уху. Но кого он здесь знал, да и что кому мог сказать? Кажется, всем уже надоело разговаривать. И только крики главы муниципалитета звучали не переставая. На шее у него висел мегафон, благодаря которому было ясно, на кого он кричит, кого за что ругает.

Таким же образом ему стало известно, что до официального открытия памятника остался час, который все проведут весело, в танцах, песнях и разговорах. После этого объявления и сам глава пошел к девочкам, опять танцующим “Назелямя”.

Значит, еще час ему ждать в этом пекле, у этого памятника! Может, уйти? Плюнуть на пять-шесть тысяч красавицы-учительницы?

Кто-то сказал, что температура воздуха перевалила за сорок. Он вспомнил, что в “Москвиче” есть термометр. Еще не дойдя до машины, понял, что не уедет отсюда раньше окончания церемонии: “Москвич” его был зажат машинами и спереди, и сзади. Но на термометр посмотреть было можно. Открыв дверь и заглянув в машину, как в пекло тендира, он увидел, что термометр украли. Осталось только место от него на внутренней стороне лобового стекла. Здесь виден был и другой след. След осколка, скользнувшего по стеклу, когда вывозил из окружения жену и детей...

Он внимательно оглядел салон — может, еще что унесли. Кажется, все на месте. И фляга тоже.

Эта фляга была единственной памятью о солдатской службе его в Казахстане. Пусть не всякий раз, но порой она напоминала ему такие дни, что глаза наполнялись слезами. Никому еще в этом мире oh не говорил, что оставил в Казахстане, в местечке Еддису...

В Еддису, по-казахски Жеддису, жили в основном те, кого выслали сюда из Азербайджана в 30-е годы, жили в надежде вернуться на родину. Но были и такие, что, с трудом вернувшись, поворачивали обратно в места ссылки. Эту зачехленную флягу подарил ему один из тех, кто вернулся в Казахстан после трех месяцев пребывания на родине. Парня того, уверявшего, что вернется в Азербайджан и рано или поздно станет известным человеком, звали Муртуз. Сегодня утром он вспоминал Муртуза, когда наполнял флягу кипяченой водой и клал ее между сиденьями.

Только он приблизил флягу к губам, как увидел маленькую ручонку, вцепившуюся в его штанину. Это был грязный мальчик лет семи-восьми. Он узнал его, видел рядом с цыганкой, что с утра вертелась на площади, гадая молодым людям. Видел он и то, что глава муниципалитета никак не мог очистить площадь от этого цыганского племени. И женщина, и мальчик были хромыми, но, когда нужно, умели быстро уносить ноги.

Ребенок каким-то странным образом показывал язык, из чего он понял, что тот хочет пить. Улыбнувшись, протянул мальчику флягу, а сам стал высматривать в толпе его мать. Цыганки не нашел, зато увидел, как цыганенок, перекинув его флягу через плечо, убегает, расталкивая толпу.

Он бежал за ним, пока, споткнувшись, не упал.

Вот и приключение в летний день. Ему и в голову не приходило, что все еще впереди...

Пожилая женщина помогла ему подняться.

— Не переживай, Аллах тебе возместит.

Но он знал, что ту флягу ничем не возместить. В оставшейся ему на память от Муртуза той фляге Шахсанам приносила ему кумыс. Они пили его глотками...

Он пошел сквозь толпу, надеясь найти мальчишку. Уставшие ноги привели его к месту скандала. Перепалка шла между главой муниципалитета с мегафоном под мышкой и дородной, напудренной, накрашенной женщиной, доходя до неприличных выражений.

— Я тебя вышвырну из школы вместе с твоей шайкой, — говорил глава муниципалитета.

Оказывается, главу муниципалитета возмутило, что на это мероприятие всенародного значения привели не тысячу, а пятьсот детей.

Но разве можно было сосчитать детей в этом столпотворении! И площадь, и улица “Матери и ребенка” были заполнены детьми. Кто-то тихонько заметил: что с того, если на это торжество придут еще пятьсот детей? Что изменится?

Прямо у памятника схватили нищенку и тащили с площади.

— Я ведь сказал, что здесь нельзя попрошайничать! — говорил глава муниципалитета. Кажется, ему уже нечего было делать, и он взялся теперь за нищих.

Но тут один из инвалидов в коляске так потянулся к нему, что чуть не перевернулся.

— А если с твоей сестрой так, понравится?

Глава муниципалитета сделал вид, что не услышал этих слов, но их подхватили другие:

— Что его сестре здесь делать? Она будет или в баре, или на бульваре!

На этот раз глава муниципалитета развернулся в сторону инвалидов, но тут на него навели камеру, и он сразу подобрался.

Камера же, принадлежавшая неизвестно какой телекомпании, приблизилась к инвалиду в коляске. Он не слышал, что спрашивали у инвалида, но кое-что из его ответа ухо уловило:

— Если и на этот раз нас обманут, не раздадут земельных участков, объявим голодовку в знак протеста.

— Мы и так голодные, — вмешался другой инвалид. Все засмеялись, а его глаза наполнились слезами.

Неожиданно на площади появился фокусник, и его тут же окружили телекамеры.

От трансляционной машины к фокуснику потянулся шнур. Его тащил парень, такой же черный и тощий, как и сам шнур. Чувствовалось, что он в работе своей новичок: то и дело спотыкался, потом вообще запутался в шнуре и упал, разбив в кровь лицо.

— Уведите его с площади, — сказал глава муниципалитета. Словно из-под земли появились какие-то люди и все исполнили.

В этот момент на площади показались народные поэты. Глава муниципалитета направился к ним, пожал каждому руку и сказал в мегафон:

— Поприветствуем поэтов!

Аплодисменты звучали довольно долго. Он был одним из тех, кто хлопал от души. Часто видя поэтов на экране, вот так, лицом к лицу, он сталкивался с ними впервые. Пробравшись поближе, чтобы получше рассмотреть, у одного из них, сравнительно молодого, он увидел за плечами саз. Видимо, сегодня поэт будет говорить под саз. У другого, постарше, тоже что-то висело на плече, но не музыкальный инструмент, а просто сумка. У самого пожилого поэта за плечами не было ничего, он что-то держал в руках.

Он уже говорил, что всегда обращает внимание на зубы говорящего. Вот и сейчас ему хотелось заглянуть поэтам в рот, потому как слышал, что один из них делал себе зубы в Японии.

Когда он учился в медицинском, стоматология еще не знала метода вживления зубов. В последние годы это стало событием в мире стоматологии. Однако до сих пор ему не приходилось видеть такие зубы. Сегодня ему представилась такая возможность. Нужно было подойти поближе, только это оказалось нелегко. Во-первых, желающих посмотреть на классиков вблизи было много, во-вторых, их сразу же окружили высокопоставленные персоны этого промышленного района. Те, что появлялись везде с несколькими телохранителями. Все они расположились в тени единственной молодой чинары. Здесь же стоял черный “ГАЗ-31”. Кажется, места для поэтов здесь были оговорены заранее.

Один из них спросил:

— Мы ничье место не заняли?

Глава муниципалитета ответил двумя строчками известного стихотворения этого поэта о том, как занимают в жизни чужие места и чем все это чревато. Тем самым он давал понять, что знает эти строки.

Уставшие стоять на жаре школьники то и дело начинали хлопать, кричать — это напоминало вызов после антракта актеров на пустую пока сцену. Только площадь не пустовала. Она превратилась в “Лебединое озеро”, где умирал “маленький лебедь”. А как оторвать взгляд от умирающего? Вдруг в десяти шагах от себя он увидел цыганенка со своей флягой и не смог удержаться.

— Будулай! — крикнул он и пригрозил пальцем. Кажется, того и впрямь звали Будулаем; оглянувшись, он, прихрамывая, бросился бежать.

Имя это он знал по телесериалу, который ему очень нравился. Цыганское имя. Там матери и дети стремились к идеальному обществу. Как в этом памятнике.

Он увидел красную ленту, обвивавшую постамент на высоте человеческого роста. Ее, наверное, только что сняли с шеи жертвенного барана, приведенного на это мероприятие.

Но почему на памятнике не было покрывала? Обычно на таких торжествах памятники поначалу бывают закрыты. Может, забыли? Не могли же они упустить такую важную деталь.

Теперь он понял, что всякий раз, когда звучит карманный телефон главы муниципалитета и он начинает что-то кричать в трубку, речь идет именно об этом покрывале. Было ясно, что оно уже готово, его уже везут.

После очередного звонка лицо главы муниципалитета просияло. Обернувшись к окружающим, он произнес лишь одно слово:

— Едет! — И слово это понеслось по уставшей от жары и ожидания толпе.

— Едет!!

Когда “умирающий лебедь” упал лицом вниз и забился на асфальте, ему показалось, что это продолжение представления. Ведь музыка продолжала звучать. Но когда к девочке кинулась красавица-учительница и, прижав ее к груди, закричала: “Воды!” — содрогнулась вся площадь.

Народ рвался к центру площади, но никому не дали подойти к девочке. Женщина в белой кофте и черных очках, подошедшая вслед за главой муниципалитета, открыто демонстрируя свою власть над ним, сказала:

— Убрать!

И девочку с посиневшими губами, и учительницу, взывающую о помощи, повторяющую: “Воды, воды!” — отвели подальше от толпы.

Народный поэт улыбнулся в ответ и неожиданно сказал: “На этой площади все не на месте сегодня, включая памятник!”.

Он любил этого поэта за прямоту и знал наизусть его стихотворение, единственное, которое он запомнил, прочитав лет десять назад.

Да, раньше среди массы дел он и читать еще успевал. Сейчас времени полно, а читать не хочется. Наверное, чтобы была охота читать, человеку необходимы внутреннее спокойствие и свобода...

Мчался из Зангелана на площадь Свободы, чтобы в завоеванной народом свободе был и его вклад, чтобы что-то от нее перепало и ему, вот и перепало...

Солнце, поднимаясь, раскалялось все больше, припекало площадь, от асфальта поднимался тошнотворный жар, но маленькие танцовщицы по-прежнему были в центре внимания, танцевали без устали. Борцов и фехтовальщиков сменила группа силачей. Они кулаками разбивали кирпичи, вгоняли гвозди в доски, подбрасывали и ловили на грудь двухпудовые гири.

Глава муниципалитета, пригласив танцевать всю площадь, пританцовывая, направился к поэтам. Те танцевать не стали, но приглашением были польщены.

Вдруг на площади появилось несколько мужчин и женщин, черты лица и одежда которых говорили о том, что они из Средней Азии. Глава муниципалитета и к ним подошел, поздоровался с каждым и предложил поприветствовать казахских братьев.

Он тоже хлопал и долго потом разглядывал их гладкие широкие лица. Хотелось подойти и поговорить с ними, он еще помнил несколько казахских слов.

Прослужив три года в армии, он мог бы выучить казахский язык, но дело в том, что большинство казахов в Еддису — обрусевшие, говорят по-русски, и он никак не мог убедить их, что они одного корня, тюрки.

Но в какой бы дом он ни пришел, перед ним, мусульманином, гостеприимно распахивали двери, кормили и поили.

Стучаться в дома Еддису его заставляли не голод и не жажда. У него была на то причина: он искал своего деда Гаджи Зейнала. По словам отца, после ссылки в тридцать седьмом году первое и последнее письмо от него пришло именно из Еддису — Семиречья.

Но сколько ни обошел он домов, хуторов, шатров, ничего не узнал о деде. Зато познакомился с Муртузом.

Муртуз говорил, что ему было пять лет, когда их выслали из Ордубада, но он все понимал.

Вернувшись после службы в Зангелан, он вначале получал от Муртуза письма, но потом они вдруг перестали приходить, и он решил, что тот вернулся на родину.

В студенческие годы глаза его долго искали на бакинских улицах Муртуза. Но судьба свела их в аэропорту Бина, когда студенческие годы были позади и он уже пять лет работал зубным врачом в Зангелане. Он первым узнал Муртуза, а потом... эх, потом эта встреча, длившаяся не больше пяти минут, расстроила их обоих.

Он летел в Москву, старый друг — в Алма-Ату. Муртуз уже был в очереди на регистрацию, поэтому он не пригласил его в кафе аэропорта. Как поговоришь с

человеком, стоящим в очереди на регистрацию, у которого каждое слово вызывает слезы на глазах.

По словам Муртуза выходило, что он три года в Баку, но опять возвращается в Казахстан, вероятно, навсегда. Не выдержал. Спросил почему. Муртуз сглотнул несколько раз, словно слова застревали в горле, и наконец выговорил: “Было бы время, все рассказал бы...”

До сих пор иногда он думает, если было бы время, что рассказал бы ему старый друг?

С той встречи прошло почти тридцать лет. Столько воды утекло, может, Муртуз опять в Баку? Может, даже здесь, среди этих людей? Может, и его приучили вариться в этом “котле”, привели сюда насильно, чтобы хлопающих было больше?

Он и сам не понял, что заставило его прослезиться? Воспоминание о той давней встрече или музыка “Вагзалы”? В последнее время, где бы он ни был, мелодия эта полнит глаза его слезами...

Под нее сейчас танцевали маленькие танцовщицы. И как танцевали! Сами с ладонь, а сколько огня! Кажется, они привлекли внимание поэтов. Танец маленьких красавиц и вправду был необыкновенным зрелищем. Только он сейчас смотрел не на них, а на одного из поэтов, вернее, не отводил глаз от его рта, который никак не открывался, чтобы можно было увидеть зубы, сделанные в Японии.

На трибуну, с утра бывшую в распоряжении музыкантов, исполнителей и актеров, поднялся молодой поэт и стал читать стихи, посвященные президенту.

Среди толпившихся у трибуны была женщина в белой кофточке и черных очках. Подходя к ней, даже глава муниципалитета подбирался. Над женщиной белел зонт, но держал его другой. Сюда не падало солнце, и здесь он мог услышать что-то дельное, умное. Только пока никто не разговаривал. Наверное, представление маленьких танцовщиц было поинтереснее разговоров.

Странным казалось то, что на открытии этого памятника, образца монументального творчества, еще не объявился глава народных художников. Говорили, что он приедет с командой президента.

Неужели он и вправду увидит здесь президента? Он не верил в это, пока не увидел на крышах вооруженных солдат, а внизу — высоких широкоплечих мужчин в штатском и черных очках. “Глас народа — глас пророка”, — подумал он.

Появление вооруженных групп на крышах пяти- и девятиэтажных домов, меры предосторожности и, наконец, проверка голубятни на крыше самого старого дома этого квартала придали торжеству еще больше значимости.

Семь белых голубей вылетели из голубятни и взмыли так высоко, что не нужно было быть настоящим голубятником, чтобы оценить их по достоинству.

Один из голубей в какой-то момент исчез из виду, и он заметил, что поэт с сазом тоже наблюдает за птицами. От кого-то из жителей квартала он услышал имя голубятника — Мамедали! В армии у него был друг Мамедали, день и ночь говоривший о птицах, как будто в Баку у него, кроме них, ничего не осталось.

Чего только не вытворяли птицы в небесах! Взгляды всех мальчишек были прикованы к ним. Голуби кружились в воздухе, кувыркались, переворачивались по пять-шесть раз.

Они, как и семь маленьких танцовщиц, что с самого утра танцевали на площади, словно хотели показать все, на что способны.

Оказалось, что у тех еще и сюрприз был приготовлен для зрителей. Под звуки чарующей мелодии пылающая площадь превратилась в “Лебединое озеро”. И когда одна из девочек стала исполнять партию умирающего лебедя, раздался шквал аплодисментов. Один из поэтов что-то спросил о танцовщицах, и он смог наконец рассмотреть его японские зубы.

Поэт спрашивал у главы муниципалитета, не из “Джуджалярим” ли эти дети. Тот гордо отвечал: “Нет, это наши цыплята”. Потом он еще что-то говорил, но поэт уже не обращал на него внимания: не мог отвести глаз от “умирающего лебедя”.

Он и сам был потрясен исполнением маленькой девочки, Не стоит тревожиться за завтрашний день этого народа: ты только дай ему где развернуться и посмотри, что будет.

С трудом проталкиваясь в толпе, он добрался до переулка, параллельного улице “Матери и ребенка”, где маленькую танцовщицу уже помещали в машину “скорой помощи”.

— Я здесь, — сказал он учительнице, которая, плача, брызгала водой в лицо и на грудь девочке.

Но она, кажется, не узнала его.

“Скорая” никак не заводилась, словно и не машиной была вовсе, а петухом с застрявшей в горле коркой.

Молодой врач, приехавший на этой оставшейся от советских времен машине со старым оборудованием, уже начал осмотр и сказал:

— Обморок у ребенка от жары!

Маленькие танцовщицы плакали, глядя на свою подругу с закрытыми глазами и пеной у рта. Одна из них оказалась сестрой этой девочки.

— Что она утром ела? — спросил у нее врач.

Помедлив, сестренка опустила голубые глаза и ответила:

— На утро у нас ничего не было…

Машина “скорой помощи” словно от этих слов завелась.

— Закройте двери, — сказал шофер, — поехали!

Он только тем и смог помочь, что захлопнул дверь…

…А улица “Матери и ребенка”, на которой он случайно оказался в тот день, гремела аплодисментами. Он не знал, кого приветствуют. Да и какая разница?

Как бы ни было, а возвращаться ему отсюда с пустыми руками…

**Рашад Меджид**

**Таксист поневоле**

Рассказ

*Перевод М.Гусейнзаде*

*Рашад Меджид — известный прозаик среднего поколения. Редактор популярной газеты “525”.*

Выйдя из госпиталя, он направился к своей старенькой “шестерке”. Машина была куплена еще пятнадцать лет назад, в восемьдесят шестом, когда он, в то время простой инженер, встал в очередь у себя на заводе. Распахнув дверцу, он сел в машину и укрепил на крыше автомобиля лежавший между сиденьями указатель “такси”.

В госпитале у него был разговор с хирургом. Его средней дочери предстояла операция. Он уже обошел уйму врачей, и все в один голос твердили, что операция обойдется ему не дешевле трехсот долларов. Наконец, один старый знакомый посоветовал поговорить с хирургом, работающим в госпитале: “Он и врач хороший, и человек не жадный”.

И, действительно, сошлись вроде бы на ста пятидесяти. И еще пятьдесят долларов — ассистентам. Сто пятьдесят он уже собрал, копил по манату. Оставалось найти еще пятьдесят долларов. “Придется одалживать у знакомых, — подумал он. — Проклятое время! Даже в долг попросить стесняешься. У богатых нет сердца, а у щедрых — денег”.

Подъезжая к метро “Нариманов”, он подумал, может, заехать домой, обрадовать жену. Однако, увидев, что на стоянке, где он обычно ждал пассажиров, нет ни одной машины, передумал. Вот уже больше семи лет эта стоянка стала его рабочим местом. С тех пор, как завод, где он проработал семнадцать лет и получил за эти годы уйму благодарностей и грамот, постепенно хирея, в конце концов, закрылся. Несколько месяцев он искал работу. Потом, исчерпав все возможности, сел за руль. Ислам, сосед, посоветовал ему превратить “шестерку” в такси. Ислам в свое время работал на знаменитой базе культторга. Связи у него были обширные, и он не отказывал в помощи соседям: если нужен был дефицитный товар — Ислам приносил его с базы по своей цене. После того как база закрылась, Ислам попробовал заняться бизнесом, но прогорел. Кое-как рассчитавшись с долгами, стал зарабатывать на жизнь извозом.

Поначалу он решительно отверг предложение Ислама, но потом вынужден был согласиться. Первое время, правда, очень стеснялся. Особенно, когда попадались старые знакомые. С них он брать деньги отказывался. Как-то высадив наглого пассажира на полдороге, он вернулся домой, но, встретив полные немого вопроса глаза жены, снова сел за руль. Но постепенно он привык к пассажирам. На стоянке среди шоферов у него появились новые знакомые. Попадались среди них бывшие райкомовские работники, инженеры, врачи…

...Его размышления прервал стук в окно машины. Иностранцы. Маленький толстячок и худощавая женщина среднего роста, в руках гора пакетов. “Плиз, плиз”, — иностранец открыл заднюю дверцу.

Женщина знаками велела ехать в сторону центра. Он обогнул станцию метро, выехал на Московский проспект. Бросив взгляд в зеркальце над собой, увидел, как мужчина что-то усердно жует. “Ну и любят они пожрать”. Мужчина снова пошарил в пакете, достал пахлаву и стал заглатывать, почти не жуя.

Проехав по указанию женщины мимо маленьких одноэтажных домов, он остановил машину около нового высотного дома. “Спасибо”, — сказала женщина, протянув ему купюру в десять тысяч манатов. Он вышел и распахнул дверцу. Челюсти мужчины продолжали ритмично двигаться. Таща за собой пакеты, он с трудом вылез из машины, за ним вышла и женщина. Он поехал домой.

Они жили в маленьком домике. Когда-то его отец продал часть скотины и через два месяца после женитьбы сына купил этот домик. В доме были две комнаты, тесная кухня и маленький дворик, куда с трудом вмещалась машина. Уже позже они построили во дворе, впритык к воротам, маленькую ванную с туалетом.

На заводе, где он стоял в очереди на квартиру, ему предложили однокомнатную, но он отказался. Куда с тремя детьми в одну комнату! “Еще немного подождем, зато получим трехкомнатную”. И дождался — государство развалилось, завод закрылся, а список очередников на квартиру отправили в архив. Иногда, вспоминая об этом, он ругал себя, надо было взять хотя бы ту однокомнатную.

Около дома он посигналил, и вышедшая жена распахнула ворота. Обычно днем он не загонял машину во двор. Но сейчас ему хотелось пообедать и немного поспать. Жена, не сводя с него вопросительного взгляда, закрыла ворота.

Он пересказал ей разговор с хирургом в госпитале. Лицо женщины засияло радостью. Пообедав, он прошел в заднюю комнату, маленькое оконце которой выходило на соседский двор. Обычно там стоял грохот посуды, шум льющейся воды, раздавались крики детей, и под эти звуки невозможно было нормально выспаться. Но в этот раз было на удивление тихо. Наверное, жена попросила соседей не шуметь, и те притихли, зная, что жена его наделена особым даром.

Жена раньше работала воспитательницей в заводском детском садике. В советское время в садике были только книги о Ленине, но незадолго до развала государства кто-то привез из Ирана напечатанные крупным шрифтом на кириллице религиозные книги и подарил садику несколько экземпляров. Когда остановился завод, детский сад тоже закрыли, и жена принесла пару этих книг домой. К его удивлению, она могла часами сидеть и читать эти книги, говорить о Коране, рассказывать о жизни пророка Мухаммеда. Ее рассуждения о том, что неверным место в аду, приводили его душу в трепет. В такие минуты ему почему-то вспоминался партбилет, который он хранил в сундуке, принесенном женой вместе с приданым. Двенадцать лет он был членом партии, ежемесячно отстегивал от зарплаты какую-то сумму в партийный бюджет.

А когда 20 января советские войска вошли в Баку и расстреляли безоружных людей, он, как и все, хотел партбилет выбросить. Потом просто забыл об этом. По его мнению, виновата была не партия, а Горбачев. Стоило генсеку лишь захотеть, и армяне быстро присмирели бы и можно было избежать кровопролития.

Поэтому он билет не выбросил. А потом в один прекрасный день Ельцин объявил партию вне закона. Однако и тогда он партбилет не выбросил, надеялся на то, что коммунисты вернутся. Не верил, что эту огромную страну можно с такой легкостью развалить. Оттого и увлечение жены религией он считал временным. Однако со временем число религиозных книг стало расти.

Теперь жена ходила по дому, повязав голову платком. Иногда он заставал у нее соседок. Потом замелькали и какие-то незнакомые женщины. Однажды наконец жена обо всем ему рассказала. Рассказала, как приснился ей старик со светлым ликом, как дал он ей что-то выпить из сияющей золотой чаши, и наутро она ощутила в себе необычайные способности.

Эти странные изменения в жене он объяснял безденежьем, бедностью. Сначала злился на жену, велел не вмешиваться в чужую жизнь и не водить в дом посторонних.

Однажды Ислам пригласил его в чайхану. Совершив паломничество в Мешхед, Ислам бросил пить, стал еще солидней, весомей. Часто ходил в мечеть, отпустил короткую бородку. От прежнего весельчака и гуляки Ислама теперь не осталось и следа. Ислам с жаром уверял, что такой дар дается не каждому, что Аллах награждает им только самых чистых, самых достойных из своих слуг. “Благо и то, что она помогает соседям, знакомым, дарит им надежду”. Ислам и его самого пытался наставить на путь истинный. “Брось пить, соверши паломничество, выброси свой партбилет. Не храни дома богопротивную вещь”.

Однако, как ни старался Ислам, уговорить его не смог. Впрочем, некоторое время спустя он и сам понял, что жена его действительно наделена необычными способностями. Как-то утром она рассказала, что ей приснилось, будто их средняя дочь заболела, а через две недели девочку и впрямь пришлось везти к врачу.

Ребенок день ото дня худел, терял аппетит. Врачи определили, что у девочки отказала одна почка и нужна срочная операция. То же подтвердили еще двое врачей. С тех пор он поверил, что жена действительно наделена сверхъестественными способностями, и стал даже побаиваться ее.

...Он проснулся оттого, что жена что-то искала на полке в стенном шкафу.

— Ну ты и соня!

Было уже около пяти. Он сполоснул лицо во дворе и вернулся в комнату. На столе уже стоял стакан чая, рядом лежала маленькая желтая дамская сумочка.

— А это что?

— Девочки нашли в машине.

— Вы открывали ее?

— Да, они открыли, но я велела закрыть и положила сюда.

Он заглянул в сумочку и проверил ее содержимое. Жена стояла рядом, наблюдая за ним. Дочери жались у дверей, выглядывая из-за плеча друг друга. Он посмотрел на среднюю дочку и улыбнулся. Расческа, кредитная карточка... Семнадцать новеньких стодолларовых купюр, скрепленных булавкой. Две купюры по пятьдесят тысяч манатов, несколько — по десять тысяч и по тысяче.

И тут он вспомнил беспрерывно двигающиеся челюсти толстенького американца.

— Я сегодня возил американцев. Наверное, это они забыли. Я знаю, где они живут.

Девочки отошли от двери.

— Чай уже остыл. Пойду налью свежего, — сказала жена, унося стакан.

По “Space-1” передавали пятичасовые новости. Начали с рассказа о приехавших в Баку карабахских армянах. Завтра, 11 сентября, они должны были возвращаться домой. Организация по освобождению Карабаха провела пикет в знак протеста против их приезда, представители оппозиционных партий, ранее давшие согласие на встречу с ними, теперь от этой встречи отказались.

Он допил чай и, прихватив сумочку, вышел из дома. Открыл ворота, сел в машину. Выехав со двора, снова вышел из машины закрыть ворота. Жена стояла во дворе. Прикрывая одну створку ворот, она так, чтобы услышал муж, тихо прошептала: “Не думаю, чтобы они оказались щедрыми людьми”. Эти слова, произнесенные ледяным тоном, казалось, обдали холодом то тепло, что до сих пор царило в нем. И словно только теперь обнаружил он источник этого тепла. Где-то там, в глубине, таилась надежда, что не толстяк, а скорее всего жена, увидев его, обрадуется, достанет из тех семнадцати сотенных хотя бы одну купюру, даст ему, и он завтра же отправится к хирургу и расплатится с ним. Слова жены словно изгнали это тепло из души.

Он подъехал к метро. На стоянке было всего три машины. Обычно в ожидании пассажиров водители открывали дверцы, чтобы в салоне было не так жарко, а сами сидели в тенечке под деревом. Увидев его, Акиф и “Доктор” вскочили.

— Приходили два американца, — сказал Акиф, — кажется, искали тебя, вот и визитку оставили. И переводчик с ними. Сказали, что недавно садились здесь в красные “жигули” и вроде бы в машине осталась женская сумочка. А шофер был невысокий, усатый. Мы сразу решили, что это, должно быть, ты.

— А что, в сумочке что-нибудь было?

Он не успел ответить, “Доктор” перебил его:

— Если б ничего не было, не стал бы такой человек разыскивать! Американцы не беспокоятся из-за всякой мелочи. Наверняка в сумочке хотя бы тысяча долларов. Небось, и тебе отстегнут сотню. Так что не жмись, угостишь нас потом.

— Сумочка у меня в машине, сейчас отвезу. В ней больше тысячи.

Акиф протянул ему визитку.

— Да знаю я адрес, — проговорил он, но визитку взял. Она была на английском. Слово “Джим” он еще смог разобрать, а вот фамилию не осилил. На обороте визитки была даже нарисована схема, стрелка указывала на одиннадцатый этаж дома, где они жили.

— Не забудь, с тебя причитается!

Он знал, что они так просто не отстанут:

— Будьте спокойны, если дадут сотню — угощаю.

Он сел в машину и поехал в сторону Баксовета. Объехав одноэтажные домики, припарковался около уже знакомого дома с оградой. У ворот показал визитку. Охранник, высокий парень в черной униформе, бросил взгляд на визитку и вошел в свою комнату. Там он поговорил с кем-то по телефону, вернулся и сказал:

— Поднимись на лифте на одиннадцатый этаж. Тебя ждут.

Он достал сумочку из машины и поднялся наверх.

Одна из дверей в прихожей была приоткрыта. Из-за двери доносились голоса. Он заглянул в комнату. Давешний толстяк, увидев его, закричал “плиз, плиз” и, поглаживая на руках кудрявую собачку, куда-то исчез. Наступила тишина. Через несколько минут из-за двери, где скрылся толстяк, появилась женщина. Он протянул ей сумочку. Женщина заглянула в нее, достала доллары и пересчитала.

— Все правильно, — сказала она и, указывая на новенькие купюры, добавила: — Джим покупает собаку.

И, спрятав деньги в сумочку, протянула ему руку.

— Спасибо, я очень благодарна!

Снова показался толстяк, поглаживая собачку, он улыбнулся ему и скрылся в другой комнате. Челюсти его непрерывно двигались.

Все в нем онемело. Он выпустил из ладони сухую руку женщины и вышел из квартиры. Нажал кнопку лифта. Перед его глазами встало сначала лицо жены, потом больной дочери. Затем он вспомнил знакомых шоферов на стоянке под деревом. Не надо было признаваться. Кто мог, в конце концов, доказать, что сумочку забыли в машине. Ему стало не по себе от этой, только теперь пришедшей мысли.

Дверцы лифта раскрылись, оттуда выскочила какая-то собачка и, тявкнув пару раз, стала обнюхивать его ноги. Он вздрогнул.

— Не бойся, — сказал парень, державший собачку на поводке.

У выхода стоял какой-то джип, он с трудом протиснулся мимо него. Сел в машину и поехал в сторону центра.

“Никакой нам пользы от них”. Последние годы он часто ввязывался в политические споры и всегда защищал советскую власть, русских. Он лез вон из кожи, доказывая, приводя примеры, что американцам нужна только наша нефть и думают они лишь о своей выгоде.

И вот первые же американцы, с которыми столкнула жизнь, только убедили его в собственной правоте.

Ему вдруг захотелось увидеть друзей, поговорить с ними, поделиться тем, что накипело на сердце. Он повернул в сторону метро.

Акиф с “Доктором” по-прежнему сидели под деревом. Увидев его, они радостно вскочили.

— Все в порядке? — спросил Акиф. — Что-нибудь дали?

— Да, — ответил он, — сотню.

— Тогда пойдем гульнем, — предложил “Доктор”.

— Сейчас, поставлю машину и пойдем.

— Ты, кажется, настроен выпить? — заметил Акиф.

Он остановил машину у ворот. Заезжать во двор не хотелось.

— Ну что? — спросила жена.

— Все вышло по-твоему.

Разувшись, он прошел в спальню. С верхней полки шкафа достал завернутые в газету деньги, отсчитал десять купюр по десять тысяч и спрятал в карман. Остальные деньги вернул на место.

Когда он снова обувался, жена спросила:

— Опять уходишь?

— Я, наверное, приду поздно. Надо угостить ребят.

По лицу жены было видно, что она недовольна.

Акиф ждал у ворот. Сели в его машину.

— А ты машину не оставляешь?

— Нет, пить не буду. Выпьете с “Доктором”.

Они поехали в небольшое кафе, куда частенько заглядывали под вечер. Столики на улице были свободны. Сели, заказали шашлыки. Через десять минут пришел и “Доктор”. Вагиф был педиатром, поэтому его все звали “Доктор”. В свое время он окончил медицинский институт, поработал пару лет, но, видя, что ничего не зарабатывает, подался в бизнес; разок-другой слетал за границу, привез товар, потом, как и Ислам, прогорел и решил “бомбить” на машине.

Акиф же учился на историческом факультете университета в годы его расцвета, потом работал в Институте истории Академии наук. Ко времени развала Советского Союза он собирался защищать диссертацию. Потом о науке пришлось забыть, и вот уже пять лет он тоже зарабатывал на жизнь извозом.

Первую рюмку выпили за него, его семью, за здоровье больной дочки. Следующую — за непьющего Акифа, потом за здоровье “Доктора”. Водки оставалось на самом дне. Ему захотелось сказать тост.

— Я хочу выпить за наше здоровье, за здоровье нашего народа. Я всегда говорил, что от Америки нам никакой пользы не будет. И сегодня еще раз убедился в этом. Любой другой за возвращенные тысячу семьсот долларов подарил хотя бы сотню. А эти не дали ни шиша. И причем так вели себя, как будто я им еще что-то должен. И русский бы дал, и

немец, — он помолчал, потер пальцами виски, — и армянин дал бы, а вот американец — не дал.

“Доктор” и Акиф, пораженные, переглянулись, потом посмотрели на остывающие на столе шашлыки и люля. А он продолжал:

— Не вините меня, друзья! Я угощаю вас, потому что должен сдержать обещание. Аллах поможет, я найду деньги на операцию дочке. Иногда я говорил себе — ты же в жизни не видел ни одного американца, что же ругаешь их? А сегодня вот увидел и понял, что был прав. Они разрушили такую замечательную страну, стравили нас друг с другом, превратили в безработных. Приезжают, забирают нашу нефть, а нас и за людей не считают. Хотя бы Карабах вернули. Малай, принеси еще водки!

Акиф попытался было что-то сказать, но он прервал:

— Оставь, дай сегодня выпить от души…

...Из кафе выходили в первом часу ночи. Акиф должен был отвезти сначала его, потом “Доктора”. Машина остановилась у его ворот. Он все еще продолжал ворчать, ругая американцев. Акифу удалось кое-как высадить его из машины.

— Давай я загоню твою машину во двор, — предложил Акиф. Он запротестовал. Пошарил в карманах, в поисках ключей от машины, но не нашел. Вошел в дом.

— Не-е буд-ду заго-нять машину. Пусть остается на улице, — запинаясь, сказал жене.

Жена попыталась возразить, что на улице с ней может что-то случиться. В последнее время воров развелось, снимают ветровые стекла, колеса. Однако, видя, что он прямо в одежде завалился в постель, только и сказала:

— Не переживай, все будет хорошо.

Но он уже спал.

Утром проснулся с тупой болью в голове. Жена сидела возле него на кровати.

— Мне приснился ужасный сон, горели огромные здания.

— Ты машину посмотрела?

— Посмотрела. Все в порядке.

— А как девочка?

— Хорошо. Но я очень боюсь, что-то должно случиться. Не пей, ради Аллаха, брось эту дрянь!

— Брошу, даю слово. Вот сейчас встану и пойду в мечеть… — ответил он.

**Фикрет Садых**

**Лучше миг один**

*Перевод Мансура Векилова*

## Когда б…

Когда б следили лучше за дорогой,

Вести машину мог бы и слепой.

Мелодию, что может всех растрогать,

Услышит сердцем даже и глухой.

Приветливо вы встретите немого —

И с губ его

Слетит живое слово.

## Кем захочешь — тем и станешь

Хочешь деревом стать,

Будь не пнем, а чинарой тенистой.

Хочешь, камнем,

Будь гордой скалой,

Не дорожной помехой.

А водой обернуться захочешь —

Стань озером чистым.

Если же человеком надумал остаться,

Так будь человеком!

Выйти в люди

Порою возможно

С неменьшим успехом.

## Дудари

Одна дуда —

Играет туда,

Другая дуда —

Играет сюда,

А третья дуда —

И туда, и сюда…

## Вода

Ты воду называй

Слезами неба,

А я скажу — вода,

Ты воду называй

Сестрою хлеба,

А я скажу — вода.

Когда от жажды пересохнет горло,

Свои ладони я сложу ковшом

И без гипербол, перифраз, метафор

И прочей ерунды

Воды спрошу шершавым ртом.

Воды!

## Друг — враг

Смолчал —

Друзей прибавилось вокруг.

Заговорил —

И хмурит брови друг.

## Жизнь и жилье

Так порой устроен свет:

Есть жилье — в нем жизни нет,

Жизнь в избытке — нет жилья…

Так что всем доволен я.

## Отговорки

Стихи худы

От худосочного таланта,

И оправданьем не считаю я

Ни множество забот,

Ни краткость жизни,

Ни тесноту и дискомфорт жилья.

Все это — отговорки квартиранта.

## Лень

Родник,

Забитый песком,

Ребенок,

Передвигающийся только ползком,

Болтливая невеста,

Перестоявшееся тесто,

Внук уста Зейнала…

Но этого мало,

Я и похлеще сказать бы мог:

Рак,

разъедающий мозг,

И — как расплата —

Смерть таланта.

## Три части

Третью часть жизни

Хочешь не хочешь

Трудись.

Треть другая —

Отдыху отведена.

Остается еще одна:

Хочешь — живи,

Хочешь — спать завались.

## Кто как

Один — железную гору дробит,

Весь в поту,

Чтобы путь проложить —

И не заносчив ничуть.

А другой — расчистит

Тропинку в саду,

И нет дня,

Чтоб забыл он о том помянуть.

## А кто тогда?

Деде Коркут в свое время

Волка ягненком не звал,

Толстого тонким не звал.

Деде Коркут в свое время

Полным пустое не звал.

Неучам

Степени не раздавал.

Кто же истину переврал?

## Совместная жизнь

Иногда б и со змеи

Взять пример нам не мешало:

В тесный сплетены клубок,

И во рту у каждой — жало,

Но друг друга не язвят,

Попусту не тратят яд.

## Лжец

Говорят,

Что короткие ноги у лжи.

Как же ходишь ты, друг, на работу,

Скажи?

## Маски

Есть люди двуличные,

Даже — трехличные…

Тут нет особых причин:

При нехватке лица —

Предостаточно

всяких личин.

## Под своей крышей

Черепаха в очередях не тоскует,

Триста справок на горбу

Не несет в райсовет.

От рожденья свой домик таскает.

Потому, может быть, и живет

Триста лет…

## Есть и такие

Для иного

Чья-то смерть

Не беда — потеха.

И такие есть,

Что мрут

От чужого смеха…

## Дальновидность

Впервые увидав винтовку,

Что жалит издали свинцом,

Промолвил Кер-оглы:

— Да, ловко… —

И сразу помрачнел лицом.

Потом,

Вздохнув,

Добавил витязь:

— Мужской отваги больше нет…

А что сказал бы он,

Увидя

Шеренги атомных ракет?!

## Лучше миг один

Чем вечно быть

Луной холодной,

Будь молнией на миг, душа!

Чем долго течь

Рекой подледной,

Стань селем —

И умри свободной,

Преграды на пути круша!

## Заботы и крылья

Один ребенок — одна забота,

Два ребенка — две заботы,

Чем больше детей — тем больше

Забот о хлебе,

Одежде…

Один ребенок — одно крыло,

Два ребенка — два крыла,

Чем больше детей — тем больше

Крыльев радости

И надежды!

**Натиг Расулзаде**

# Дом

Повесть

*Перевод автора*

*Натиг Расулзаде родился 5 июня 1949 года в Баку. Окончил Литературный институт имени Горького в Москве. Прозаик, драматург, кинодраматург, заслуженный деятель искусств. Член Союза писателей, Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей.*

*Автор более 30 книг, изданных в Баку, Москве, в странах Европы, около 20 сценариев и пьес.*

Этот поезд мне чертовски надоел за трое суток езды в нем. Грязный от пола до, казалось, годами немытых окон, которые не хотели ни опускаться, закрытые, ни подниматься, опущенные, так что в коридор задувал ветер, нанося на все солидный слой пыли. Плевки и раздавленные окурки на полу. В купе тоже не чище. Клубы дыма. Громкие разговоры за стеной. Впечатление, что стена эта сделана из картона — такая слышимость. Дурацкая игра в подкидного, сопровождающая, как правило, все поездки; игра, кажется, столь же древняя, как сама идея передвижения в пространстве в обществе таких же, как ты сам, болванов. Хмурая, с вечно испачканным подбородком проводница, старающаяся подсунуть вам теплый и светлый, как моча, чай. Мне все представлялось, что, когда ей это удавалось, проводница, заперевшись в туалете, сев на унитаз, хихикает, потирает руки, чтобы дать выход своим чувствам. В холодном и вонючем туалете. Я ее возненавидел. Хватило бы и двух часов, чтобы возненавидеть ее, а заодно и всю эту поездку, весь вагон, купе, дикие, беспричинные взрывы хохота за стеной; стук костяшек домино серопижамных, напоминающих пациентов психбольницы попутчиков; пронзительный, как зубная боль, непрекращающийся плач ребенка через два купе от нашего, дискомфорт; холод по ночам, неизвестно откуда берущийся, если вспомнить, что середина мая, довольно-таки теплого, чтобы не сказать жаркого...

Все это я возненавидел до того сильно, что решил сойти с поезда на ближайшей станции. Когда я осведомился у проводницы, она, предварительно поковыряв толстым пальцем в зубах, зло и официально, будто радио на платформе, объявила, что ближайшая станция только через шесть часов, то есть под утро, и называется она — Городок. “А какая она из себя? — глупо спросил я, изо всех сил притворяясь, что общение со столь обходительной проводницей доставляет мне удовольствие и хочется его немного продлить. — Что это, на самом деле городок? Жить в нем можно?” —

“А кто его знает... — не сразу ответила она, предварительно посмотрев на меня так, будто я нахамил ей; но тут же взгляд ее стал презрительным, видимо, своим наметанным оком она угадала во мне бездельника, которому все равно, куда ехать и где выходить. — Называется Городок. А жить... можно, наверно, раз живут в нем...” Я с облегчением прекратил расспросы и поспешил отойти от неприветливой проводницы, пока она не начала ковыряться в заднице, вошел в купе, где густо воняло носками и стоял трехголосый храп, и прилег на свою нижнюю полку.

Городок... Какое безликое название, бледное, стершееся... Городок... Обесцвеченная алая роза-цветок. Ну и черт с ним, пусть будет Городок... Мне до того здесь надоело, что все равно я должен выйти отдохнуть день-два, а потом отправлюсь в путь на другом, может, не таком занюханном и противном поезде. Впереди меня никто и ничто не ждало, позади — бесполезное прошлое, изредка напоминающее о себе всплывавшим осадком горечи; я был свободен и решил, что мое настоящее вполне могло бы пройти в этом без цвета и запаха, в моем представлении, Городке. С этим и заснул. Но странное дело — проснулся я ровно за десять минут до станции, обещанной проводницей, будто кто разбудил меня, хотя до самой минуты пробуждения спал крепко. Вышел в коридор. Было еще темно, в окна смотрела ночь, и лишь еле заметная розоватость на далеком краешке неба предвещала скорый рассвет.

— Вот он, Городок, — вдруг услышал я за спиной вкрадчивый голос и вздрогнул от неожиданности.

— Фу, как вы меня напугали... Вы что, подкрадывались, что ли?..

Неопрятная, с опухшим — после сна или бессонницы — лицом, проводница даже не обратила внимания на мое восклицание, да так естественно, будто я и рта не раскрывал. Дивиться ее поведению можно было бесконечно: то облает вместо ответа, то, изменив голос, подкрадется и напугает, то вместо минеральной принесет спитой чай, неуклюже прольет на брюки и, не извинившись, уйдет; но я уже немного привыкал к ее странностям и потому не стал настаивать, чтобы она непременно отреагировала на мои слова, а перевел взгляд туда, куда она, выпучив свои — никак их иначе не назовешь — буркалы, показывала, да так, будто узрела за стеклом свою покойную тетку, которую отравила прошлым летом, чтобы завладеть ее серебряным колечком и шестьюдесятью тремя рублями в кошельке.

Я увидел впереди по ходу поезда россыпи огней, недружные кучки перемигивающихся в темноте лампочек то там, то здесь, и это показалось мне довольно странным: люди в Городке не спали в такое время, причем — все. Под утро, когда самый сладкий сон и когда я, черт знает почему, проснулся; на весь поезд один, наверное, такой умник нашелся. По крайней мере весь наш вагон, кроме меня и проводницы, спал.

— Они не спят в такое время, — пробормотал я, всматриваясь в огоньки в убывающей ночи. — Надеюсь, не из-за моего приезда?..

— Вы здесь выходите? — спросила проводница хмуро.

— Я вижу, вас это не радует.

— Мне начхать на это! — вдруг почему-то вспылила она. — Просто я дала знать главному машинисту, что в Городке будут выходить. Чтобы он остановил. Видите, сколько из-за вас хлопот, — сказала она и, резко взяв с места, пошла к себе.

— Но... Но погодите, как же... Что значит — остановил? Разве... Я не понимаю...

— Потом поймете, — сказала проводница, широко зевнув, и юркнула, как большая крыса, в свою нору, хлопнув дверью так, что любая другая превратилась бы в щепки. Видимо, таким образом она намекала, чтобы ее ни в коем случае не беспокоили.

Я зашел в купе, где по-прежнему стояли густая вонь и храп, взял свой чемоданчик. Я всегда путешествую налегке. Особенно когда уезжаю беспричинно в никуда, вот как сейчас, к примеру, и еще даже приблизительно не знаю, когда вернусь. С чемоданом в руке я стоял в коридоре и смотрел на огоньки Городка, к которым, замедляя ход, подходил осточертевший мне поезд. Наконец он подкатил к платформе. Из своей норы вылезла проводница, почему-то с кобурой на поясе, молча поспешно открыла мне дверь и тут же, едва успел я выскочить — кажется, она даже подтолкнула меня

слегка, — захлопнула ее с такой силой, что, окажись там моя нога, быть бы мне инвалидом.

Поезд будто ждал этого — дернулся и пошел, но не так, однако, плавно, как можно было ожидать от поезда дальнего следования. Когда я ступил на камень платформы (“Земля! — закричали матросы, размахивая чемоданчиками”), стало ясно, что она, платформа, явно не рассчитана на такие длинные составы, она была чуть не вдвое короче поезда, так что добрая половина состава оказалась хвостом, на который платформы не хватило, и если б из тех вагонов выходили пассажиры, им пришлось бы... Но никто здесь, кроме меня, не вышел из поезда. Недоброжелательное выражение лица проводницы в окне осточертевшего мне вагона поплыло, оставаясь по-прежнему недоброжелательным. Поезд ушел.

Я провожал взглядом его растворявшиеся в предутреннем тумане красные огоньки на уровне крыши последнего вагона, пока они не исчезли вовсе. Только тогда вдруг я обнаружил, что не так уж одинок на этой платформе. Недалеко от меня стоял пожилой мужчина в форменной фуражке, вероятно, начальник маленькой этой станции, а чуть поодаль от него — молодой, очень худой мужчина, напоминавший дистрофика, и тоже в фуражке; почему-то я сразу признал в нем телеграфиста и не ошибся. Рядом с ним лежала большая беспородная собака, тихая, как кошка. И начальник станции (который и оказался им, как я предполагал), и угаданный телеграфист, и даже собака (которая тоже оказалась собакой, несмотря на кошачью тихость или тихую кошатость) так удивленно таращились на меня, что я немного опешил, стал озираться, смущенно оглядывать себя и хоть и не собирался, но, учитывая, что мир в данном случае сузился до размеров платформы, где мы все стояли, и это, вероятно, как-то косвенно сближало нас, поздоровался, но был оставлен без ответа. Они будто онемели, разглядывая меня. Мне стало неприятно оттого, что они не ответили на мое приветствие, которое я и так через силу выдавил из себя, потому что не привык здороваться с незнакомыми людьми. Наконец, пожилой — а вернее, приглядевшись, его с полным основанием можно было назвать стариком — будто пришел в себя, медленно, как сомнамбула, подошел с вытянутой рукой и с таким видом, словно желал прикоснуться ко мне, чтобы убедиться, что я ему не приснился. По крайней мере выражение лица у него было именно такое. Стоит ли говорить, как я был удивлен и озадачен подобным поведением взрослого человека.

— Вы?.. — произнес он не совсем понятно. — Вы... — он вдруг запнулся, будто силы оставили его. — Вы здесь вышли из поезда?..

— Да, — сказал я, пожав плечами. — Я вышел. Не понимаю, что тут...

— Вам здесь кто-то нужен? — прервал меня телеграфист диким вопросом.

— Кто-то нужен?.. — я все больше впадал в недоумение. — Что значит — кто-то нужен?..

— Видите ли, — неожиданно совершенно другим тоном заговорил начальник, — у нас тут, на нашей станции, никто не выходит.

— Не понимаю, — сказал я и замолчал в ожидании объяснений.

— Дело в том, — заговорил снова тощий телеграфист, — дело в том, что здесь незачем выходить.

— Что вы этим хотите сказать? — вынужден был я спросить, так как он снова замолчал.

— Видите ли, — сказал начальник с усталым видом человека, которому приходится объяснять очевидные вещи. — Это станция. Просто станция.

— Да, — сказал я. — Просто станция. И что?

— Больше ничего, — сказал начальник. — Понимаете, здесь больше ничего нет, кроме этой станции.

— Что? — спросил я. — Не понял, простите.

— Это просто станция, — принялся объяснять как слабоумному тощий телеграфист (ТТ — как я тут же окрестил его про себя). — Станция. Маленькая станция посреди огромной степи.

— Степи? — мне показалось, что я ослышался. — Как степи?.. Мне сказали, что здесь Городок. Мне в поезде сказали.

— Да. Это верно, — проговорил начальник. — Но Городок — это просто название. Никакого Городка на самом деле нет.

— Как? Что значит нет? — постепенно я переставал верить в реальность происходящего; все это походило на дурную шутку, дикий розыгрыш не совсем здоровых людей. — Я же сам видел огни домов...

— Это так. По ночам вся степь в каких-то непонятных огнях. То есть не вся, а какой-то определенный участок степи, как раз за нашей станцией. Мы не знаем, что это. Мы туда не ходим ночью. Из-за этих огней все и думают, что здесь Городок. Но на самом деле

никакого Городка. Вы можете сами убедиться. — Сказав все это, ТТ легонько дотронулся до моей руки, приглашая идти с ним.

Уже совсем рассвело, утренний туман рассеялся, и видимость была прекрасной. Степь перед станцией казалась ужасающе пустынной и бескрайней. ТТ подвел меня к краю платформы, где кончалось серое здание вокзала, и такую же степь, абсолютно без всякого признака жилья, я увидел с другой стороны станции. Я опешил. Что же это? Получалось, что станция — какой-то нелепый островок среди этой огромной выжженной степи.

— Вот это да... — только и смог произнести я. — А Городок...

— Нет никакого Городка, — сказал начальник, подошедший вслед за нами к краю платформы. — Никакого Городка. Но пассажиры поезда не знают об этом. Они-то проезжают здесь только ночью, когда вовсю полыхают огни в степи. И тем, кто не спит, чудится Городок. Поезд здесь стоит пять секунд, да и то не всегда. Вот и прозвали по неведению. Но здесь, кроме нашей станции, ничего нет, и вы теперь в этом убедились. Да?

— Да, — машинально, бездумно повторил я за ним. — Но как же?.. Скажите, а когда будет следующий поезд?

— Следующий поезд? — начальник изумленно глянул на меня, будто я спрашивал о сроках его смерти.

— Это одному только Богу известно, — произнес ТТ обычную фразу с несколько акцентированной религиозностью. — Поезда мимо нашей станции идут крайне нерегулярно. Следующий может быть через неделю, а может — и через год. Однажды уже случалось такое: поезда не было четырнадцать с половиной месяцев. Мы даже, честно говоря, и не ждем их больше. Поэтому и удивились, увидев вас. Здесь никто не выходит.

— Что же... — я был в крайней растерянности, не в силах пока переварить всю ту нелепую информацию, что получил от этих двоих. — Что же мне делать?..

— Да-а... — проговорил начальник. — Задача... Ну, мы вас устроим. Но, сами понимаете, живем мы тут, так сказать, одной семьей, все свои. Так что, ничего не попишешь, вынуждены принять вас. Будете, так сказать, гостем семьи. А ты, — обратился он к ТТ, —

иди срочно телеграфируй, что у нас произошло ЧП. Высадился пассажир. Не знаем, что делать. Ждем указаний. Ну и все такое, сам знаешь. Пусть у них тоже голова болит. — ТТ кивнул и ушел внутрь здания. Начальник поглядел на меня с доброй улыбкой и покачал головой: — Да, задали вы нам задачу.

— Я не доставлю вам хлопот, — пообещал я, все еще мало что понимая и имея в запасе кучу вопросов.

— Как это вас угораздило сойти именно здесь?

— Да я, собственно говоря... — начал я, теряясь, не желая, чтобы он думал обо мне как о бездельнике, которому все равно куда ехать и где выходить из поезда. — Я ехал отдохнуть... Поменять обстановку. А Городок мне понравился, то есть огни Городка так манили... Я и решил...

— Понятно, — произнес начальник, хотя, судя по его виду, вряд ли ему на самом деле было понятно, как это человек вдруг так просто, за здорово живешь может взять и выйти на незнакомой станции. — Что ж, берите ваш чемоданчик, пойдемте устраиваться. Шикарных апартаментов не обещаю, но комнату с рукомойником могу предоставить... — Он шел впереди меня и то ли кряхтел, то ли посмеивался. — Да, пассажир, вляпались вы. Когда еще поезд придет... А часто они и вовсе не останавливаются на нашей станции, просто проскакивают на полном ходу... Да-а, история. Нашли где выходить... Хе-хе-хе...

Как только мы вошли в маленький зал (это, видимо, был зал ожидания, сохранились даже пожелтевшие листки расписания поездов на стене и стойка буфета в углу, но теперь зал был обставлен по-другому и оставались лишь намеки на то, что это был некогда станционный зал ожидания; были убраны ряды кресел для пассажиров и посреди зала поставлен один большой, длинный и низкий стол, окруженный этими самыми креслами, а в конце было что-то похожее на отдельные кабинки для переодевания), нас тут же обступили, несмотря на раннее утро, и это, надо полагать, было все население станции. Видимо, расторопный ТТ успел всех поднять на ноги и ошеломить необычной вестью, подумал я, но оказалось, что я не совсем прав; хотя мое появление и в самом деле ошеломило всех, но подняло их на ноги ни свет ни заря само прибытие поезда, что, как потом выяснилось, было замечательным и редким событием здесь. Среди них, изумленно разглядывавших меня, чуть ли не трогавших руками, я чувствовал себя будто пилот самолета, потерпевшего крушение, который попал в плен к первобытному племени в самом сердце джунглей.

Если не считать начальника станции и ТТ, уже знакомых мне, тут были жена начальника, дородная, белая, малоподвижная женщина с лоснящимися волосами, не произнесшая ни звука при нашем знакомстве; бывшая буфетчица с таким стертым лицом, что сразу я затруднился бы определить ее возраст, но жеманная не в меру и не соответственно возрасту, каким бы он ни был; хмурая, чем-то неуловимо напоминавшая ТТ дочь начальника станции и пожилая супружеская пара, с виду добряки и безобиднейшие люди — сторож и его жена. Мы перезнакомились, и я был принят в их общество как гость незваный, но которого не прогонишь, потому что некуда.

Мне выделили маленькую комнатку. На самом деле, как обещал начальник станции, в ней был рукомойник, очень вместительный, но местами проржавевший, была там и койка (иначе это приспособление для спанья не назовешь, на кровать она была мало похожа — именно походная койка-раскладушка) и еще узкий шкаф с двумя отделениями, одно — с полками для белья, другое — для костюмов и пальто. Окно комнаты, почему-то зарешеченное крепкой, чуть не тюремной решеткой, выходило как раз на платформу. Судя по решетке, можно было догадаться, что раньше в этой комнате располагалась канцелярия, и в ней, возможно, хранились секретные документы, отсюда и такая предосторожность с окнами. Догадка моя подтвердилась в какой-то мере, когда то, что я принял за табурет перед столиком, оказалось маленьким, но довольно тяжелым сейфом, аккуратно прикрытым покрывалом до пола и, таким образом, предлагаемым мне в качестве табурета, если мне здесь вообще понадобится сидеть за столом.

Внешний вид койки, хоть я и устал очень, был до того отталкивающим, что при одном лишь взгляде на это неуклюжее сооружение сон моментально пропал и захотелось поскорее выйти из этой конуры и пройтись хотя бы по платформе, подышать свежим воздухом. Но тут как раз дверь моей комнаты несколько бесцеремонно открылась (именно — несколько, потому что открылась дверь хоть и без предварительного стука, но как-то робко, слабыми, нерешительными рывками, будто за дверью стоял ребенок, который, открывая дверь, сомневался, стоит ли?), и на пороге появилась жена сторожа, который непонятно что здесь сторожил...

Впрочем, все было непонятно, начиная от ТТ (который мне сразу же не понравился, видимо, вследствие того, что мое появление здесь, мягко говоря, не вызывало в нем особого воодушевления; вскоре я догадался почему: возможно, он сразу же заподозрил во мне потенциального соперника в деле обхаживания не менее тощей, чем он сам, дочки начальника, хотя, надо полагать, его длительное обхаживание уже дало свои плоды — эти двое походили друг на друга, хоть и не были супругами; однако дремучий начальник, очевидно, считал своего подчиненного не очень выгодной партией для дочери и ждал появления принца в этой забытой Богом глуши; впрочем, я увлекся) и кончая молчаливой собакой, которой даже полаять на незнакомого человека было лень или же сил не хватало.

А сокращенно прозвал я телеграфиста потому, что имею привычку наделять краткими обозначениями людей, неприятных мне, так они вроде становятся недостойны полных, нормальных человеческих имен. Словом, все тут было пока непонятно мне, начиная от ТТ и кончая собакой. Вспомнив о собаке, я по ассоциации вспомнил и о еде. Чем они ее кормят? Что они сами едят, если, как утверждают, поезда не бывает здесь месяцами? Да даже когда он бывает, разве на нем привозится провизия, если он стоит здесь всего лишь пять секунд? Все было странно, сомнительно, загадочно...

А женщина между тем продолжала стоять на пороге моей комнаты, не решаясь войти.

— Входите, — сказал я, чувствуя неловкость оттого, что заставил ждать старую женщину, но не извиняясь, чтобы дать понять, что нельзя меня беспокоить когда им вздумается.

— Извините, — произнесла она, и в ее усталом голосе послышалась одышка, хрип неблагополучных легких и еще множество старческих болезней, одолевавших ее рыхлое тело, казалось, насильно всунутое в нечто, что затруднительно было бы назвать платьем; скорее, оно напоминало балахон, темный, бесформенный, свидетельствующий о том, что с одеждой у них туговато; я тут же вспомнил молодых ТТ и дочку начальника, их убогую, старую, хоть и безупречно чистую одежду.

— Извините, — повторила женщина и колыхнулась в комнату, вошла и, казалось, заполнила все свободное от столика, шкафа и койки пространство. — Прошу прощения, — уже становясь назойливо-церемонной, произнесла она, силясь изобразить на своем лице улыбку, и сейчас же обнаружился маленький букетик полевых цветов в ее руке. — Это вам... С приездом.

Учитывая сумятицу в моей голове, последние слова ее прозвучали для меня с издевкой, хотя можно было поклясться, что никаких издевательских ноток в ее тоне не было. Я машинально принял букетик, не зная, куда его пристроить, стал вертеть в руке.

— Очень тронут, — невнятно пробормотал я. — Очень мило...

Она вдруг без приглашения уселась на койку и, заметив мой недоумевающий взгляд, который, впрочем, я изо всех сил старался погасить, проговорила глухим голосом:

— На этой кровати умер мой сын. — Она помолчала, потом продолжила печальным голосом: — Это случилось позапрошлым летом. У него открылась чахотка. Скоротечная чахотка. Он и всегда, с самого детства, был слабенький, а тут вдруг, разом... Телеграфист давал телеграммы одну за другой, но никто не ответил. У нас не было лекарств, а поезд не приходил уже пятый месяц... — Она, словно утомившись от долгого разговора, замолчала, переводя дыхание.

— Он умер здесь? — я показал букетиком на кровать. Не нужно было быть слишком наблюдательным, чтобы заметить брезгливость этого жеста. Но женщина, отдышавшись, невозмутимо, будто и не было моего вопроса, продолжала:

— Мы его похоронили за вокзалом, совсем недалеко отсюда... Хотя начальник и возражал, чтобы могила была слишком близко к вокзалу, но я попросила, сказала: мне тяжело идти далеко, и он разрешил... Мы похоронили его, справили поминки, все честь честью. А через шесть дней приехал поезд. Правда, в нем не было врача. И лекарств они не привезли. Да и вовсе не остановились. Может, там и был врач, он все равно не успел бы помочь, если б сын еще был жив. Вероятно, это и к лучшему, что он не дождался поезда. Все-таки он до последнего часа жил надеждой, что поезд придет, и ждал его как спасения. И если бы поезд при нем... Это было бы для него жестоким ударом... Ему было двадцать шесть лет, моему сыночку... — Она неожиданно поднялась, тяжело охнув, и медленно пошла к двери, уже на пороге обернулась и сказала: — Я покажу вам его могилу, если хотите. По-моему, если б он был жив, вы бы с ним подружились, у него был такой мягкий характер, да и возраста вы, если не ошибаюсь, почти одного. Я покажу вам его могилу, — повторила она, и, кажется, я кивнул, а она добавила: — А все-таки хорошо, что вы приехали. Вы нам расскажете, как там, в большом мире, живут... Хотя нет, начальнику это не нравится. Мы даже не включаем радио, а у нас есть радио... Правда, нет линии радиопередачи, просто стоит коробка, мертвая коробка, но все же... все же оно когда-то было, радио, говорило как живое... Нет, мне тоже не нравится, нам всем не нравится узнавать новости. Так мы привыкли, вы понимаете? Если хотите есть, спускайтесь вниз, провизией у нас занимаются мой муж и дочь начальника станции. Сейчас не время для еды, но для вас наверняка сделают исключение. — Проговорив все это, она не спеша, как-то заторможенно притворила за собой дверь и скрылась из глаз. Под ее медленными старческими шагами заскрипели половицы в коридоре, а затем скрип послышался от деревянной лестницы, ведущей в зал.

Я машинально крутил в руке букетик, потом, заметив его, отшвырнул в сторону и сел за стол. В голове был такой невообразимый кавардак, что не могло быть и речи о том, чтобы сосредоточиться, собраться с мыслями; все это не укладывалось в сознании, не подчинялось никакой логике и, скорее, напоминало дурной сон, когда спишь и знаешь,

что это сон, но не можешь заставить себя проснуться. Я даже грешным делом ущипнул себя... Впрочем, я прекрасно понимал, что это явь.

Странным было еще и то, что с момента, как я очутился здесь, на станции, прошло каких-нибудь часа два, а я чувствовал, как постепенно принимаю все как должное, вживаюсь в эту неправдоподобную ситуацию; наверно, потому, что перед глазами были люди, давно уже вжившиеся в нее и считавшие вполне естественной. Что все это явь, а не сон, лишний раз подтвердил стук в дверь, после которого она сразу же открылась и вошел начальник станции.

— Вы, должно быть, проголодались? — спросил он. Я молча кивнул, продолжая сидеть за столом. — Новый человек для нас тут — событие потрясающее, — сказал

он. — Честно говоря, мы все страшно переполошились.

— Понимаю, — кивнул я.

— Нет, — сказал он, — вы всего не можете понять. Я приехал сюда четырнадцать лет назад с семьей. Через два года после меня приехал телеграфист. Это был последний за двенадцать лет человек, которого я видел выходящим на нашей станции. Все остальные жили тут до нас, некоторые уже померли от старости, от болезней. У нас есть даже свое маленькое кладбище, здесь недалеко. — Он помолчал, потер лоб, будто силясь вспомнить что-то.

— Вы садитесь, — предложил я ему, воспользовавшись возникшей паузой.

— А? Нет, нет. Да, вспомнил. Вот чего я зашел... Мы тут, вы уже поняли, наверно, живем сообща, так сказать, коммуной, у каждого — свои обязанности... Я вам хотел показать наше хозяйство, мы сами производим продукты, ну, вы увидите... Есть корова, куры, поросята, огород, сад фруктовый. — В его тоне явно сквозила гордость, и было видно, как он сдерживается, чтобы не показаться смешным. — Все создавалось постепенно, а некоторые вещи здесь еще до моего приезда. Самым старым среди нас был отец теперешнего сторожа. Он умер всего три года назад в преклонном возрасте, но почти до последнего своего часа работал потихоньку, так за работой и помер... А потом и внук его скончался, сын сторожа... Вам жена его, наверно, уже рассказала?.. Это была его комната... Так вот... О чем я?.. А! Ну, значит, мы давно распределили между собой обязанности и выполняем каждый свою работу. И вам найдется дело. Сами понимаете,

нельзя вам в сложившихся обстоятельствах быть не при деле. Следующий поезд неизвестно еще когда придет, а пока…

— Разумеется, — сказал я. — Я готов делать любую работу, какая понадобится.

— Да? — переспросил он чуть недоверчиво, и было заметно, как словно гора свалилась с его плеч, видно, он не очень-то надеялся на мою покладистость; настороженность с их стороны к новому человеку вполне понятна. — Я очень рад, что вы так сказали, — бесхитростно проговорил он. — Нам тут, сами понимаете, дорога каждая пара рук, нас не так-то много, а дел гораздо больше, еле справляемся. Когда вот так живешь и можешь надеяться только на себя, чтобы не умереть с голоду, это ведь совсем другое дело, верно? Это ведь не в городе на всем готовом. — Он опять замолчал.

— Понятно, — сказал я, видя, что он не собирается продолжать. — Может, вы присядете?

— О нет! — встрепенулся он, оторвавшись от своих мыслей. — Я хотел только позвать вас немного подкрепиться, а потом, если хотите, мы осмотрим наше хозяйство и найдем вам какую-нибудь работенку. Вы что умеете? — поинтересовался он.

Вопрос этот своей необычностью резанул слух, был не из того мира, откуда привез меня поезд. Я стал вспоминать, что я умею существенного, что могло бы пригодиться в данной ситуации. Не ерунду вроде бумагомарания, чем нравилось мне заниматься в “той” жизни (вот еще интересный момент: с моим появлением здесь у меня, как, наверно, и у них, словно бы пролегла по жизни черта, деля ее на два периода: до попадания в призрачный Городок и после того, как я очутился здесь, на станции), не то, что в большом обществе, в многолюдных городах может прокормить, а — настоящее. Настоящее! Что же я умею?..

— Я немного занимаюсь точечным массажем и иглоукалыванием. Снимал боли, утомление, бессонницу...

— Неплохо, — одобрил он и выжидающе посмотрел на меня.

— Когда-то давно я работал строителем, готовил панели для крупноблочных домов.

— Вряд ли это может понадобиться, — сказал он.

— Да, — вспомнил я совсем далекое, — еще вот самое главное, наверно: я очень люблю ухаживать за деревьями. Полюбил еще мальчишкой на даче. Отец научил. Деревья и цветы. У нас были фруктовые деревья и кусты роз. Я справлялся...

— Это хорошо, — сказал он, — это может пригодиться. Правда, у нас садовником сторож, но вы могли бы ему помогать, верно?

— Конечно, — согласился я, — с удовольствием.

— Ну ладно, — сказал он.

— Еще я мог бы взрыхлять землю для посадки, рыть, — пояснил я, делая жест, будто в руках у меня лопата, и почему-то заговорив с ним как с глухонемым, — рыть землю.

Он усмехнулся:

— Я понял.

— Еще я немного плотничал, но тоже очень давно, могу вспомнить, если понадобится.

— Ладно, — сказал он. — Пойдемте вниз. Сейчас день, а днем у нас никто не отдыхает. Только ночью. Вы хоть и приехали только что, но не будете исключением.

— Хорошо, — сказал я. — Я и не собирался отдыхать.

Мы с ним вышли из комнаты, дверь которой никак не запиралась, ни изнутри, ни снаружи, и, спустившись вниз по узкой скрипучей лестнице (здесь вообще на первый взгляд все казалось слишком узким и скрипучим: комнаты — будто вагончики, коридоры — не протолкаться вдвоем, даже зал продолговатый, со скрипящими, поющими

половицами и огромной, но тоже узкой печью до потолка, напоминающей тендер старинных паровозов), очутились в зале.

— Да, вот еще, — сказал я, видимо, неосознанно придержав напоследок то, что требует публики, которая и окружила нас в зале. — Момент, — сказал я и стал вытаскивать у него из кармана бесконечную красную ленту. — Ап! — и вытащил из его уха золотой, продемонстрировав всем то и другое.

— О! — воскликнул начальник станции. — Золотая монета!

Я протянул на ладони всем, в восхищении затаившим дыхание, маленькую желтую монетку.

— Давно я не видел денег, — сказал начальник станции, протягивая руку к золотому. — Это вы вытащили из моего уха?

— В какой-то мере, — уклончиво ответил я.

— Значит, это мой золотой? — наивно поинтересовался он.

— Нет, — сказал я. — Это моя монета. Просто я показал вам фокус.

— Фокус? — сказал он.

— Да. Это фокус, — пояснил я. — Ловкость рук, понимаете?

— Не совсем, — признался он. — Значит, монета не моя?

— Папа, — обратилась к нему дочь, — это фокус, как в цирке показывают, помнишь?

— Не совсем, — повторил он. — Смутно. Фокус, — раздумчиво произнес он, с сожалением, неохотно возвращая мне монету.

— Вы могли бы как-нибудь еще продемонстрировать нам ловкость ваших

рук? — несколько жеманно спросила дочь начальника станции. — Мы здесь так отвыкли от всяких зрелищ...

— Конечно, — сказал я, — с удовольствием.

Все были в сборе, и начальник станции вторично представил нас друг другу. Они опять разглядывали меня как экзотическое чудо, невиданную диковинку, чуть ли не с раскрытыми ртами разглядывали. Вторично представил нас начальник станции, наверно, по своей обычной забывчивости, но никто не стал перебивать его и напоминать, что знакомство уже состоялось. Промолчал и я, повторно пожимая руки. Сухие рукопожатия, растерянные глаза, ни намека на улыбки. Все как в первый раз, только чуть помягче, видимо, пока я сидел в комнате, у них была возможность все обсудить и немного привыкнуть к уже свершившемуся факту.

Что интересно, начальник станции знакомил нас точно так же, как и в первый раз, не произнося ни единого имени, можно было подумать, что за долгие годы пребывания вне большого мира имена здесь просто отпали. Не спросил он и моего имени.

— Это наш сторож, это телеграфист, это моя дочь, это жена сторожа, — говорил он, — это буфетчица, это моя жена, а это — пассажир, который по ошибке вышел на нашей станции, случайный пассажир, так сказать, — представил он и меня, ни на букву не изменив своего прежнего представления, отчего я даже засомневался: на самом ли деле он так забывчив, как старательно демонстрировал при каждом удобном случае? Тем не менее мы все без единого слова вторично перезнакомились. Мне показалось, что, в отличие от остальных, дочь начальника станции как-то странно посмотрела на меня и несколько значительнее пожала мне руку, задержав ее на миг дольше в своей руке. Я не стал придавать этому значения. Позже некоторые из них, подобно ТТ (имен я так и не узнал), стали для меня одной или двумя буквами, но пока предстояло пожить среди них.

Начальник станции сказал: “Прошу”, показав рукой на маленькую дверцу, выходящую на заднюю, гораздо более узкую, чем передняя, платформу вокзала, и мы вышли осматривать хозяйство и подыскивать мне подходящее дело. Покормить меня, видно, забыли, а я не стал напоминать, так как за всеми этими потрясениями не особенно ощущал голод. Задняя

платформа почти тут же, через шаг-полтора, обрывалась под ногами, возвышаясь меньше чем на метр над землей. Я спрыгнул с нее и в который раз с недоумением посмотрел на бескрайнюю — насколько взгляд охватывал — степь. Начальник станции, спустившись по четырем кривым ступеням в конце платформы, подошел ко мне, глядя мне в лицо ничего не выражавшим взглядом.

— Все еще не верится, — пробормотал я, изо всех сил стараясь хоть что-то разглядеть за линией горизонта.

— Что? — переспросил начальник станции.

— Не верится, что вы туг так обособленно живете, — сказал я. — Неужели здесь нет никаких домов или поселка? Как же так?

— Нет, — он покачал головой. — Ни поселка, ни домов. Да-а... Молодые поначалу часто ходили. Возьмут с собой еду и воду — и пойдут. Возвращались через день-два. И моя дочь тоже. Однажды они заблудились, моя дочь и телеграфист. Три дня оставались без воды и пищи. Чудом отыскали дорогу назад. Последние километры добирались чуть ли не ползком, обессиленные. Мы их заметили километрах в двух от станции, побежали, принесли сюда, слава Богу, выходили. Дочь тогда немного повредилась в уме, потом прошло, отдохнула, забылась... С тех пор я запретил всем искать жилье. Но сын сторожа не послушался и однажды убежал. Он был совсем молодой — двадцать или двадцать один. Он ушел в середине лета, в самую жару, а вернулся осенью, ночью. Его нельзя было узнать. Оборванный, израненный, одичавший. Был похож на старика. Убивал, говорил, тушканчиков в степи и питался ими. Хотя здесь, близ Дома, мне не доводилось видеть ни одного тушканчика. Конечно, он тоже ничего не нашел, никаких следов человеческого жилья. Потом он долго болел, захворал легкими, кровью кашлял — сильно простудился. Жена сторожа говорила, будто у него чахотка. Мы боялись идти в его комнату даже когда он умер. Боялись подхватить заразу. Нам ведь нельзя болеть...

— Послушайте, — я чувствовал себя как в дурном сне, — я не понимаю... не понимаю, что вам всем мешает покинуть этот вокзал, бросить все к чертям собачьим, ведь хоть и редко, но бывает же поезд, и в него можно заскочить даже за пять секунд...

— Это легко сказать, — пробормотал он и вдруг скорчил мне дикую рожу, но тут же лицо его снова приняло серьезное выражение, так что можно было подумать, будто гримаса почудилась; я в недоумении вглядывался в его лицо, ожидая повторения несуразности, но

он продолжал ровным тоном, словно стараясь убедить меня, что гримаса на самом деле мне привиделась, тогда как я поклясться мог, поклясться... — Легко сказать, — повторил он с мрачным видом. — Вы поживите тут сначала, потом давайте советы. Еще увидите...

— Да что тут видеть! — вскричал я вне себя от его сонной непрошибаемости и собственной неуверенности. — Дикость какая! Если вы хотите уехать, что вам мешает вскочить в вагон и все это навсегда забыть, оставить в прошлом, вернуться в мир, к обычной жизни?..

— Может, самая обычная жизнь и есть у нас, — возразил он, глядя в степь. — И потом, я не сказал вам главного: нас не впускают в вагоны.

— Как?! — мне показалось, что я ослышался. — Как вы сказали?

— Да, да, не пускают, — повторил он. — Ведь кто-то должен работать на этой станции. Вот начальство и приказало — с этой станции никого в поезд не сажать. Проводники запирают двери, пока поезд стоит пять секунд, да не стоит он даже и пяти секунд здесь, только притормозит — и снова поехал, будто боится, что зараза какая пристанет к нему. А чаще и вовсе проскакивает станцию на полном ходу. Вот так-то... Поначалу мы телеграфировали начальству, но нам ответили, что, пока не найдут нам смену, ничего не изменится, а жалованье нам аккуратно поступает на счет в банке. А вскоре нам и отвечать перестали, а еще через некоторое время и телеграф перестал работать, видимо, вовсе отключили линию, чтобы мы им не досаждали попусту. Покойный сын сторожа однажды выбил стекла в вагоне, хотел пролезть в поезд, но его вытолкали, а поезда после этого не было целый год...

— А как же вы говорили насчет меня телеграфисту? — машинально спросил я, хотя тревожил меня гораздо более важный вопрос, чем этот.

— Да это у нас уже машинально, — ответил начальник станции и откровенно, не таясь, с видимым наслаждением показал мне язык; я опешил, но не слишком явно выказал это. — Нечто ритуальное, — спокойно продолжил он, спрятав язык и вновь приняв серьезный вид. — Вроде игры. Он выполняет свое дело, хоть и знает, что его сигналов нигде не услышат.

— А… — Все это казалось мне до того невероятным, что почудилось на миг, будто я потерял способность мыслить. — А как же... — лепетал я, как ребенок, которого бессердечно обманули, — ...а как же я? Что со мной будет? Меня тоже не станут пускать в поезд? — Этот вопрос сейчас для меня был, пожалуй, главным, хотя я краешком сознания понимал, что нелепо задавать столь серьезный вопрос человеку, который строит вам рожи, но все же надеялся…

Он долго смотрел на меня, но так ничего и не ответил.

— Мы хотели посмотреть хозяйство, — напомнил он наконец.

— Хозяйство, — машинально, как эхо, повторил я, и тут меня обожгла мысль, что я могу здесь, среди этих уродов, застрять надолго, на всю оставшуюся жизнь. Если то, что он говорит, верно и отсюда никуда не убежать. В бешенстве схватив начальника станции за грудки, я истерично закричал: — Что же я буду делать?! Вы должны, должны меня отправить! .. — Я сильно тряс его, вне себя от ярости, чуть не плача от бессильной злобы, когда услышал неприятный скрипучий голос над головой:

— Отпустите старика. — Сгоряча я не сразу обратил на него внимание, но голос повторился: — Отпустите старика.

Я поднял голову и прямо над собой увидел телеграфиста. Сначала, плохо соображая от бешенства, хотел кинуться на него, но что-то странное в выражении его лица остановило меня, а опустив взгляд чуть ниже, я увидел в его руке револьвер, черной дырочкой дула уставившийся мне прямо в лоб.

— Что? — глупо спросил я, все еще держа начальника станции за грудки.

— Отпустите его, — повторил ТТ, продолжая целиться в меня. — Как видите, у нас найдется средство, чтобы оградить себя от подобных ваших выходок.

Я отпустил начальника станции, он бережно оправил одежду, постоял, переминаясь с ноги на ногу, словно ему было неловко за мой поступок и он не знал, как загладить его, потом, сделав шаг назад, проговорил:

— Ну как? Будем осматривать хозяйство?

Я машинально поплелся за ним как во сне, а ТТ вошел в здание вокзала.

— Вот здесь мы посеяли пшеницу, видите, поле довольно большое, но мы справляемся, у нас даже есть ручная мельница, может, мы и предложим вам молоть муку; а тут у нас огород, вот, посмотрите; а там, в стойле — корова, был и бык, но старый, хворать начал, и мы его зарезали; а вот там дальше — сад, — говорил начальник станции, будто гид, гордившийся уникальными достопримечательностями своего родного города, но все его слова доходили до меня как сквозь подушку. — Вот

деревья, — донесся до меня сквозь копошащиеся в голове мысли голос. — Видите, яблони, — он наклонился и освободил ствол яблони у основания от степной

колючки. — Кстати, полюбуйтесь, вот эти колючки — их здесь огромное количество — наше спасение: зимой дают отличный жар — лучше всяких дров. А тут у нас... — Я следовал за ним, тупо глядя на то, что он показывал, переводя взгляд на его шевелящиеся губы, не понимая ни слова, слушал звуки его голоса, различал в них напряженную неприязнь и все никак не мог собраться с мыслями.

— Нет, не может быть, чтобы не пришел поезд, — внезапно пробормотал я вслух.

Он замолчал, поглядел на меня и отвел взгляд, но дальше говорить уже не стал. Весь остаток дня и вечер я был как в бреду, все вокруг казалось нереальным, действительность была невероятной. Это впечатление усилилось, когда я вышел побродить в степи близ станции, чтобы в одиночестве обдумать свое положение, и, подняв голову к небу, вдруг почувствовал, что и в небе что-то не так, и почти тут же меня пронзило: в небе далеко вокруг, насколько охватывал взгляд, не было ни одной птицы. Мне стало жутковато. В своей каморке я долго вышагивал из угла в угол, с непривычки поначалу постоянно на что-то натыкаясь в невообразимой тесноте и полутьме. Как выяснилось, свет тут был только дневным, с темнотой жизнь в Доме замирала.

Устав вышагивать и ударяться, я сел за стол на подобие табуретки и обхватил руками гудящую голову. Так я и сидел, когда дверь тихонько открылась и вошла дочь начальника станции. Только тут я сообразил, что во всем Доме (что ж, буду называть пока эту станцию Домом, как все они ее называют, Домом с большой буквы) стояла невероятная тишина (такая тишина, наверное, могла бы быть лишь на загадочно покинутом командой старинном паруснике в открытом море во время ночного штиля). Но почему же в таком

случае не скрипели деревянные ступени, когда она сюда поднималась? Она притворила за собой дверь, подошла ко мне и молча стала разглядывать, будто темнота вовсе не была ей помехой. Разглядывала долго, как интересный музейный экспонат, будто я и не живой был, будто и сам не разглядывал ее с живейшим интересом: а что если, хоть это и нереально, она принесла мне негаданное спасение?

— Что? — тихо, с надеждой спросил я, когда молчание слишком уж затянулось, а прерывать его первой она, как я видел, не собиралась.

— Я пришла сказать вам, — почти шепотом проговорила она, — чтобы вы остерегались этих людей.

— Этих людей? — не понял я. — Кого именно?

— Их всех, — ответила она. — Но больше всех, пожалуй, остерегайтесь буфетчицы.

— Не понимаю...

— Она часто готовит и может подсыпать яду в вашу тарелку.

Прямолинейность ее была непривычной, но в дальнейшем я ту же черту при разговоре заметил почти у всех обитателей Дома; очевидно, за долгие годы, что провели вне общества, они отвыкли начинать разговор издалека, а прямо переходили к сути дела. Все еще плохо соображая, одержимый мыслью, как бы поскорее отсюда выбраться, я не очень вникал в ее слова, тем не менее они не могли оставить меня равнодушным.

— Зачем бы это им понадобилось — убивать меня? — спросил я довольно вяло: пусть не думает, что жизнь мне очень уж дорога, тогда, может, и отнимать ее у меня им будет не так интересно. — Я пока ничего плохого им не сделал.

— Вы человек из другого мира, — не сразу ответила она. — Вы не дадите нам спокойно жить. А мы ведь только недавно привыкли к своему положению. Несколько лет назад, всего лишь несколько лет, мы все — да, почти все — делали все возможное, чтобы вместе ли, в одиночку ли покинуть Городок...

— Городок? — вскинулся я. — Вы сказали: Городок, или мне послышалось?

— Почему вас это удивляет? Я так сказала потому, что все люди оттуда называют это место Городком, а вы ведь как раз оттуда. Мне хотелось сказать так, чтобы вам стало приятно...

— Приятно, — повторил я и хмыкнул, вспомнив, — так говорила проводница в нашем вагоне: Городок. Попадись она мне, я бы на куски разорвал эту вонючку!..

— Не повышайте голос, — таким же ровным, бесстрастным шепотом произнесла она. — Нас могут подслушивать.

— Что? — тоже невольно понизив голос, спросил я. — Подслушивать?

Я сделал непроизвольное движение, чтобы подняться и подойти к двери, но ее предупреждающий жест остановил меня. В тот же миг мне почудилось, что половицы в коридоре рядом с моей дверью скрипнули, а затем скрип, более отчетливый, раздался где-то, надо полагать, на ступенях лестницы.

— Не надо ничего проверять, — прошептала она. — Просто говорите так же тихо, как я.

— Хорошо, — будто желая продемонстрировать ей свою покладистость, согласился я. — Извините, мне некуда посадить вас. Если хотите, можете сесть на кровать.

— Ладно, — сказала она и уселась в изножье кровати. — Вам, должно быть, многое еще покажется у нас странным.

— Да, наверно... — пробормотал я и спросил о том, что все остальные проблемы отодвигало сейчас на задний план: — Почему вы уверены, что меня захотят убить?

— Я не говорила, что уверена, но это не исключено, — ответила она после паузы, задумчиво. — Вы не дадите нам жить спокойно, будете убегать, будете возвращаться больной и истерзанный, потому что убежать отсюда невозможно. А больной человек в наших условиях — это огромная обуза, масса хлопот, мы все выбьемся из колеи, а нас едва-едва хватает на то, чтобы не умереть с голоду. Больной — это большая обуза. Еще большая обуза — беспокойный человек. Вы будете будоражить нашу память, напоминать нам о том, что мы тоже были такими. Ведь захотите убежать, верно?

— Верно. А вы, значит, тоже считаете, что это бесполезно?

— Я не считаю, я уверена, — сказала она. — Убежать можно из тюрьмы, а тут такая воля, что дальше некуда... Разве можно убежать из воли? — попыталась сострить она, но мне было не до шуток, я оставался мрачен, и она, заметив это, продолжила еще более серьезным тоном: — Поверьте, все, что можно было испробовать за эти годы, чтобы покинуть Дом, мы испробовали и, как видите, все мы здесь. Ничего нельзя поделать...

— Но этого не может быть! Этого не может быть! Поезд должен прийти! Я все время, каждую минуту жду его, напрягаю слух, напрягаю душу...

— Не кричите. Успокойтесь. И не напрягайтесь зря... — она помолчала, потом продолжила вполне благожелательным тоном: — Здесь для вас откроется еще масса невероятных вещей, к которым мы уже давно привыкли. Отнеситесь к ним спокойно — мой вам совет. Вам тоже предстоит ко многому привыкнуть...

— Нет, — в бешенстве произнес я и даже, кажется, зубами скрипнул. — Ничего мне не предстоит здесь! Я уйду, уйду, уйду! Убегу отсюда! Убегу!

Она некоторое время молча смотрела на меня, как смотрят на несмышленую зверушку, стремящуюся выкарабкаться из ямы с отвесными стенками.

— Я пришла только предупредить вас, — спокойно прошептала она и поднялась, чтобы уходить, — не надо тревожить остальных. Это опасно. Хоть мы и привыкли к своему положению, но ваше чудовищное — я не найду другого слова — чудовищное ваше появление здесь может кое-кого из нас выбить из привычной колеи. Раньше — через год-два-три после того, как мы поняли свое истинное положение, — мы все часто болели нервными болезнями, у нас были депрессии, и в довольно тяжелой форме; мы все прошли

через это. Многие наши давно уже разучились улыбаться, да и к чему здесь улыбки.. Мы изучили друг друга как самих себя... Мы едим, благодарим Бога за прожитый день и ложимся спать, входя в завтра как в день вчерашний, потому что все наши дни похожи один на другой. Отец придумал меняться делами для разнообразия, но это помогало ненадолго; это маленькое разнообразие очень скоро было поглощено монотонностью здешней жизни... Мы все ненавидели Дом, но за долгие годы ненависть эта незаметно превратилась в свою противоположность; особенно проникаешься любовью к Дому, когда убегаешь из него и через несколько дней, полуживой, возвращаешься под его кров, где тебя поят, кормят и ухаживают за тобой, пока ты не придешь в себя и не поймешь, что ты все это время по ошибке ненавидел то, что Богом послано тебе для любви... Теперь мы любим и оберегаем свой Дом от всего, а пуще всего от такого вторжения, как ваше. Ну ладно, заговорилась я с вами... Ухожу. Будьте осторожны и, если хотите остаться, станьте одним из нас.

— Нет, — сказал я, — не смогу.

— Поначалу нам всем тоже так казалось, и мы придумывали невероятные вещи, чтобы убежать отсюда. Телеграфист однажды выдумал летательный аппарат, правда, не было материалов, чтобы его изготовить, да и сомнительно это... Вы ведь, наверно, уже заметили, что здесь, над Городком, нет ни одной птицы... Куда лететь, даже если бы было на чем? Кругом степь, как океан... Кстати, советую вам, если не будет сидеться на месте, не уходите так далеко от Дома, чтобы потерять его из виду, вы можете заблудиться и погибнуть. Или берите с собой собаку... Хотя нет, она уже старая и тоже боится уходить слишком далеко.

— Послушайте, но послушайте! — Я судорожно вцепился в ее руку и громко зашептал: — Ведь этого не может быть, просто не может быть, и вы... кто-то из вас знает, знает... Должен быть выход…

— Отпустите мою руку, мне больно, — зашептала она. Я отпустил, неотрывно глядя в ее потускневшие глаза, будто собирался найти в них подтверждение тому, что она меня обманывает. — Никакого выхода нет, — сказала она, потирая руку в том месте, куда только что впивались мои пальцы. — А вы запомните, что я вам сказала. Это и будет ваш выход.

Она пошла к двери, осторожно толкнула ее и вышла, аккуратно прикрыв за собой. Ночью я не мог заснуть, напряженно думал обо всех этих странных людях (у них даже разговор был непонятный, взять хотя бы дочь начальника станции: то она говорит как провинциальная клуша, то вполне приличным литературным языком), о ситуации, в

которую попал, и в то же время не переставал прислушиваться к посторонним звукам — а что если поезд прибудет ночью, а я его просплю?

Этого я боялся теперь больше всего на свете и первое время, чем бы ни занимался, постоянно ожидал звуков поезда, готовый даже к тому, что меня могут не впустить в него. Первую ночь в Доме я провел отвратительно, не мог заснуть, вернее, несмотря на крайнюю усталость, сам себе не давал спать, уверенный, что поезд непременно прибудет именно тогда, когда меня сморит сон. Я подошел к зарешеченному окну, посмотрел на близкие яркие звезды и вдруг пронзительно почувствовал свою оторванность от мира, от привычной среды, почувствовал, сколь многого мне здесь не хватает, например сигарет. Захотелось выйти на воздух, хотя бы пройтись по платформе, но я не знал, как к этому отнесутся обитатели Дома. Из окна я глянул вниз — прямо между рельсами на шпалах спала собака... Платформа, степь перед ней, небо, Дом со спящими обитателями — все казалось мне безжизненным и пустынным.

Утром я услышал резкий звон, идущий снизу. Оказалось, так здесь сзывают к завтраку. Когда я спустился вниз, все уже восседали (именно восседали — такой у них был важный, торжественный вид) за чисто выскобленным дощатым столом. На мое приветствие некоторые молча кивнули, остальные и это посчитали недопустимой роскошью, видно, не хотели меня баловать своим вниманием с самого начала. Я сел за пустой прибор — потрескавшаяся тарелка, кривая алюминиевая вилка с тремя зубцами вместо четырех, грубый стакан толстого стекла с обгрызенными краями. Налил себе воды из графина, возвышавшегося в середине стола с важностью бутылки французского коньяка, и отпил полстакана; вода показалась мне очень вкусной.

— У нас не принято опаздывать к столу, — сказал вдруг начальник станции, нарушив глубокое молчание за столом. — Вы слышали сигнал? Он был достаточно громким.

— Да, — сказал я. — Но я не знал, что это такое. Впрочем, извините...

— Если хотите жить с нами, вам придется уважать наши правила и подчиняться им, — проговорил ТТ, но не так резко, скорее, назидательно.

Я молча посмотрел на него, ничего не ответил и принялся за еду. На столе были яйца, масло, сыр, хлеб, все в очень ограниченном количестве; хлеба, например, приходилось по одному кусочку на каждого. “Ничего, — подумал я, — жить можно”. Вид стола несколько поднял мой дух. “Жить можно, — повторил я про себя с горечью, — но лучше — не

нужно, деру надо давать отсюда, все они — помешанные, и не может быть, чтобы не нашлось никакого выхода, из любой ситуации можно найти выход, если спокойно подумать и приняться за дело умеючи, не жалея сил...”

— Вообще-то у нас за столом не принято разговаривать во время еды, — услышал я голос начальника станции, прервавший мои мысли.

Я не сразу сообразил, что его слова относятся ко мне, но он смотрел на меня, а все молчали, выжидая, что я отвечу.

— Разве я что-то сказал? — спросил я с неприятным чувством, которое тут же оправдалось.

— Да. Вы громко бормотали, но слов я не разобрал, — сказал начальник.

“Слава богу, хоть слов не разобрал, — подумал я, — черт возьми, с каких это пор я стал думать вслух? Или уже впадаю в их маразматическое состояние?..”

— Я похвалил воду, — не сразу нашелся я. — Очень вкусная. Кстати, откуда вы ее берете?

— Вы очень рассеянны, молодой человек, — заметил начальник станции; в тоне его слышалось и раздражение, и одновременно нарочитая терпеливость учителя, выговаривающего нерадивому ученику. — Вчера я вам показывал наше хозяйство и подробно рассказывал о нем, но вам, очевидно, было неинтересно. Я показывал вам и колодец. Тут до нас еще был вырыт колодец, прекрасный источник и очень обильный. Без него никакая жизнь не была бы здесь возможна, сами понимаете... Кстати, сегодня вам как раз предстоит брать воду из колодца. Что касается всех остальных продуктов — они от коровы и кур. Вы их вчера, наверно, тоже не заметили... Корова наша — потомок той, что давным-давно привезли сюда сторож и его жена на товарняке... Были у нас и бараны... Да... А теперь остались лишь свинья, боров и поросята... Мясо, сами понимаете, только по праздникам, точнее — когда у нас мясо к столу, тогда и праздник... Впрочем, я все это вам вчера показывал и рассказывал, — смутился он, заметив на себе взгляд жены, молчаливо упрекающий его за многословие. — Если нужна еще одна экскурсия, то, пожалуйста, на этот раз без меня, не смогу составить вам компанию... У нас каждый занят своим делом с

утра до вечера. Кстати, когда закончите с колодцем, пойдете за солью, у нас соль кончается.

— За солью? — удивился я и только тут обратил внимание на крохотную горку белого искристого порошка прямо на столешнице, без посуды.

— Да, — с плохо скрываемой гордостью произнес начальник. — Здесь недалеко есть маленькое месторождение пищевой соли, наземное... Наберешь там кристаллов, натолчешь их — и готова соль. Когда у нас были бараны, мы приносили им эти кристаллы, так их оторвать нельзя было, так они их любили. — Он снова осекся под взглядом жены. — Что-то я разболтался сегодня, — смущенно покашляв, пробормотал он. — Да ведь понятно, не каждый день у нас за столом новый человек. Можно и поговорить раз в кои-то веки.

Завтрак мы закончили в молчании, после чего все поднялись из-за стола и разбрелись по своим делам, заранее распределенным. Я набрал из колодца воды, принес ее в закуток, огороженный в конце зала и служивший кухней, где хозяйничала буфетчица, бросавшая на меня неодобрительные взгляды, пока я таскал ей воду. В другой части вокзала, превращенной в нечто, напоминающее хлев, содержалась скотина. Когда я наливал воды свиньям в корыто, вошел сторож.

— Сразу видно, вы человек городской, — сказал он. — Скотина уже давно поела. Чтобы ее поить, моя жена поднимается в пять утра.

— Я не знал, — сказал я. — Пойду за солью.

Он вышел вместе со мной.

— А чем вы их кормите? — спросил я, отчасти чтобы отвлечься от своей навязчивой мысли: даже недалеко отходя от платформы, я был начеку, в напряжении, изо всех сил прислушивался — как только услышу звуки приближающегося поезда, кинусь назад, к Дому.

— А чем придется, — ответил сторож, вовсе не заботясь о том, что слушал я его крайне рассеянно, — поросенка отрубями, корове — траву, здесь ее достаточно, для кур у нас есть зерно, из которого вам предстоит муку молоть...

— Тут еще собака у вас, — напомнил я.

— Да, даем объедки, косточки, а в общем-то святым духом питается, — ответил он. — Что ж поделаешь? Подохнет, так подохнет, все равно пользы от нее — тьфу! Э, чего там... Главное — хлеб у нас есть... Сами растим, сами собираем, — в его голосе послышалась уже не раз замеченная мной при разговорах с начальником станции гордость за плоды своего труда. — Хлеб и вода, а остальное приложится, а не приложится, тоже ладно будет. Хлеб и вода, слава Богу нашему, имеется... Да... Человеку мало надо... С возрастом, чем старее становишься, понимаешь это.

— Послушайте! — Мы были недалеко от соляного месторождения, он взялся показать мне дорогу и уже тыкал в пространство перед собой пальцем, когда я, внезапно напугав его, схватил старика за плечо: — Вы все тут... Вы что, не хотите уходить отсюда? А? Вы что, с ума все посходили?.. Что это за идиотизм — ваше натуральное хозяйство? Мы не в каменном веке... Зачем все это?.. Разве вам не хочется к людям, к людям?! Этого не может быть, не может быть, чтобы не было никакого выхода!.. Вы сами, сами не хотите... Вы отвыкли от мира, вы боитесь... не хотите видеть никого, кроме себя!.. Жалкие идиоты! Кретины!..

На меня вдруг нашло бешенство такой силы, что я не помнил себя, не соображал, что говорю, и только одно ощущал ясно до боли: абсурдность своего положения здесь, в отрыве от большого, настоящего мира, и страстное желание изменить это положение, вырваться отсюда. Старик не на шутку перепугался, с трудом высвободил плечо из моих судорожно сведенных пальцев, в страхе торопливо отбежал на несколько шагов и испуганно стал наблюдать за мной с безопасного расстояния. Его неподдельный страх отрезвил меня, я постарался взять себя в руки, перевел дыхание и тихо сказал ему:

— Извините. Я не хотел...

Он осторожно подошел ко мне, будто все еще не веря, что я успокоился окончательно.

— Я могу вам дать добрый совет, — не сразу сказал сторож. — Если хотите, конечно. И если будете следовать моему доброму совету. — Так как я молчал, он спросил: — Хотите?

— Да, — устало произнес я, чувствуя, как в груди разгорается, но на этот раз гораздо слабее, чем прежде, умирающая надежда.

— Когда будете уходить, — сказал старик, — держитесь в виду Дома. Понимаете? Чтобы Дом все время был виден вам. Не то... вы можете пропасть.

— И вы о том же, — сказал я. — Ладно, я так и поступлю.

— Вот и хорошо, — удовлетворенно проговорил сторож и снова указал почерневшим пальцем на что-то впереди себя. — А соль, вон она, вон там... Видите? Ну и идите с Богом.

Он повернулся и, не сказав больше ни слова, пошел к Дому. Закончив свои дела, я отправился в степь. И ушел уже довольно далеко, все время, однако, оглядываясь, чтобы не потерять из виду Дом, когда услышал со стороны платформы звон рельсы, зовущей к обеду. Начало уже смеркаться, и степь лежала передо мной огромная, бескрайняя, без каких-либо признаков границ, без намека на то, что она хоть где-то кончается, разве что горизонт немного портил впечатление бескрайности, но его линия, разумеется, была обманчива. Безграничность этой степи была сродни безграничности океана, и стоило мне проникнуться этой мыслью, как я почувствовал мурашки на спине, сердце сжалось от тоски, от горя, от негодования на глупые, пошлые, слепые обстоятельства, приведшие меня к нынешнему положению... Тут послышался повторный удар в рельсу, и я со всех ног бросился к Дому, но не потому, что боялся остаться без обеда, а потому, что хорошо сознавал, насколько я переволновал их всех своими выходками, не хотелось лишний раз досаждать обитателям Дома.

На этот раз я не опоздал. Все только готовились усесться за стол, и каждый бережно нес свою тарелку, а в руках у дочери начальника я увидел две тарелки, надо полагать, одна из них была моя. Заметив меня, подскочил ко мне ТТ, взволнованный, со взъерошенными волосами, и, теряясь, начал сбивчиво:

— Вы... Знаете ли, у меня, если можно... я хотел бы спросить...

Я внутренне напрягся, но, не желая показывать этого, равнодушно произнес:

— Пожалуйста.

Тогда он, воровато оглядываясь, вывел меня обратно на платформу, потому что в зале на нас уже стали обращать внимание, и, не переставая смущаться, сказал:

— Видите ли, такая досада... Засело в голове, ничего не могу поделать с собой... Знаете, со мной это случается... А спросить не у кого. Вот я и подумал, может, вы знаете, подскажете...

— Да в чем дело? — спросил я нетерпеливо, боясь опоздать к столу и нарваться еще на одно замечание начальника станции. — Что вы так разговорились? На вас не похоже.

— Да вот, в голову заскочило, мучаюсь с утра. Только вы не смейтесь, пожалуйста... Обещайте, что не будете смеяться...

— Тут у вас мне вообще не до смеха. Говорите поскорей, что случилось.

— Ничего не случилось. А скажите — Копенгаген...

— Что — Копенгаген? — удивился я, стараясь, однако, не очень показывать свое удивление.

— Копенгаген — столица чего? — спросил он с таким видом, будто от моего ответа зависела его дальнейшая жизнь.

— Копенгаген? — я подозрительно посмотрел на него — уж не дурачит ли меня этот кретин. — По-моему, это столица Дании... Да, вроде так. Я, правда, не силен в географии... Только то, что со школы осталось.

— Ах, столица Дании! — несказанно обрадовался он. — Прекрасно. Спасибо. Вы очень меня выручили. Понимаете, застряло в мозгах, с утра места себе не нахожу... Мучаюсь, мучаюсь, мучаюсь, — сказал он так, будто перечислял дела, которые выполнял с утра.

— Бывает, — неохотно ответил я. — Ничего. Мы можем идти?

— А вот еще хотел бы спросить, если позволите.

— Да? — сказал я настороженно, уже не скрывая, что он мне надоел.

— Саскачеван. Тоже, знаете ли, засело в голове. Слово на слуху, что такое — не знаю, то есть знаю — столица, а чего? Не скажете?..

— По-моему, это похоже на экзамен, — заметил я, глядя ему в глаза.

— Что вы, что вы, Боже упаси! — задохнулся он от обиды и возмущения. — Как можно, честное слово, честное...

— Ладно, ладно, верю, — прервал я его уверения. — Саскачеван, нет, это не столица. Кажется, это в Канаде... Вроде местность так называется. Местность. Саскачеван. Или городок. А вам зачем все это?

— Да видите ли, — вновь засуетился он, — засело в голове. Такой дурной характер, хожу целый день как больной. Спасибо вам, выручили. Саскачеван — город в Канаде. Да. Вот именно. Саскачеван. Интересно, это далеко отсюда?

Я дико взглянул на него. Но он, уже узнав, что ему требовалось, вовсю разговаривал сам с собой. Так и вошел в Дом, что-то бормоча себе под нос. Я вошел за ним и уселся на свое место, время от времени поглядывая на ТТ, как он рассеянно ел с тихой, довольной улыбкой идиота. Обед прошел в абсолютной тишине, разве что чавканье прерывало ее, да на сторожа вдруг напал неудержимый кашель, так что он даже вынужден был выйти откашляться; на него никто не обратил внимания, все ели, уткнувшись в свои тарелки.

За окнами почти совсем стемнело, а так как другого освещения, кроме языков огня из открытой дверцы печки, не было (огня, пожирающего степные колючки), то приходилось разбредаться по своим комнатам. Трудовой день завершался в Доме с наступлением темноты. Однако мысль о том, что надо подняться наверх и засесть в жалкой отведенной мне каморке, была мне противна до тошноты. Я вышел на перрон. Почти тут же из Дома появился сторож, подошел ко мне и проговорил:

— Мне тоже не спится так рано. Если вам скучно, мы могли бы развести костер.

— Костер? — удивился я.

— Да. Какое-никакое, а развлечение. Собаке это тоже нравится, — он кивком указал на лежавшую на платформе собаку, которой как раз в эту минуту буфетчица выносила жалкие остатки нашего ужина — не знаю уж, откуда она их брала, лично у меня никаких остатков не оставалось, самому не хватало, и я вставал из-за стола полуголодным. Наша порция была рассчитана на то, чтобы не протянуть ноги и иметь кое-какие силы для работы.

С такими невеселыми мыслями я машинально шагал за сторожем, и когда мы отошли на достаточное, по его разумению, расстояние от Дома, он, собрав кучи степных сухих колючек, стал высекать искру, ударяя двумя камешками друг о дружку, что для меня, городского жителя, привыкшего пользоваться спичками и зажигалкой, было в диковинку. Он подробно объяснил и показал, как высекается огонь, и я тут же несколько раз подряд высек искру — дело немудреное. От наших искр почти моментально полыхнул костерок, огонь занимался все шире, все выше, костер давал приличный жар, так что стоять близко к нему было опасно, мы отошли чуть в сторону и оба задумчиво уставились на огонь, не в силах оторвать взглядов от его причудливого танца. Вместе с тем я чувствовал рядом с собой смутное движение и, оторвав наконец взгляд от костра, осторожно повернул голову.

За моей спиной стояло все население Дома: и начальник станции, и буфетчица, и дочь начальника станции, и его жена, и жена сторожа, и конечно же ТТ — все стояли и пристально, как душевнобольные, смотрели на огонь с таким напряженным вниманием, будто пламя на одном только им известном языке сообщало важные, очень важные вещи, и надо было внимательно слушать, что говорит огонь, не упустить ни звука. Теперь уже я смотрел не отрываясь на их лица, и выражения этих лиц показались мне до того бессмысленными, до того явно проступала на них печать безумия, что мне сделалось жутко, настолько жутко, что продлись эта нечеловеческая тишина еще немного, я бы,

наверное, не выдержал, закричал, бросился бы затаптывать костер или сделал бы еще какую-нибудь глупость; но тут, тихо потрескивая, костер пошел на убыль, стал затухать, и напряженное ожидание чего-то непонятного среди присутствующих ослабело, люди вокруг меня зашевелились, будто ожили, лица стали немного осмысленнее, и все, будто сделав какое-то важное дело, с удовлетворенным видом потянулись обратно, в Дом.

— Да, дорогой мой, — сказал, шагая рядом со мной, начальник станции. — Вы вот обещали продемонстрировать нам фокусы свои, забыли, да?.. Нам ведь здесь довольно скучно живется. Были бы вам очень, очень благодарны... — И, не дожидаясь моего ответа, он вдруг бойко обогнал меня, подобно ребенку среди резвящихся детей, и первым ступил на платформу.

Эту ночь я спал очень беспокойно, снилась всякая чертовщина, и я несколько раз просыпался с сильно бьющимся сердцем, шарил руками по полу в поисках несуществующих сигарет (старая привычка класть сигареты на пол возле постели) и не спал бы вовсе, если бы не крайняя утомленность, скопившаяся за прошлую бессонную ночь и два дня кошмарного пребывания на грани сна и яви. К тому же подсознательно я напряженно ждал — не забывая ни на минуту — звуков поезда. Иногда мне казалось, что я близок к помешательству.

Утром, после завтрака начальник станции уже от лица всех и более настойчиво повторил свою просьбу.

— Честно говоря, мне сейчас не до фокусов, — ответил я устало, весь разбитый после почти бессонной ночи.

— Но мы все так надеялись, что вы человек слова и сдержите свое обещание, — жеманно напомнила дочь начальника станции.

— Когда я обещал, была совсем другая ситуация и у меня было другое настроение, — объяснил я. — Тогда я еще сгоряча не разобрался, что со мной произошло, куда я попал...

— А куда вы попали? — обиженно спросила дочь начальника станции. — Вы попали к приличным людям.

— Не сомневаюсь, — сказал я. — Но видите ли, чтобы показывать фокусы, мне нужно душевное равновесие, которого у меня сейчас нет. — Я окинул взглядом их всех, с надеждой глядевших на меня. — Ну да ладно... Попробуем...

Они уселись обратно за стол, каждый на свое место, и с нескрываемым любопытством приготовились увидеть чудеса. Я через силу показал им два-три простейших фокуса, основанных на элементарной ловкости и подвижности пальцев, что, впрочем, вызвало неподдельный восторг моих неискушенных зрителей; на миг я снова почувствовал себя гостем и пленником дикого первобытного племени. Минут через десять, когда мне самому мои дешевые фокусы порядком надоели, начальник станции вдруг объявил представление законченным и попросил всех разойтись по своим делам. Может, единственный раз я был ему по-настоящему благодарен.

Мне предстояло натаскать воды из колодца для буфетчицы; она должна была мыть посуду, учитывая острый дефицит и ветхость оной, эту операцию доверяли не каждому. Я лил воду из ведра тонкой струей, а она, сидя на корточках, бережно и виртуозно мыла потрескавшиеся тарелки и чашки, время от времени давая мне указания, коим я неукоснительно следовал, признавая ее авторитет в данном деле.

— Вы что это размечтались? — услышал я вдруг ее голос. — Не слышите?

— Что?

— Хватит лить, говорю, погодите, — повторила она с нотками нетерпения в голосе.

— А? Да, да, — спохватился я, прислушиваясь к посторонним звукам, — извините...

— То-то... Извините... — проворчала она. — Льет когда не надо — извините, выходит из поезда где не надо — извините, лезет в чужие жизни, до которых ему никакого дела нет, — опять, значит, извините? Извините — и дело с концом, и все славно? Можно напакостить, а потом — извините, и все хорошо? — Судя по излишне эмоциональному монологу, злость и антипатия ко мне копились в ней постепенно, час за часом, с тех пор, как я здесь появился.

— Мне иногда кажется, что все это дурной сон, — сказал я, — и надо только проснуться... Вот проснусь — и все кошмарное, мерзкое, липкое исчезнет: и этот Дом, и платформа, и степь, и вы все растворитесь, как призраки, как тени... — Я помолчал, посмотрел на нее. — Я ведь ничего вам не сделал. Не понимаю, за что вы меня так ненавидите...

— Не сделал, — передразнила она меня. — Нет, сделал. Еще как сделал. Напакостил, даже сам не знаешь, как напакостил...

— Да когда я вам напакостил, что вы такое плетете? — я искренне возмутился.

Она запнулась вдруг, помолчала, опасно теребя в руках полуразвалившуюся от трещин, почти прозрачную фарфоровую чашку. Потом неохотно, тихо, будто через силу, и совсем другим тоном проговорила:

— Вы разрушили мне жизнь.

Мне — уже в который раз после того, как я попал в Дом, — показалось, что я ослышался.

— Что? Что вы сказали?

— Да, да, — страстно, но негромко произнесла она. — И не делайте вид, что не понимаете.

— Но... — я был в крайнем замешательстве, растерянности (впрочем, в этом состоянии я пребывал с того самого момента, как неосмотрительно ступил на проклятую платформу проклятого этого вокзала), но тут к обычной моей растерянности примешивалось явное непонимание, чего она от меня добивается. — Я в самом деле не понимаю, клянусь вам. Будьте добры, объясните толком — каким образом я ухитрился испортить вам жизнь?

Она ответила не сразу, сначала оставила в покое чашку, осторожно собрала тарелки на край платформы, возле которой мы с ней мыли посуду, и только потом — с таким видом, будто объясняла ребенку очевидные вещи, — произнесла:

— Вы за что-то невзлюбили телеграфиста... — она вдруг замолчала.

— Я его невзлюбил? Даже если это и так, то вполне взаимно. Он тоже не испытывает привязанности ко мне.

— Предупреждаю, не говорите при мне о нем плохо, — резко произнесла она, гневно сверкнув глазами.

— Ладно, — согласился я, — не буду.

— Он замечательный человек, — продолжила буфетчица. — И всегда, что бы ни случилось, я буду его любить.

— Понятно, — сказал я, просто чтобы нарушить паузу, потому что на самом деле мне была непонятна манера обитателей Дома вести разговор в столь по-детски откровенном ключе.

— Э, — она вяло махнула рукой. — Что вам может быть понятно? Я так сильно, так нежно люблю его, мои сны полны им, его ласками, его словами, которых он никогда не говорил мне... А он... Он любит эту... эту образину, эту вешалку с паклей вместо волос, эту дохлую, облезлую обезьяну...

— Простите, вы имеете в виду дочь начальника станции? — уточнил я.

— Да. Именно ее, — сквозь зубы процедила с ненавистью буфетчица и опять замолчала, глядя в степь.

— Но позвольте, в таком случае при чем тут я?

— При том, что вы приехали, — ответила она.

— Да, но об этом уже поздно говорить. Больше всех сожалею об этом я сам. Однако дело сделано.

— Пока вас не было, все было спокойно. Он любил ее, я любила его и в своем отвергнутом чувстве находила наслаждение, понимаете, наслаждалась своим страданием. Это ни с чем не сравнимое чувство. А вы его у меня отняли.

Сногсшибательная откровенность, попахивающая мазохизмом. Она опять надолго замолчала, поэтому я вынужден был напомнить о своем существовании.

— Ну и что же? — осторожно начал я. — Что тут я могу?..

— Теперь появились вы, — сказала она, — и я буду выглядеть смешной в своем страдании. Мне попросту не поверят.

— Почему? — удивился я.

Она взглянула на меня как на недоумка.

— Почему, почему… Потому что сейчас вы займете, должны занять его место в моем сердце. Все уже и так связывают мое имя с вашим. Кому я теперь могу доказать, что, как и до вас, люблю его, только его? Кому, если появились вы?! Кто мне поверит? Вы все у меня отняли, все, чем я жила до сих пор. Я ненавижу вас...

Я ошарашенно поглядел на эту пятидесятилетнюю (по крайней мере на вид ей нельзя было дать меньше) женщину, и мне сделалось смешно и мерзко одновременно.

— Вы… — не сразу нашелся я. — Вы простите, но это бред какой-то... Это черт знает... Вы, прежде чем отводить мне какое-то место в своем сердце, хотя бы дали мне знать сначала...

— Какое это имеет значение здесь? — сказала она. — Скоро все станет на свои места. Это не я вам отвожу роль, это так и будет, увидите...

Я, не находя слов, смотрел на нее, лихорадочно соображая, стоит ли вообще реагировать на этот бред. Тем не менее чувствовал я себя отвратительно: выходило, что любой из них теперь мог решать за меня, отводить ли мне какую-то роль, даже не удосужившись поставить в известность меня самого... Тихо, расслабленно ступая на нетвердых лапах, подошла собака и устало воззрилась на буфетчицу.

— Чего тебе? — спросила она ее, как спрашивают человека. Собака молча смотрела на нее, тяжело дыша и высунув язык. — Чего тебе? — повторила она.

— Вы полагаете, она должна ответить? — съязвил я.

— Нечего острить, — огрызнулась буфетчица. — Вы меня поставили в такое положение, что не до шуток.

— Ну, думаю, самое незавидное положение тут у меня. Самое незавидное среди вас всех. Не исключая и собаки. Кстати, как ее зовут?

— Просто собака — ответила буфетчица.

— Просто собака?

— А что вы удивляетесь? Тут же нет второй собаки. Зачем ей имя, если она одна?

— Что ж, верно, — сказал я. — Впрочем, я и ваших имен не знаю, так что не знать кличку собаки, сами понимаете, не столь важно...

— Ни к чему вам наши имена. Мы и сами, кажется, уже их забыли почти. Никто здесь никого не называет по имени. Просто нет необходимости. А тем более собаку. Смешно.

— Да это я так спросил. А как она тут появилась?

— Несколько лет назад выбросили из окна поезда. Поезд промчался на полной скорости, а из окна вдруг вылетел щенок и шмякнулся на платформу. Люди такие жестокие, — сказала она, и меня поразило в ее тоне то, что она как бы не причисляет себя к людям, считает себя иным существом. — Теперь собака уже старая, — продолжила она, — скоро, наверно, помрет...

Она поднялась по ступеням на платформу, медленно, бережно собрала посуду и вошла в Дом, оставив меня в крайнем замешательстве. Все было реально, слишком реально — степь, солнце, каменная платформа, собака, нерешительно стоявшая рядом, боль от впившихся в ладони ногтей, — все было реально, но именно той реальностью, которая способна свести с ума нормального человека, абсолютно не предрасположенного к психическим аномалиям. Я смотрел вслед буфетчице и старался припомнить, какой сегодня день недели, какое число какого месяца, какой год и в какой стране я нахожусь. Пока удалось все, кроме дня недели.

Примерно через месяц, когда мне стало невмоготу, я пришел ночью к ней, и она молча приняла меня в своей каморке, не удивившись, будто ждала и была уверена, что я приду. Я старался убедить себя, что все это какое-то наваждение, что все пройдет, пусть только придет поезд — и я уеду, снова заживу нормальной жизнью среди людей, но продолжал время от времени посещать одинокую буфетчицу, принимавшую мои визиты без ропота, как должное, и однажды вспомнил ее слова: “Это не я отвожу вам роль, это так и будет...”

В течение двух месяцев я предпринимал немало попыток установить контакт с внешним, отринувшим нас миром, но мне не хватало смелости уйти далеко от Дома. Да к тому же я боялся, что в мое отсутствие может прийти поезд и я не успею добежать до него. Камней в степи не было, одни сухие, рассыпавшиеся комья земли, и мои попытки помечать пройденный путь хоть какими-нибудь ориентирами не увенчались успехом; я даже придумал использовать для этой цели мотки сухой колючки, но почти постоянно дувший в этих местах слабый ветерок аккуратно уносил их. За этими моими ухищрениями, оторвавшись от своих дел, не раз наблюдали обитатели Дома, стоя на платформе и передавая друг другу большой полевой бинокль, наблюдали равнодушно, с бесстрастным интересом, как наблюдает мальчишка за ползущей по земле гусеницей, не мешая ей; но меня очень раздражало их далекое присутствие. Однажды я попросил у начальника станции бинокль, но, вопреки моим ожиданиям, оказалось, что бинокль принадлежит не ему, а ТТ. Он вызвался попросить его для меня, если мне самому не хочется одалживаться у ТТ, и на следующий день вручил мне мощный старый бинокль с облупившимся корпусом, даже не поинтересовавшись, зачем он мне понадобился. Я поблагодарил, взял бинокль и пошел в степь. Отойдя настолько, что Дом даже через бинокль превратился в

еле различимую точку, я, изо всех сил напрягая зрение и настроив бинокль на наибольшую дальность, стал обозревать степь перед собой. Мне сделалось страшно.

Степь и в самом деле напоминала безбрежный океан, куда ни посмотришь — однообразная сухая земля, даже цвет ее был один и тот же, что вдали, что вблизи: серовато-коричневый. Дрожь пробежала у меня по спине, ноги вдруг ослабли, обмякли, началась забытая боль в сердце, я опустился на землю, чтобы отдышаться, и вытер вспотевший лоб. Я долго ходил, и с непривычки ноги болели, прямо-таки гудели от усталости и напряжения, но то, что я увидел через мощный бинокль, еще больше подкосило мои силы, появилось ощущение, что вся планета состоит из этой степи, грозной, как карающее божество, но карающее за что, за что, за что, Боже, что я сделал? Я попытался вспомнить, много ли тяжких грехов совершил за свою жизнь, и не смог... Были обычные, незаметные в обыденной жизни грешки, опутывавшие мелкой сетью меня среди мне подобных... Да и разве это можно было назвать грехами? Это только в степи, безграничной под небом единым, можно было воспринимать их как грехи в полном понимании слова. Вот земля, иди по ней и никуда не придешь, а вот небо, кричи в него, ори во все горло — никто не отзовется, и можешь — живи, не можешь — ложись, помирай. И грехи были, были, нет одного греха среди людей, а другого в безлюдье, грех он грех и есть, один и тот же перед Богом, и рано или поздно приходит пора расплаты.

Я стал вспоминать, что хорошего сделал. Вспомнил всякую мелочь, размазню незапоминающуюся, а большого, на всю жизнь, нет, не было такого. Боже, думал я, лежа на земле и прислушиваясь к ее глухому, утробному ворчанию: гомон голосов, крики, сливающиеся в неясный гул огромного количества людских судеб, ушедших в землю со своими грехами и своими добрыми делами... На потемневшем небе стали появляться звезды. Я поднялся на ноги и пошел, шатаясь, в сторону Дома. Голова гудела, ломило в висках, но никаких мыслей не было и быть не могло, потому что степь убила их все; ее абсурдность перечеркнула всякую логику, коей мог бы руководствоваться человек в начинающемся безумии. Нет, нет, подальше отсюда, скорее в Дом, в свою каморку или еще лучше — к буфетчице, поскорее уткнуться в ее рыхлое тело и ни о чем не думать, не думать, не думать.

Когда Дом в бинокль стал отчетливо виден, уже почти стемнело и в окнах первого этажа колебалось неверное пламя из печи. И тут в темноте, подходя к Дому, я увидел тот самый призрачный Городок, что видел из окна вагона. Страх охватил меня, жуткий, нечеловеческий, потусторонний страх. Я стал как вкопанный, затаив дыхание, глядя на мигающие, наполненные жизнью огни Городка, что раскинулся сразу же за станцией. Но стоило мне прийти в себя и преодолеть еще с километр в направлении Дома, как этот оптический обман коварной степной ночи истаял, словно привидение. Взобравшись на платформу, я долго тупо смотрел на то место, где совсем недавно мерцал веселыми

огнями людских жилищ вселяющий надежду Городок. Место было пусто. Мрак, ночь, неизвестность...

Дни и ночи складывались в недели, недели — в месяцы, но для меня каждый из этих долгих месяцев состоял не из дней и недель, а из минут и мгновений, потому что каждую минуту и каждое мгновение я жил только одним — ожиданием поезда... Как-то ночью, обессиленный, я впал в забытье, и мне привиделись лица друзей, родных и знакомых, оставленных в том мире, куда я стремился всей душой, как утопающий в болоте рвется изо всех сил дотянуться до ветки дерева, равнодушно застывшей в полуметре от его судорожно дергающейся руки... Я так отчетливо видел эти дорогие мне лица, присутствия которых не ценил в свое время, что, кажется, даже заплакал во сне; во всяком случае, ощутив вдруг мокрую подушку, холодившую щеку, на миг очнулся; но усталость взяла свое, и я вновь уснул и видел теперь степь, залитую солнцем, дневную, но почему-то еще более страшную, чем во мраке, — видимо, оттого, что солнечная степь могла означать лишь одно — смерть, и светлый, радостный вид ее был обманчивой, коварной маской улыбающейся феи на отвратительной физиономии вампира. Подняв голову и обнаружив в небе над степью два солнца, я ужаснулся, упал как подкошенный, теряя сознание, и тут, случайно припав ухом к земле, услышал идущий из чрева степи гул голосов; хаос звуков напоминал мне о недолговечности пребывания на поверхности земли, о том, что настоящее мое

место — там, под землей, под степью, глубоко-глубоко, откуда все отчетливее доносились неразборчивые крики, стуки, будто все подземное царство сошло с ума и пустилось в дикий, безумный пляс... Визги, вой, крики, все стучат, стучат, стучат... Стук! Что это за стук?!

Я мгновенно проснулся, сел в кровати. Стук. Все слышнее, все явственнее. И крик. Вот еще кто-то крикнул. Зовут меня! Меня! Я кинулся к окну, глянул вниз: кричал начальник станции, задрав голову и глядя на мое окно, а возле него стояли все обитатели Дома, кое-как одетые, чем-то неожиданно поднятые с постели... И тут... Я увидел стремительно приближающиеся к станции огни, словно два огромных глаза, и услышал уже четкий стук... стук колес по рельсам... Поезд! Поезд!!! Кажется, я закричал... Бросился вон из комнаты, чуть не сорвав дверь с петель, подвернул ногу, покатился по лестнице, тут же резво вскочил и чуть не взвыл от дикой боли в щиколотке, но сжав зубы, проскакал, хромая, на платформу.

Далеко впереди светились два красных сигнальных огонька под крышей последнего вагона, стремительно удалявшиеся от меня, от меня, стремительно удалявшиеся...

— Как же?! Как же?! — только и смог выговорить я, протягивая руку вслед промелькнувшему поезду.

— Не остановился, — сказал начальник станции.

— Промчался как сумасшедший, — сказала дочь начальника станции.

— Это бывает, — сказал сторож. — Не впервой...

— Ну и черт с ним! — сказала буфетчица.

Я стоял на платформе, все еще протягивая руку в сторону умчавшегося поезда, уносившего мои надежды, мое колотящееся о ребра больное сердце, мою жизнь. Отчаяние ударило мне в голову, в ноги, я упал на колени и, продолжая указывать в сторону невидимого уже и неслышимого поезда, неожиданно исторг из своей груди звериный вопль отчаяния:

— А -а-а-а-а-а!..

Обитатели Дома, молча понаблюдав за моей агонией, ни слова не говоря, разбрелись по своим каморкам, по своим жалким каморкам! Я в полубессознательном состоянии повалился на платформу и так пролежал на ней до утра. Утром, когда я пришел в себя, обнаружил, что вывихнутая нога моя неимоверно распухла в щиколотке, и следующие две недели провел в постели с холодным компрессом вокруг лодыжки. Первые дни я пробовал вставать, держась за стены, но стоило мне ступить на поврежденную ногу, как резкая боль пронизывала от пяток до головы. Лежать и ничего не делать было мучительно стыдно, потому что за меня работали и меня кормили обитатели Дома. Еду мне в комнату приносили то буфетчица, то жена сторожа, то жена начальника станции, которая будто намеренно избегала разговоров со мной. Возможно, она по натуре своей была неразговорчива, потому что за месяцы моего пребывания в Доме не сказала мне ничего, кроме “Доброе утро” и “Здравствуйте”. В этом, я полагал, было что-то ненормальное (я со своей стороны, общаясь худо-бедно со всеми обитателями Дома, поначалу предпринимал попытки заговорить и с ней, но это ни к чему не приводило).

— Я принесла вам суп, — сказала, войдя, на сей раз дочь начальника станции.

— Спасибо. Оставьте на столе, я уже могу вставать.

— Ничего, у меня есть время. — Я уловил в ее тоне обиженные нотки. — Или вы предпочитаете, чтобы за вами ухаживала исключительно буфетчица?

— С чего вы взяли? — удивился я. — Мне просто неловко быть обузой... И... и вообще, у вас такой обиженный голос... Я не понимаю.

— Держите голову прямо, — проговорила она все таким же обиженным тоном, бережно придерживая тарелку у моей груди и поднося к моим губам ложку. — Чтобы понять, надо уметь видеть хотя бы чуть дальше своего носа... — запоздало и туманно ответила она на мое недоумение.

— Что? — чуть не поперхнувшись очередной ложкой супа, спросил я. — Что вы имеете в виду?

Она молча приложила палец к губам, скосив глаза на дверь, за которой, похоже, кто-то возился: слышался тихий скрип половиц, будто этот кто-то осторожно переступал с ноги на ногу.

— Я имею в виду, что надо... — с горечью прошептала она, — надо иметь сердце, чтобы замечать, как по тебе страдает другой человек... Разве она вам пара? Разве вы не видите того, что уже видят все, — что я не могу без вас? Бог ты мой, до чего же вы слепы!

Я обомлел. Вот оно что! Видно, и этот крохотный, обособленный мирок обитателей Дома не может обойтись без пошлых схем человеческих отношений.

— Не знаю, что и сказать... — честно признался я. — Для меня это так неожиданно... Да... Но как же ваш ТТ?

— ТТ? — удивилась она. — Что такое ТТ?

— А... это... это я так назвал его про себя, — пояснил я, стараясь загладить свою оплошность. — Для удобства. Сокращенно.

— И что это означает? — поинтересовалась она.

— Означает? — я задумался. — Талантливый телеграфист — вот что.

— Вряд ли это так, — возразила она. — Это было бы слишком лестно для него, чтобы быть правдой, а, угадала? Хи-хи-хи, — тихо захихикала она, явно кокетничая, что вовсе не шло ей при ее невзрачной внешности. — А меня вы тоже как-то прозвали? Надеюсь, не обидно?

— Что вы! — воскликнул я.

Все же, что ни говори, перед буфетчицей у нее было одно, но явное преимущество: молодость, и я чуть было не клюнул на это (еще и потому, чтобы попутно утереть нос ТТ), но вовремя остановился; ведь эдак я рано или поздно в самом деле стану одним из них, захочу, чего доброго, пустить тут корни, стану участвовать в любовных интрижках и в конце концов забуду, что настоящая жизнь не здесь, а там, откуда я приехал, хоть она временами и надоедает до судорог. Все это мгновенно промелькнуло в моем сознании; и, видимо, то ли что-то новое, отталкивающее прочитала она в выражении моего лица, то ли вспугнул ее слишком громкий на этот раз скрип половиц за дверью, но дочь начальника, уже успевшая скормить мне всю тарелку супа, вдруг резко поднялась с края кровати, на которой сидела, и, не говоря ни слова и ни разу не обернувшись, ушла, намеренно громко стуча башмаками. Шаги за дверью сразу же переместились на ступени лестницы, с которой я так неудачно полетел.

По ассоциации со своим несчастным падением я вспомнил поезд, проскочивший нашу станцию так, будто убегал от жилища зачумленных... Я заскрипел зубами... Мелькнула мысль — а не устроить ли в следующий раз крушение поезда? Но... Сотни жертв. Ни в чем не повинных людей... раненые, покалеченные, обожженные... Нет, нет, выкинуть поскорее эти параноидальные мысли... Господи! Даже им, этим уродам, не пришла в голову такая ужасная, бесчеловечная идея! Неужели я уродливее их?..

Немного отдышавшись, стал размышлять, и вдруг меня обожгла одна догадка, очень на первый взгляд простая, но почему-то до сих пор коварно прятавшаяся в глубинах сознания. Мне пришло, нет, кинулось в голову: ведь до сих пор я отходил от Дома, стараясь держать его в поле зрения, чтобы можно было вернуться обратно; я сооружал какие-то предательски неверные ориентиры, тогда как что могло быть более надежным ориентиром, чем сами же рельсы! Господи, понадобилось почти четыре месяца, чтобы мне пришла в голову такая простая и спасительная мысль. Теперь главное — поскорее встать на ноги и... Нет. Стоп! В подобных делах спешка может привести к трагедии. Следует все предусмотреть, взять с собой воды и пищи, особенно — воды, днем степь изнуряет человека жаждой, высушивает, будто стремясь превратить его в клубок сухих колючек... И еще — самое главное — надо все продумать, все до мельчайших деталей. Да, пока я лежу и есть возможность подолгу оставаться в одиночестве, надо продумать... Но что именно? В каком направлении нужно идти по рельсам — вот что сейчас было главное, потому что поход вдоль железнодорожного полотна мог продлиться и день, и сутки, и двое суток, и трое. Все зависело от всего: насколько я буду бодр и силен, отправляясь в путь, на сколько хватит воды, которую я смогу взять с собой, какая будет погода, какой путь — трудный или легкий...

Через несколько дней, когда отечность прошла и я мог свободно передвигаться, не ощущая боли в ноге, мне поручили молоть муку на маленькой ручной мельнице. Примитивные жернова, закладывается зерно, бесконечное верчение, отнимавшее, кстати, немало сил, и в итоге — горсть или две муки, потом заново закладывается зерно... Однообразие этой работы утомляло, я дал себе слово: как только наполню мукой два назначенных мне больших мешка, примусь за осуществление своего плана, из которого я конечно же не намерен был делать тайны и собирался при первом удобном случае поделиться своими соображениями с начальником станции.

Он поглядел на меня ничего не выражавшим тусклым взглядом.

— Будет лучше, если вы выбросите это из головы, — проговорил он после паузы, которая, как мне показалось, ушла на переваривание его заржавевшими мозгами моего сенсационного сообщения. Значит, им в самом деле не приходило в голову, что есть такой простой выход из положения?

— Но послушайте, я не только о себе хлопочу, — старался я изо всех сил пробудить его сонное сердце. — Мы все отправимся в путь. Мы обязательно придем куда-нибудь, вот увидите... Выйдем к населенным пунктам... к какому-нибудь городку или дерев...

Он смотрел на меня, не меняя выражения лица, и это меня смущало. Видя, что я осекся и не собираюсь продолжать, он повторил свою фразу слово в слово, подчеркивая, должно быть, что все мои доводы пропустил мимо ушей, так как они большего и не заслуживают.

— Будет лучше, если вы выбросите это из головы. — Он повернулся, чтобы уходить, считая разговор исчерпанным.

— Но... — сказал я, теряя надежду хоть что-то вдолбить в его башку, — но, надеюсь, вы дадите мне воды и пищи, когда я буду уходить?

Он опять ответил не сразу, стоял ко мне спиной, размышляя какое-то время, и, так и не обернувшись, произнес:

— Да.

“И на том спасибо”, — подумал я и вернулся к своей работе.

Ночью, оставшись один, я стал усиленно вспоминать, стараясь не упускать ни малейших подробностей: задолго ли до Дома была станция, где останавливался поезд и когда, я хватался за любую зацепку, любую трещинку в стершихся и крошащихся стенках памяти. И постепенно восстановил (напряженный труд мой увенчался успехом, не отличимым от поражения) почти всю картину однообразной, скучной, как зевота, сводящая скулы, поездки. И когда я мысленно восстановил в памяти очертания этого песчаного замка, порушенного волнами времени, мне сделалось по-настоящему страшно. “Нет, — подумал я, — нет, наверно, я ошибся, тут что-то не так, надо начать сначала, видимо, я упустил что-то важное, потому что этого не может быть. Начну сначала”.

Я начал вспоминать с того момента, когда четыре месяца назад сел в поезд в своем городе, и снова стал тщательно, кирпичик за кирпичиком, избегая пустот и брешей, собирать картину поездки, час за часом, минута за минутой. Я вспоминал пассажиров в своем купе и в коридоре, наши редкие малозначительные разговоры, вспомнил ворчливую гадкую проводницу, что и когда ел в вагоне-ресторане и что при этом видел из окна, что привлекло — может быть — мое внимание, и вновь пришел к тому же, что в первый раз заставило мое сердце сжаться от ужаса: поезд ехал без остановок, на его пути не было ничего. Никакого селения. Первым человеческим жильем и был Дом. Волосы зашевелились у меня на голове. Я попытался взять себя в руки, отдохнул немного и стал

вспоминать в третий раз, теперь вдруг отчетливо понимая, как сходят с ума. Но и в третий раз результат был все тот же. Боже мой, застонал я, помоги мне, Боже... И провалился в сон, как небрежно сброшенный с носилок покойник — в могилу. Провалился в могилу. Могилу в степи. Могилу в степи. Могилу в степи. МС. МС. МС.

Позже, когда я окончательно утвердился в мысли, что назад мне дороги нет, что я попросту не пройду столь огромное расстояние (вспомнились вид из окна и жалобы пассажиров на малоприглядный ландшафт: бесконечная степь днем и ночью, пустынная, безжизненная степь, преследовавшая поезд, стремившаяся заглотать его окончательно в чрево свое), я тем не менее еще неоднократно вспоминал всю поездку от начала до конца, словно бы для еще одной, еще одной, еще одной контрольной проверки. Я понимал и то, что на пути назад меня могла бы ждать восстановленная в памяти другая станция, тогда как на пути вперед — одна неизвестность. И риск. Вполне возможно, смертельный... Но мне оставался один путь — вперед. Вперед, куда умчался бешеный поезд. Будем надеяться, что там...

Но прошло еще долгих три недели, на протяжении которых я не переставал ждать поезда, как узник в камере смертников ожидает чуда безо всяких на то оснований: вот загремит отпираемый замок, дверь со скрежетом — таким до жути, до тошноты знакомым — распахнется, и ему сообщат об отмене смертной казни. О радость! О счастье бытия! О солнце, луна, трава, краски и запахи! Можно дышать, думать, улыбаться, смотреть на небо — это уже не смерть, а то, что не смерть, — прекрасно и трижды благословенно! Итак, прошло еще долгих три недели беспрерывной, тяжелой, нудной и срочной работы, которую я не хотел оставлять незаконченной и тем самым перекладывать на других, не хотел не потому, что почувствовал вдруг неодолимую привязанность к этим людям (напротив, у меня, рвущегося покинуть свою тюрьму, эти примирившиеся со своей участью узники вызывали презрение, с каждым днем все более крепнувшее), а потому, что руководствовался чисто практическими соображениями: хотелось расстаться с ними дружески, чтобы в случае

чего — упаси Бог! — было куда вернуться. Короче, обеспечить себе тылы... Прошло еще три недели, прежде чем я смог приступить к осуществлению своего плана.

Теперь мне следовало хорошенько отдохнуть перед дорогой. С этой целью я сразу же после обеда, как только стало смеркаться, поднялся к себе и лег в постель. Но поздно вечером, когда я уже спал, в мою каморку явилась дочь начальника станции, разбудила меня, тряся за плечо, и без единого слова, сбросив свой балахон, обнажив выпирающие отовсюду кости, стала у моей кровати.

— Если будете говорить, — произнесла она очень тихо, — говорите шепотом.

— Я в восхищении, — стараясь не отводить взгляда, прошептал я, чтобы она не бросила мне яду в приготовленную уже для похода воду.

Тогда, естественно, она легла, и я лишний раз убедился в дикой, истерической скрипучести моей кровати, которой не уступала столь же истерическая страстность дочери НС. Таким образом, я этой ночью обретал двух злейших врагов: ТТ — любовника дочери НС и буфетчицу, претендовавшую на меня как на верного сожителя. Это — как минимум, если не принимать во внимание, что дочь начальника станции это дочь начальника, и еще неизвестно, как после этой ночи он отнесется ко мне. К тому же у ДНС была и мать, которой тоже трудно будет оставаться по отношению ко мне лояльной и молчаливой, как было до сих пор. Но конечно же страшнее всех была сама ДНС, которая не потерпела бы, попробуй я отвергнуть ее любовь. Впрочем, это старое доброе слово вряд ли могло подойти к нашему совокуплению.

Плоды так называемой двойной измены не замедлили сказаться. За дверью заскрипели половицы, но на этот раз одним скрипом дело не закончилось: дверь отворилась, и нас застукали на месте преступления. Вошла буфетчица и за ней, гораздо более робко, ТТ. Дочь НС прильнула ко мне, видимо, давая понять, что ради своего чувства пойдет хоть на смерть. Это не очень-то вдохновляло меня перед предстоящим уходом.

— Вы здесь? — сказал ТТ, обращаясь к дочери НС с таким видом, будто это было для него большой неожиданностью.

— Да, я здесь! — с вызовом воскликнула шепотом дочь НС. — Я здесь, потому что люблю его.

— Ты жалкая костлявая шлюха! — зашипела буфетчица, что было не так уж далеко от истины.

— Не смейте! — вдруг яростным шепотом запротестовал ТТ, не совсем для меня понятно. — Не смейте о ней так...

— Жалкий дурень, — тут же схлопотал он от буфетчицы. — Глаза разуй, она же никогда, никогда тебя... Э, да что там говорить!

— По какому праву вы ворвались сюда? — запоздало возмутилась ДНС.

— Она еще о правах тут вякать будет! — зло зашептала буфетчица. — Скажи спасибо, что я глаза тебе не выцарапала, гадина!

— Пошла вон отсюда! — сопровождая свои слова смехотворно-царственным жестом, сказала ДНС, прижав голое бедро под одеялом к моей ноге. — А ты... — обратилась она, изменив тон, к ТТ, — тебя я с этой минуты видеть не хочу! Ты опошлил мое чистое чувство к нему, — она показала на меня. — Да, я охладела к тебе, теперь он мой муж, сердцу не прикажешь любить, все проходит, ты не понял такой простой вещи, вместе с этой тварью...

— Сама тварь, паскуда! — тут же вернула пас буфетчица.

— Вместе с этой тварью, — повторила настойчиво ДНС, — ворвался сюда, будто имеешь право вершить суд над нами, любящими друг друга. Да, я люблю его, даже зная, что он хочет уйти от нас и рано или поздно покинет Дом, и тут уж ничего не поделаешь. А теперь иди. И не забудь захватить с собой эту... — ДНС брезгливым жестом указала на разъяренную буфетчицу. — Может, ты утешишься в ее объятиях. Она давно жаждет этого. От души желаю, и забудь меня навеки.

Судя по накатанности слога, она заранее приготовила речь, предвидя, наверное, наперед визит буфетчицы и ТТ. Я активно хлопал глазами, не зная, как себя вести, но вскоре смущаться мне надоело, я устроился поудобнее в кровати и смотрел на происходящее в качестве зрителя. ТТ слушал ДНС, все ниже и ниже опуская голову, а когда обращенный к нему монолог закончился, он вдруг, не говоря ни слова, взял буфетчицу за руку, и они весело поскакали к двери, возле которой, обернувшись, одновременно скорчили нам рожи; буфетчица к тому же похлопала себя по заду, а ТТ с самым невозмутимым видом громко пустил ветры. Однако — что самое удивительное — все это никого не смутило, и я тоже постарался не подавать виду, что ошарашен, — им могло бы не понравиться.

Несколько дней ушло у меня на то, чтобы утихомирить ТТ и буфетчицу, пока наконец я не почувствовал, что претензий ко мне они не имеют и вполне довольны друг дружкой в качестве новых партнеров. Старики в Доме в дела молодых не вмешивались — так уж у них повелось с самого начала, это сообщила мне ДНС, когда я высказал ей свои опасения насчет начальника и его жены. Через некоторое время я имел основания считать, что тылы

свои закрепил и наступало время, когда я со спокойной совестью могу оставить опостылевший мне до судорог Дом.

Несколько ночей подряд я спал очень беспокойно, и мне снился один и тот же сон, с легкими вариациями, но в сущности — один и тот же. Я выхожу ночью из Дома, крадучись, стараясь не скрипеть дверями и половицами, избегая света полной луны, прижимаясь к стенам, почему-то на цыпочках продвигаюсь по платформе, соскакиваю с нее вниз и бегу что есть духу вдоль железнодорожного полотна, по шпалам, заросшим степной пыльной травой, бегу, задыхаясь, преследуемый луной, и вот уже Дом скрывается из виду, и я чувствую облегчение, словно огромная тяжесть падает с моих плеч. И тогда я замедляю бег, иду не спеша, без страха; и, к своему изумлению и величайшей радости, с первыми лучами солнца дохожу до какой-то незнакомой станции, нормальной станции с нормальными пассажирами, стоящими на платформе, каждый возле своего багажа с билетами в руках, рядом с ними — провожающие, разговаривают, смеются... На меня никто не обращает внимания, и я взбираюсь на платформу по каменным ступеням, покупаю в кассе билет, пью в буфете минеральную воду и так же, как все, ожидаю поезда. И поезд приходит удивительно скоро, я еще не успеваю даже поскучать на платформе. Вхожу в свой вагон, устраиваюсь в купе на своей нижней полке, поезд трогается, и я разглядываю в окно веселые картинки, пробегающие мимо: яркие цветы, домики, сады, коров, стада овец, пастуха с длинной палкой через плечо, мальчишек, приветливо поднятые полосатые шлагбаумы, желтые флажки в руках стрелочниц у переездов и снова — яркие, радующие глаз домики среди зеленых лужаек, где играют дети... И так я еду столько, сколько мне хочется, и выхожу там, где мне хочется, тепло попрощавшись с попутчиками и проводницей, шагаю по перрону, вхожу в здание вокзала, прохожу по залу, поднимаюсь по деревянным ступеням на второй этаж (скрипучие, скрипучие ступени... ох, этот скрип... что-то знакомое — екнуло сердце! ), прохожу по темному коридорчику (ох, что-то знако... ) до узкой двери без замка и... вхожу в свою каморку с арестованной луной за решеткой окна.

Я каждый раз просыпался только тогда, когда добросовестно досматривал сон до конца. Дико стучало сердце, я открывал глаза и видел спавшую рядом дочь НС. Не раз приходила мысль об удушении. Тело в простыню — и в степь. Закопать. Лопату на место. Дело сделано. Где наша Д? А я не знаю, где ваша Д... — хлоп-хлоп невинными глазами. Чертовщина — что в голову лезет... Бежать, бежать отсюда, пока не свихнулся окончательно! Бежать по шпалам, а там, если повезет и вдруг станет нагонять меня поезд, я с места не сдвинусь, стану между рельсами, раскинув руки, и если суждено мне погибнуть, пусть причиной моей гибели станет тот мир, что однажды я так нелепо покинул. Пусть переедет меня поезд, в котором каждый вагон будет нагружен заботами, счастьем, радостью, горем, болезнями и работой, любовью и изменой, предательством и дружбой, страстью и равнодушием, и все это будет ярко и полно-кровно, как быть и должно, потому что все это называется жизнью. Я без сожаления приму это наказание, потому что теперь знаю: самое тяжкое из наказаний, придуманных Господом, — это

пребывать в мертвом Доме, полном теней, в Доме, высасывающем из человека жизнь и взамен дающем ее жалкое подражание. Пусть будет так, Господи, и если Поезд Твой не остановится вовремя передо мной, я, не колеблясь, положу голову на плаху степи, ожидающую топора Твоего... Я уже достаточно наказан, отпусти меня, Дом, дай уйти мне, потому что здесь, в чреве твоем, я понял впервые, что я трус и червь и никогда не был смелым, благородным, свободным человеком, за какового всю жизнь успешно выдавал себя. Здесь я познал то, что каждый должен открыть в себе, чтобы жить дальше с Богом в сердце и склоненной головой, которую без страха можно подставить карающей деснице Его. Да будь благословенна карающая десница Твоя, что всегда запаздывает на целую человеческую жизнь. А на меня обрушилась. Да благословен будь Дом, что долгие годы стоял, терпеливо ожидая, будто заряженная мышеловка, маленького серого узника. А для меня захлопнулся. Благословен будь Городок и поезд, привезший меня сюда, чтобы я много тут познал и передумал, понял, пожалуй, главное: почти все мы в обычной жизни не настоящие, играем чужие роли, проживаем чужие жизни, и если я хочу хоть теперь стать настоящим, стать собой, мне нужно бежать отсюда сейчас же, не дожидаясь рассвета. Храни вас Бог, храни вас Дом, а я ухожу...

Я осторожно поднялся с кровати, стараясь не разбудить похрапывающую во сне дочь НС, оделся, вышел из Дома и из потайного места у заднего края платформы достал большой холщовый мешок с водой и провизией, что выпросил у начальника станции. По моим подсчетам, при экономном расходовании продуктов должно хватить дня на три. Потом осторожно, как в повторяющемся сне моем, прошел вдоль платформы и двинулся по шпалам, сопровождаемый полной луной. Когда шагов через триста я обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на Дом, он предстал перед моим взором спящим монстром, недружелюбно поглядывавшим мне вслед слепыми глазами окон.

До утра шел я без устали, но не спеша, чтобы не переутомлять свое больное сердце, но часа через три после восхода солнца, когда началась жара, меня стала одолевать жажда, а как только я утолил ее, дал знать о себе голод. Я уселся на шпалы, экономно поел, отдохнул, бездумно обозревая пространство степи, и продолжил путь, на котором мне пока еще не встретилось ни одного живого существа — ни степного зверька, ни птицы, даже змей не было видно. Но больше всего меня угнетало отсутствие птиц в небе: будто оно было зеркалом степи, и небесная пустота отражала пустоту земную. Рельсы блестели под солнцем как начищенные, и это вселяло надежду: если они не заржавевшие, значит, по ним все-таки ходит, ходит поезд... Несколько раз за этот день сильно покалывало сердце, я садился отдохнуть и раза два поймал себя на том, что в рассеянности бездумно пью воду из своих скудных запасов.

К вечеру третьего дня почти вся провизия кончилась, а воды оставалось несколько глотков. Теплая, противная, но желанная вода — жизнь... Я лег как стемнело и заснул прямо между рельсами, пока яркие солнечные лучи не пробудили меня поздним утром. Я

чувствовал себя отдохнувшим, немного бодрее, чем вчера, но есть хотелось зверски. Сорвал горькую пыльную траву, росшую вдоль полотна, пожевал ее, но проглотить не смог. К полудню я уже шатался от усталости, теперь я утомлялся гораздо быстрее, чем в первые три дня похода, и часто останавливался, чтобы передохнуть. Вечером, после захода солнца, я уже еле волочил опухшие ноги и не помню как повалился меж рельсов и уснул, если то обморочное состояние, в котором я пребывал, можно назвать сном. На следующий день, еле передвигаясь, плохо соображая и плохо видя под нещадно палящим солнцем, я уже не верил, что когда-нибудь на моем пути может возникнуть станция, а временами просто забывал, куда иду, откуда и сколько времени нахожусь в пути... И когда наступило утро следующего дня, я не понял, что сейчас: ночь или день — перед глазами стояла пелена. Я машинально переставлял ноги, весь в синяках и ссадинах от частых падений; все тело источало одну сплошную боль. Прошел еще один день, и я уже идти не мог, сил оставалось только на то, чтобы ползти. И я пополз. Жуткий, непрекращающийся гул стоял в голове, и какая-то липкая пелена мешала мне осмотреться вокруг... А когда после очередного обморока я пришел в себя, то осознал вдруг, что лежу в открытой степи — железнодорожной колеи рядом нет. Я с трудом напряг взгляд: степь, степь... И солнце... И тут вдали что-то неясно блеснуло... Или показалось? Я тщательно протер глаза — нет, так и есть, снова блеснуло... Я из последних сил пополз в ту сторону, но прошла целая вечность, прежде чем мне удалось доползти... доползти... На этот раз у меня не оставалось даже сил, чтобы ужаснуться. Я лежал и тупо глядел на рельсы... уходившие в землю. Охваченный животным страхом, я глядел на свои черные, кровоточащие руки, лежавшие на рельсе. Два ярких под лучами солнца рельса параллельно уходили в землю, будто приглашали поезда в преисподнюю. Голова моя сама собой поднялась, глаза уставились в голубое, чистое небо, а к горлу подступил звериный вой. Я выл протяжно, как волк, пришедший умереть под этим солнцем...

Всю ночь я упорно, сцепив зубы, полз по шпалам в обратном направлении, и мне удалось, кажется, проползти до утра изрядное расстояние. Утром вместе с жесточайшей болью в сердце пришло сознание того, что сегодня я умру. Когда в мой затухающий мозг закралась эта мысль, я не был пронзен ею, не был удивлен, огорчен, и мне не стало страшно. Спасительная смерть обещала прекратить мои мучения, спасительная, прохладная смерть, прохладная, как вода в сентябрьском море моего детства... Я вновь потерял сознание от сильного приступа сердечной боли, а когда очнулся — были звезды, и я, как обычно, лежал между рельсами, как между ногами женщины, родившей меня, вскормившей, любившей, тревожившейся обо мне... И все ради того, чтобы сейчас я подох здесь в ночи, в степи, на рельсах, уходивших в ад? И тогда я почувствовал, как пустота взяла меня за горло, как ласково прижимается ко мне своими костями и тощими, уродливыми грудями, уговаривая войти в нее.

“Боже, — подумалось перед смертью, — а ведь Ты — мрак... Я не могу молиться, меня не учили, и я сделался несчастным”. И потому пустота все теснее прижималась ко мне, я был ей сродни, с таким же пустым сердцем, пронзенным болью, я уходил в нее, никого не любя, ни с кем не желая попрощаться. Я вспомнил вдруг всех обитателей Дома: и начальника станции, и тощего телеграфиста, и дочь начальника станции, и его жену, и

сторожа, и жену сторожа, и буфетчицу, и вечно спящую собаку... собаку, раньше которой мне приходилось подыхать в степи, покинутым, безвестным... Все они до этой минуты были для меня как тени, а не настоящие люди, потому, наверно, я и называл их сокращенно; я даже не удосужился поближе узнать их, постараться понять, расшевелить их мысль, полюбить их, ведь не все же умерло в их головах и сердцах; нет, нет, напротив, это у меня высохли мысли и душа, и мне недосуг было сблизиться с ними, потому что я рвался на свободу, стремился уйти от них, ненавидя в них свое невольное затворничество.

Теперь я понимал, что люди эти ничем не хуже других, люди везде одинаковы, это я сам стал другим, попав в их среду, это я стал сумасшедшим, это я внес беспокойство в их размеренный уклад жизни, они предлагали мне гостеприимство, которым я пренебрег, считая, видимо, что есть первосортные и второсортные люди, первосортная и второсортная жизнь, тогда как есть только жизнь и смерть и, отвергнув жизнь, неминуемо придешь к смерти. Я сделал свой выбор, за который сейчас и расплачиваюсь. Теперь я вспоминал обитателей Дома с бесконечно теплым чувством, как вспоминают в свой последний час родных и близких, дорогих и желанных людей. Впрочем, кто знает, какие тени обступают человека в его последнюю минуту на земле?

Тьма и пустота становились все ближе, и я ступил в Пустоту, уже не ощущая холода рельса, на котором лежал, потому что сам медленно превращался в холодное и бездушное ничто, и звезды гасли одна за другой на предутреннем небе, когда вдруг до меня отчетливо донесся близкий, очень близкий перестук колес, и я ощутил вибрацию рельса, с которого уже не в силах был сползти. То был поезд, стремительно и неотвратимо приближался к моему телу Поезд Божьей кары, но был этот Поезд уже из другого, совсем другого мира, который только что, мгновение назад, перестал меня интересовать и на который я равнодушно взирал мертвыми глазами с небес... И оттуда, сверху, видел отчетливо, как этот поезд, надрывно — будто отпевал меня — свистя, стремительно, стремительно, стремительно всей своей громадой надвигался на мое бездыханное те-е-е-ело-о-о-о-о!

**Октай Миркасым**

# Бильярдист

Рассказ

*Октай Мир-Асадулла оглы Миркасым. Кинорежиссер, кинодраматург, кинопродюсер, прозаик. Родился в 1943 г. в г. Баку. В 1968 году окончил режиссерский факультет московского ВГИКа. Автор известных документальных, игровых, телевизионных фильмов, обладатель многих национальных и международных призов и премий.*

... — Сегодня я прочту Вам, сударыня, кое-что из Джона Китса. Надеюсь, Вы будете снисходительны к моему охрипшему голосу.

Видите ли, вчера, принимая наших родственников из Кракова, мы угощали их местным пивом, вот голос мой и сел... Ледяное пиво, да еще эти экзотические закуски, сильно перченые... Маринованный змеиный хвост, например...

Должен заметить, никак не привыкну... Итак, позвольте:

Вовеки не замрет, не прекратится

Поэзия земли, когда в листве,

От зноя ослабев, умолкнут птицы,

Мы слышим голос в скошенной траве

Кузнечика. Спешит он насладиться

Своим участьем в летнем торжестве,

Поэзия земли не знает смерти...

Он был немой от рождения, но слышал. Жил он в скромно обставленной квартирке, помещавшейся на втором и третьем этажах небольшого покосившегося трехэтажного дома, в закоулках старого Города-Крепости. Вместе с ним там проживала седовласая горбатенькая старуха — то ли мать, то ли бабка, а может быть, какая-то дальняя родственница, которая целыми днями просиживала у окна, а в хорошую погоду — на угловом балкончике и смотрела на море, видневшееся в просвете домов, или пила кофе, раскладывая пасьянс дрожащими руками. Других занятий у нее не было. Старуха обладала целым рядом совершенно противоречащих друг другу качеств, что не позволяло относиться к ней однозначно, но среди которых можно было уверенно назвать хорошие

манеры и лоск в походке, позе, деланно-салонной улыбке и удивительную чистоплотность, сохранившиеся до этих лет скорее всего благодаря таланту и упорству гувернантки, на совесть отработавшей свое жалованье лет восемьдесят тому назад. Наряду с этим матрона сия внушала отвращение своей ужасающей язвительностью, злобным сарказмом и отсутствием минимального милосердия к окружающим. Основным объектом ее агрессии, как это часто бывает, являлся единственный, кто был ей безропотно предан, — бессловесный родственник, покорно исполнявший все ее прихоти и заботливо ухаживавший за нею.

Главной наградой за гуманизм чаще всего бывала сатирическая пантомима, которую неблагодарная старуха разыгрывала, передразнивая немоту своего родственника и всю его угловатую жестикуляцию. А он в таких случаях, бывало, лишь помотает досадливо головой, махнет рукой в ее сторону и, мыча под нос что-то нечленораздельное, направится наверх, в свою мансарду.

Здесь он чудесным образом преображался: словно скинув чугунные оковы с рук и ног, он птицей вспархивал по крутой, но короткой лестнице в эти почти тайные свои владения, где хранились многие важные и почти никому не известные предметы, главным из которых был старенький синематографический проектор фирмы Pate и сложенные стопками на широких полках киноленты в железных круглых коробках, слегка потеснившие громадную библиотеку и коллекцию головных уборов. В небольшом шкафчике, висевшем рядом с зеркалом и снабженном внутренним освещением, находились предметы ухода за внешностью: ножнички для подстригания паразитной растительности в носу, в ушах, на лице, пилочки для ногтей, бриолин, всякие салфетки и еще что-то, что требуется мужчине, следящему за своей внешностью.

Нарциссом он не был: просто надо было держать форму — этого требовали и его профессиональная деятельность, и сокровенная тайна, оживавшая время от времени в этой тихой мансарде...

…В основном же его жизнь не отличалась особым разнообразием: каждый день, вскипятив для старухи чайник, подсыпав проса уродливой облезлой птице, доживавшей свой затянувшийся мрачный век в ржавой клетке, висевшей в центре комнаты, он надевал шляпу, поправлял перед зеркалом галстук и выходил из дома. По дороге он отдавал монетку безногому нищему, потом покупал в киоске желтоватую газетку и просматривал ее, пока чистильщик, сидящий у подножия огромной арки, доводил до зеркального блеска его штиблеты. Выйдя на площадь, он брал фаэтон и ехал на “работу”.

Он был Бильярдист. Непобедимый, гениальный Бильярдист, игравший со всеми, кто пожелает, всегда на деньги — большие и малые. С ним состязались заезжие толстомордые купцы, миллионерские сынки, одетые в английские твидовые тройки, вечно пьяные офицеры, курившие вонючие сигары и пившие ликер большими бокалами, и еще всякие другие азартные и потому особенно наивные люди.

Все они раньше или позже попадались в умело сплетенную Бильярдистом паутину, состоявшую из грязных по сути и театральных по форме приемов: искусанные в кровь губы, трясущиеся руки, достающие деньги из кошелька, грубо промазанные шары и прочее, что внушало противнику уверенность в своей полной безнаказанности.

Потом, когда тот, предвкушая легкую и жирную победу, соглашался поднять ставку до громадной, Бильярдист, сорвав с лица маску обреченности, впивался в горло своей простодушной жертве и выпивал ее кровь до последней капли.

Изредка с ним играли профессионалы, его коллеги рангом пониже, которые шли сознательно на безнадежную партию для того, чтобы испытать себя, закалиться в неравном бою с великим Мастером, а потом где-то на окраине, обчистить своих простеньких клиентов, набив карманы соответствующей их статусу порцией мелких ассигнаций.

* * *

Город, в котором все это происходило, представлял собой удивительный, неповторимый мир людской, деловой, авантюрной и политической каши, которая часто встречается на юге у моря, особенно когда, взаимопроникая, смешиваются не только социальные, но и племенные, расовые понятия.

Город этот располагался на стыке Европы и Азии, и потому его вполне цивильный и даже шикарный, с точки зрения европейца, облик украшали по-восточному пряные штрихи местного колорита и характера живших здесь людей. Зеленые купола мечетей соседствовали здесь с готическими шпилями христианских храмов, венецианские витражи в окнах особняков — со стрельчатыми резными арками на фасадах плосковерхих восточных зданий. По широким проспектам носились автомобили с противно

каркающими клаксонами, грохотала конка, фаэтонщики, стараясь выдержать конкуренцию, шумно погоняли своих холеных лошадей, изредка по городу из конца в конец величественно проходил верблюжий караван, груженный большими пыльными тюками.

* * *

Время, в котором протекали описываемые события, как будто выбрало себе под стать своеобразный полигон для проведения важного исторического опыта по биологическому и нравственному выживанию людей, испытывая одних голодом и бесправием, а других — баснословным богатством и неограниченной властью. В кого-то оно вселяло упоительное чувство безнаказанности, в кого-то апатию обреченности, но были и те, кто обретал силу духа и надежду. Среди серой массы обыкновенных людей, снующих, подобно муравьям, в поисках пропитания, здесь можно было встретить и талантливых мошенников, успешно распространявших лотерейные билеты, и знаменитых оперных “бельканто” с кокетливыми шарфиками вокруг шеи, и проповедников всех мастей, призывавших заблудшую толпу найти спасение и вечный покой души в покорном исполнении религиозных ритуалов, чередуя их посильными пожертвованиями.

Умные головы из далеких миров знали об этом Городе, обладавшем немалой силой особого обаяния, но и определенным магнетизмом, связанным с той практической пользой, которую любой дальновидный политик, или банкир, или просто авантюрист мог извлечь из сложившейся в нем своеобразной комбинации политического хаоса, гостеприимства и простодушия местного населения, огромных богатств его земли и колоссальной популярности в этих краях идеи революционных преобразований.

Жителям Города приходилось осваивать сразу несколько языков, что они и делали, хоть и не слишком грамотно, но ловко и активно, почему чужеземцы и не испытывали здесь никакого дискомфорта: любезные лакеи в ливреях, выкрикивая заученное “Bonjour monsieur!”, широко распахивали перед ними дубовые двери с вывесками “Restaurant”, “Kasino”, “Borse”, “Cabinet de massage”, “Pelmeni”, и служители мгновенно подлетали к ним, без задержки принимая из их рук трости и котелки.

* * *

Заведение, в котором протекала основная часть жизни Бильярдиста, располагалось в самой оживленной части Города, в двух шагах от порта, и носило странное и мрачноватое название “Карбулут”, что в переводе означало “черная туча”.

Это было и кафе, и казино, и биржа, и бордель одновременно. Здесь проигрывались и выигрывались состояния, кипела контрабандная торговля. Здесь можно было встретить людей с самых разных концов света — английских офицеров с колючими рыжими усиками, персидских купцов, торговавших пряностями и коврами, социал-демократов в забрызганных глиной брюках, приходивших сюда погреться после жарких политических сходок на свежем воздухе, бродячих гадальщиков, глотателей иголок и дрессировщиков белых крыс.

* * *

...Бильярдист пользовался в “Карабулуте” особым уважением. У него был здесь свой собственный зарезервированный венский столик, стоявший на небольшом возвышении, куда ему всегда ровно в положенное время подавалась еда — куриные котлетки, фаршированные баклажаны или хингал и обязательно чай с молоком в серебряном подстаканнике. На столике каждый день сменялся неизменный розовый бутон.

Вообще, Бильярдист скрупулезно чтил раз и навсегда заведенный порядок и почти никогда не отклонялся от него. Если официантка Аза звала его к столу, даже в самые напряженные моменты игры, когда десятки зрителей с замиранием сердца ждали решающего, по-иезуитски хитроумно подготовленного удара, который должен был чуть ли не решить чью-то судьбу, он молча откладывал кий и направлялся к умывальнику. Потом он не спеша усаживался за столик, закладывал за воротник крахмальную салфетку и принимался сосредоточенно жевать свои котлетки.

Играл он почти ежедневно, был всегда собран и никогда, даже в редчайших случаях, когда попадался трудный партнер, не терял самообладания. Он был художником, кудесником бильярдного стола, но это было скрыто где-то в глубине его существа. Чаще он играл как четко отлаженный механизм.

Многочисленные зрители наблюдали за его игрой затаив дыхание. Первый этаж, антресоли, весь зал всегда были заполнены теми, кто заключал пари или просто любовался этим сказочным зрелищем. Это всегда было фантастическое зрелище. Шары, словно загипнотизированные живые существа, покорно “ползли” в лузу, даже если это противоречило самым банальным законам физики.

…Бильярдиста фотографировали бульварные репортеры, ему улыбчиво кланялись прохожие, почитая за честь поздороваться со знаменитостью, о нем знали все, кто был заражен болезнью азарта, не только в Городе, но и в очень отдаленных от него краях.

Иной на его месте, упиваясь славой, раздавал бы окружающим снисходительные улыбки, пользуясь сполна плодами своих побед и неплохим финансовым положением, но он был более чем скромным, скорее даже забитым человеком. То ли по причине своей врожденной немоты (ведь зачастую люди с физическими недостатками презираемы в обществе как неполноценные, ущербные), то ли на какой-то более глубокой почве.

Мало кто видел его глаза, поскольку он их почти никогда не поднимал, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Многим из тех, кто приходил в “Карабулут”, хотелось, наверное, заглянуть в глубь него, узнать что-то из его сокровенных тайн, но он был нем, и потому все его тайны были недоступны даже самым общительным из его окружения...

* * *

...Каждую пятницу ровно в половине третьего пополудни он стоял у окошка почтово-банковской конторы “Muller und Gorbunoff’ с заполненным бланком и пачкой крупных ассигнаций в руке. Пару раз кто-то из знакомых встретил его там, но он, явно замечая их, ни разу даже не поднял взгляда.

Со временем он понял, что сохранять секретность почтовых операций больше не удастся. В контору слишком часто заходили люди, знавшие его, служащие не отличались особой молчаливостью, да и он сам был слишком заметной в Городе фигурой, чтобы местные сплетники оставались равнодушными к его столь необычным финансовым секретам.

Если бы кому-то из любопытствующих посчастливилось заглянуть в текст, аккуратным почерком выведенный на банковском документе, первое, что бросилось бы в глаза, да и разогрело интерес, это то, что деньги переводились в далекую экзотическую страну по адресу “Городская тюрьма Браганса, гор. Сан-Паулу, Бразилия”...

* * *

— Все наши деньги утекают! — послышалось с порога, и все в “Карабулуте” обернулись на голос доктора Юнуса, одного из завсегдатаев этого греховного заведения.

Швейцар принял у доктора его пальто с котиковым воротником и такую же шапку, стряхнул с его сюртука воображаемые пылинки и проводил к столику. Доктор садиться не стал. Он оглядел собравшихся многозначительным взглядом и продолжил:

— Да, господа, утекают наши деньги, заработанные в поте лица!

Деньги доктор зарабатывал путем применения в отношении больных, зараженных сифилисом, новой методики, завезенной из Германии. Денег удавалось заработать немало, поскольку смута и неразбериха всегда делают профессию венеролога достаточно актуальной. Определенную часть зарабатываемых средств не отличавшийся щедростью, но патологически азартный доктор Юнус исправно оставлял в “Карабулуте”, проигрывая их в разные игры, в том числе и Бильярдисту, которого боялся смертельно и потому ненавидел.

Деньги, изъятые у развратных пациентов, сразу же, не выходя за пределы порочного круга, сгорали в столь же греховном пламени азартной игры...

И в этом, быть может, содержались особые гармония и справедливость...

…Присев за столик, доктор оглядел зал, молчавший в ожидании дальнейших пикантных сообщений, многозначительно побарабанил по столу пальцами и изрек, нацелив взгляд в сторону Бильярдиста:

— Деньги наши кое-кто... э-э... перекачивает, так сказать, за границу!.. Насос устроили, видите ли... Oil pump!..

Бильярдист, доедавший за своим персональным столиком рисовый пудинг, едва заметно нахмурился, прислушиваясь к словам доктора, но от еды своей отвлекаться не стал.

— Нет, господа, я понимаю, — продолжал доктор, — когда деньги остаются в кругу, так сказать, это одно... Пожалуйста, милостивый государь, выигрывайте на здоровье! Но перекачивать куда-то... На край света... В какие-то неизвестные джунгли наши кровные — это, с вашего позволения-с, не-мо-раль-но!.. А впрочем, о какой морали можно говорить теперь? В этом вертепе?!.

Пробурчав еще что-то себе под нос, доктор метнул взглядом несколько финальных “молний” в Бильярдиста, с шумом прошел к специальной стойке, взял нардовую доску и побрел искать себе достойного противника...

Бильярдист выпил подряд две большие рюмки абрикосовки. Потом — еще одну... Он так и не взглянул на доктора Юнуса, безнадежно пытаясь доиграть сценку под названием “Все это меня не касается”. Никакого значения это уже не имело. Весь “Карабулут” был приобщен к теме, столь торжественно и эффектно заданной доктором: ни один игрок в мире в глубине души не прощает Сильнейшего, и если представляется легкий повод предать его всеобщему осуждению, никто и никогда не откажет себе в этом удовольствии...

Так по сути устроена не только жизнь в Казино. Это общий закон Соперничества. Слабые львы покоряются Патриарху, затаив против него ненависть, и терпеливо ждут, когда, зазевавшись, он сорвется в пропасть и будет долго стонать там, не в силах собрать переломанные кости и обессилевшие от потери крови мускулы и привести их в движение. А черви уже ползут к его слабо пульсирующему телу, и стервятники громко хохочут в кустах без стыда и сострадания, ибо не одарила Мать-Природа этими важными чертами многих из своих Созданий.

…И не успев вовремя сомкнуть ослабшие веки, Патриарх в предсмертном тумане вдруг увидит львицу — подругу славной своей жизни, и стечет с уголка его пасти подкрашенная кровью слюнявая струйка умиления.

…Закрыть бы в этот сладостный миг глаза! Но нет предела коварству невезения, и умирающий Патриарх успеет-таки заметить, как львица грациозной своей походкой приближается к одному из его юных соперников и, поторопившись всего на пару львиных вздохов, облизывает за мгновения оматеревшую щеку своего нового Господина.

...Из горла Патриарха вырвется последний, вибрирующий рык, в котором таинственным образом сольются и жалкая, суетливая попытка изменить уже произошедшее, и зловещий знак проклятия, и божественное отпущение грехов.

* * *

“…Божественное отпущение чаевых…” — пронеслось в опухшей голове Бильярдиста.

Накануне он, издерганный идиотским демаршем Юнуса, выпил лишнего и даже не очень отчетливо помнил свое возвращение домой.

“Патриарх... Патриархат... Патриархальный уклад... Первобытнообщинный строй...”

Путаница в голове продолжала наращивать свое психическое наступление.

Защищаясь, Бильярдист испустил короткий вопль и сразу же замолк, потрясенный тем, насколько далеки были звуки, им издаваемые, от общего дружного и гармоничного хора всего остального человечества. Божественные звуки этого хора сопровождали всю его жизнь, являясь одновременно и украшением ее, и величественным свидетельством ничтожности его персоны.

Бильярдист присел на кровати, пытаясь попасть ногой в домашнюю обувь.

“...Ну, Юнус! Ну, болван! — подумал он. — Так испортить человеку кровь!.. Эти марксисты кого хочешь с толку собьют. Наслушался их бредней и поверил, что деньги могут быть общими! Самая интимная вещь в мире — это деньги!”

И еще он подумал о том, что неплохо бы побыстрей ликвидировать “бразильскую коллизию”, потом решить вопрос Малгожаты и, закончив все это, в один прекрасный день явиться в “Карабулут”, встать в середине зала и... закричать всем: “А-а-а!!!”, не думая при этом о благозвучности собственного голоса. А потом собрать вещички и уехать в Шанхай. И издать там книгу о тайнах животного мира...

* * *

...Принимали Бильярдиста и в доме самого градоначальника, где недавно был установлен привезенный из Амстердама новый шикарный бильярдный стол.

Бильярдист проводил здесь занятия с сыном хозяина дома, спесивым и нервозным молодым человеком по имени Кафар, носившим обувь на высоких каблуках, которая, по его наивному замыслу, должна была скрыть его малый рост и хрупкое телосложение. Он всегда высоко держал голову, носом кверху и дым от сигары старался выпускать над головами окружающих.

В доме градоначальника царила праздничная атмосфера медового месяца. Недавно сыграли шумную свадьбу, дали “Паяца” в оперном театре в честь молодоженов, и Кафару подарили радость обладания изящной, экзальтированной и романтичной особой, исполнявшей слабеньким, но приятным голоском романсы Шуберта на немецком и вышивавшей на шелке золотом и бисером. Тесть Кафара включил в богатое приданое отряд джигитов в черкесках, которые охраняли и сад вокруг дома, и покои невесты, и ее экипаж.

...Кафар, лишенный от природы каких бы то ни было талантов, мечтал тем не менее о победах, призванных подтвердить его превосходство над остальным миром, вытекающее

из его социального положения. Способом самоутверждения была избрана игра на бильярде.

Молодой человек был бездарен и в этом, и Бильярдист не без труда сдерживал раздражение во время занятий. Но надо было терпеть это подневольное общение, поскольку, хоть и платили не так много, близость к семье градоначальника содержала в себе ряд побочных полезных качеств, среди которых особенно выделялось одно: были резко снижены проценты “отчислений”, которые Бильярдист обязан был отдавать всякого рода вымогателям — наделенным формальной властью полицейским и штатским чиновникам, занудливым мелким проходимцам с конторскими книгами под мышкой и бандитам-рэкетирам.

Вот и приходилось, внушая бесхарактерному нервозному ученику надежду на блестящую бильярдную карьеру, проводить тошнотворные часы в его обществе, стараясь добиться от него освоения хотя бы простейших расчетов. Но, увы, с глазомером у Кафара также были проблемы. Когда Кафар копошился у стола, выбирая позицию, и не замечал очевидно пригодных для удара шаров, Бильярдист давал волю своему раздражению: отвернувшись, он сжимал кулаки и, сверкая глазами, гримасничал, задрав голову к потолку, так, чтобы этого никто не видел. Однажды он не смог сдержать голоса, и из немой глотки вырвалось какое-то странное кваканье. Один из джигитов, Мурад, изредка наблюдавший за их занятиями, взглянул на него и все оценил. Бильярдист застыл в смущении, но увидел на лице Мурада едва заметную улыбку сочувствия. А Кафар даже не оглянулся. Для него наемный учитель, особенно немой, не слишком много значил — так, прислуга, холоп...

* * *

...В один прекрасный день Бильярдист проиграл. Это была сенсация, о которой потом долго вспоминали.

Маркер Гудрат, как было заведено, пересчитал при свидетелях огромную ставку, положил ее в нагрудный карман и объявил начало игры. Противником Бильярдиста был приехавший в связи со строительством загородного особняка для местного нефтепромышленника подрядчик из Италии.

Они сыграли до этого пробную партию на “мелочь”, итальянец отказался от форы в два шара, снял пиджак, перекрестился, тщательно обработал пальцы

мелом — и понеслось.

Итальянец был профессионал, очень изобретательный, самолюбивый, уважающий публику. Игра шла интересная, острая, почти равная. В гробовой тишине были слышны лишь шуршание одежды да удары шаров. Никто в зале не ел, бармен не отпускал напитков, а охранник Коко молча встречал у входа посетителей, жестом приказывая “не дышать”, и они на цыпочках проходили в зал и застывали, присоединившись к зрителям необыкновенного поединка...

Он проиграл партию. Проиграл, когда казалось, все шло в его пользу. Но в какой-то момент, близкий к финалу поединка, зазвенел колокольчик, висевший над входной дверью, и в заведение вошла Малгожата, молодая сероглазая полька, проститутка, которая “работала” здесь уже больше года с офицерами и купцами, молча угощавшими ее водкой, а после этого уводившими в меблированные комнаты.

На этот раз она пришла с каким-то юношей-студентом. Они сели за столик, и студент что-то с увлечением рассказывал Малгожате, а она слушала его, и взгляд ее был светел и полон нежности. И студент не угощал ее водкой и не собирался никуда вести. Им было покойно вдвоем и тепло, и весь мир вокруг существовал сам по себе, отдельно от них.

Бильярдист потерял покой, стал делать ошибки, пропустил несколько удачных ударов и проиграл.

...Малгожата была единственным объектом его волнения, страстей и тайных планов. Она была Его, Бильярдиста, девушкой, Его и только Его “возлюбленной”. Именно она и только она в свободные от “работы” часы приходила к нему в мансарду, где он крутил для нее хранившиеся там фильмы: немые, как и он сам, фильмы с романтическими сюжетами — про Зорро, пиратов и храбрых капитанов, рыцарей, погибавших, защищая свою честь. И, забывшись, он размахивал руками, пытаясь объяснить Малгожате, что он, Бильярдист, по сути своей вовсе не является ничтожным насекомым, за которое его принимают все окружающие, что он такой же, как они, те, экранные герои, красавцы, силачи, что и он способен на мужество, героизм, отвагу и любовь.

Все обитатели “Карабулута” были уверены, что он спит с Малгожатой, делясь с ней выигрышем, накопленным за день, и было им невдомек, что переполняло его

бессловесную душу великое и возвышенное чувство к несчастной и одинокой девушке. Только ей он раскрывался и мычал о своей любви и никогда не покушался на обладание ее телом...

* * *

…Однажды на горизонте появился внушительных размеров белоснежный пароход, приближавшийся на всех парах к городской бухте. Таможенники и грузчики, предвкушая интересную во всех смыслах работенку, забегали, готовясь к встрече. Дозорный на смотровой вышке, навострив свой громадный окуляр, опиравшийся на латунную треногу, докладывал об увиденном своему патрону, стоявшему рядом. Он говорил ему, что на борту много людей, и верблюдов, и груза.

Люди с Востока, говорил он, все в халатах. По всем признакам, солидные люди, с хорошей мастью. Работа предстояла добрая...

На носу парохода стоял, опершись ногой на канатную бухту, широколицый, богатырского сложения казах лет пятидесяти. Одет он был богато и небрежно, халат его, расшитый золотом, был распахнут, и из-под него виднелась бархатная жилетка с массивной золотой цепью для часов. Белоснежная сорочка “под бабочку” была расстегнута, обнажая крепкую смуглую шею. Хрустальная рюмочка с остатками бренди, который он смаковал, отпивая мелкими глотками, выглядела в его мясистых пальцах нелепо и жалко. Богатырь сей вглядывался в даль с явным нетерпением и интересом, слушая одновременно своего секретаря и изредка кивая ему в ответ.

Когда Талгат-хан (так звали приезжего), не дождавшись полного закрепления трапа, ловко сбежал на берег, к нему почтительно подошел начальник таможни, козырнул и произнес слова приветствия. Талгат-хан крепко пожал ему руку, отчего тот невольно застонал и сморщился от боли. Хан достал из кармана небольшой шелковый мешочек и как-то слишком запросто протянул его начальнику таможни. Тот не хотел брать, но, оглянувшись по сторонам, все-таки принял мзду, сильно покраснев при этом.

На проверке груза особых проблем не было. Вызвал интерес лишь странный удлиненный кожаный футляр, который нес с собой Талгат-хан. Проверяющий, смущаясь, попросил объяснений.

Талгат-хан молча раскрыл футляр, и оттуда был извлечен изумительный бильярдный кий с инструктированным золотом набалдашником, на котором были выгравированы инициалы.

* * *

В “Карабулут” захаживали самые разномастные посетители, среди них были и уголовники, и осведомители, и артисты. Одного здесь не происходило никогда — пьяных ссор с мордобоем.

Малейший намек на конфликт, который мог бы окончиться “шумно”, мгновенно гасил появлявшийся в середине зала огромный человек в цветастой шелковой жилетке.

Его звали Коко, был он югославский турок, бывший моряк, поселившийся здесь много лет назад, когда, отсидев в тюрьме четыре года за избиение таможенного чиновника, нанялся в “Карабулут” охранником и женился на Азе — потерявшей голос певичке, работавшей здесь же официанткой.

Коко наводил порядок в зале очень просто. Он ударял в громадный медный таз деревянной колотушкой, и все потенциальные возмутители спокойствия замолкали, оглушенные звоном этого примитивного, но внушительного приспособления.

Авторитет Коко был непререкаем. Он не боялся никого, кто приходил в “Карабулут”, включая самых могущественных представителей властных кругов.

Это стало очевидным особенно после того, как “Карабулут” однажды, в очередной раз, посетил знаменитый Кафар.

Сын градоначальника появился в сопровождении свиты, состоявшей из четырех крепышей, одетых в одинаковые полосатые тройки. Они вошли решительно, явно ожидая, что будут встречены сияющими подобострастными улыбками, а то и всеобщим вставанием со своих мест. Но их встретила гробовая тишина: игралась славная партия на бильярде, и никто не заметил их появления.

На этот раз соперником Бильярдиста был Талгат-хан. Публика не дышала. Музыканты застыли, зажав пальцами струны своих скрипок.

С лица Талгат-хана не сползала деланная улыбка, за которой он пытался скрыть свое волнение. На лбу его выступили капельки пота, пальцы слегка подрагивали.

На каждый шар, забитый Бильярдистом, Талгат-хан реагировал вежливым и, казалось, не соответствующим его грубоватому облику церемонным поклоном, по-восточному почтительно прикладывая ладонь к сердцу. Вообще говоря, между соперниками определенно возникла взаимная симпатия, и обычная для “Карабулута” холодная и суховатая манера общения противников уступила место явной доброжелательности, передавшейся, естественно, и зрителям.

Когда Талгат-хан с очевидным мастерством забил удачный шар, Бильярдист, не удержавшись, издал неприятно гортанный, но явно радостный выкрик и зааплодировал. Публика поддержала его, одобряя не только успех гостя, но и благородство своего фаворита. Маркер Гудрат, хлопая в ладоши, чуть не выронил толстенную пачку ассигнаций, которую по заведенному порядку держал в руке.

Этот эпизод, произошедший на фоне полного невнимания собравшихся к одинокой фигуре Кафара, переполнил чашу его терпения. Жизнь избаловала его тотальным подобострастием окружающих. И это общее ликование, не включавшее его, Кафара, блестящую и могущественную персону, наверное, взбесило юношу своей нестандартностью, чудовищной и обидной.

— А что, собственно, случилось необыкновенного, господа?! — заорал он, пробиваясь к столу. — Не ахти какой удар, с вашего позволения-с! Не имею чести быть представленным господину из Азии, но, позвольте, сударь, убеждены ли вы, что находитесь в своем, так сказать, классе?

В “Карабулуте” как будто пронеслись, мелькнули невидимые и неслышные молнии зла и гнева. Кафар принял их за обычное для него покорное безмолвие толпы.

— Полагаю, я был достаточно вежлив, сударь? — добавил он с усмешкой.

Талгат-хан отложил кий, не спеша вытер потные ладони и, подняв глаза на Кафара, спросил:

— Ты кто?

И нельзя было сказать, чего больше в глазах Хана — презрения и брезгливости или уныния и печали человека, уставшего от людской мелочности и беспричинной ненависти.

Один из “бульдогов”, сопровождавших Кафара, растолкав собравшихся, резко приблизился к Талгат-хану.

Неизвестно, как разрешилась бы эта взметнувшаяся за секунды до критической отметки ситуация, но рядом оказался Коко: для него, свободного “Корсара”, не было иных мерок, чем законы честного поединка и уважительного отношения к установленным в “Карабулуте” порядкам.

В наступившей тишине удар колотушки о медный таз прозвучал так неожиданно и звонко, что все разом вздрогнули и застыли. Эта была магическая минута.

Волны напряжения рассеялись вдруг как по волшебству. Кафар как-то фальшиво и демонстративно прикурил погасшую сигару, дружки его сникли в смущении.

— Продолжим, господа! — суетливо скомандовал Гудрат. — Продолжим... э-э... Ваше слово, сударь...

Имея хороший шанс, Талгат-хан тем не менее промазал. Это было легко объяснимо: при всем внешнем спокойствии хан был бледен как полотно, и пальцы его подрагивали, хоть он и силился скрыть это.

Кафар, дымя сигарой, приблизился к Бильярдисту, как бы подчеркивая свою особенную, привилегированную близость к мастеру. Бильярдист готовился произвести очередной удар с хорошей позиции, там, где стоял.

— Кончай его! — нетерпеливо приказал Кафар, желая теснее приобщиться к “расправе” над чужаком. Чудовищный озноб охватил все тело Бильярдиста. Дыхание на секунду остановилось, и он должен был опереться на край стола, чтобы не упасть. И в это мгновение он вдруг снова “услышал” внутри себя голос, звучавший мягко, но с некоторым волнением:

— В моем скромном арсенале не так много средств, чтобы выразить всем вам мое отношение к происходящему. Ты жалкий пес, Кафар, и я не должен исполнять твоих приказов. Скорее я должен сделать все как раз наоборот. Я пущу конницу прямо на крепостные ворота, чтобы обескуражить вас и посеять панику среди ваших людей. Мне не нужны ваши сокровища. Их нет вовсе — они давно уже покрылись илом на дне океана. Я не боюсь камней, которые вы градом готовы обрушить нам на головы. Наши кони вихрем промчат нас под ними, и не дрогнет ни один мускул на лице моем. Вот видишь, червь, я прохожу к тому краю стола, даже не оглянувшись на тебя. Вот я выбираю шар, явно безнадежный, и, почти не целясь, луплю! Мимо! Получай урод, я сделал это!..

...Талгат-хан выиграл партию.

Гудрат пересчитал ассигнации и вручил их победителю.

...Потом Талгат-хан и Бильярдист сидели в опустевшем “Карабулуте” за столиком, на котором стояла лампа с абажуром. Между ними лежала куча скомканных ассигнаций.

Талгат-хан залпом осушил бокал коньяка, закусив его фиником, и посмотрел на Бильярдиста с немым вопросом.

Тот помотал головой в знак несогласия.

— Мне это не нужно, — сказал Талгат-хан. — Я слишком... э-э богат, чтобы принять подачку, понимаешь, брат?

— Аа-а-ы..! — замахал руками Бильярдист. — Ы-мм!

Он тыкал пальцем в воздух, мычал что-то, пытаясь доказать, что соперник его заслужил выигрыш, что он тоже “не лыком шит” и что у него тоже есть представление о достоинстве и чести и еще что-то, чего нельзя было понять, потому как слова произносить он не умел и оттого еще больше волновался и ненавидел себя.

Талгат-хан чиркнул спичкой и поджег крупную ассигнацию. Деньги сгорают быстро, и через пару секунд Хан принялся за вторую, потом за третью... Бильярдист в ужасе смотрел на тлеющую бумагу и, не выдержав этого одновременно величественного и кощунственного зрелища, вскочил со стула и театрально-гневно вырвал у Талгат-хана пачку ассигнаций и спички. Он был достаточно комичен при этом, отчего смутился, снова присев на стул, но и он сам, а еще больше Хан были не в силах сдержать взрыв хохота, сотрясшего витражи в оконных рамах “Карабулута”.

...А потом они делили деньги поровну, комично изображая двух дотошных бухгалтеров, для которых малейшая неточность в подсчетах равносильна мировой трагедии. В дуэте сдружившихся по странности судьбы игроков обнаружился немалый дар клоунады, и их веселая игра представляла настолько впечатляющее зрелище, что суровый Кока, исподтишка наблюдавший за этой сценой, улыбнулся, быть может, впервые в своей жизни...

* * *

— …Ну!

Старая тетка отхлебнула кофе из похожей на наперсток чашечки, строго взглянула на Бильярдиста своими мутными глазами.

— Сколько взносов еще осталось?

— “Семь”, — ответил знаками Бильярдист.

— Не врешь?

— Нет.

— Два месяца?

— Да.

Старуха вдруг всхлипнула, рот ее скривился, и взгляд еще больше помутнел. По испещренной морщинами щеке поползла струйка, которую она привычно слизнула. Всхлипнула, засопела, поманила Бильярдиста пальцем.

Он приблизился к тетке, давая ей без труда обнять себя. Она прижалась щекой к его бедру, засопела, а потом завыла:

— Ты хороший мальчик, хороший. Прости меня, старую и вздорную дрянь... Ты же знаешь, я вас всех люблю. И тех, кто умер, и твоего брата-бродягу, и тебя... Что поделаешь, все теперь на твоих плечах. Прости меня, мое нежное, заботливое, безропотное дитя, мой... мой... ан-ге-е-ел...

Старуха завыла так громко и неистово, что ему пришлось зажать ей рот ладонью: такой крик могли услышать даже самые тугоухие соседи...

* * *

В размеренную жизнь Города, не миновав и мирка, в котором обитал Бильярдист, стали прорываться сперва первые, слабые порывы, а потом и более мощные, расшатывающие жизнь людей с ее тихим и монотонным порядком вихри политической борьбы.

В Город повалили какие-то раненые ополченцы, требовавшие бесплатной пищи, сыщики гонялись за социалистами, скрывавшимися в подвалах, где-то раздавались все чаще и чаще выстрелы и взрывы.

Военные люди овладели Городом, гражданские стали сторониться их, забиваясь в норы. Некогда шумный “Карабулут” опустел, и часто у Бильярдиста не находилось уже партнеров для игры.

Фаэтонщики исчезли, он добирался в свою “обитель” теперь пешком, перестал чистить штиблеты, не читал газет...

Коко арестовали за якобы незаконную торговлю спиртным, приписав ему заодно недозволенное в чрезвычайной обстановке проживание без визы.

По Городу ночью и днем проносились, повергая в ужас прохожих, грузовики с вооруженными людьми, одетыми то в серые шинели, то в клетчатые юбки.

Однажды мимо “Карабулута” с шумом промчался тюремный фургон, из окошка которого, вцепившись огромными лапищами в решетку, выглядывал Коко.

Вместо шелковой жилетки теперь на нем была тюремная рубаха.

Он еще издали, пытаясь использовать последний шанс, начал звать друзей из “Карабулута”.

— Они бандиты! — кричал он. — Приговорили честного человека ни за что! Негодяи! Мерзавцы! Выйду на волю — рассчитаюсь сполна!.. Ждите меня, ждите! Аза, жди меня, любимая...

Карабулутовцы молча провожали взглядом удаляющийся “черный ворон”, бессильные помочь другу. Плечи Азы сотрясались от беззвучных рыданий, Малгожата растерянно гладила ее по спине и тоже плакала.

Талгат-хан в сердцах швырнул вслед фургону индюшачью ножку, с которой выбежал из заведения, содрал с шеи белоснежную салфетку и, скомкав, бросил ее на мостовую. Потом он долго бранился по-казахски, кружа по мостовой и привлекая внимание прохожих.

* * *

От городской пристани все чаще отплывали переполненные пассажирами и грузом пароходы. Люди покидали Город то ли инстинктивно, от страха, то ли осознавая, что реальность грозила отнять у них накопленное добро, семейный покой, а то и свободу и жизнь...

* * *

Талгат-хан и его люди метались между портом и городским рынком, ковровыми и кондитерскими магазинами и складами, где находились товары, которые надо было или срочно реализовать, или увозить назад.

Торговля не двигалась — в Городе царил застой...

Редкие случаи, когда попадался партнер, не приносили Бильярдисту теперь ни радости победы, ни шумного восторга почитателей. Он чаще сидел, забившись в угол, пил теплое кислое пиво и угрюмо смотрел в какую-то точку на стене, нервно барабаня пальцами по столу. Рядом с ним часто сидела молчаливая Малгожата, также потерявшая изрядную часть своей клиентуры. Смутное время, нарушившее установленную гармонию их жизни, отняло если не счастье, то хотя бы нечто имевшее сходные с ним признаки и возможность жить по привычным правилам.

* * *

…В жизни Кафара тоже случились обстоятельства, гармонировавшие со зловещей и гнетущей атмосферой, охватившей весь Город.

Однажды он, случайно услышав тихий, но взволнованный голос, доносившийся из комнаты жены, подкрался на цыпочках к двери и заглянул в нее, воровато раздвинув портьеры.

Юная супруга его, опираясь на край комода и закатив к потолку глаза, в слезах заламывала руки, а перед ней, преклонив колено и целуя край ее платья, стоял Мурад, стройный красавец в черкеске.

— Убейте меня, госпожа! — молил он дрожащим голосом. — Я не в силах бороться с собой. Вот мой кинжал — пронзите мое сердце! Или бежим со мной! Я не могу терпеть ваших страданий! Я раб ваш и хочу служить вашему счастью...

…Кафар запил “по-черному” после того дня. Стал швырять дорогие китайские вазы в своих охранников, не являлся к обеду за семейным столом, иногда тихо скулил, забившись в угол в сумрачной библиотеке.

* * *

Трагедия разыгралась в ненастные осенние дни, когда шел проливной дождь и звенели от ветра оконные стекла “Карабулута”. Кафар явился в заведение в обществе пьяного офицера без погон, небритого и пучеглазого. Он подошел шатающейся походкой к Малгожате, взял ее за подбородок, осклабился и приблизил свои губы к ее щеке.

— Пойдешь с нами, — уверенно проговорил он, кивая в сторону приятеля-офицера, и смачно поцеловал девушку в губы. — Ты нам подходишь.

Малгожата, встревоженная, инстинктивно отпрянула от Кафара, но тот снова притянул ее к себе. Подошел офицер-беспогонник. Он склонился над девушкой с другой стороны и крепко, жестоко укусил ее в щеку. Малгожата вскрикнула от боли, вскочила и ударила офицера слабой ладошкой по лицу. Тот поднялся с ревом и стал хлестать несчастную девушку по щекам и браниться грязно, непристойно, и потащил ее за руку к выходу. Все присутствующие, не решаясь вмешаться, остолбенели, напуганные угрожающим видом верзилы-офицера.

Бильярдист, игравший вялую партию со случайным партнером, остановился с кием в руках и в ужасе наблюдал за этой страшной и предвещавшей еще более страшное сценой. Руки его дрожали, и он, наверное, хотел многое сказать офицеру, но только звериный рев вырвался у него из горла, и он бросился к нему и стал нещадно, жестоко колотить негодяя бильярдным кием. Он ударил его сперва по спине, потом по голове, а когда тот свалился, стал топтать его ногами. Изо рта Бильярдиста пошла пена, он тяжело дышал и неприятно мычал, и голос его иногда срывался на какой-то жалкий визг. Забывшись, он готов был убить офицера, потому что проснулось в нем грязное желание насилия, которое дремлет, наверное, в каждом человеческом существе. Все это произошло в какие-то секунды, и, когда с нелепой командой “Отставить!” к Бильярдисту бросился Кафар, тот по инерции, развернувшись, изо всей силы ударил молодого человека кием по скуле, даже не успев оценить всей опасности случившегося.

Когда собравшиеся вышли из оцепенения, они оттащили Бильярдиста от его жертв и, наспех напялив на него пальто, вывели из “Карабулута”.

…А через несколько дней, ночью, когда Бильярдист вышел из заведения, направляясь домой, его окружили офицер-беспогонник с дружками и стали, свалив на мостовую, планомерно забивать сапогами. Кафар, притаившийся в соседней подворотне, молча наблюдал за расправой над учителем, и на лице его можно было прочесть страх и наслаждение одновременно…

— Вы что?! Опомнитесь! Если вы меня убьете, я не смогу выкупить брата. Всего два месяца осталось! Он в долговой тюрьме! В Бразилии! Повез туда овечьи шкуры. Ему не повезло... Я почти расплатился! Ну! Будьте милосердны. Я прошу... Ну... Ну... Я признаю себя виновным... Я... Заплачу вам сколько скажете. Ну... Я прошу вас покорно...

…По пустынной улице к “Карабулуту”, откуда доносились глухие удары и нечеловеческий вопль лишенного речи человека, мчался, плотно сомкнув губы, Талгаг-хан в сопровождении своих людей, халаты которых развевались на ветру подобно парусам бегущей по волнам шхуны.

На месте расправы послышался топот ног спешивших на помощь к Бильярдисту друзей, кто-то из сообщников офицера свистнул, и все негодяи разбежались по темным закоулкам. Кафар исчез в тени грязной подворотни, высоко подняв воротник своего стильного пальто.

Когда Талгат-хан приблизился к лежавшему на мокрой от дождя булыжной мостовой Бильярдисту, все было кончено. Голова Мастера была размозжена, из уголка рта стекала струйка крови. Глаза его были открыты, и в них застыло бессильное, неутоленное желание сказать слова. Сказать о том, что он, как и все, кто жил в этом крошечном спокойном мирке, хотел тихо существовать внутри своей оболочки, довольствуясь даже лишенной простора, но по-своему благополучной судьбой. И что он глубоко скорбит по случаю того, что Герои, совершившие романтические подвиги в фильмах, хранившихся у него в мансарде, сбили его с толку, и он, поддавшись секундной слабости, сыграл не в свою игру и был жестоко наказан, навсегда лишившись привилегии оставаться Непобежденным…

...Малгожата сидела на корточках над телом Бильярдиста, и хрупкая спина ее беззвучно вздрагивала. И не было в ту ночь перестрелки, не проносились по улицам Города грузовики с вооруженными людьми, размахивающими разноцветными флагами.

А утром переполненный людьми и багажом пароход Талгат-хана увозил его домой, навстречу восходу Солнца. Он сидел на палубе, прислонившись к рубке и прижав к груди два кожаных удлиненных футляра одинаковых размеров…

...И еще на этом судне было бы нелишним увидеть Мурада с его благородной возлюбленной. Жаль, я не успел ему подсказать, что лучшим для них вариантом был бы

Шанхай. А Талгат-хан посодействовал бы им в этом путешествии. Он мой лучший друг, и я мог бы замолвить за них словечко...

Городская бухта пестрела еще многими судами, тоскливо гудевшими наперебой и выпускавшими в небо бурый дым. Каждый из капитанов спешил вырваться за ее пределы, не думая о том, приведется ли когда-то вернуться сюда вновь...

**Салим Бабуллаоглу**

**...И уходи ты, ради Бога!**

Стихи

*Перевод Ниджата Мамедова*

*Салим Бабуллаоглу родился в 1972 г. — поэт, эссеист. Автор сборника стихотворений и рассказов. Переводил турецких, русских и английских поэтов. Лауреат ряда национальных и международных литературных премий. Главный редактор журнала “Мировая литература”.*

* * *

Наливай, дружок,

суетиться не надо, просто наливай,

и не смотри на меня словно истукан,

знал бы ты сколько граней у бренности,

вот тебе граненый стакан,

наливай сюда,

я выпью

выпью залпом и мигом,

ибо миг есть вечность.

за вечность я и мигом выпью,

только так смогу бренность сбить с колеи,

запивать жизнью судьбу не буду,

чашу свою выпью до дна,

со дна проснувшегося подсознания

посмотрю на мир,

на тебя,

какой ты молодой,

на себя посмотрю взглядом усталым,

только так,

только взгляд усталый

скажет

и покажет как когда-то человек

большими глотками бренность глотал,

глотает,

кается,

каяться не надо вслух,

хватайте за горло пьяного таксиста,

который везет нас в никуда.

* * *

Эй, вы, забытые люди! Куда спешите?

Я только что начал вспоминать вас…

* * *

Пока не ворвались нетопыри в погонах,

не потребовали документ размером с ладонь, якобы подтверждающий личность,

не вцепились в волосы и не поволокли

в энное отделение для избиения,

к больному брату, одинокой матери и к миру всему вызывая отвращение.

Пока ты не встретила покачивающегося ночного героя

и объясняющегося тебе в любви очередного идиота,

пока не объявился режиссер “Красотки” или “Золушки”,

не пригласил тебя на пробы фильма под названием “Надежда”,

соберись и уходи ты, ради Бога!

Ты, девушка с томными глазами в углу прокуренного ночного бара!

Не теряй времени даром,

этот странный коктейль, выдуманный беспечным барменом,

не сломает лед бренности, конечно,

и не устыдит глаза

уставившегося на твои ноги того краснощекого быка;

и, право, так нельзя!

Соберись и уходи ты, ради Бога!

Эй, ты!

Не последняя Мария Магдалина наша,

самого прекрасного младенца, который родится, мать!

ради Бога, соберись и уходи!

Ты же,

с осанкою вопросительного знака,

хмельной, обкуренный и вялый,

с тупым взглядом диск-жокей!

Внимай шагам невозвращения-ухода!

**Беседа с сыном**

— Ты кто?

— Твой отец.

— А кто отец Фарида?

— Его нет.

— Почему?

— …

— Что ты делаешь?

— Стихи пишу.

— А что такое стихи?

— Это отчасти похоже на колыбельную, что поет тебе мать.

— Мама тоже пишет?

— Нет.

— А почему ты пишешь — пой!

— …

— Куда ты идешь?

— На работу.

— Что такое работа?

— Твоя обувь, хлеб и вода, и тому подобные вещи.

— Останься еще немного.

— …

— Расскажи о себе.

— Ну, что сказать, сынок. На тебя был похож. Такого же роста. И улыбка была такая. Как и ты, везде задавал вопросы: дома, во дворе, в поезде, в объятиях матери, на коленях у отца.

— А что такое поезд?

— Похоже на твою машину. Вон на ту. Только очень большая. И ходит по железным дорогам. А внутри много-много детей.

— Я подарю свою машину Фариду.

— …

— Отец, кто такой Бог?

— Он создал тебя, мать, бабушку и дедушку, всех.

— И тебя…

— …

— Что они делают?

— Собирают камни, сынок.

— Почему?

— Будут бросать друг в друга.

— Почему?

— Потому что враги.

— Почему?

— Не любят друг друга.

— Почему?

— …

— Отец, когда вернешься, купи пять штук мороженого.

— Постой-ка, а почему пять? Тебе, матери, Фариду, мне... а пятое?

— А пятое... пусть достанется птицам.

— ...

**Сейран Сехавет**

## Интервью, взятое у собаки

*Перевод С.Мамедзаде*

*Сейран Сехавет — новеллист, публицист — один из ярких представителей писателей среднего поколения. Его роман "Некролог" признан одним из самых ярких книг последних лет и был отмечен как лучший роман года.*

"

Человек не может угодить только смерти..."

Со слов собаки

Я учился на первом курсе факультета журналистики.

Было начало сентября. Днем, после занятий, я подался в ближайшую от университета редакцию и — прямым ходом к главному редактору.

— Я журналист, — выпалил с порога и только после этого поздоровался.

Главред смерил меня взглядом.

— Статью, что ли, принес?

— Нет.

— Тогда с чем пожаловал?

— Хотел бы сотрудничать с вашей газетой... и помаленьку продвигаться вперед.

Губы главреда тронула улыбка.

— О чем можешь написать?

— О чем угодно.

— Но ты еще молод... Умеешь ли разговорить людей, найти общий язык?..

— Я даже собачий язык знаю... — брякнул я в ответ.

— Ну, тогда ступай и возьми интервью у собаки, — подхватил главред, не без иронии оглядев меня. — Понравится — опубликую.

— Ладно! — я решил не отступать. — Через недельку приду. — И вышел было из кабинета, но главред окликнул:

— Ты что, действительно знаешь собачий язык?

— Не знал бы — не говорил.

Он помедлил, пригляделся, явно заинтересованный, и огорошил вопросом:

— Тогда скажи: как на собачьем языке называют родину?

— Объедки...

— Что-что?!

— Объедки!.. — я в упор взглянул на него. — Если нет больше вопросов, позвольте откланяться.

— Имей в виду, — буду ждать!

Из редакции я прямиком потопал в наш старый квартал и стал искать бездомную дворнягу Гыллы Кёпек, то есть Лохматого Кобеля. Кинулся туда, сюда — нет псины. Приуныл, но не отчаялся. Вспомнил, что чаще всего Гыллы Кёпек дрыхнет где-нибудь на старом кладбище, двинулся туда, но и там не нашел. То ли в воду канул, то ли вознесся... Я невольно глянул на небо, а там, с севера, нависла мохнатая туча, смахивающая на нашу дворнягу. Ну, точь-в-точь — и голова, и морда, и хвост...

Откуда-то возник пожилой мужчина, завсегдатай этого скорбного места.

— Салам-алейкум.

— Салам!.. — воспрянул я. — Скажи-ка, дядя, где твой дружок?

— Нет у меня никаких друзей, окромя Гыллы Кёпека.

— Так и я о нем!..

— Ну, коли так — пошли…

Мужчина повел меня через лабиринты оград.

В округе этого дяденьку всегда видели с мохнатым псом и считали, что Гыллы Кёпек принадлежит ему, но пес был ничей и принадлежал только самому себе.

Вдруг мужчина остановился.

— Запарился... — сказал он и, скинув рубашку, примостился на опрокинутом надгробье. — Где бы ни шастал, скоро объявится. — Извлек из замызганной торбы кусок сухаря и стал глодать.

Я обратил внимание на его мохнатый торс — как в меховой куртке сидел передо мной. Может, потому они и сдружились, мохнатый пес и мохнатый дядька...

Он поперхнулся, жесткий сухарь драл горло. И еще я заметил, что на земле возле камня, на котором он сидел, отпечатались очертания собаки. Похоже, они днюют и ночуют вместе.

Он почувствовал мое нетерпение:

— Не томись. Где бы ни шлялся, придет, пора... — Достал кусок хлеба, побольше прежнего, положил рядышком. Для пса, что ли?

— У тебя нет родни? — спросил я.

Отозвался не сразу. Пошарив взглядом по моему лицу, сказал:

— Ни души, кроме этой собаки. — Поглядел на отпечаток на земле. — Круглый год, считай, мы вместе. Прикипели друг к другу... Этот пес с другими собаками не знается, бродит один-одинешенек, а вечерами, значит, здесь встречаемся. Такой псины на веку не видел, все понимает, прямо как человек.

Я незаметно оглядел своего собеседника. Одежда его больше смахивала на дерюжную торбу. Вроде его взяли и запихнули человека в грязную торбу, да не

завязали — голова торчит, дышит.

— А в чем дело? — спросил он. — Может, я смогу…

— Нет, нет, я должен увидеть именно собаку.

— Так у нас никаких тайн друг от друга. Если хочешь ее забрать — не пойдет. — Помолчав, повторил тверже: — Ни за что не пойдет!

Я присел перед ним на корточки.

— Видишь ли, я пришел взять у нее интервью... Ну, то есть поболтать...

— А-а... Пес он смышленый. Очень. Не потому, говорю, что дружим.

— В газете напечатаем. Фотокарточка найдется?

— Откуда? У нас ни кола, ни двора, а ты — фотокарточка!.. Ничего, отведешь — щелкнут.

— Так не пойдет же, говоришь.

— В моей компании не станет артачиться. А вот и он!

Откуда ни возьмись явился Гыллы Кёпек. Подошел, обнюхал приятеля, дружелюбно завилял хвостом. На меня — ноль внимания. Наконец, бросил хмурый взгляд, сел на задние лапы, перевел взгляд на своего друга, и они обменялись улыбками — собачьей и человечьей. После этого Гыллы Кёпек опять уставился на меня — выжидающе и вопрошающе. Мол, с чем пожаловал?

Я присел на камень, достал бумагу, перо и говорю:

— Представьтесь, пожалуйста.

— Гав! Гав! Гав!

— Понимай: “Сукин сын”, — пояснил лохматый мужчина.

— Не беспокойся — я усек. — И продолжил “беседу”. — Род занятий?

— Бродяга.

— Дата рождения?

— У нас такого не водится. Мы — собачье отродье.

— Эх, сынок, ты с ним не по-человечьи говори, а по-собачьи, — вмешался в разговор Гыллы Киши, то бишь Лохматый Мужчина. — И вопросы задавай по собачьей части. А то махнет хвостом — и привет…

Сбитый с толку, я примолк, огляделся.

На этом кладбище уже давно не хоронили. Наверное, потому его называли старым. Тишина стояла пронзительная. Безмолвие на старых кладбищах тяжелей, чем на новых.

Думая об этом, я вместе с тем искал вопрос для четвероногой твари. А ведь надо еще выудить из нее ответ… Отступать-то некуда: дал слово редактору — вот и выкручивайся!

— Лохматый, как ты относишься к людям? — спросил я.

— Откровенно? — прочел я в собачьих глазах.

— Ну да.

— Не обидитесь? — мне показалось, что пес ухмыльнулся.

— Нет... я-то не обижусь, а вот твой... ваш друг... — я кивнул на Лохматого Мужчину. — Он ведь тоже человек...

Пес замотал головой: — Он не человек... а мой друг.

Судя по выражению лица Лохматого Мужчины, ответ пришелся ему по душе, а вот я почувствовал себя совсем одиноким.

Пес заскучал, потерся мордой об колено человека. Тот сразу встал, натянул на себя свою дерюгу и снова сел. Я обратил внимание на грязную торбу у его ног. Мне показалось, что торба шевелилась, что в ней торкается кто-то, быть может, дитя Лохматого Мужчины. Рассеянно блуждающий взгляд наткнулся на маленькую опрятную могилку неподалеку от нас. Она была величиной с эту самую торбу, а надгробье — непомерно большое. Я подумал, что эта глыба отягощает могилку: камень на детской могилке должен быть поменьше... как само дитя... И вообще, почему бы не отвести отдельное место для упокоения детских, рано отлетевших душ? А здесь над маленькими, чуть не сказал “пухленькими” могилками надзирают большие могилы взрослых и старых, стесняют их

свободу, неволят, тогда как заточенным в них детским душам, быть может, хочется... ну, поиграть, побаловаться...

Я снова уставился на рваную шевелящуюся торбу, уже почти уверенный, что в ней заключено дитя, чадо Лохматого Мужчины, чья голова торчала из большой дерюжной торбы.

Если бы не взлаял пес — густо, зычно, я бы не скоро пришел в себя.

— Ваше отношение к людям, — торопливо проговорил я.

Пес зарычал. И я понял это как: “Люди взбесились”.

— Но ведь бешенство — собачья напасть...

— Взбесившийся человек хуже собаки... С нами это случается редко, а вот вы... Вдруг, взбеситесь целой страной и набрасываетесь на другую страну... Люди ниспосланы на землю в наказание... — угрюмо прорычал пес. — Вы и нас обманули...

— Мы?

— Да, — пес ощерил пасть. — Мы ведь волчьего племени. Слышишь, человек — волчьего! А вы стали скармливать нам объедки, привадили, приручили и бросили на произвол судьбы. Вместо молчания и воя мы научились лаять. Вот и долаялись, догавкались. Волчья порода обратилась в сукиных детей...

— Выходит, алчность вас сгубила.

— Да уж, позарились на подачки, что верно, то верно... Ради сахарной кости привадились к человеческому жилью и превратились в собак. А настоящие волки и поныне царствуют в горах. Среди них не сыщешь выродков — волк, он и есть волк. Шкура одного волка стоит всех собак на свете!..

Помолчал. Из его глаз потекли слезы. Всплакнул, потом утер слезы о лохматую шевелюру своего друга, вскинул морду и взвыл разок-другой. Мужчина погладил пса по голове, прижал к груди. Они обнялись по-собачьи, потому как люди так не обнимаются.

Эта сцена тяжело подействовала на меня.

Неподалеку шныряла свора бродячих собак. Их первым заметил Гыллы Кёпек, но, похоже, взял себя в руки, вернее, в лапы — принял невозмутимый вид. Но когда от своры донесся лай и лаявший кобель подступил поближе, Гыллы Кёпек молнией сорвался с места. Собачья компания вмиг исчезла в сумрачной тени сосен. Погодя наш пес вернулся, приосанился и застыл возле своего друга как изваяние.

В тусклых глазах Лохматого Мужчины прибавилось света, он явно гордился своим четвероногим другом. В ответ собака завиляла хвостом. Я даже позавидовал их дружбе.

Воцарилось молчание.

Тишину нарушил Лохматый Мужчина — друг собаки.

— Откуда ты знаешь собачий язык?

— В инязе учусь.

— Придет время и собачий язык станет самым употребительным.

— Это почему же? — вскинулся я.

— Ты еще молод. — Лохматый Мужчина облокотился о плиту. — Придет время — весь мир заговорит по-собачьи... Помяни мое слово.

— С какой стати? Ты же человек...

— Люди обращаются друг с другом, как собаки... Разве не так?.. Им и язык нужен соответствующий...

Его логика огорошила меня. Он почувствовал это.

— Да, да, мир к этому идет. Глядишь, собачий язык станет общим для всех...

В глубине души я не мог не признать резонность его предположений, но не сдавался и решил перевести разговор на мохнатого респондента:

— Ты откуда родом-племенем?

Пес покосился на меня и вроде как пожал плечами:

— У нас такого учета не ведут.

— А себя щенком помнишь?

— Как это? Я себя щенком не видел. Других — да, а себя — нет.

— Ну, ладно. А как вообще живется? Какая твоя житуха?

— Собачья...

— Скажи-ка мне, а может шайтан вселиться в собачью душу?

— Шайтан с нами не водится. Может, брезгует. Он больше с людьми знается.

— Кто тебя больше всех боится?

— Кошка.

— А ты кого боишься?

— Человека.

— А ты? — Я адресовал вопрос Лохматому Мужчине.

— Я как моя псина — человека боюсь.

— А тебя кто боится?

— Никто, — мужчина потупился.

— Стало быть, вы оба боитесь людей?

Закивали. Пес посмотрел на Мужчину.

— Он пуще меня боится.

— Почему?

— Ведь он и человеческий язык знает. На свою беду...

— Неужели у тебя нет друзей среди людей? — спросил я у Мужчины.

— Не-ет... Изверился я... Ну их!..

— А у тебя — среди собак? — спросил я у пса.

— Не-ет... опостылели они мне...

Вот ведь как — каждый невзлюбил себе подобных.

Пес придвинулся ближе к человеку, прижался к нему. Их тепло смешалось, человечье и собачье, и человек почувствовал, что в воздухе похолодало.

Не хотелось беспокоить блаженно притихшего пса, но в газете ждали интервью.

— Ты когда-нибудь в жизни занимался общественно полезным трудом?

Пес расстался с удобной позой и, отойдя от человека, замер с важным видом.

— Я работал на государственной службе.

— Чего-чего?!

— Служил. На погранзаставе. Мы подчинялись этим... как их... КЭ-ГЭ-БЭ... Вот вы государственный человек, а я был государственной собакой.

— И как же ты дошел до жизни такой?!

— Раз на заставу прибыл начальник, — проворчал пес. — Важная шишка. Они с командиром крепко поддали. Расставаясь, командир подарил меня гостю... С тех пор начались мои черные дни.

— Ну, а после что было?

— После? Хозяин мой был рослый, плечистый, лысый. Любил гостей, пирушки. Так что в пище я не нуждался. И конуру мне смастерили красивую. Да-а, еды хватало, но сколько можно кости грызть. Я все норовил сбежать, осмотреться, обнюхать все. Хозяин, видя, что сладу со мной нет, ошейник надел и посадил на цепь. А цепь тяжелая!.. Жратву самолично подносил к конуре, но я чувствовал, что он очень недоволен. Знаешь — чем? Тем, что не лаю. Я-то его понимал. На то и собака, чтобы лаять... А я сидел возле конуры и ничего не видел, кроме неба, квочек, копошащихся во дворе, и членов семьи. Двор был обнесен высоким забором. И когда я думал, что всю жизнь придется томиться внутри этого двора, как у людей говорится — в четырех стенах, в глазах у меня темнело. — Пес вздрогнул совсем по-человечьи и заскулил.

Я перевел взгляд на Лохматого Мужчину и обомлел: в его глазах застыла точно такая же собачья тоска. Их физиономии выражали одно и то же. Такого я не видел. Казалось, их головы можно было поменять местами.

Интересно на себя поглядеть, я-то каков...

Хотел было сказать Лохматому Мужчине об их поразительном сходстве, но поостерегся. Зачем обижать обиженных судьбой!

Мужчина встал с могильного камня, раскинул руки и потянулся — сладко, до хруста. Со стороны можно было подумать, что он о чем-то молит Всевышнего. Потом опустил руки и уставился на меня: “Ну что, не закругляешься?” Похоже, и пес устал от наших разговоров, да и я притомился.

Время подпирало меня, и я спросил пса:

— Кто тебя в первый раз поколотил? И за что?

— Тот самый лысый. Причем крепко...

— За что? Ведь ни с того, ни с сего бить не станут.

— Еще как станут... — проворчал пес. — Я же говорил, что посадили меня на цепь. У-у, света белого не взвидел! Просторы, приволье, государственную границу — все забыл. Лысый иногда отцепит — гуляй по двору. А, бывало, с гостями по саду расхаживая, меня показывает и что-то говорит: чую — про меня, а что именно, издали не разобрать… По соседству, за забором, жила другая собака. Она часто лаяла, очень приятно, звонко как-то, и я в ответ стал голос подавать. Как-то лысый отцепил меня, вывел за ворота и, вспомнив что-то, ушел в дом. Весна была. Мне надоело у калитки сидеть, повернул морду к соседскому забору и гавкнул громко. Соседская собака тут же отозвалась. Погодя, выбежала, виляя хвостом, и ко мне. Хороша была, ничего не скажешь! Короче, снюхались мы с ней и подались в заросли. Трое суток не расставались. По правде, и возвращаться не хотели. Но пришлось. Я прошмыгнул в калитку. Во дворе ни души. Тихонько влез в конуру. Устал смертельно. Но, прежде чем уснуть, гавкнул в сторону соседского забора и, как всегда, получил проникновенный ответ. Я отсюда, ты оттуда, лай, подруга, лай, голуба...

Вечером явился хозяин, что-то спросил у домочадцев. Чую: речь обо мне.

Вижу — идет к конуре. Я выскочил навстречу, пасть до ушей, хвостом двор перед ним мету. Он подвел меня к конуре, пристегнул цепь. А потом давай лупцевать, сперва поводком, потом черенком лопаты. Мутузил свирепо... Но это полбеды. Черт с ним! Собаку, бывает, побьют, не без этого. Но ведь на шум прибежала соседская красивая сука и видела мой позор. Вот этого я лысому никогда не прощу! Опозорил кобелину перед подругой... Не помню уж как я разорвал кожаный ошейник, перемахнул через забор и дал деру. Остановился дух перевести, вижу: соседская собака несется во всю прыть. Долго мы обнимались, терлись мордами и... Больше ее я не видел. Скорее всего, и не увижу никогда. Ну, чего изводить вас долгим рассказом. Те три счастливых весенних дня вышли мне боком... А как соседская собака была хороша! Может, люди меня и не поймут, но будь ты собакой, — пес воззрился на меня и, разинув пасть, задышал, — ты никогда не разлучился бы с ней... Короче, проклятье человеку! Все беды от него...

— А после этого случая тебе доставалось еще?

— Да нет... Пару раз камнем швырнули. А минувшей зимой какой-то пацан залепил снежком по голове, я чуть сознание не потерял...

— От снежка?

— А он в снежок голыш вложил. Я мог бы увернуться, но, думаю, пусть потешится, снежок ведь. Но пацан оказался злой, потому и снежок с начинкой. А мне невдогад. Куда уж с собачьим-то умишком! Будь у нас голова на плечах, стали бы зариться на человечьи подачки...

— Да ты (я перешел на ты), ты, я вижу, смекалистый. Политикой, часом, не увлекаешься?

— Не мое собачье дело — политика. Я же сказал: в нас шайтан не сидит, чурается нас. Зато с людьми якшается.

— При чем тут шайтан?

— А вот при том. Вы для шайтанов объекты государственного значения, понял? Запомни: маленькими политиками управляют малоопытные шайтанчики, а большими — матерые. Потому политика — не собачье дело. Я попытался обосновать свой вопрос:

— Я завел речь о политике потому, что ты упоминал о службе на государственной границе. А от госслужбы до политики — не так уж далеко... А как ты насчет политики? — решил я обратиться к Лохматому Мужчине.

— Я? Нет, нет. Я тоже...

— Что — тоже?

— Меня тоже шайтан сторонится... Видно, принимает за собаку...

И опять меня поразило их сходство...

Ответы собаки все во мне перевернули. От представителя рода человеческого такого не услышишь. Я решил не упускать шанса и задал парадоксальный вопрос:

— Как ты отнесся к гибели Дианы? Слыхал, принцесса была прекрасная!

От такого вопроса божья тварь вся подобралась.

— Ее много шайтанов осаждало... Ведь она была принцесса, а потому ее шайтаны были и числом побольше, и повадками изощреннее... А что до гибели, то главный шайтан из ее окружения давно сговорился с шайтаном сына арабского миллионера. Они обречены были соединиться... И соединились навеки... — Пес умолк и устремил взгляд куда-то вдаль. Мне показалось, что он мысленно перенесся в проезд под парижским путепроводом. Он не сразу вернулся из этого путешествия.

— Диана была самой прекрасной шайтанкой на свете... Ладно еще, с Эйфелевой башни не бросилась... Но и такая смерть...

— В таком случае давай уточним: где кончается человек и начинается шайтан?

— Если шайтан внутри человека, то человек его облачение. Шайтан облекается в вас!

— Верно пес говорит! — донесся голос изнутри меня.

Мы все трое внятно услышали этот голос, но я решил не сдаваться.

— А как же тогда благие свершения человека? Научные открытия, художественные творения? Цивилизация! Выходит, все псу под хвост?!

— Все, что до сих пор сотворил человек, он делал себе на потребу.

Показалось, что я никогда больше не увижу этой не по-собачьи смышленой твари, потому попытался пролить свет на занимавшие меня вопросы.

— У нас в народе говорят: “ворье, сукины дети” или “собачьи воры”. Как это, по-твоему, следует понимать?

— Точно не скажу, но знаю только, что в глазах людей нечистая тварь и гать — одно и то же. И о собаках думают, что мы сплошь ворье. Но... ты вот слышал когда-нибудь, чтоб собака украла собаку? Нет. То-то же. А люди — крадут. И трупы крадут, даже из могил выкапывают, и живых похищают, и у государства воруют, а особенно у народа. Всё. Что плохо лежит — хапают... А что делает собака? Ну, утащит кусок, чтобы не околеть с голоду. Да сейчас и красть-то у людей нечего. Теперь собаки не воруют, а бомжуют. А среди людей есть такие мастаки по этой части, куда нам!.. Теперь сам посуди, кто вороватее: мы или люди? Волк всему учится у природы, а собаки — у людей. Выходит, люди и есть наши учителя. Благо еще, что мы, четвероногие, не ахти какие радивые ученики, а перейми мы все людские пороки, мир давно бы рухнул. Вот тебе моя собачья правда.

Я всмотрелся в Гыллы Кёпек — Лохматого Пса. Поза, обличье как у Гыллы

Киши — Лохматого Мужчины. И я уверился, что, задай я свои вопросы человеку, услышал бы точно те же ответы. И это моя человечья правда.

Я оказался в тесном пространстве между этими двумя правдами — собачьей и человечьей.

Пес встал, потянулся и, глядя на своего лохматого друга, завилял хвостом в знак неизменной преданности.

Глядя на него, я спросил:

— Почему собаки так подобострастны?.. Почему заискивают перед человеком?

Пес оживился. Глянул на свой хвост:

— Вот мой хвост. Знаешь, для чего он?

— Откуда мне знать...

— Вот, скажем, нос — чтобы нюхать, уши — чтобы слышать, ноги — чтобы бегать. А хвост — чтобы вилять. Ну, я — собака, я обречена вилять хвостом. А вы, бесхвостые человеки, чего ради виляете? Ради корысти?! Собака только хвостом крутит, а человек весь превращается в хвост, то бишь в прихвостня... Пес ради куска изощряется, пожевал — и сыт. А человек ненасытен. Вам бы умерить аппетит до собачьего, глядишь, никто на свете не умирал бы с голоду. Не обижайся... Угождать — собачье дело, и угодливый человек переходит в наш, собачий, разряд. Обычно это с вами бывает от бессилья и никчемности. Иначе овладел бы каким-никаким ремеслом и жил бы по-людски, а не лизал бы сапоги начальству. Хорошо, что человек не может угодить только смерти, и слава богу, не то народу бы развелось — не приведи Аллах! В давке перегрызли бы друг друга.

— Говорят, с собакой дружи, а палку в руке держи.

Пес глянул на своего лохматого друга:

— Хочешь знать, есть ли у него палка? Нету. Ну а я тебе скажу по-нашенски,

по- собачьи: дружи с человеком, пока зубы не выпадут...

— Ты счастлив? — спросил я разболтавшегося пса. Думал, он заскулит, прослезится опять: “Нет на свете меня несчастнее!”, а он уставился мне в глаза и говорит:

— Я счастливее всех людей. Самое большое несчастье — быть человеком. Сколько у него бед и напастей. Говорят, собачья порода выносливая, но попробуй вынести человечьи мытарства! Нам бы и дня не выдержать. И ведь все беды у вас от ума. Знаешь, земля на всех одна, и всем живым ее хватило бы, но по вашей милости дело идет в разнос. Разум человека доведет до ручки, а уж человек мир доведет до полного краха... Мы, собаки, чуем приближение землетрясения. С тех пор как человеческий разум стал вмешиваться в дела природы, землю точит порча, и людей, и животных... Живи на земле только мы — зверье, была бы тишь да гладь. А вы, люди, рубите сук, на котором мы все сидим, режете жилу земли. Кровью исходит земля... Будь проклята ваша двуногая порода.

Такого я не ожидал. Собачьи проклятья задели меня за живое: как-никак, я человек!

— Заткнись, псина! Ты и есть собака, что с тобой говорить!

У моего собеседника шерсть на загривке встала дыбом, зарычал, хотел броситься на меня, но покосился на своего друга, вроде испрашивая разрешения, и осекся, взял, так сказать, себя в лапы.

— Да, я собака. Ну и что в этом зазорного? Мы, собаки, на границе служим, взрывчатку и наркотики находим, дома сторожим. Между прочим, и в культуре, если на то пошло, в меру наших возможностей участвуем: по телевизору и в цирке вас развлекаем... В иных странах нас целые добровольные общества защищают. А про Лайку забыл? Про Белку и Стрелку! Кто первыми в космос полетели?

— Ишь, расхвастался! — усмехнулся я.

— Говорю, как есть. Это вы, люди, или захватываете тех, кто на виду, или вешаете на них всех собак. Пес покосился на своего друга, тот одобрительно закивал.

— Ладно, — я решил разбавить серьезные материи шуткой. — А о собственном хвосте что скажешь?

— Мой хвост человечьему не чета. Кроме него, — пес показал на друга, — я ни перед кем не вилял хвостом. — После недолгой паузы он еще раз глянул на друга и добавил: — Эх, если бы выходила газета на собачьем языке, я сам взял бы у тебя интервью.

— Будет и такая... — отозвался Лохматый Мужчина. — Может, уже где-то выходит, а мы не знаем.

— Насчет собачьей газеты не знаю, — сказал я. — Но в следующий раз возьму интервью у тебя.

— Не утруждайся, — сказал Лохматый Мужчина. — Мы с собакой единомышленники.

— Тогда ответь хоть на один вопрос.

— Валяй.

— Почему у тебя такое волосатое тело?

— Был бел, как белок, да туман заволок... Судьба замотала, без угла, без причала... Короче, тело приспосабливается к природным условиям. Ведь житуха у меня не как у людей.

— А на кладбище отчего обосновался?

— Приглянулось. По душе мне здесь.

— Может быть, я могу тебе чем-то помочь?

— Если Аллах не в силах помочь, то что может Его создание.

— Хочешь, буду наведываться иногда?

— Нет! — отрезал он.

— Ну, раз так, пойду. — Я поднялся. — Может, слово какое скажешь напоследок... Мы же люди...

— Слово свое я сказал ему, — показал на пса. — И завещание ему оставил.

— Завещание — псу?!

— Тебе этого не понять. Молод еще.

— Ладно… Если не секрет, что завещал? — спросил я.

— Завещал, чтобы он по смерти съел меня. А то смердеть буду...

— А что пес? — я посмотрел на лохматого — тот угрюмо молчал.

— Сначала зарычал и замотал башкой, мол, не ем человечины. Но я полдня канючил, умолял слезно и уломал — согласился из жалости...

Когда я опомнился, то увидел, что тащусь по кладбищенской тропе, да так, будто увязаю в трясине.

Я выполз со старого кладбища, как старый катафалк. И внутри катафалка была глухая пустота.

…Над старым кладбищем густела тьма. И старые покойники, натянув на свои старые мощи старую тьму, обрели покой…

**Верблюжий дождь**

Рассказ

*Перевод М.Гусейнзаде*

После вечернего выпуска новостей Город прильнул к телевизорам в ожидании прогноза погоды. “Завтра вероятен верблюжий дождь”, — объявила ведущая. И все облегченно вздохнули. Два дня назад с неба падали львы, и это было гораздо опасней.

* * *

Львов и на этот раз удалось как-то обмануть. Сами львы называли это “наложить заклятие” и, вообще-то говоря, люто ненавидели. Их отправили в зоопарк, хотя места там на всех уже не хватало и приходилось размещать по пять—десять голов в одной клетке. Поэтому сейчас для Города главной проблемой стало каким-то образом разместить львов, еще не отошедших от действия заклятия. Предложения выдвигались самые разные, они тут же по компьютерным каналам публиковались для всеобщего обсуждения. Самую интересную идею выдвинула Академия наук:

— Надо выдрессировать львов и создать из них настоящую боевую группу.

Было бы целесообразным привлечь к этой работе тех, кто знает львиный язык, а

также военных.

Министерство культуры предлагало выделить большую территорию и построить новый зоопарк для львов. То есть создать настоящую саванну, так, чтобы львы чувствовали себя в естественной среде. К этой работе планировалось привлечь иностранные инвестиции.

Несколько резкое предложение поступило от сотрудников совместного объединения “Мех-Кожа-Шуба — Свободное пространство”:

— Убийство львов и экспорт их шкур может вызвать серьезный метеоритный дождь на Город ...

Одно из предложений было настолько забавным, что даже дикторша телевидения не смогла сдержать улыбки:

— Необходимо открыть школу для львов. Занятия вести на их языке, наш

долг — развивать их культуру.

Это была совместная инициатива Комитета по защите животных и Министерства образования.

* * *

...Верблюды падали из облаков, как тяжелый дождь. Заклинателям, отдавшим все силы работе со львами, разрешили немного передохнуть, прийти в себя. Однако верблюжий дождь не прекращался, и потому было принято решение вновь обратиться к помощи заклинателей.

Пролетая в облаках, один верблюд сказал другому:

— А эти человеки совсем не трусливы… — не успев договорить, он с грохотом упал на землю, но тут же резво вскочил на ноги.

Часть верблюдов, упавших на землю, оставались лежать на боку — видно, паря в воздухе, они неверно выбрали точку приземления, другие хоть и с трудом, но вставали и, подняв горбы, колыхались, как паруса, разбегаясь по степи.

Суматоха продолжалась до прихода заклинателей.

Уставшие заклинатели не могли в полную силу читать свои заклинания, во всяком случае, пока один из верблюдов не выразил желания добровольно подняться в недавно построенный огромный аэробус Magnus-180, оснащенный мощным электромагнитным двигателем.

— Даже если они все залезут в эту машину, — ворчали заклинатели, — куда их отправлять?

— Сначала надо было создать саванну, а потом уже думать об этом.

— Давайте запустим их ко львам. Правда, это жестоко. Опять поднимется кутерьма. Зато мы сможем хоть немного передохнуть.

* * *

Наконец верблюжий дождь иссяк. Львы в клетках, глотая слюнки, смотрели, как верблюды покорными овечками выпрыгивают из Magnus-180. Заклинателям действительно удалось кое-как наложить на верблюдов заклятие и доставить их к зоопарку. Жители города, те, кто посмелее, подходили ближе, другие наблюдали эту картину издали.

Пожилой мужчина, державший за руку внука, повернулся к верблюдам. Ребенок никак не соглашался смотреть на животных, он плакал и просился домой.

— Ты погляди, это же настоящий верблюд, — говорил мужчина, стараясь успокоить мальчика.

— Я домой хочу, пойдем домой, — хныкал ребенок.

— Да ты хоть посмотри, ведь ты никогда в жизни не видел живых верблюдов.

— Не хочу верблюдов. Домой хочу. Скоро начнется “Корабль в пустыне”.

Пойдем... Я уже видел верблюда...

“Корабль в пустыне” был сейчас самым модным, самым любимым вирвизуальным фильмом. Корабль с самыми разными животными на борту “плыл” по пустыне, и по твоему желанию любой из его обитателей мог перешагнуть экран телевизора и оказаться в комнате. Вирвизуальный экран был новейшим достижением науки и техники и считался очень дорогим удовольствием. Если бы дед, собрав всю свою последующую пенсию, не помог семье, то купить такой экран им было бы не под силу. Но очень уж просил внук. Несмотря на прорехи в бюджете, экран все же купили. И вот теперь внук рвался посмотреть очередную серию фильма.

— Ну ты и упрямец. Ладно, идем домой. Только этот верблюд не такой,

как в твоем корабле. Это настоящий верблюд. А тот... Эх...

— Нет, тот верблюд лучше. Он мой друг. Он разговаривает со мной. Он

ждет меня.

* * *

Заклинателям удалось наконец согнать верблюдов к зоопарку, хотя, кто знает, может быть, некоторым и удалось убежать. Состоялось маленькое совещание.

— Можно ли сделать так, чтобы львы не тронули верблюдов? Смотрите, как они пожирают глазами этих бедолаг...

— Конечно, нет. Никакими заклинаниями мы не сможем накормить львов.

— И какой же выход?

Вопрос стоял остро, и выбившиеся из сил заклинатели безуспешно искали на него ответ.

Дед с внуком добрались до своего дома. Внук очень торопился. Время уже подходило к часу Луны.

— Скорей, дедушка, скорей... — нетерпеливо твердил внук.

Дома мальчик быстро проскочил мимо матери и бросился к вирвизуальному экрану.

— Я пришел! — Он выкрикнул пароль так громко, что от его голоса зазвенела посуда.

Вирвизуальный экран тут же засветился. Ребенок вперил глаза в экран и тихо сказал бесшумно усевшемуся в кресло деду:

— Дедушка, сейчас сам увидишь. Этот верблюд гораздо красивей тех.

* * *

Заключительное слово на летучем совещании заклинателей взял член городской Комиссии по урегулированию конфликтов между жителями Города и животными. Измученные заклинатели немедленно приняли предложение, суть которого заключалась в следующем: необходимо задействовать группу посредников. Добиться от львов обещания, что они не тронут верблюдов. А после того как заклинатели восстановят свои силы, надо будет вновь использовать заклятие против львов и решать, что делать с верблюдами. На вопрос: “А что мы можем обещать львам?” — член комиссии недовольно проворчал: “Создать для них саванну”. Кстати, это было и одним из предложений общественности.

* * *

Никто не верил, что проблема может решиться с такой легкостью. Час Луны уже наступил, все устали. Представитель посредников, вернувшись после переговоров со львами, дал интервью сперва государственной, а затем и частным телекомпаниям. Львы после недолгого совещания приняли наши предложения, заявил он. “Мы согласны на все, лишь бы ни приходили заклинатели”, — сказали они. Город облегченно вздохнул.

* * *

...Корабль, медленно приближаясь по песчаному морю, становился все больше. Ребенок с нетерпением ждал мгновения, когда можно будет нажать расположенную под экраном кнопку вирсекунды, потому что только после этого обитатели корабля могли войти в комнату. Сидящий в напряжении дед тоже терял терпение.

— Время! — закричал ребенок и, как только корабль пересек виртуально-визуальную границу, нажал на кнопку. — Хочу верблюда, — зачарованно прошептал он.

И тут же возникло герметическое ощущение, что огромный корабль, пробив вирвизуальный экран, вплывет сейчас в комнату. Всякий раз мальчику казалось, что стоит

только протянуть руку и можно будет коснуться палубы. Даже дед на первых порах попадался на эту удочку. Однако все происходило иначе. От носа корабля протянулась лунная дорожка, и на ней показался верблюд.

Сначала верблюд был маленьким, потом стал расти. И к тому времени, когда, пройдя по дорожке, перешагнул вирвизуальный экран и появился в комнате, он вырос уже до натуральных размеров. Ребенок замер от радости и изумления. Перед ним стоял созданный им, живой вирвизуальный верблюд.

— Ну ладно, хватит, вернем его на корабль. А то он загадит здесь все вокруг. Да, внучек?! — предложил дед. — Час Луны уже заканчивается, а ты еще не ушел в свою сказку. Давай-ка выключим этот экран. Хватит на сегодня. — В последнее время дедушка с некоторым подозрением относился ко всем этим технологическим новшествам. — Видишь, вот и сказка уже тебя заждалась.

— Не хочу сказки. Хочу этого верблюда. Пусть он остается у нас, — наконец-то смог выговорить мальчик. Он, кажется, начинал верить в реальность происходящего.

Мать с дедом переглянулись. Что делать? Мальчик упрямится. Это до добра не доведет. Отказ уходить в сказку означает плохой сон, а это, в свою очередь, приведет к тому, что будет потеряна крупица часа Солнца и ребенок может опоздать в школу.

— Хорошо, согласны. Мы отведем верблюда во двор. Только имей в виду —

завтра он уходит на свой корабль, — решила мать.

Ребенок радостно подключил вирвизуальный экран к системе постоянной энергии и, взглянув на деда с видом победителя, ухватился за веревку, висевшую на шее верблюда. Оба — мальчик и верблюд — вышли во двор.

* * *

Стало известно, что львы решили обратиться в Комиссию по урегулированию с требованием оставить их клетки открытыми. “Если мы достигли договоренности и обязались не трогать верблюдов, то для чего нас держат взаперти в тесных клетках?! Может быть, нам не доверяют? Мы расцениваем это как оскорбление. Ведь мы же дали слово”, — говорилось в заявлении, которое старый лев направил председателю Комиссии по урегулированию.

Замки были сняты. Львы вышли из клеток и теперь мирно прогуливались среди верблюдов. Но в этом спокойствии таился ужас. В воздухе повисло предчувствие чего-то неминуемого. Наконец в пору вечерней Луны наступил час помощи неведомого... От Луны прямо к воротам зоопарка протянулась лунная дорожка. По ней потянулись на Луну боящиеся до той поры даже пикнуть, а теперь облегченно вздохнувшие верблюды. И тогда львы поняли, что вступил в действие первый пункт соглашения между ними и жителями Города.

* * *

Тень последнего верблюда еще колыхалась на лунной дорожке, когда воцарилась странная тишина. Но длилась она недолго. Львы, еще не видя заклинателей, почуяли их приближение и все поняли. “Предательство! Все разговоры о саванне — ложь. Нас обманули!” Львы ревели, началась невообразимая суматоха. Но теперь их рев никого уже не мог испугать. Заклинатели полностью овладели ситуацией. Не прошло и нескольких минут, как ни один из львов уже не мог подняться. Восстановившие свои силы заклинатели легко поднимали распростершихся на земле под действием заклятия львов и бросали их в клетки. Обманутые львы обо всем забыли. На их веки каменной тяжестью давили экстрамагнитные излучения, постепенно погружая животных в сон.

Не будь этого, будущее львов долго еще оставалось бы для Города неразрешимой проблемой. Позже телекомментаторы выяснили, что, оказавшись с мальчиком во дворе, верблюд стал вести себя странно. Он перестал подчиняться мальчику и, не обращая внимания на его приказы, вышел на улицу. Вирвизуальный экран был уже не в состоянии управлять им. Неожиданно для всех, без сенсорной команды с ближайшей космической системы управления, верблюд направился в сторону зоопарка. Ходили слухи, что он якобы побежал к своим собратьям и тоже хотел уйти по лунной дорожке. Будто бы его цель была вырваться из вирвизуального пространства.

Мальчик бежал за верблюдом до самого зоопарка. У самых ворот верблюд понял, что по лунной дорожке поднимается последний из уходящих. Вирвизуальный верблюд стоял перед самой дорожкой. Из глаз его текли слезы. Дорожка и последний верблюд исчезали из поля зрения. Одна из частных телекомпаний, вошедшая в недозволенную зону, за что ее позже серьезно наказали лишением лунных программ, утверждала, что лунная дорожка будто бы хотела помочь вирвизуальному верблюду.

И тогда произошло то самое событие. Вот как рассказывал о нем ребенок:

— Я прибежал и увидел, что верблюд уже плачет.

В это время на львов в клетках перестало действовать заклятие — это было самым странным и необъяснимым: львы освобождались от заклятия и выходили из клеток.

Позже, представ перед Комиссией по расследованию, заклинатели, естественно, не смогли объяснить, как была допущена подобная безответственность и почему клетки остались незапертыми. Телекомментаторы говорили, что это следствие царящей среди заклинателей самоуверенности. Специалисты, анализируя причины самовольного выхода львов из-под действия заклятия, говорили о возникновении в электромагнитной атмосфере неизвестных возбуждающих импульсов, вызванных появлением лунной дорожки. Эти импульсы, утверждали они, не что иное, как лучи, распространяемые водно-солевым раствором — слезами верблюда. Впоследствии эта гипотеза нашла научное подтверждение — были проведены серьезные термоэлектрические исследования неизвестного раствора, которые легли в основу одной из статей Кодекса освобождения из-под заклятия.

Специалистов удивило и то, что вырвавшиеся из клеток львы обступили верблюда и ребенка и долго держали их в осаде. Те стояли, в страхе прижавшись друг к другу. “Нас обманули — месть, месть!” — грозно рычали львы. На место происшествия прибежали мать и дед. Подоспела даже группа посредников. Но ни они, ни срочно прибывшие группы обеспечения безопасности не могли пробиться через кольцо львов на помощь ребенку и верблюду. Трагедия была предотвращена неожиданно и сама собой.

— Мы не сделаем этого! — воскликнул старый лев, до того молча сидевший на задних лапах и, прищурив глаза, внимательно наблюдал за происходящим. В ответ раздался гневный рык, но старый лев повторил: — Мы не сделаем этого! Мы

уходим, — добавил он. — Жители Города обманули нас. Мы уходим, и отныне я во веки веков запрещаю львам проливаться дождем на этот Город.

Львы подчинились его приказу. Они длинным строем вышли из зоопарка и направились в сторону городских ворот.

Баку, 2003

**Ильгар Фахми**

**Бакинская мозаика**

Фрагмент

*Перевод С.Мамедзаде*

Ильгар Фахми (Пашаев Ильгар Али-Аббас оглу). Родился в 1975 году в Баку, с 1994 года занимается литературной деятельностью. Автор двух поэтических сборников, нескольких пьес, поставленных в бакинских театрах. Руководитель секции перевода в Союзе писателей Азербайджана.

Деду моему не нравился кир (битум). Но сам Баку, похоже, обожал этот кир, и нет такого города на свете, который бы столь же явно подчеркивал свое пристрастие к этому материалу. Многие города, может, и слыхом не слыхивали и знать не знают о нем. А надо бы. Незнание — не грех, а вот нежелание знать — да. Большинство городов используют шифер, черепицу и прочее. А Баку исторически пользовался только киром. Все крыши — дома, лавки, гаражи, амбары, даже туалеты — покрыты киром. Кир, так сказать, достояние Баку. Может, исключительное. Почему? Потому что он представляет собой воспоминание о том, что было нефтью. После перегонки, переработки, получения бензина, керосина, прочего остается густая вязкая масса, это и есть кир. В других странах он идет на покрытие дорог. Перемешивают его на заводах со щебнем, толченым камнем, получается асфальт — и давай мостить.

У нас, конечно, асфальт тоже в ходу. Но задолго до дорог кир шел на кровли. Шифер не очень подходит — круты бакинские ветры; норд, хазри по-нашему, как налетит — крушит все без разбору. Дерево, дратва, как в российской глубинке, тоже не годятся — окрест Баку леса не густо, вернее, все рукотворные посадки. Кир встарь оставался, считай, единственным достоянием Баку. Ибо нефть, керосин, бензин, мазут вывозили в чужие края — кормить-поить их машины. А что оставалось делать бакинцам — только киром и обходиться. Крыши бакинские с высоты птичьего

полета — кир сплошной. Мозаика из плоских темно-серых прямоугольников.

Интересно, кого осенила идея использовать отходы нефтеперегонки? И знал ли этот Архимед, что его “эврика” — большое открытие? История Баку пахнет нефтью… киром… Особенно в летнюю жару, когда кир становится как воск или жвачка. Летом, в полдень, на бакинские крыши лучше не лезть, синтетическая подошва (из той же нефти) и кир обнимутся, как родичи после долгой разлуки, водой не разольешь. Кир в известном смысле печать истории, и Баку не любит, когда ее значение умаляют. Ночью — другое дело, кир твердеет, черствеет и резиновых подметок-родичей не признает.

Мир, говорят, состоит из четырех первоэлементов-стихий: вода, огонь, воздух, земля. Земля даровала Баку нефть и, значит, кир. А воздух — хазри… Крыши Баку — темно-серые узорные ковры. А разузорил их ветер, ясное дело. Но сравнение с ковром — упрощение. Ведь есть еще застекленные витражи. Стекла не в ладах с киром: тот, разомлев в жару, глядишь, и стечет на стекла, испортит вид. И кир, и ветер, подметающий крыши, — одушевленные начала, их души материализовались в голубей.

Нет, голуби — никакие не души. Голуби — дети крыш. Голубятни, в отличие от домов, строятся безо всяких заверенных печатью бумаг, купчих, техпаспортов. Поэтому голуби — как бы незаконнорожденные дети крыш… Но не все бакинские крыши оглашает воркование сизарей и вяхирей. Если крыши — отцы голубей, то хазри — их дядя по отцу. Хазри любит пернатых племяшей, а те его сторонятся, как нагрянет-налетит — сразу шмыг в голубятню. Как кенгурята в мамину сумку. А когда тихо — взмоют в небо, кружат, резвятся, куражатся. Хазри налетит и давай лупцевать по крышам, голубятням, взметать пыль, хлестать, засыпать песком. Но каким бы злыднем он ни был, а прок от хазри есть — вентилирует, очищает воздух, как экологическая метла. Правда, бывает, и отраву несет от заводской газовки.

Говорят, что Хазри — от названия Хазар, но взаимоотношения у Хазри с Хазаром любопытные. Хазри — страж Хазара. Или белый платок. Или келагай, закрывающий его от непристойных взоров. Девственное море — Хазар. Хазар — “хлебное древо” бакинцев. Апшеронская земля не столь уж щедра. Пески, солончаки… Потому приморские люди обратили взоры к морю, “хлебному древу”. Щедрому древу. Все бы ладно, когда бы не Хазри — трясет это “хлебное древо”, не приведи Аллах. И те, кто в лоне Хазара, часто скатывались в зияющую пасть рока. Потому, может, старых рыбаков редко встретишь на взморье…

Хазри пахнет Хазаром. А Хазар нефтью. Нефть некогда на Апшероне собирали из ям ведрами, тартали из колодцев желонками. Нефтью зажигали светильники, смазывали колеса арбы. Лет сто тому назад Рудольф Дизель изобрел двигатель, носящий его имя. Потребность в нефти увеличилась. Нефтяные аппетиты росли. А тут, оказалось, такая благодать — нефти разливанное море.

Бум! Бум бумом, а природа посторонилась, потускнела. Промыслы потеснили нивы, посевы. Дичь сбежала. Танкеры поработали, заводы нефтяные отходами потчевали Каспий. Ушла рыба подальше. Выкачали сухопутные пласты, взялись за донные. Окрест Баку — лес вышек, гордость старосоветских публицистов. Еще и виноградники, и инжир, и тутовые деревья! Правда, пришлось и им потесниться. Удивительно, но при всем нашествии углеводородного сырья инжир и виноград у нас ухитрились не пахнуть

нефтью. Появились нефтепроводы. Переваренная в утробах машин черная густая “бакинская кровь” уходила выхлопами в небо.

Да, я сказал о тутовых деревьях. В бакинской истории были такие зеленокудрые великаны, под стать нефтяным вышкам. Белый тут, черный тут, хар-тут… Тутовники — прошлое Баку. Вышки — будущее. Первые вышки придумали иностранцы, потому они такие долговязые. А тутовые деревья кряжистые, как наши аксакалы. Я бы считал их тоже символами старого Баку. Как и кир. Хотя тутовые деревья в Баку напоминают чем-то травы, прорастающие сквозь асфальт, она таят в себе целый мир; под сенью их собирались поэты, состязаясь в сочинении бакинского стихотворного фольклора — мейхана, а то и просто кумушки — лясы точить; на их ветвях подвешивали качели, под ними в укромные часы встречались влюбленные.

Обычно в селах окрест Баку шелковицу обсаживали инжирными деревьями, чтобы не “скучала”, иначе, чего доброго, плодоносить перестанет. Детям не позволяли спать в тени инжирных деревьев. Было поверье или суеверие, что на спящего под смоковницей могут напасть духи-шайтаны; может, это связано с тем, что листья смоквы напоминают пятерню. Немного детского воображения плюс дуновение ветерка — и эти пятипалые “лапы” могут ожить. Благодаря мистической ауре, окружающей инжир, никто не использовал ее суки как опору для подвески. Тут сподручнее ствол тутового дерева. Вбил гвоздь — и вешай хоть корзину, хоть одежду.

Между прочим, у старых бакинцев вошло в обыкновение утыкать гвоздями все дощатое на подворье и подвешивать всякую дребедень. И больше всего доставалось тутовым деревьям. Утыканные гвоздями, они вызывают в памяти образ распятия… Да, вколачивать гвозди почем зря — вид активной деятельности для нашего брата. Может, при этом гвоздебойщик испытывает некое мстительно-победительное чувство: вот, мол, природа сотворила дерево, а я его в вешалку превратил, стало быть, я покорил природу, я, знаете ли, дракон, и нет мне равных. А может, причина обилия гвоздей — теснота. Представим себе утлый дворик в старом бакинском квартале, откроем дощатую дверь, войдем во двор площадью, ну, скажем, 40—45 квадратных метров. На тыльной стороне двери на гвозде висит виток резинового шланга (для мытья паласов); на других гвоздях — самокат и еще железяки неизвестного назначения. На стене общего туалета — афтафа (кувшин с водой гигиенической функции), метла, совок и пара пластмассовых ванночек. Вот и тутовое дерево посередине увешано велосипедным колесом, топориком, пилой, шваброй и прочей бытовой рухлядью. А на всех квартирных дверях — авоськи с картошкой и луком... Тоже многое понавешано на них…

Еще символ Баку — Девичья башня. Она тоже висит — парит в небе. Удивительно, что экскурсанты в первую очередь отправляются к ней, созерцают, входят внутрь,

карабкаются на макушку, заглядывая в бойницы, а обычные спешащие по делам пешеходы редко когда поднимут голову и полюбуются… А задерут голову — шапка свалится. Мнения о происхождении названия расходятся. Одни говорят, что некогда девушка бросилась с нее в подступавшее море, другие выдвигают версию, будто некая шахская дочь велела возвести ее для себя.

Девичья башня и Хазар были наперсниками, потому как оба два — девственные создания. Некогда они и спали в обнимку, и пусть испорченные современные мозги не заподозрят здесь чего-то худого.

Море отошло, и между ним и Башней простерся Приморский бульвар. Бульвар — губа Баку. Посмотришь с самолета — кажется, город приложился устами к морю, пьет солоноватую терпкую воду. Этим беспечным моментом, бывало, пользовались шустрые пришельцы, чтобы оседлать город…

Но это тема другого фрагмента…

## Строки, рожденные на московской земле

**Насиб Набиоглу**

**...Сияла звезда над скалой!**

Стихи

*Перевод Николая Горохова*

*В минувшие годы, когда публикации азербайджанских писателей на страницах "Дружбы народов" стали большой редкостью, голос и краски южного соседа доносили до нас живущие и работающие в Москве и пишущие по-русски бакинцы — знаменитый киносценарист и прозаик Рустам Ибрагимбеков, ученый-литературовед и беллетрист Чингиз Гусейнов, финалист ряда престижных литературных премий Афанасий Мамедов...*

*Сегодня мы представляем свои страницы трем поэтам-москвичам, сохранившим верность родному языку: читайте азербайджанские стихи, рожденные в Москве и любовно переведенные на русский.*

*Насиб Набиоглу*

**...Сияла звезда над скалой!**

**В Москве, на улице Вургуна…**

Когда невмочь от бед, я еду

Туда — где, средь своих забот,

Со светлым именем Самеда

Вургуна — улочка живет…

В тоске по земляку, по дому —

Проеду через всю Москву

И подхожу я к водоему,

В который сыплет клен листву,

В котором уток шумных стая,

Перед отлетом в дальний путь,

Вдруг необычно тихой станет —

Как будто чует сердца грусть…

И, хоть грохочет рынок рядом,

Я вдруг наполнюсь тишиной,

Оттаю я душой и взглядом —

На этой улочке простой.

Как будто я с самим Вургуном

Вдоль водоема побродил

И там, где голуби воркуют, —

С ладони хлебом птиц кормил…

Здесь тихий облик небосвода,

Смиренья полная листва —

Так схожи с мудростью народа,

О, терпеливая Москва…

Ведь в дни, когда все меньше света,

А больше тьмы от слов людских,

Ты сберегла названье это —

Средь стольких перемен своих!

Случайность? Или — дружбе верность?

Как в этой смуте отгадать?

Но эти утки вот, наверно, —

К нам соберутся зимовать…

Москва, Москва!.. Тебе спасибо,

Что улочку ты сберегла,

Где меж Самедом и Насибом

Беседа тихая текла,

Где меж водою и листвой

Струился дух бессмертный неба —

Так схожий с правдою людской.

**Поэт**

Когда я, в хлопотах о хлебе,

Верчусь волчком вокруг семьи —

Мне не до музыки о небе,

И не до песен о любви…

Поэт сейчас чернорабочий —

Да-да, он “больше, чем поэт”.

Не до стихов про черны очи,

Про сад, про дивный лунный свет.

Свело его, по воле вора,

С такой немыслимой нуждой,

Что нет иного разговора —

Как разживиться бы едой?

… Приду с работы — ноют ноги.

Мир за окном зловещ во мгле.

Но хлеб венчает день тревоги —

Лежит буханка на столе!

Да, намахавшись днем ломами

Всех невозвышенных забот —

Сижу, гляжу, как хлеб ломают

Детишки, как пихают в рот…

Еще глаза я открываю,

Веселым шумом удивлен,

Но чую, как я засыпаю —

Валюсь в тяжелый черный сон.

Там нет стихов, там песен нету,

Восточных яств там тоже нет,

А есть одно: у бела света —

Там просит хлебушка поэт…

**Разлом**

…и треснул свод державный надо мной.

И разломилась твердь земли единой.

Не время песне — пусть и лебединой…

О, брат мой! Горе с нашею страной.

Душа горит и гневом, и тоской!

Отец Отчизну грудью закрывал —

в окопе с русским неделимы были,

он метко из винтовочки стрелял,

а немцы в них — из пулемётов били…

Чего теперь былое вспоминать?

Ведь победили! — даже и с ружьишком.

Про деда помнит мой сынишка,

про Родину — в молитвах шепчет мать.

Страна в разоре. Горестен народ.

Аллах иль Бог склонился надо мною —

где, средь руин Отчизны, с горя вою!

Уж если так моя душа скорбит,

То что творится с русскою душою?!

Темны руины… Тёмен лик небес.

И хоть намаз мой кроток и бессилен,

молю: — Аллах! Из всех твоих чудес —

яви огонь, чтоб был наказан бес,

что, как в ушко игольное, пролез

к нам в души он, чтоб погубить Россию.

Скулю я здесь не за свою судьбу —

хоть жаль детей средь пепелища дома…

Кричу Аллаху: — Дай мне силу грома,

дай ниток мне, ничтожному рабу,

и научи, как сшить края разлома.

**Вечная молитва**

Мамеду Аразу

“Аллах! Да пребудет со мною
твой дар в нашей жизни земной —
поёт пусть родник под скалою,
пусть светит звезда над скалой” —
молитва стихала под небом,
баюкала мама меня…
А в доме ни крошечки хлеба,
холодный очаг без огня.
Запомнил я с самого детства
и в сердце храню до сих пор
крестьянки нехитрое действо —
вечерний намаз среди гор.
И, словно играя со мною,
аукаясь нежно со мной —
там пел мне родник под скалою,
сияла звезда над скалой!
…Был предан не раз я друзьями.
Не раз я страдал без вины.
Но не был я предан горами
родимой моей стороны.
И, битый в дороге бедою,
с того и остался живой —
мне пел там родник под скалою,
сияла звезда над скалой!
Когда ж я расстанусь с землёю
и в мир я отправлюсь иной —
покину родник под скалою,

покину звезду над скалой…

Но кто-то, вечерней порою,

Лаская младенца рукой,

вновь небо окликнет мольбой:

“Аллах! Славен край наш родной —

поёт в нём родник под скалою,

сияет звезда над скалой!”

* * *

Я слово взял… Но им не превознес

Всех тех, чьи мысли злым огнем горели.

За то, что слово правды произнес,

Мой путь пролег — где дни огнем горели.

Я правду чтил. Не льстил я никому.

Был бит не раз за это потому.

Но я терпел… И, судя по всему, —

В огне терпенья беды все сгорели.

Но поражали горы: им пришлось

Встать на моей дороге — вкривь и вкось…

С того, что жил я с милым краем врозь,

Глаза мои огнем тоски горели.

**Тофик Меликли**

**Пошли мне тепло твоих рук**

Стихи

*Перевод Ильхама Бадалбейли*

*Тофик Меликли — родился в 1942 году. Доктор филологических наук. Автор ряда книг в области тюркологии, поэтических сборников “Самые прекрасные чувства”, “Корни и крона”.*

**Дождь идет**

Дождь идет, дождь идет,

И зимой, и летом льет

Паром в небо устремляясь

Вновь на землю проливаясь.

Дождь идет подобьем жизни

От рождения до тризны.

Орошаются поля,

Возрождается земля

Чем-то с человеком схож

Мир одаривает жизнью

Даже после смерти дождь.

Дождь идет, дождь идет

И зимой, и летом льет

Паром в небо устремляясь

Вновь на землю проливаясь.

* * *

Будь я даже слепым от рождения

Я б сумел воссоздать образ милой —

Силой мысли, полетом мечты.

Я бы настежь раскрыл двери сердца

Навстречу всем бедам

И радостям.

Я б увидел рождение солнца,

Землю в утренних росах.

Возлюбленную ашуга Алескера

У родника с кувшином на плече

Лишь благодаря тебя,

Мой родной материнский

Азербайджанский язык.

**Голубое**

В наших мыслях о море

море всегда голубое

хотя

в нем сотни различных оттенков и красок

порою свинцово-серое

порою темно-зеленое

а порою цвета

которому и названья нет.

В наших мыслях о небе

оно всегда голубое

хотя и оно как море

порою свинцово-серое

порою в белых пятнах лучевых облаков

а порою цвета

которому и названия нет.

И ты в мыслях моих о тебе

каждый раз являешься мне в голубом.

**Просьба**

Уж сколько времени

По утрам вставая с постели

Я словно воду пью свое одиночество

Пошли мне немного терпенья.

Звенья дней сцепляю в цепочку и строю дорогу

Пошли мне немного дней

Из тех, что впрок тебе не пошли.

Каждый вечер,

Когда в мир изливается благость,

Думаю о тебе с невыразимой тоскою,

Пошли мне погоду ненастную

С дождями и злыми ветрами.

В мои сны по ночам ты приходишь без спроса

Пошли мне хотя бы немного усталости.

Поверь, я осилю все боли, страданья и беды

Но что тебе стоит —

Пошли мне тепло твоих рук.

**Сабир Абдулла**

**Всего лишь горсть земли...**

Стихи

*Перевод Николая Горохова*

*Сабир Абдулла родился в 1950 г. Окончил Азербайджанский политехнический институт и Литературный институт им. А.М.Горького. Автор двух книг "Дитя человеческое" и "Живи и помни". Живет и работает в Москве.*

## Дитя человеческое

Кнут судьбы — чтоб нас гнать.

Голод — духу наука.

И что проку роптать?

Жизнь — веселая штука!

Средь разбоя и лжи —

Хорошо мне иль плохо —

Я дитя твое, жизнь,

Твое чадо, эпоха.

Хоть дорога узка

И была она в ямах,

Я не клянчил куска —

Нес я голову прямо.

Как бы мир ни орал,

Затевая здесь драки,

Я испуга не знал —

Как отец мой в атаке…

Сохранил до конца

Я в пути непосильном —

Все наказы отца.

Передам я их сыну.

Среди клятвенных слов,

Веря флагу Отчизны,

Чтобы сын был готов

Ко всему в этой жизни.

* * *

*Родина мне не поможет,*

*Родине надо помочь.*

*В. Цыбин*

В небе, как лошади — ржут облака во весь край!

Гривою машет гнедая бесхозная туча…

Если споткнешься и рухнешь, других не ругай —

Крой себя матом за этот позорнейший случай.

Есть у свободы начало — прямое, как штык.

Есть у свободы конец — переполнен он болью…

Если средь гор обессилел и высох родник —

Станет ущелье немым, а поляна слепою.

Сорванным с дерева листьям добра и любви,

Будет карателем ветер — без милого края…

Коль на земле милосердия нет меж людьми,

Нету и смысла молить их — помочь призывая.

Камень любой в себе тайную силу несет.

Кинуть в кого-то надумаешь — помни про это.

Если в гнездо на скале вдруг змея заползет —

Камнем сам станет тот сокол средь белого света.

Блудного сына печаль горбит плечи родне.

Горе стране, — если вождь ее без идеала.

В дни окаянные, каждая сволочь в стране

Тянет Отчизну — как тянут к себе одеяло…

## Могила неизвестного солдата

*Памяти солдат, пропавших без вести в мирное время, посвящается*

Мне жаль тебя, сердце, в постыдную пору разора —

Людские проклятья тебя на куски раздирают.

Здесь раненой ланью весенние ветры с укором

Бредут и рыдают — так люди в предчувствии гибели тают...

А мир безразличен. Ему наплевать здесь на слезы.

И если Господь глянет с неба, замрет он от дрожи:

Свихнувшийся мир этот, полон и зла, и угрозы —

Грохочут армады железа и землю корежат!

Уж кровью людскою сочатся рассветы, закаты.

Но злоба людская звереет — от края до края…

И падают, падают в землю сырую солдаты —

Как падают звезды с небес, над землею сгорая.

…В израненном поле травинки весной оживают,

Средь груды железа — кустарничек скрасит округу!

А где-то в России, который уж год ожидают —

Кто сына, кто брата, а кто и заветного друга…

В их душах росточком трепещет надежда святая,

В глазах стынут слезы, и согнуты плечи бедою…

На голой земле незнакомого дикого края —

В росе сиротеет могила рассветной порою.

**Родина**

Мы — две живых души в одной святой груди.

Прости, коль путь мой был порой непрям

И труден…

Но после стольких бед,

Бесстрастно подойти —

И к камню не смогу, не говоря о людях.

Всего лишь горсть земли — и Родина со мной.

Так и стихи мои — судьбы моей подобье…

И коль умру вдали,

Покину мир земной,

Мне хватит горсти той — на саван и надгробье.

**АНАР**

**Белый овен, черный овен**

Сказки о будущем.

*Перевод Сиявуша Мамедзаде*

*Анар — народный писатель Азербайджана, автор популярнейших в стране книг и киносценариев, таких, как “Шестой этаж пятиэтажного дома”, “Контакт”, “Комната в отеле”, “Разговоры по телефону” и др.*

## Сказка первая

…И тогда появятся два схлестнувшихся

овна — белый овен и черный. Белый овен

обратит черного в бегство. Ты вскочи

на белого овна, как только сядешь

на него верхом, выберешься на белый

свет. А сядешь на черного — окажешься

в царстве тьмы…

Сказка о Мелик-Мамеде

Мелик Мамедли проснулся под звуки государственного гимна, вернее, проснулся не совсем, а сквозь сон слышал эти звуки. Каждый раз, ложась спать, он устанавливал таймер компьютера на утренний час, когда передавали гимн, и ежеутренне вставал под торжественные аккорды, но сегодня, удивительное дело, еще в полусне он был охвачен особым чувством радости. Отчего же мелодия, которую он слушал ежедневно, вызвала столь благостное настроение? И еще не стряхнув с себя дрему, он догадался о причине: ведь сегодня Навруз, и ему, как и всем в стране, предстояло пережить этот день с чувством воодушевления, гордой уверенности и умиротворения. И так же, еще пребывая в полусне, он подумал — не будь неблагодарным, разве ты, как и все, не живешь эти последние годы, дни и ночи с тем же чувством безмятежной эйфории?..

Короче, пора вставать. Рывком поднялся с постели и дослушал гимн стоя — это вошло у него в привычку.

Мелик знал, что в эти минуты с таким же чувством патриотического воодушевления этот гимн, звучащий по всем двенадцати телерадиоканалам, слушают миллионы людей — от Дербента до Хамадана, от Казаха до Казвина.

Он настроил компьютерный приемник на волну телерадиоканала “Чагдаш”1, где работал вот уже тринадцать лет комментатором и автором-режиссером. Канал уделял преимущественное внимание вопросам культуры. Другие каналы при всем стремлении к универсализму все же тяготели к определенной тематике. Государственный канал АЗРТ старался возможно полнее отображать жизнь республики и международную панораму. У других, частных каналов были свои направления и, стало быть, своя публика. “Туран” вещал главным образом о тюркском мире, “Хазар” и “Апшерон” — о Баку и близлежащей области; “Араз” посвящал основные передачи Южному Азербайджану; “Улдуз”, излюбленный канал молодежи, занимал юную смену музыкой, спортивными передачами и развлекательными шоу. “Хилал” посвящал эфир преимущественно религиозным беседам — истории ислама, трактовке священного Корана, жизнеописанию пророков… Этнографические, фольклорные темы, старинные обычаи и традиции были в центре внимания “Навруза”; “Единство” ориентировалось на зарубежную аудиторию и национальные меньшинства в республике; “Савалан” говорил и показывал из Тебриза, “Кяпаз” — из Гянджи…

1 Чагдаш — современник.

Мелика Мамедли, признанного в стране тележурналиста и телережиссера, настойчиво зазывали все каналы, но он предпочел “Чагдаш” — приобщение публики к отечественной и зарубежной культуре, к сокровищам мировой литературы и искусства стало целью его жизни.

Хотя Мелик неоднократно получал приглашения от политических партий, действовавших в стране, он ни на одно из них не отвечал положительно и вообще не лез в политику. Он был убежден, что отныне, с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, разрешением почти всех социальных, экономических и идеологических проблем, занятие политикой — в известном смысле приятное хобби вроде аэробики или коллекционирования марок.

И действительно, после перетягивания каната правыми и левыми, когда сперва при зажиме предпринимательства и невнимании к национальным ценностям доминировал электорат правых, а затем при разгуле коррупции, баснословном обогащении одних и обнищании других тон задавала левая пропаганда, — все эти проблемы были сняты; большинство избирателей голосовали за правые или левые партии как бы по привычке, по инерции унаследованных от родителей симпатий и предпочтений.

В Милли Меджлисе было представлено пять партий — две правого толка, две — левого и одна центристская. Правые выдвигали на первый план национальные ценности, идеи тюркства и рыночную экономику; левые — ратовали за социальное равенство, опираясь в основном на рабочий класс; а центристы, принимавшие определенные ценности тех и других, занимали, можно сказать, примирительную позицию. У власти находилось коалиционное правительство центристов и независимых депутатов.

Но стоит ли в этот праздничный день вспоминать о политике!

Мелик самокритично покачал головой.

Политические события мало интересовали граждан процветающей республики — после освоения новых нефтяных и газовых месторождений, ввода в строй еще двух нефтепроводов стабильные дивиденды позволили довести средний заработок благоденствующего населения до тысячи баксов!

Теперь Азербайджан по уровню жизни оставил позади Арабские Эмираты, по степени развития экономики и культуры поравнялся с передовыми европейскими странами. За последние два года медицинское обслуживание, среднее и высшее образование, коммунальные услуги стали бесплатными, общественный транспорт— тоже; и за хлеб платить не надо.

Кровавые карабахские события, экономическая разруха ушли в далекое прошлое, в воспоминания. К слову, вчера Мелику позвонил сын из Шуши, он занимается сооружением фуникулерной линии от Джидыр-дюзю до лесного массива Топхана. В Навруз принято собираться всей семьей. Жаль, что на сей раз не удастся. Бейрек — в Шуше, жена Айпери оформляет спектакль в Тебризе, а дочь Бурла читает лекции в Керкуке…

Во вчерашнем телефонном разговоре Бейрек порадовал отца: участки трассы от горы Кирс до Гырх-пиллекан1 и в районе массива Топхана уже пройдены. Остается состыковать оба отрезка. Спасибо мингечаурцам, сработали отменные вагонетки, любо-дорого смотреть. И теперь, по словам сына, направляясь летом в живописные кущи к Иса-булагы2, пассажиры фуникулера будут “пролетать” через реку Гаргар. Бейрек был фантазер. Несколько лет назад, когда ему пришла в голову идея о фуникулере, никто не принял это всерьез, но вот, поди ж ты, сбывается мечта… А теперь он загорелся мыслью о канатной дороге к эйлагу “Гырх гыз”. А почему бы и нет? За последние годы Шуша действительно стала Меккой для интуристов. Горный воздух, целебные ключи, зимой — раздолье горнолыжникам, охота, альпинизм. Исторические памятники… Со всех стран мира тянутся сюда туристы. Пятизвездочные и поскромнее отели, выросшие на Джидыр-дюзю у Эрим-гяльди3, в Топхане, в лесах вокруг Иса-булагы, с трудом справляются с потоком гостей, приходится бронировать номера задолго до прибытия. Особый бум наступает во время ежегодных музыкальных фестивалей имени великого Узеира Гаджибекова — участники и гости размещаются не только в Шуше, но и в окрестных городах…

1 Гырх-пиллекан (букв. — “сорок лестниц”) — скалистый склон ниже плато Джидыр-дюзю в Шуше.

2 Иса-булагы (букв. — “родник Исы”) — излюбленное место отдыха неподалеку от Шуши.

3 Эрим-гяльди (букв. — “мой муж вернулся”) — скала на подступах к Шуше.

Бейрек рассказывал по телефону не столько о фуникулере, сколько о том, как в Шуше праздновали последнюю среду — накануне Навруза. Сын с жаром описывал бега на карабахских скакунах, старинную игру човкан на Джидыр-дюзю, говорил о ритуальных кострах, пылавших до утра, через которые перепрыгивали мальчишки, о роскошном фейерверке, озарявшем всю округу, о звонких голосах певцов-ханенде, разносившихся эхом в горах. Да, сын живописал эти подробности с таким жаром, что Мелику как въяве предстали картины Навруза, который ему дважды довелось праздновать в Шуше.

Умывшись и сделав зарядку, Мелик “зашел” в свою электронную почту на компьютере. Масса поздравлений от коллег — из Турции, Ирана, России, Грузии, западных стран… Пробежав их глазами, он стал читать письмо из Керкука — от дочери. Вот уже два года,

как Бурла вела курс азербайджанского языка и литературы в Университете имени Физули в далеком Ираке.

Дорогие мои папа, мама, Бейрек! Всех вас поздравляю с праздником Навруза. Всем вам в этот светлый день желаю крепкого здоровья. Я обещала, что в этом году проведу Навруз с вами, но не удалось. Завтра по приглашению коллег улетаю в Урумчи, а оттуда путь лежит в Москву, из Москвы полечу в Бахчисарай — там предстоят лекции в Университете Исмаила Гаспринского…

“Ишь, разлеталась, чертовка!” — улыбнулся Мелик.

…Очень переживала, что не смогла воспользоваться нынешними “наврузовскими” каникулами и махнуть в Баку. Ужасно соскучилась. Сколько же можно общаться по интернету! Знайте: вы всегда в моем сердце. Всех вас крепко целую. Бурла.

Мелик с сожалением подумал, что ни двадцатисемилетняя Бурла, ни двадцатипятилетний Бейрек пока не обзавелись семьями, не порадовали родителей внуками.

Мельком просмотрел газетные сайты — может, попадутся новости культуры, которые пригодятся в телепрограмме.

Ну и ну, целый калейдоскоп мероприятий — фестивали, декады, конкурсы, выставки, музыка, литература, театр, попробуй успеть осветить, откликнуться, а вот еще один сабантуй. Сколько же, право, может быть праздников!.. Хоть на куски разрывайся, в лепешку разбейся, но дай в эфир материал, как бы другие каналы не обскакали…

В Казани Театр имени Рудольфа Нуриева готовит балет на музыку Третьей симфонии и скрипичного концерта Кара Караева, приглашен из Парижа Роже Дюпон, слывущий самым авангардным хореографом… В Небитдаге открыт музей, посвященный азербайджанским нефтяникам-первопроходцам туркменской нефти. В Москве начала работу международная научная конференция: “Евразийское духовное пространство и исторические связи русско-славянского и тюркско-татарского мира”…

Журнал “Тюрк ели”: на обложке — памятник Назыму Хикмету в Стамбуле. Цветные фотографии, запечатлевшие дни талышской культуры в Шеки и выставку лезгинского и аварского народного творчества в Нахичевани…

Еженедельник “Шейтан-базар”: жареные факты и сплетни о кинозвездах — обитателях приморских вилл.

Мелик не поленился заглянуть и на сайт еженедельника “Пери-джаду” — гороскопы, заклинания, чудодейство, магия, прогнозы и пророчества всевозможных экстрасенсов.

“Надо же, — подумал Мелик, — и в двадцать первом веке находятся любители такого чтива и даже верящие во всю эту ахинею”.

Задержал взгляд на сайте “Азербайджан оджагы”: в Ханкенди Армянский театр имени Ширванзаде готовит к постановке пьесу “Кеманча” Джалила Мамедкулизаде. Вот это дело! Хорошо, что выбрали именно это произведение, проникнутое духом человеколюбия, призывающее к примирению и взаимопониманию. Верно, минувшие тяжкие события еще не изгладились из памяти людей, еще долго будут бередить души, но теперь права азербайджанцев, вернувшихся к исконным очагам в Армении, и права карабахских армян обеспечены в равной мере, не осталось повода хвататься за оружие и идти стенка на стенку… теперь, слава Богу, с обеспечением тех же прав “грузинским” азербайджанцам и восстановлением территориальной целостности Грузии, с удовлетворением культурных и экономических нужд всех национальных меньшинств на Южном Кавказе, как и на Северном, настали долгожданный мир и стабильность. Плоды мирного сотрудничества не замедлили сказаться, полностью ликвидирована безработица, набрала обороты промышленность, ожила земля, развернулся туризм. Весь Кавказ превратился в Мекку для туристов. Компания “Шелковый путь” организовала грандиозный туристический маршрут “От Байкала до Балкан”, в иных случаях перехлестывающий заявленные координаты и берущий начало от Орхонских памятников в Монголии или Якутии (Саха) и дотягивающийся до Кипра. Не забыли и про детские туристические маршруты. Туристы чаще всего предпочитали путешествовать в автобусах или поездом; экспресс “Три стрелы” доставлял их от восточного Туркестана, Алтая, Казахстана, Средней Азии до каспийских берегов, отсюда мощные паромы “Азербайджан” и “Туркменистан” брали на себя поезда, автобусы и переправляли в Тюрканский порт близ Баку. Дальше, до Турции и Европы маршрут пролегал по автострадам.

В сувенирах не было недостатка — чеканка, ковры, изделия медников, шекинские шелка…

Он заглянул в бюллетень “Вестник”. В Драмтеатре с аншлагом шли пьесы Гусейна Джавида. В Театре оперы и балета предстояли гастроли солистов “Ла Скала”. Театр мугамов представит публике концертный цикл “Семь мугамов”… Еще один театр покажет шекспировского “Кориолана” в исполнении грузинских мастеров сцены…

Синема-клуб порадует любителей кино ретроспективой шедевров Чаплина и Феллини…

Триумф, апофеоз в музыкальных центрах, концертных залах, в Доме камерной музыки, Театре эстрады и джаз-клубе… Праздничные выставки в Историческом музее и Музее литературы…

Мелик устал нажимать клавиши электронного блокнота-памятки. Наметил, кому из сотрудников куда сходить. А сам выкроит время, чтобы посетить Музей первобытного искусства под открытым небом на горе Горгуд. Говорят, экспозицию пополнили найденные в Лерике каменные изваяния лошади и овна — это особый мир. Обязательно надо сходить. Все недосуг. Эх, сколько упущенного! Вчера, скажем, в Пушкинском доме культуры прошла презентация нового издания “Братьев Карамазовых”. Хорошо бы прочесть новый перевод романа. Жаль, что не смог послушать недавнюю лекцию Абрама Губермана “Традиции религиозной толерантности в Азербайджане” — в Еврейском центре имени академика Ландау…

Зазвонил видеотелефон. Он поднял трубку и увидел на крохотном экране лицо жены. От его внимания не ускользнуло, что она чем-то расстроена. После праздничных поздравлений Мелик спросил:

— Ты, похоже, не в духе. Что невеселая?

— А с чего веселиться? — отозвалась Айпери. — В Баку задержали декорации. К Наврузу не успели с постановкой… — Она уже несколько недель находилась в Тебризе — готовила постановку оперы “Кероглы”.

Мелик переменил тему, чтобы отвлечь жену от тягостных мыслей.

— Ну а как с ролью Нигяр? Нашли исполнительницу?

— Разве я не говорила? Нашли. Студентка консерватории… Сценического опыта мало, но голос — неплохой. — Она опять не сдержала досады: — Надо же… Все было так гладко, и вдруг — на тебе! Я ведь просила их: отправьте декорации через надежную фирму, а они решили сэкономить. И вот результат. — Она никак не могла успокоиться.

— Да не бери ты в голову! Нет худа без добра. Эта заминка позволит мне успеть на премьеру. Утром к тебе, а ночным рейсом назад. Звонил Бейрек из Шуши. Бурла тоже аукнулась, собирается в Урумчи…

— Я в курсе. Они и мне звонили. Бейрек взахлеб расписывал шушинские торжества. И здесь Навруз встретили на славу. Ночные костры — феерическое зрелище… Я набросала пару эскизов. А завтра запылает факел на башне крепости Эрк…

— Знаю. Помнишь, в прошлом году я оттуда телепередачу подготовил!

— Как же не помнить! Ну ладно. Будь здоров. Еще раз с праздником. Целую. — Лицо Айпери на дисплее засветилось улыбкой.

Мелик спустился в лифте, вышел во двор и, достав пульт дистанционного управления из кармана пальто, направил в сторону дверей гаража. Двери открылись. Другая кнопка распахнула дверцу автомобиля “Джейран”, детища сумгаитского автозавода в сотворчестве с “Фиатом”. Бейрек агитировал его купить “Марал” — творение Гянджинского автозавода, сотрудничающего с “Фордом”, но он остался верен “Джейрану”, более скромному, но юркому и прыткому — в самый раз при его телевизионной горячке.

Завел мотор и вырулил со двора на проспект.  Мелик жил в доме, расположенном в жилом массиве “Баят”, некогда называвшемся поселком “8-й километр”. Странное название — почему восьмой километр, с какой точки отсчета? Еще в былые времена любили нумеровать микрорайоны (тоже словечко из коммунальных “изобретений”) — первый, второй, третий микрорайоны… по порядку рассчитайсь! И домишки, сработанные на скорую руку, имели такой вид, что Аллах упаси...

То ли дело нынешние городские массивы — один краше другого! И все-таки в глазах Мелика его махалла “Баят” была самой живописной из всех. За тридцатиэтажной высоткой зеленел парк, где среди роскошных кущ звенел водопад.

Ведя машину на умеренной скорости, он переговорил по мобильнику с коллегами в Анкаре, Нью-Йорке, Москве, Тегеране. Условился с ними, что видеохронику о праздновании Навруза в Азербайджане их телекомпании возьмут именно у “Чагдаша”, а это сулило хорошую рекламу и приличный доход каналу. “Другие каналы лопнут от зависти”. Мелик усмехнулся и попенял себе за тщеславное злорадство. “Впрочем, они тоже, должно быть, не сидят сложа руки…”

Он выехал на площадь Чанаг-гала, где возвышалась величественная статуя Мустафы Кемаля Ататюрка, затем его путь лежал через один из семи знаменитых бакинских бульваров. После перевода черногородских заводов за черту Баку, в район Уч-тепе, Приморский парк простерся от Баилова до Зыха, опоясав всю “подкову” бухты и попав в Книгу рекордов Гиннесса как самый протяженный бульвар в мире. Самым шикарным и фешенебельным бульваром столицы слыл бульвар Физули, тянувшийся от площади Джафара Джабарлы до проспекта Нариманова. В этой зоне находились элитные здания и отели; здесь красовались Дворец Физули, некогда носивший имя вождя мирового пролетариата, Драмтеатр, Театр оперы, кинозалы.

Бульвары по вечерам расцвечивались столь яркой лампионией, что этот световой потоп, наверно, был виден и с космических кораблей…

Карабахский бульвар, напротив, отличался строгой торжественностью и печальной тональностью — здесь на всем протяжении взору представали памятники; у могилы Неизвестного шехида — знака памяти о павших в боях за Карабах — горел вечный огонь, выполненный в форме древних очагов. Монумент о трагедии Ходжалы — скорбные руины, груды обугленных камней, головешек, сквозь которые постоянно взвивалась вверх струйка дыма — стон испепеленной земли. Ежечасно звучавшая музыка — фрагмент симфонического мугама “Шур” Фикрета Амирова — придавала особую впечатляющую силу мемориалу. Памятник, посвященный трагедии с вертолетом, расстрелянным в карабахском небе, выглядел необычно: сквозь обломки покореженного металла, винтов и лопастей проступали лики погибших. И наконец, как бы в утешительное завершение всех этих горьких воспоминаний перед Карабахским железнодорожным вокзалом возвышалась Триумфальная арка победы.

Среди различных памятников и мемориальных ансамблей последних лет, возведенных в Баку, Мелику больше всего импонировали те, что выросли на Карабахском бульваре, и

еще — памятник Сопротивления на площади Нации, где некогда громоздился монумент Красной Армии. Въезжающим в город по проспекту Двадцатого января представал с тыльной стороны танк, вставший на дыбы, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что этот бронированный монстр осадила горстка отчаянных смельчаков, упершихся в него голыми руками… И это трагическое противоборство, и красные накрапы мозаичных гвоздик, усеявших точки, где некогда погибли безоружные люди, на всем протяжении проспекта напоминали о все еще незаживших ранах памяти народа.

От кинотеатра “Азербайджан” до Театра кукол вел бульвар “Семь красавиц”, самый короткий по протяженности, но один из самых притягательных для гостей города. Дорогие супермаркеты, Театр мод, выставочные галереи, рестораны как бы стремились перещеголять друг друга. Но больше всего туристов завораживал фонтан “Семь красавиц”1. Грациозные фигуры семи красавиц из семи стран земли по вечерам подсвечивались и как бы плыли в танце. Туристы бросали в бассейн монеты в надежде вновь посетить Баку.

1 В названии бульвара и одноименных достопримечательностей угадывается аллюзия со знаменитой поэмой Низами Гянджеви (ред.).

Бульвар Араз брал начало с площади Единого Азербайджана. Новый штрих в ауре столицы — основательно реконструированный и расширенный стадион “Сельджук”, перед которым вознеслись скульптуры трех великих сельджукских правителей — Султана Тогрула, Алп-Арслана и Мелик-шаха, восседавших на боевых конях. У входа на стадион, в Музее спорта экспонировались призы, кубки, десятки олимпийских и прочих медалей отечественных спортсменов. По обе стороны площади, замыкавшейся отелями, возвышались монументы славных государственных деятелей национальной истории.

Между этими символическими рядами начинался бульвар Араз, увенчанный шестью обелисками в память о борьбе за независимость Северного и Южного Азербайджана.

Пока мы перечисляли достопримечательности, наш герой приближался на своем “Джейране” к бульвару Ашугов, седьмому из знаменитых бульваров столицы. Каждое утро, отправляясь на ТВ, он здесь останавливался и, припарковав машину полчаса прогуливался по бульвару, некогда называвшемуся Арменикендским. У входа на бульвар — скульптурная сцена, оживляющая мотивы популярного лирического стихотворения Ашуга Алескера:

В четверг у ручья ее повстречал,

Мне в сердце глаза чаровницы попали.

Лукавая бровь изогнулась, как лук,

И в грудь мою стрелы-ресницы попали1.

Ашуг, застывший у родника, завороженный красотой ясноглазой ханум, набирающей воду в кувшин; на камне запечатлены строки знаменитой гошмы.

Прохаживаясь по бульвару, Мелик читал на каменных скрижалях у импровизированных родников любимые строки мастеров саза и сказа и думал: как хорошо, что эта очистительная грусть-печаль, эта боль и тоска остались навеки, озвученные в ашугских гошма и в газелях Физули, в горестных исповедях поэтов, ибо сколь ни безоблачна твоя жизнь, как бы ни благоденствовал народ, человек не может все время пребывать в радужной эйфории, в беспамятном веселье, и душе порою хочется тишины, грусти, тоски на счастливом пиршестве жизни… Не потому ли теперь, когда наши горести и беды канули в прошлое, никак не родится литература, потрясающая сердца, волнующая умы?.. Книг — изящных, блестящих, шикарных — хоть отбавляй. Но в этом море чтива не встретишь произведения, повергающего душу в трепет пронзительным откровением, ослепительным озарением … Быть может, это плата за сытое благополучие?

Испив по глотку воды из каждого родника (привычка), он вернулся к припаркованной машине.

Проехал по проспекту Абульфаза Эльчибея, миновал парк Журавлей, оставил позади проспект Сефевидов, площадь Гызылбашей и направился в сторону Горы Шехидов, где расположился Музей Шехидов, посвященный памяти павших 20 января, шехидов карабахской войны и жертв мартовской бойни 1918 года2. Экспонаты отражали трагическую хронику пережитого народом — в 1905 году, в марте 1918 года, в апреле 1920 года, подавление движения Хиябани в 1921 году; репрессии 1937 года, разгром народно-демократического правительства в Южном Азербайджане 21 азера 1936 года, “Черный январь” 1990 года, геноцид над азербайджанским населением в Гукарке, в Баганис-Айрыме, в Ходжале…

По обе стороны лестницы, ведущей от улицы Конституции к этому музею под открытым небом, демонстрировались свидетельства этих расправ и преступлений — обломки вагона метро, взорванного террористами; раздавленный корпус “Жигулей”, на который наехал БТР на сумгаитской автостраде в январе 1990 года; изрешеченную пулями карету “скорой помощи”; железный костяк автобуса, подорванного на евлахской дороге…

Он въехал на территорию телецентра через верхние ворота, передал ключи от машины служащему гаража.

До начала рабочего дня еще оставалось изрядно времени.

Он поднялся на скоростном лифте телебашни — самой высокой на всем Ближнем Востоке — в ресторан “Булуд”3, расположенный на самом верхнем ярусе и совершавший медленный оборот: за полчаса можно было обозреть всю панораму Баку и окрестностей. Выше ресторана располагалось еще открытое кафе, но в эти мартовские дни там не посидеть.

1 Перевод Владимира Кафарова.

2 Имеется в виду кровавая расправа над мирными жителями, учиненная дашнакскими бандами в Баку, Кубе и Шемахе (ред.).

3 Булуд — туча.

Сел завтракать, пил астаринский чай, любуясь головокружительным простором, родным городом и голубой гладью бухты, сливающейся с небом на горизонте.

Сперва профессионально наметанным взглядом окинул площадь Азадлыг, где было установлено несколько телекамер. Возвышавшееся там здание, прежде известное как Дом правительства, теперь именовалось Дворцом Огней; на всех четырех башнях здания горело шестнадцать факелов, символизировавших шестнадцать исторических областей Северного и Южного Азербайджана, в давние времена являвшихся ханствами; на правом

фланге — Баку, Гянджа, Карабах, Ширван, Шеки, Нахичевань, Ленкорань и Куба, на левом — Тебриз, Ардебиль, Зенджан, Марага, Урмия, Карадаг, Маку и Хой.

На Горе шехидов (здесь, говорят, встарь красовался памятник большевику по партийной кличке Киров) пылали три факела — символ Баку.

По мере вращения ресторана на телебашне Мелик мог рассмотреть трехъязыкие факелы в пяти точках окрестного пространства.

“Булуд”, вращаясь, достиг точки обзора, откуда остров Наргиз был виден как на ладони. Мелик вспомнил, что когда-то вокруг названия этого острова шли горячие споры. Предложение заменить старое название “Наргин” на “Большая Зыря” встретило возражения под тем доводом, что на Каспии имелось несколько островов с названием “Зыря” и нововведение внесло бы путаницу. Потом кто-то вспомнил, что в рассказе давно позабытого писателя по имени Анар этот остров был назван “Наргиз”. (Этот самый Анар, по рассказам старожилов, возглавлял существовавший тогда Союз писателей, а впоследствии до конца дней проработал кондуктором маршрутного автобуса Сураханы — Азизбеков).

Короче, остановили выбор на этом названии, близком по звучанию старому, еще и потому, что здесь ежегодно проводится праздник цветов. Теперь остров Наргиз стал одним из излюбленных мест отдыха и развлечений на Каспии. Против такой метаморфозы в свое время также звучали возражения, связанные с недоброй репутацией острова в советскую эпоху, когда здесь, по достоверным свидетельствам, совершались расстрелы безвинных людей, а трупы бросали в море… Именно потому на этом острове воздвигли памятник жертвам репрессий. Оппоненты приводили противоположный довод: эти люди пали жертвами советской инквизиции именно потому, что мечтали видеть свой народ свободным и счастливым. И если их потомки будут приезжать сюда отдыхать и развлекаться, это явится воплощением их заветной мечты и возрадует души убиенных … Словом, предложение было принято, и на преобразившийся остров хлынули потоки людей: в весенние и летние месяцы катера и теплоходы привозили сюда тысячи детей и взрослых. Гигантское “чертово колесо”, сооруженное здесь, было видно с Приморского бульвара и, конечно, из ресторана “Булуд” на телебашне. Строители раскрасили “колесо” в семь цветов радуги. При взгляде с берега полколеса скрывалось рельефом острова; а видимая часть казалась радугой над ним; из кабин “колеса”, взмывавших ввысь, взору представала карта Азербайджана, воссозданная из цветов на разровненной поверхности. Здесь до утра действовали развлекательные центры, предлагавшие посетителям интересные шоу, концерты; в подводном ресторане можно было вкусить дары не только Каспия и Куры, но и разных уголков Мирового океана.

В траурные дни, разумеется, все развлекательные центры закрывались; прибывающие на остров делегации посещали монумент жертвам репрессий, возлагали венки, бросали в море цветы — в память о погибших.

Между берегом и островом сновали морские трамваи, шустрые такси-катера, моторные лодки и парусники, сдаваемые в аренду. Попадались и яхты, базировавшиеся на Баиловском мысе при яхт-клубе, впечатлявшие фантазией своих создателей и дизайнеров. Но самым красивым и грандиозным плавсредством на этом маршруте была бригантина “Хазар” с кафе на палубе и рестораном в салоне.

Тем временем “Булуд” продвинулся по кругу еще на несколько градусов, и взору посетителей предстало Баиловское нагорье, на высшей точке которого вырос отель в форме старинной твердыни — “Ченлибель”. На верхней площадке крепости возвышалась фигура легендарного Кёроглы на боевом коне Гыр-ате.

Ожили и другие острова апшеронского архипелага: выросли здравницы, появились ухоженные пляжи, дома отдыха; туда пролегли новые судоходные маршруты; более того, на судах можно было добраться от Баку до Сальян, а оттуда по Куре до Евлаха; от Сабирабада туристы могли продолжить круиз и по реке Араз. Каботажное плавание охватило Астрахань, Энзели, Махачкалу, казахстанские и туркменские порты — на этих маршрутах курсировали лайнеры “Деде Горгуд” и “Низами”. Работы хватало и морвокзалу, и Баиловской пристани, и причалу на Приморском бульваре у каспийского музея-аквариума. Музей расположился на ярусах гигантской плавучей буровой установки, отслужившей свой срок и пришвартованной к пирсу; он наглядно повествовал о мореходстве, рыбном промысле, морской нефтедобыче; экспонаты дополнялись сферическим аквариумом из высокопрочного стекла.

“Булуд” позволял рассмотреть бывшую бухту Ильича, где давно дожили свой век буровые, выкачавшие всю нефть. Лес ржавых вышек сменился “Диснейстаном” — как догадывается читатель, здесь не обошлось без американского опыта и технических ухищрений; что касается названия, то азербайджанской стороне пришлось вести долгие прения с заокеанскими партнерами. Чтобы отстоять национальную окраску названия, а главное, пополнить ряды диснеевских персонажей местными сказочными “кадрами” — дивами-чудищами, пери, волшебниками-дервишами, Ха-ха-ханум, из хохочущих уст которой вылетали цветы, и прочими забавными электронными диковинками, выкидывающими всякие штучки на потеху детворе.

Отсюда тянулась канатная дорога на гору Горгуд, зеленый склон которой украсил ресторан “Золотой шатер”, а окрест раскинулись стилизованные алачиги, шалаши, юрты одноименного отеля. На склоне со стороны Шиховского пляжа в “Белом шатре” расположился Театр дастана, также окруженный атрибутами древнего становья. Здесь же детвору забавлял мифический персонаж дастана — Тепегёз1, обитающий в пещере, в отличие от прототипа управляемый электроникой. Появление чудища повергало маленьких зрителей в замешательство и страх, но его ужимки и выходки вызывали веселый смех.

1 Тепегёз — одноглазый исполин, наподобие циклопа из античных мифов.

По мере вращения “Булуда” все лучше можно было рассмотреть вершину горы Горгуд, где проступали силуэты гигантского комплекса “Деде Горгуд”, состоящего из пяти сюжетных композиций, — это был сам вещий Праотец Горгуд с копузом в руках; доблестный Салур Казан на боевом коне, преследующий врагов; гордая Бурла-хатун в окружении сорока тонкостанных девушек, могучий Гараджа-чобан, вырывающий с корнем вековое дерево, к которому был привязан врагами, и, наконец, Бамсы Бейрек с Бану-чичек.

“Булуд” медленно описывал круг, и в воображении Мелика оживали места, которые отсюда, с телебашни, не видать, но которые он обошел пядь за пядью. Сотая буровая на Шаховой косе, давно законсервированная, стала достопримечательностью; туристы, поднимаясь на лифте или по трапам на верхотуру вышки, вооружившись биноклями, могли созерцать всю бухту и Апшерон. Вскоре морские трамваи, говорят, продлят путь до северных поселков полуострова, а оттуда — до Сумгаита и Джората…

Мелик мысленно представил вулканические сопки Лок-батана, Чеил-дага, перенесся к живописному приволью заповедника “Джейран-батан” — он знал, что в этот праздничный день там устраиваются пикники; задымят мангалы с шампурами, источая дразнящий запах шашлыков, в печах-тендирах зарумянится хлеб-лаваш; музыка, песни, веселье…

“Размечтался о шашлыках… — усмехнулся он про себя. — Обойдись пока хлебом с сыром и поторапливайся…”

“Булуд” продолжал вращение. Перед глазами проплыли городские кварталы, высотки, а вот и его небоскреб, тридцатиэтажка; и новые великаны в массиве “Гюнешли”. А вот

зеленая маслиновая роща; вдалеке — гора Гачаглар, где темной точечкой виднеется пещера Разина…

“Булуд” совершил полный круг. Мелик вновь задержал взгляд на площади Азадлыг, замкнутой громадой Дворца Огней. Площадь была выложена мозаичными плитами, воссоздающими орнамент знаменитого ковра “Шейх Сафи”. Напротив площади виднелся многовековой патриарх — Хан-чинары, привезенный из колыбели независимости современного Азербайджана — Гянджи. По обе стороны — две чинары-саженцы. С легкой руки публицистов эту молодую чету назвали символами Свободы и Ответственности — непременных условий прочности Независимости.

Пройдут годы, и молодые чинары пойдут в рост и сравняются с Хан-чинары, символической точкой отсчета истории Независимости.

На фасаде Дворца Огней, там, где когда-то возвышалась статуя Ленина, выросла фигура смельчака, который в девяностых годах, когда площадь бушевала митингами, вскарабкался по стене и водрузил трехцветное знамя на фасаде, — изваяние было выполнено по известной фотографии из хроники тех дней. Смельчак “окаменел”, а стяг был живой, настоящий. Здесь же были начертаны знаменитые слова Мамед Эмина Расулзаде: “Стяг, однажды подъятый, уже не падет”.

После основательной реконструкции Дворца Огней национальный парламент — Милли Меджлис — размещался здесь; в зале заседаний наряду с государственным флагом и гербом были запечатлены основные положения Конституции:

Объединенная Азербайджанская Республика — единое, свободное, демократическое, светское государство азерийско-тюркской нации. Все граждане Азербайджанской Республики, независимо от расы, национальности, языка, вероисповедания, социального положения, сословной принадлежности и пола, равноправны. Азербайджан — неотъемлемая часть великого тюркского мира. Азербайджанский народ — собрат всех тюркских народов и всех национальных меньшинств, проживающих в стране. Азербайджан привержен принципам мирного сосуществования, дружбы со всеми народами и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами мира.

Конечно, эти тезисы стали причиной определенных дискуссий и дебатов, но были приняты в результате консенсуса всех партий и независимых депутатов, представленных в Милли Меджлисе. Левые и правые партии смогли прийти к соглашению еще в одном

важном вопросе и внесли совместное предложение в правительство. Правительство поддержало обращение депутатов, и теперь в Пантеоне, сооруженном в центре столицы, символе национального примирения, покоились останки четырех великих государственных деятелей — Мамед Эмина Расулзаде, Алимардан-бека Топчибашева, Фатали-хана Хойского и Наримана Нариманова, привезенные на родину из Анкары, Парижа, Тбилиси и Москвы по договоренности с властями соответствующих стран. А прах Сеида Джофара Пишевари1 был перевезен из Баку в Тебриз и похоронен в благолепной усыпальнице.

А Физули, обретший покой в мечети имама Гусейна в Кербеле! Насими, казненный средневековыми фанатиками в сирийском городе Алеппо!.. Возвращение их останков на родину натолкнулось на ряд трудностей, но все же их удалось преодолеть; на азербайджанской земле обрел покой и Мирза Фатали, чьи останки были привезены из Тбилиси.

Усыпальницы-тюрбе Насими и Физули, решенные в традициях восточного зодчества, вознеслись в нагорной части города, рядом с ними был сооружен в стиле западного модерна мавзолей Мирзы Фатали, хотя такое архитектурное решение и вызвало продолжительные дебаты. Но со временем три соседствующие усыпальницы стали привычными для горожан символами народной памяти о великих сынах отечества.

Мелик перевел взгляд с нагорья на центр столицы, где виднелся универмаг “Дейирман”, разместившийся в здании бывшей мельницы. Перед ним стояли импровизированные ветряки с разноцветными лопастями — воспоминание о старом Апшероне. “Дейирман”, один из крупнейших универмагов в столице, конкурировал с супермаркетом “Караван”. Над “Караваном” по ночам голографическим эффектом воссоздавался образ мерно движущегося каравана; очевидно, экзотические ветряки “Дейирмана” были ответом на “голографический” вызов конкурента.

Поближе от “Дейирмана” — сад памяти о 18 марта 1918 года, некогда именовавшийся садом 26-ти. Монумент скорби. Статуи нескольких личностей, считавшихся революционерами и отличавшихся особой жестокостью, чудом уцелели в постсоветское время и позднее избегли уничтожения вопреки желанию многих. Эти увековеченные в мраморе реликты собрали во дворе здания бывшего КГБ — ныне Музея жертв репрессий. Здесь, куда эти увековеченные персоны посылали людей на погибель, они сами, пусть и в облике изваяний, отбывали вечное заключение…

Мелик взглянул на часы. Полпервого. Оставался один час и двенадцать минут до смены зимнего календаря весенним — начала нового года по древнему летосчислению.

Официант отметил его кредитную карточку; попрощавшись, он вошел в кабину лифта, спустился в партер, сел в вагонетку подземки и, доехав до шахты “Чагдаша”, другим лифтом поднялся на седьмой этаж.

Его постоянный помреж Эрхан был на месте. Поздоровавшись, поздравили друг друга с праздником. Он сел за стол и занялся рассматриванием мониторов, на экранах которых оживали различные виды на протяжении всей дороги от Янар-дага2 до Девичьей башни.

1 Лидер национально-освободительного движения в Южном Азербайджане. Погиб в 1946 году в автомобильной катастрофе, подстроенной советскими секретными службами (ред.).

2 Янар-даг — гора на Апшеронском полуострове с вечно горящими природными огнями.

— А где Янар-даг? — он повернулся к помощнику.

— Во-от, на первом мониторе.

— Это же мотель “Янар-даг”. На что мне мотель! Ты забыл, что главный

образ — огни, вырывающиеся из-под земли.

— Есть и огни,— отозвался Эрхан. — На резервном мониторе. Я-то думал, начнем с мотеля, — смущенно добавил помреж.

Мелик постарался смягчить замечание шуткой:

— Наверно, твое воображение влекут цыганские пляски в мотеле.

— В мотеле цыганских танцев не увидишь. Там ритуальные танцы Огня. А цыгане выступают в караван-сарае “Гарачи”1.

— А где этот “Гарачи”?

— В Гобустане. Чуть выше заповедника древних захоронений. Вы не бывали там?

— Нет. Такие изыски — про вас, молодых, — ответил Мелик.

В последний раз он ездил в Гобустан минувшим летом — на представление свето-музыки под открытым небом, народу масса, иголке негде упасть, люди прибывали на морских трамваях, в автобусах, легковушках, даже вертолетах; интуристы тешились ездой по древней караванной дороге на фаэтонах, в паланкинах, которые тащили верблюды…

— А вот и огни, — сказал помреж.

На экране первого монитора заплясали голубоватые язычки пламени, вырывавшиеся из-под земли.

— Пусть чуть укрупнят план.

Через десять, нет, уже через восемь минут юноша в белой чохе, в белой папахе, на белом коне, обязательно по имени Навруз (в этом году сподобились выискать на эту роль гонца даже и с фамилией как нельзя подходящей — Байрамлы!2), должен был зажечь факел от огней Янар-дага и, мчась во весь опор, довезти огонь до Баку, до самой Девичьей башни, спешиться, подняться на верхотуру и возжечь Большой Огонь. Причем точь-в-точь в миг “смены года”.

Мелик взглянул на хронометраж в электронном блокноте.

— Приготовиться! Начали!

— Готовы, — отозвался помреж. — Мелик-бек, вы в эфире.

Мелик:

— Здравствуйте, дорогие телезрители! С праздником вас! Пусть этот прекрасный праздник принесет вам радость, и пусть все дни, все годы вашей жизни будут светлы и благословенны. Пусть наступающий год, как и год уходящий, будет счастливым для всех нас, нашего народа, нашего государства. Вы сможете с помощью канала “Чагдаш” пережить все волнующие и радостные мгновения этого светлого праздника. Сейчас наши камеры показывают кадры с Янар-дага. Эти природные негасимые огни, восходящие из лона нашей земли, предопределили имя нашего отечества — Страна Огней. И сейчас огонь, перенятый у самой земли, будет доставлен в Баку, к Девичьей башне — гордости нашей истории… — “Похоже, получается несколько высокопарно”, — подумал Мелик и сбавил тон: — Зажженный здесь факел доставит в столицу молодой гонец по имени Навруз Байрамлы…

Он нажал на кнопку, и диктор за кадром озвучил короткие сведения о всаднике-факельщике, одновременно появившемся на экране.

Хотя Мелик накануне на компьютере просмотрел различные снимки Навруза, но сейчас, на мониторе вестник Весны выглядел еще пригожее и колоритнее — осанка, стать, брови вразлет, молодецкие усы и белая одежда были очень к лицу этому двадцатитрехлетнему удальцу. И конь-огонь, карабахских кровей! Точно в назначенное время вестник Весны подъехал к огням, исторгавшимся из-под земли, поднес факел, который тут же вспыхнул, и понесся во весь опор…

Камеры вдоль дороги прослеживали стремительную скачку — приближение Навруза Байрамлы. Мелик комментировал это захватывающее зрелище, расцвечивая свой рассказ экскурсами в старину.

Вестник на белом коне, проскакав по склону горы Шубаны, проследовал по древней караванной дороге и устремился к Волчьим воротам. На экране монитора возникло изваяние Боз-гурда3; посвятив несведущую часть публики в смысл и значение древнетюркского тотема, режиссер поручил направить камеры на мемориал “15 эйлюля”.

1 Гарачи — цыгане, сохранившийся под этим названием караван-сарай.

2 Байрам — праздник.

3 Боз-гурд — букв. “серый волк”.

— Дорогие телезрители! Эти места, конечно, вам хорошо знакомы. Мы неоднократно вели передачи из этого мемориала. Наверное, вам приходилось бывать здесь и на экскурсиях. 15 сентября 1918 года — вы знаете, что по-турецки “сентябрь” называют “эйлюль”, — Исламская Кавказская Армия именно отсюда вошла в Баку и, сражаясь плечом к плечу с бойцами Азербайджанской Армии, освободила город от врагов. Сейчас на этом мемориале, как вам известно, сооружена диорама, воссоздающая эпизоды сражений за Баку. В диораме запечатлены образы инициатора этого победного похода Энвер-паши и командующих-победителей — Нури-паши и Мурсал-паши… Проспекты, начинающиеся отсюда, названы именами этих славных военачальников. Именно по этим проспектам пройдет путь Навруза. Вот он, на белом коне, скачет к Волчьим воротам. Уже миновал их… Направился по проспекту Мурсал-паши к площади “15 эйлюля”…

Мелик поочередно нажимал кнопки пульта дистанционного управления: “Поглядим, что показывают другие каналы”. АЗРТ — официальные поздравления;

“Туран” — праздничные видеорепортажи из Ташкента, Казани, Ашхабада; “Араз” — из Тебриза; “Хилал” — о религиозных корнях празднества; “Улдуз” — репортаж о вестнике Весны, перемежающийся рекламой и клипами.

Вестник уже спускался к площади Азнефти.

— Возьми крупным планом вышку на площади! — скомандовал режиссер. — Потом отдельно: станок-качалку!

И сам — в эфир:

— …Сейчас вы видите символическую вышку на площади Азнефти. Непрекращающаяся работа качалки говорит о неистощимости подземных и морских кладовых черного золота.. о доблестном труде наших славных нефтяников… Сейчас Вестник-Навруз достигнет площади и, совершив круг, устремится к Девичьей башне по проспекту Хазар. Вы видите: сейчас движение транспорта по всему проспекту приостановлено. Тысячи людей на Приморском бульваре и с противоположной стороны стоят в нетерпеливом ожидании

Вестника на белом коне… — Уйдя из эфира, повернулся к помрежу: — Девичью башню — общим планом. Потом — панораму внизу. — Снова — в эфир: — Сколь щедра наша природа, столь же богато наше духовное и культурное наследие… Перед вами реликвия седой старины — древняя Девичья башня. Вот сорок стройных нарядных девушек с “сэмэни”1, цветными свечками, праздничными “хонча”2 в руках, придающими особое очарование торжеству… А вот из стайки красавиц выходит в зеленом платье сама Бахар-хатун, Весна-красавица. Навруз спешился у Девичьей башни… Пьет шербет из преподнесенного Бахар-хатун кувшина… И, воздев пылающий факел, входит вовнутрь твердыни…

— Показать восхождение по лестнице — там тоже установлены камеры? — спросил помреж.

— Нет, — отозвался Мелик. — Кадры из полумрака не будут смотреться… Людей покажите, народ. А после — верхнюю площадку. Будет эффектно: вдруг — раз! — и взметнулся факел. И Вестник на верхотуре. А после — наш сюрприз, — многозначительно добавил он.

Сюрприз заключался в нехитром трюке, придуманном Меликом. Годом раньше он разослал операторов заснять момент возжигания огня на празднике на древних твердынях Апшерона — в Нардаране, Рамане, Мардакянах и, разумеется, на Девичьей башне; запаслись видеозаписями этого же ритуала в дербентской крепости Нарын-кала, крепости Шамиля в Илису, башне “Гяларсан-гёрярсан”3 в Шеки, на Чираг-кала в Дивичи, в карабахском Аскеране, нахичеванской Алындже, шемахинском Гюлистане, лахичском Нияле, в крепостях Базз и Эрк в Южном Азербайджане. Задумка Мелика: в один и тот же миг взору телезрителей предстанут зажигающиеся праздничные огни на всем этом огромном пространстве, на древних твердынях исторической родины.

1 Сэмэни — зеленые всходы пшеницы, которыми украшают столы к празднику Навруза.

2 Хонча — праздничные подношения (сласти, орехи).

3 Смысл названия: “придешь — увидишь”.

Хотя в таком монтаже была толика хроникального формального несоответствия показываемых кадров, по существу же никто не мог упрекнуть их в отступлении от

правды — все это происходило и происходит сейчас. “То-то будет "фитиль" другим каналам”, — усмехнулся Мелик.

Большой факел запылал.

Год сдал свои полномочия. И год вступил в свои права.

И грянул праздник. Мелик решил не “разбрасываться” по разным уголкам и районам города, а сосредоточить экран на происходящем в древней цитадели — Ичери-шехер.

За Девичьей башней, на Базарной площади являют свое искусство и сноровку канатоходцы. В восстановленной резиденции бакинских ханов — Музее старого

Баку — восковые фигуры дервиша, гочи1, а также реликты старых времен — конка, фаэтон, рисунки и гравюры средневековых европейских путешественников, художников, запечатлевших Баку, первые фотографии города, карикатуры Азима Азимзаде… На площади перед музеем потешали бакинцев Кечал и Коса — фольклорные персонажи. Через крепостные ворота народ валом валил, спеша лицезреть веселое действо и игрища.

1 Гочи — сорви-голова.

Во Дворце Ширваншахов, в старых банных строениях, застеленных коврами, состязаются силачи, борются на поясах, кипят поединки на мечах…

У туристов глаза разбегаются: что предпочесть? Заглянуть ли в кондитерскую с восточными сладостями или в сувенирную лавку?

— Дальше веди программу сам, — обратился Мелик к помощнику. — Я должен мчаться в Таркян. Еще раз с праздником. Удачи!

Завел мотор, выехал на проспект “Хазар”, где уже возобновилось движение транспорта, через заторы пробился к площади Азадлыг — в Черный город, перевел дух, здесь поток машин чуть поредел… Вставил в магнитофон кассету, включил: “Чакона” Баха, божественная музыка, Мелик обожал ее.

Остался позади университетский городок — Говсаны, справа простерлась голубая гладь бухты; теперь на магнитофоне зазвучало торжественно-раздумчивое, окрашенное печалью “Адажио” Альбинони.

В чем тайна сокровенной, покоряющей силы этих гениев? Что делает их такими близкими? — думал он. Их отделяет от нас дистанция столетий, все было тогда другим. Совершенно другим. Эпоха, среда, нравы, обычаи и традиции… Но поразительно, как эти далекие чудодеи в камзолах, панталонах, с жабо и напудренными париками — Бах, Альбинони, Вивальди, Корелли, Моцарт… предвидели, предугадали лад его, Мелика, души, как ярко, выразительно озвучили его переживания, настроение, порывы и чаяния!.. Эти старинные волшебники словно прочли его сердце, самые сокровенные движения души человека XXI века, азербайджанца по имени Мелик Мамедли, и облекли их в чарующие, дивные звуки! Разве это не чудо?! Чудо далеких веков.

Ему пришло на ум: но ведь и то, что он может внимать этой музыке здесь, в своей машине, тоже чудо, чудо XXI века. Тоненькая коричневая магнитная лента, свернутая в кассету; включил магнитофон — и рождаются звуки, льются мелодии, завораживающие тебя…

Справа на обочине он увидел надпись: “Тюркян”. Город Тюркян, выросший на территории бывшего поселка, стал своего рода ассамблеей тюркского мира — здесь размещались многие общетюркские экономические, культурные, финансовые структуры, посольства и постпредства тюркских государств…

У въезда в город магистраль раздваивалась. Верхняя трасса вела к площади Религий — здесь возвышалась грандиозная мечеть Ахмеда Ясеви, построенная Турцией, рядом — маленькая церковь, возведенная для христиан-гагаузов, напротив — синагога для прихожан-караимов, буддийский храм — дар Тувы и якутское шаманское капище.

Поодаль от площади находился спорткомплекс “Манас” с открытыми и крытыми площадками для игр, плавательным бассейном. Отсюда начиналась зеленая полоса лесопарка, опоясывавшего шоссе на тюрканский аэропорт, а другим концом окаймлявшего ярмарку Великого шелкового пути близ аэропорта Бина. Лесопарк украшали всевозможные породы деревьев, привезенных со всех уголков тюркского мира и посаженных на Апшероне, благо что эти переселенцы прижились.

На ярмарке демонстрировались и продавались товары не только тюркских стран, но и со всех континентов планеты. Чего только здесь не было! От казахско-киргизской домбры до дагестанской бурки, от узбекских узорных халатов до туркменского ахалтекинского скакуна, от китайского фарфора до кашанских ковров… арабские пряности, японские татами, благоухающие сандаловые прутья из Индии, даже африканские ритуальные маски. Новейшие технологии Запада, Японии, Кореи поражали воображение. Все эти блага прилетали, приплывали, приезжали всеми видами транспорта. Из международного аэропорта Бина лайнеры совершали рейсы во все концы света, а с тюрканского самолеты “Байконур” летали в столицы и крупные города тюркского мира.

Мелик свернул от развилки направо и по улице Салавата Юлаева доехал до площади Орхон, представляющую собой огромный круг. Ровно в центре — десятикратно увеличенные копии древних Орхонских письмен — Большого и Малого “Гюльтекина” и “Тонугуг”; площадь обступали четыре здания — университет, театр, научный центр и библиотека; в Университете Кемаля Ататюрка готовили специалистов по этнографии, краеведению, истории, языку, литературе, географии и экономике всех тюркоязычных стран. На сцене Театра имени Назыма Хикмета шли пьесы в исполнении гастролирующих коллективов разных стран. Сегодня вечером, как оповещали афиши, шел спектакль Курдского театра — “Мохаммед Гази”. Научно-исследовательский центр, носящий имя Махмуда Гашгарлы, вел изыскания по совместной истории и совместным, общим литературным памятникам тюркских народов, готовил словари, общетюркскую энциклопедию; здесь же работала комиссия по алфавитной, языковой и терминологической адаптации.

Библиотека имени Фараби стала сокровищницей тюркской литературы и рукописных источников, представленных в микрофильмах, в компьютерных копиях книг и текстов, хранящихся в крупнейших библиотеках мира…

Мелик выехал с площади Орхон на бульвар Гуннов, где по одну сторону размещались дипломатические миссии двух десятков суверенных и автономных тюркских республик, а по другую — центры уйгурской, турецкой, чагатайской, туркменской, казахско-киргизской, итиль-уральской и крымско-татарской культуры. В двух соседствующих зданиях — очаге Зия Гей-Алпа и клубе Султана Галиева собирались политики правого и левого направления, которые скрещивали копья в жарких спорах по различным вопросам.

А вот и площадь Огузов. В отличие от Орхонской площади, она была решена в форме квадрата, в духе самаркандского ансамбля “Эль-Регистан”, стиль зодчества, орнамент фасадов, глазурь, геометрия — все напоминало Самарканд, Бухару, Хиву. Площадь украшали здания-близнецы — отель “Туран” и дворец “Эрконокон”, третью сторону занимал Тюркский музей, четвертая сторона квадрата, открытая, выходила к морю. Перед

“Тураном” пестрели санджаги-знамена и вымпелы древнетюркских держав и государств; “Эрконокон”, украшенный флагами современных тюркских государств, являлся своего рода ЮНЕСКО тюркского мира, сосредоточив в себе комиссии по экономике, культуре, науке, образованию, информации, здравоохранению, спорту… Здесь же разместились турбюро, авиаагентства, справочные службы, офисы СМИ.

Мелик подъехал к музею, вышел из машины и передал ключи служащему паркинга. Мельком глянув на афишу — “Выставка: сокровища тюркского мира.

22 марта — 22 апреля”, предъявил журналистское удостоверение и вошел в музей. Народу пруд пруди. Особенно густо в фойе, где экспонировался знаменитый ковер “Шейх Сафи”. Мелик некогда лицезрел этот уникум в Лондонском королевском музее Виктории и Альберта. Но, в отличие от британской экспозиции — с тусклым освещением, здесь ковер, залитый светом, заиграл всеми красками и оттенками. “А может, это оттого, что вернулся на родину… — подумал и тут же приструнил себя: — Ну-ну, не впадай в пафос, господин Мамедли…. К тому же для особого ликования нет причин, через месяц наш чудо-ковер опять улетит в заморские края…”

Шедевр вернулся на родину всего лишь на месяц после долгих переговоров с британской стороной, причем с солидной охраной. Строго охранялся и ковер “Пазыраг”, считающийся древнейшим в мире, — обветшалый, поблекший от времени, тоже под пуленепробиваемым стеклом. Так же, как экспонат из Казахстана — “Гызыл дойушчу” (“Золотой воин”), как ватиканские и дрезденские списки “Книги Праотца Горгуда”. Целая толпа интуристов окружила древнюю карту “Пири Раис”, внимая объяснениям гидов на разных языках. Диву давались и заморские гости, и школьники: оказывается, этот Пири Раис задолго до открытия Колумба обозначил на карте континент, впоследствии названный Америкой!

“Можно подготовить шикарную программу, — подумал Мелик, внося заметки в электронный блокнот. — Выкроить бы время”.

Возвращался в Баку не по приморской трассе, а по окружной дороге.

Наступали сумерки 22 марта — Дня весеннего равноденствия. Только сейчас вспомнил: с утра ничего не ел. Придорожных закусочных, ресторанов хоть отбавляй. Но его выбор был предопределен — ресторан “Бакинские ночи”, что на Зыхе. Конечно, были рестораны покруче, с кухней посмачнее, были и экзотические места. Но в ресторане “Бакинские ночи” привлекало не меню, а открывавшийся с веранды пейзаж. Любимый город представал ему обычно с большой высоты или с прибрежной “подковы”, со стороны

левого мыса. А отсюда — вид справа. Нечасто выпадала такая возможность. Он мог часами любоваться видами Баку, бухты, открывавшимися с этой точки.

Заказал еду, подкрепился, потягивая вино “Кипчак”. Уходить не хотелось. Погрузился в созерцание вечерней лампионии города. Светящийся поток машин, текущий по бульварам Хазар и Физули, разноцветные огни кораблей, стоящих на рейде, парусников, снующих по бухте, мерцающее ожерелье “чертова колеса” на острове Наргиз… По другую сторону “подковы”, словно из легендарных снов, восходил над морской гладью белокаменный Сабаильский замок, освещенный лучами прожекторов с верхотуры отеля-крепости “Ченлибель”. Замок казался фантастическим видением. “Скоро там начнется вечер поэзии… Не слабо ли нашим служителям муз передать это очарование?..”

Любопытно: на иных катерах, снующих по бухте, стали вдруг зажигаться факелы. “Это что-то новое, — подумал Мелик, — раньше такого не было. Может, начитались кавказских впечатлений Дюма-отца и решили воссоздать давнюю картину бухты?.. Во всяком случае, находка удачная…”

Артиллерийский залп заставил его вздрогнуть, хотя он и ждал салюта. В небо взвились ракеты, рассыпавшие радужные ореолы, искрометные букеты, озарившие темень.

Но, странное дело, среди всех этих пестрых праздничных картин, веселой, бравурной музыки его вдруг охватила безотчетная грусть. Что было тому причиной? Некое внушение, голос свыше, что ли, предостережение о преходящести земного бытия, о конечности отпущенного срока? В последние годы благодаря достижениям медицины в Азербайджане, как и во всех передовых странах, средняя продолжительность жизни далеко перевалила за семьдесят лет. Мелик имел основания полагать, что впереди еще лет двадцать — двадцать пять. Но ведь и этот отрезок времени имел свои пределы.

Сызмала проникшись верой в Бога-Аллаха, он верил в существование потусторонней жизни. Рассуждал: может, тот, запредельный мир краше, благополучнее этого, земного мира? Пусть так. Но ведь человек, даже переживающий тяжкие дни лихолетья, даже обреченный на страдания в этой юдоли скорбей, не хочет распрощаться с жизнью. А что говорить о человеке, который беззаботно живет в благополучной стране?..

“Беззаботно…” Но так ли уж беззаботна, безмятежна его жизнь, как и у других сограждан? Конечно же нет. Избавиться от социальных бед, жилищно-бытовых проблем, материальных, финансовых тягот — это еще не значит жить беззаботно. Никакой

общественный строй, самое справедливое общество, самые распрекрасные условия не могут оградить и застраховать человека от тоски одиночества, безответной любви, мук ревности, горечи несбывшихся мечтаний и надежд, боли утрат близких…

Да, боли утрат… Эта боль угнездилась в его душе, точит исподволь, через многие годы, когда не стало отца, матери, через год после того, как похоронил двоюродную сестру…

Конечно, и он сам, и весь народ могли подвергнуться великим бедствиям, когда давнишние политические противостояния, обернувшиеся кровавыми “разборками”, привели страну на грань гражданской войны. Осуществись угрозы внутренних сепаратистских сил и агрессии извне — события могли принять совершенно иной оборот. Наверное, он, Мелик, сейчас не находился бы здесь, в Баку, в Азербайджане, а может, его и вовсе не было бы на свете… К великому счастью, все опасности предотвращены, инстинкт самосохранения нации победил властолюбивые страсти и амбиции, и начавшееся с той поры, сперва медленное, но постепенно наращивающее темпы развитие привело к сегодняшнему надежному положению. Ныне в Азербайджане нет безработных, бедных изгоев. Нет несчастных, но все ли они счастливы? В том-то и дело. Когда несчастен народ, несчастливы все сыны и дочери этого народа, но когда народ достигает процветания, не каждый из сограждан может сказать: “Я — счастливый”. Хотя, естественно, он спокоен за судьбу своей страны. Он рад этому, он даже счастлив, но в личном измерении каждый когда-нибудь оказывается лицом к лицу с одиночеством, с предназначенным расставанием, в конце концов со смертью.

Что за мрачные мысли лезут в голову — в такой праздничный день? Нашел время философствовать. Посмотри на город, какая красота!..

Гигантские фигуры вещего Горгуда, легендарного Кёроглы, видение Сабаила, восставшего из вод Каспия, — в фосфорическом свете прожекторов, Девичья башня с пылающим светильником Навруза, расцвеченные корабли, катера, яхты в бухте, “чертово колесо” на острове Наргиз, виртуальный верблюжий караван, мерно плывущий в пространстве над универмагом, факелы над Дворцом Огней… — ради того, чтобы увидеть этот праздник жизни, право же стоило жить… И если уж настанет пора ухода, то стоит ли делать из этого трагедию, стоит ли страшиться, если ты жил как человек, трудился праведно и уходишь как человек?..

Все мы уйдем, но останется Девичья башня, останутся скалы Гобустана с древними рисунками, останутся каменные узкие улочки Ичери-шехера, останутся Шекспир и Физули, Бах и мугам “Сегях”…

Но как же интересно знать, что будет, что станется после нас? Вспомнились давно читанные стихи:

Знать бы, кто над Хазаром

Затеплит новые огни?

Знать бы, кто споет

Новые песни,

На языке каком,

Когда мы уйдем?..

Тревоги поэта о будущем родины оказались напрасны. Огни над Хазаром вновь зажигаются нами. И песни новые поем на своем языке.

Быть может, Мелику вера в Аллаха передалась по наитию детского сердца, через бабушкины моления и благословения. Он, по сути, не был истовым богомольцем, никогда не отправлял религиозные обряды, не совершал намаз, не соблюдал мусульманский пост — орудж и совершить паломничество в святые места не сподобился. При всем том ежевечерне, перед сном грядущим он нашептывал придуманную им самим и порой даже озвучиваемую в телевизионных передачах молитву.

И здесь, на веранде “Бакинских ночей”, в таинственных кущах парка “Лунные ночи”, в теплом вечернем свечении неповторимого праздника он про себя нашептывал свою молитву: “О, Всевышний, благодарю за этот день. Не обдели и впредь счастьем народ мой, друзей моих и мой очаг. Пусть худший из дней наших будет таким. Пусть никто из нас никогда не воззовет в отчаянии: как быть мне?! Что поделать мне?! Вдосталь лиха хлебнули мы на веку, пережили вдосталь невзгод, многажды оказывались на краю гибели.

Но выстояли, выдюжили, выжили и трудами праведными вырвались к светлым дням, добились благоденствия. Да продлится оно вечно. Бог велик. Аминь”.

Сказка вторая

И вдруг он увидел: надвигаются,

дерясь и сшибаясь друг с другом,

черный и белый овны. И тотчас

изловчился и сел верхом на белого

овна. Но белый овен скинул его

на спину черного овна. И понес

его черный овен в царство мрака…

Сказка о Мелик-Мамеде

I

Мелика Мамедли разбудили звуки азана, медленно раскрыл он отяжелевшие веки, глянул в окно: еще темно. Раздался стук в дверь.

— Кто там?

Голос из-за двери:

— Вставайте, ага1. Пора утреннего намаза.

В воображении ожил номер отеля, где он остановился минувшей ночью и сразу забылся сном, — кровать, шкаф, стол, стульев не было, старая истоптанная циновка на полу и две подушечки-мутакки.

Голос из-за двери:

— Ага, место совершения намаза — на первом этаже, в гостиничной молельне.

Протянув руку, он включил ночник. В углу номера — указатель направления на Мекку— Кибла — и молитвенный коврик.

— Я совершу намаз в номере, — сказал Мелик.

— Хорошо, — отозвался голос за дверью.

Он поднялся и подошел к окну. Еще не рассвело. Заглянул в карманный календарь: 22 марта, день весеннего равноденствия. Вспомнил, что некогда, в стародавние времена этот день отмечался как праздник Навруз. Вздохнул глубоко. Умылся у рукомойника, устроенного прямо в комнате, глянул в тусклое зеркало. Показалось, борода за день заметно отросла. “Там вам лучше быть с бородой”, — вспомнил он напутствие Эрхана.

Выйти из номера не спешил: пусть думают, что занят совершением намаза. С момента, как он вступил в отель, каждый его шаг был под наблюдением. Он это знал. Но, наверно, технический уровень у хозяев был не настолько высок, чтобы установить приборы слежения и внутри номера.

Звуки азана разносились по всей зоне.

Зона! Он почувствовал, как кольнуло в сердце. Город, где он родился и вырос, учился, трудился, любил и был любимым, построил семью, стал отцом, — теперь стал Зоной. Вернее, зонами, еще точнее, тремя. Баку был расчленен на зоны. Каждая со своим политическим строем. В мире их именовали попросту зонами, СМИ употребляли скупые обозначения — Первая, Вторая, Третья зона; но были и официальные названия — Первая зона значилась как Бехишти1 — Бади-Кубе, Вторая — Бакинская коммуна, Третья — Baku-Siti. Несколько лет назад, командированный в Стамбул в качестве тележурналиста, Мелик Мамедли и вообразить не мог, что командировка затянется на многие годы и ему, как и миллионам соотечественников, оставшихся на чужбине, путь на родину будет заказан; здесь произойдут столь ужасные события, что омрачат жизнь Мелику, как и любому истинному азербайджанцу.

1 Бехишти — рай, Бади-Кубе — старинное название Баку (“Город ветров”).

Теперь, возвращаясь по прошествии многих лет, он представлял, сколь тягостным будет это возвращение, пережитое вчера превзошло самые худшие предположения.

Покинув Баку, он был вынужден обретаться в Турции. И там поначалу пришлось намыкаться. Материальные трудности не самое худшее — горше всего неведение об оставшейся в Азербайджане семье, невозможность получить хоть какую весточку о ней, пути-дороги были перекрыты, прерваны даже почтовое, телеграфное сообщения; после тех ужасных дней он не знал, живы ли жена Айпери, сын Бейрек, дочь Бурла… Единственная радость последних лет — добрая весть, которую узнал от Эрхана, единственного знакомца, сумевшего выбраться из Азербайджана и прибыть в Турцию. Какими путями он добрался — Мелик не знал, да, по правде говоря, и не допытывался. Можно было предположить, что он связан с секретными службами какой-то из зон. Иначе как было добраться Оттуда Сюда? У кого на службе состоял Эрхан — у исламистов ли, коммунистов ли, демократов ли, — какое это имело значение в соотнесении с доброй вестью, которую он принес?

Оказалось, что и жена, и дети смогли выжить в те роковые, страшные дни. Какой еще большей радости было ждать в такую злосчастную пору?

Эрхан передал ему адреса, номера телефонов всех троих. Мелика озадачило то, что семья его жила по разным адресам, врозь. Эрхан грустно улыбнулся:

— Не только по разным адресам — по разным зонам…

В старые добрые времена он работал при Мелике, под его началом, наверняка, Мелик сделал своему бывшему подопечному немало хорошего и благого, следуя завету: “Отпусти пойманную рыбу в море, рыба не поймет, Бог поймет”. Он не обременял память перечнем своих благодеяний. Но сейчас, столкнувшись с редким человеческим качеством — благодарной памятливостью, он был приятно удивлен. Вполне вероятно, что Эрхан прибыл в Стамбул с определенным заданием, но Мелика, по его словам, разыскал по собственной инициативе, чтоб сообщить добрую весть. “Узнают, что я встретился с вами, шкуру с меня сдерут”, — сказал он. Кого он имел в виду? Клерикалов? Коммунистов? Демократов? Мелик не спрашивал. Во-первых, Эрхан не стал бы отчитываться. Во-вторых, Мелик потерял всякий интерес к таким материям. После всех потрясений и катаклизмов не осталось ничего, что бы связывало его с суетным миром. Он знал о своем недуге. Знал и о том, что ему осталось жить считанные дни. Одно только желание, одна мечта была у него — хоть на закате дней свидеться с семьей.

Эрхан словно прочел его мысли.

— Хотели бы встретиться с женой, детьми?

“Уж не волшебник ли он?” — Мелик ушам своим не поверил. Возможно ли это?

Эрхан сказал, как бы отвечая на его сомнения:

— Нет ничего невозможного на свете. Я договорился: вас командируют от одной из турецких газет якобы для подготовки корреспонденции обо всех трех зонах.

— Но ведь ни одного турецкого журналиста туда не впустили. — Он сказал: “туда”. Язык не повернулся произнести: “Баку”, “зона”. Теперь родина для него была “там”.

— Верно. И не только турецкого. Вы будете первым журналистом, которому удастся увидеть все три зоны. До сих пор в любую из них редко кому удавалось заглянуть из пишущей братии.

Мелик не сдержал любопытства:

— Но как тебе удалось этого добиться?

— Если кому-нибудь скажете, что это устроил я, ни вы, ни кто другой меня больше не увидит.

— Я буду хранить молчание. Но мне-то ты можешь сказать.

— Не обессудьте. Надеюсь, придет время, когда это перестанет быть тайной. А пока вам нужно получить визы, заполнить анкеты. Вам выдадут документ, позволяющий посетить все три зоны.

— Зачем мне три зоны, — наконец ему пришлось произнести это ненавистное слово. — Мне бы только свидеться с семьей.

Эрхан вновь горько усмехнулся:

— Дело в том, что члены вашей семьи живут в разных зонах, а им переезд из одной в другую запрещен.

Он выполнил все формальности, получил нужные документы, где значилось, что имярек командируется в Бехишти — Бади-Кубе, в Бакинскую коммуну и в Baku-Siti. Мелик понимал, что этим шансом обязан конспиративным хлопотам бывшего коллеги. Но не

знал, что потребует Эрхан взамен. Он уже давно утратил веру в бескорыстное добро и в человеческую благодарность.

Как бы то ни было, он получил весточку о семье и был готов отправиться в эту поездку, пусть даже сопряженную со смертельным риском.

Из-за блокадных условий из Турции за границу разрешалось отбывать единственным авиарейсом в Женеву, оттуда — продолжить странствие на самолетах “Панамерикан”.

Эрхан уведомил его, что на все три зоны имеется один аэропорт — Vekode.

— А что это означает?

— Аббревиатура от трех слов — Вера, Коммуна, Демократия.

Мелик улыбнулся — впервые за последние годы. Эрхан продолжал:

— Вам придется пройти через три контрольно-пропускных пункта и три таможни. Постарайтесь взять поменьше вещей. И с учетом особенностей каждой зоны, чтобы на таможне не изъяли. Да, вот еще что… — Эрхан извлек из кармана пачку долларов. — Возьмите. Вам на каждом шагу понадобятся.

— У меня есть деньги, — замялся Мелик.

— На те деньги вы даже из аэропорта не выберетесь. Как знаете. Но если не возьмете — и ехать не стоит.

Мелик сдался:

— Я не знаю, как отблагодарить тебя.

— Это я на всю жизнь обязан вам, — возразил Эрхан. — Вы спасли моего ребенка…

Только сейчас Мелик вспомнил, что еще в той жизни, на той родине у Эрхана родилась двойня и оба мальчика через месяц погибли из-за сердечной недостаточности. Родился третий — с тем же пороком сердца. И Мелик, пользуясь своей профессиональной популярностью, поднял на ноги лучших кардиологов. Мальчик был спасен. Не зная о дальнейшей участи сына Эрхана, осторожно спросил:

— Как твой сын?

— Как огурчик! Благодаря вам…

Мелик еще раз поблагодарил и, кладя деньги в карман, добавил:

— За мной должок. Верну при первой возможности.

— Нет, это я в долгу перед вами. Помните, я тогда еще работал в типографии помощником метранпажа, а вы были простым репортером. Задерживали — в который раз — зарплату, а у меня ни копейки, даже хлеба не на что было купить. Узнав об этом, вы достали из кармана пару рублей: “Вот все, что имею”, — и протянули мне рубль — половину.

— Ну, знаешь ли, это мелочь… по сравнению…

— Дело не в сумме… — перебил Эрхан.— Вы поделились последним.

На прощание Эрхан напутствовал:

— Что бы там ни увидели, не отчаивайтесь...

Через три часа после вылета из Женевы в Баку стюардесса объявила на трех языках — английском, русском и фарси, что самолет идет на посадку, просьба пристегнуть предохранительные ремни.

Мелик созерцал сквозь иллюминатор землю. С заоблачной высоты ему предстал родной город, который вот уже столько лет ему только снился. Одна часть города была погружена во тьму; другая сверкала многоцветной иллюминацией. Стюардесса, обходя ряды, раздавала пассажиркам чадры. Дамы, сидевшие с открытыми лицами, иные даже в мини-юбках и декольтированных платьях, принялись укутываться в чадру. Стюардессы придирчиво следили, чтобы ни один волос не выбивался из-под покрывала. Мелик предвидел такое, зная, что первый пограничный пункт на пути — Бехишти — Бади-Кубе, потому и требовалось соблюдать закон о хиджабе. Но когда бородатый стюард, подойдя к нему, предложил снять галстук, он не смог скрыть недоумения:

— Кому какой вред от моего галстука?

— Ага изволит говорить верно, но таков порядок, — сокрушенно покачал головой бородатый бортпроводник.

Мелик заметил, что и другие пассажиры развязывают галстуки и сдают стюарду, а тот прикалывает к ним номера билетов, заверяя, что на обратном пути этот галантерейный атрибут будет возвращен.

Сойдя с трапа, он подошел к пограничному пункту под вывеской арабской вязью: “Бехишти — Бади-Кубе” и зеленым флагом с полумесяцем.

На проверку документов ушло немало времени. Пограничники долго сверяли соответствие паспортных снимков лицам предъявителей, иногда отлучаясь куда-то с целью консультаций, вновь возвращаясь и впиваясь глазами в документы. Некоторых пассажиров отозвали в сторону и куда-то увели.

У Мелика заколотилось сердце: а что как выищут какую-то закавыку и все пойдет прахом, рухнет мечта, которой жил долгие годы.

— Ага, ваши документы! — Голос пограничника прервал его мысли. Он протянул паспорт и выданную ему бумагу. Пограничник после долгого разглядывания и изучения проставил печать и вернул.

“Слава Аллаху”, — вздохнул с облегчением Мелик и перешел через границу. Досмотр на таможне занял еще больше времени. Ему пришлось ждать очереди целых два часа. Бородатый таможенник велел открыть сумку, переворошил, перебрал содержимое — три сорочки, нижнее белье, домашнюю одежду, электробритву, блок сигарет, пару кассет… наконец выудил галстук:

— А разве в самолете не отобрали галстук?

— Отобрали.

— Тогда что это такое? — таможенник крутанул галстук в воздухе.

— А это… это второй… — замялся Мелик. Похоже, его деморализовала спесь пограничных служак, он почему-то ощущал себя виноватым.

Таможенник не унимался:

— Тебе мало одного ошейника шайтана? Хочешь подарить кому-то? Или продать?

— Астахфуруллах!1 — выдавил из себя Мелик. — Кому я могу продать старый галстук.

1 Астахфуруллах (арабск.) — “упаси Аллах”.

Таможенник, не слушая его, бросил галстук в ящик с конфискованными вещами. С этим галстуком у Мелика были связаны воспоминания, он не хотел его терять. Вспомнил “рекомендации” Эрхана. Конечно, это был рискованный шаг, но в нем взыграло упрямство; оглянувшись, он извлек из кармана пятидесятидолларовую купюру и протянул служаке.

— Этот галстук — память о моем покойном брате.

Таможенник проворно сгреб купюру в лапу.

— Тогда другое дело. Если память о покойном брате, то какие тут могут быть разговоры. — Извлек конфискованный галстук из ящика и вернул Мелику. Его быстрые манипуляции с изъятием и возвращением говорили о сноровке.

Мелик, пройдя первые погранично-таможенные барьеры, достиг второго пункта с серпастым-молоткастым красным флагом и надписью кириллицей на азербайджанском и русском языках: “Бакы коммунасы”. “Бакинская коммуна”. На стене большущий портрет персоны внушительного вида в темных очках. Над портретом было начертано изречение: “Победа коммунизма неизбежна, ибо несомненна. Марат”.

А надпись под портретом призывала: “Под мудрым руководством верховного комиссара товарища Марата вперед, к полной победе коммунизма во всем мире!” Стоя в очереди у КПП на границе, Мелик вспомнил слова Эрхана о том, что никто не видел глаз товарища Марата Гарагёзова; по слухам, глаза у него косые, потому и не снимает темных очков.

Наконец очередь дошла до Мелика.

— Заполните анкету нашим алфавитом, — сказал пограничник, мельком бросив взгляд на его документы.

Он переписал все кириллицей, но вновь застрял при таможенном досмотре.

Таможенник, повертев в руках кассеты, спросил:

— Что это?

— Песни азербайджанских композиторов. В Турции они выпущены под названием: “Азери шаргилери”.

— В Турции? — насторожился таможенник. — Ввозить пантюркистские кассеты запрещается.

“Была не была”, — подумал Мелик и протянул чинуше полусотенную купюру.

— Это же песни советских композиторов, живших в прошлом веке.

Таможенник знакомым проворным движением сгреб купюру.

— Ах, советских? Тогда можно. — Затем он взялся за магнитофон. — А это что такое?

— Магнитофон.

Таможенник нажал на клавиши. Зазвучало радио.

— Это же радио!

— Аппарат комбинирован. И проигрыватель, и радиоприемник.

— У нас запрещено слушать чужое радио.

Мелику пришлось разориться еще на полсотни долларов. Теперь он делал это более уверенно.

Третий погранпункт. Здесь реял голубой флаг.

“Три границы — три флага, — с горечью подумал он. — Зеленый, красный, голубой. Будь эти три цвета вместе — составили бы триколор бывшего Азербайджана…”

Пограничник, пробежав глазами документы, велел ему оттиснуть большой палец на дискете. Затем вставил дискетку в компьютер, нажал на клавиши, глянул на дисплей: “Можете пройти”.

И здесь таможенник осмотрел все вещи.

— Наркотики?

— Нет, голубчик, не балуюсь.

Таможенник взял в руку блок турецких сигарет.

— Что это?

— Сигареты. Турецкие.

— К нам ввоз любых сигарет, кроме американских, запрещен. Подлежит изъятию. — Потом почему-то добавил: — Никогда не пробовал турецких сигарет.

— Я к ним привык. Можем поделиться — пополам.

— О’кей, — согласился таможенник и, распечатав блок, взял себе шесть пачек из десяти.

Едва пройдя таможенный контроль, Мелик увидел броские рекламы. Стюардесса, с картинной улыбкой раздающая кока-колу пассажирам, отвечающим столь же картинной улыбкой. Надпись латиницей: “Отправляясь в путь-дорогу, кока-колу пей помногу!”

Выходя из здания аэропорта, Мелик глянул на часы: полтретьего ночи. А самолет совершил посадку в полчетвертого пополудни. Одиннадцать часов их мурыжили здесь! Три часа полета от Женевы — и столько времени на пограничную волокиту!

Подошел к машине на стоянке, потянул ручку дверцы — заперта. Подкатило такси из задних рядов, таксист распахнул дверцу. Он сел на заднее сиденье, тут кто-то открыл переднюю дверцу: бородатый молодой человек обратился к нему: “Ага, ваш покорный слуга тоже в город, если вы не против, будем попутчиками”. — “Пожалуйста”, — отозвался Мелик. Такси покатило по автостраде, обнесенной колючей проволокой, освещенной яркими фонарями с одной стороны, с другой — дорогу обступала темень. Мелик обратил внимание на дохлых собак, валявшихся вдоль ограды на обочине.

— Откуда столько собачьих трупов?

— Глупые твари, — отозвался шофер. — Нарываются на проволоку, а по ней ток пропущен.

— Зачем же ток понадобился?

— Кяфиры надумали, — объяснил бородатый попутчик. — Боятся, что люди с той стороны к нам перебегут…

— Псы эти бродячие были, голодные. Всех сгребут и сожгут, — сказал таксист.

Мелик всматривался в окрестности, но не находил знакомых примет. За колючей проволокой — вспаханная нейтральная полоса. Дальше, по правую сторону — светящиеся разноцветные рекламы латиницей, очевидно, это была территория Baku-Siti. Слева — тьма-тьмущая.

— Это Бади-Кубе?

— Нет, ага, — отозвался бородатый парень. — И по эту сторону — логово кяфиров. По-иному — Бакинская коммуна. Наш Бехишти — Бади-Кубе дальше.

Мелик вдруг узнал Сураханскую дорогу.

— Сураханская дорога, не так ли?

— Да, ага. Это район “Сура-хане”.

— Здесь прошло мое детство, — вздохнул Мелик. — Наш дом стоял недалеко от Атешгяха.

— Где-где? — переспросил шофер.

— Был такой храм огнепоклонников, — пояснил бородач.

— Был? — удивился Мелик. — А теперь?

— Снесли. Кому нужно капище нечестивых в мусульманском государстве?

Такси затормозило перед шлагбаумом. Подошел полицейский и, просмотрев документы всех троих, откозырял. “Хейри шеб”1.

1 Доброй ночи (фарс.).

— Добро пожаловать в Бехишти — Бади-Кубе, — сказал бородатый парень.

Они настигли большой обоз; за громыхавшими арбами тянулись толпы людей.

— Кто эти люди, куда они тащатся на ночь глядя?

— К Янар-дагу, — ответил шофер.

Мелик заметил по отражению в переднем зеркальце, как бородач укоризненно покосился на шофера.

— Нет, ага, наш братец-шофер ошибается. Эти люди идут к Нардаранскому святилищу. Они двинулись в путь ночью, чтобы успеть туда к утреннему намазу.

Мелик помнил: отсюда до Нардарана изрядное расстояние.

— Столько пути — пешком?

— Ага знает, что пешее паломничество более богоугодно.

Свет фар выхватывал из тьмы ночное шествие; Мелик обратил внимание на большие казаны, погруженные в арбы.

— Подъезжай к гостинице “Иршад”, — сказал бородач шоферу.

Мелик был человеком, умудренным опытом. С первых минут он почувствовал, что бородатый подсел в такси неспроста, наверное, подослали для слежки. Но, видно, соглядатай был неискушенный, так скоро выдал себя; иначе он не стал бы и заикаться об отеле “Иршад”.

— Как вы догадались, что мне надо именно в “Иршад”?

— У нас же всего один отель, — шофер опередил ответ бородача.

Тот вновь смерил таксиста укоризненным взглядом.

— Нет, есть и другие места. Но я подумал, что столь благородному господину пристало останавливаться именно в “Иршаде”. Или я ошибаюсь?

— Нет, вы правы. Мне там забронирован номер. Я забыл представиться — Мелик Мамедли, журналист, — добавил он. “Пусть считает, что я не догадываюсь, какого поля он ягода”.

— Очень рад познакомиться с таким именитым гостем, — отозвался бородатый попутчик. — Меня зовут Имамгулу Бехбехани.

Такси уже катило по полутемным улицам города. Лучи фар выхватили полуобгоревшее, полуразрушенное здание. Мелик похолодел, узнав: “Исмаилийе” — здесь находилась Академия наук… Торчали одни стены. Пустые глазницы окон с обуглившимися рамами напоминали скелет.

— Кто погубил это здание?

— Кяфиры учинили… во время известных смут… — ответил бородач.

— Постойте, постойте… Здесь же рядом было еще одно здание… Хранилище рукописей…

— К великому сожалению, и оно, и многие дома на этой улице сгорели.

— Сгорели? И рукописи тоже?

— Увы, ага. Если горит дом, разве уцелеют рукописи?!

Мелик схватился за голову.

— О, Аллах… Ведь в этих письменах была вся наша память, история…

— Ага, я понимаю ваше смятение. Но что поделаешь? Таков был роковой жребий. А нынче… уже издано множество новых книг. На днях вышло собрание сочинений Ахмеда Кесреви. — Бородач, словно вспомнив о чем-то, спросил: — Кстати… вы узнаете этот проспект?

— Полагаю, да. Некогда Николаевская улица, позднее — Коммунистическая, а затем — “Истиглалият”1.

Имамгулу удовлетворенно ухмыльнулся:

— А теперь это улица Ахмеда Кесреви2. В честь ученого мужа, выявившего наше истинное происхождение.

1 Независимость.

2 Ахмед Кесреви — ученый-иранофил.

Такси ехало по многажды переименованной многострадальной улице, окруженной разрушенными, обгоревшими домами. Мелик вспоминал, что сюда выходил прекрасный сад, теперь на месте вековых деревьев чернел пустырь; только по уцелевшей филармонии он узнал этот некогда заветный живописный уголок. Здание филармонии сохранилось. Но соответствует ли теперь своему назначению?

— Что здесь находится? — спросил он.

— Пятничная мечеть, — в один голос ответили таксист с бородачом. Имамгулу добавил: — Самая большая мечеть в городе. По утрам вы сможете услышать азан с ее минаретов. И до гостиницы “Иршад” отсюда рукой подать.

Доехали до отеля. Когда Мелик, достав доллары, хотел расплатиться с таксистом, Имамгулу воспротивился: “Ага, он не возьмет у вас этих шайтановых денег. Не беспокойтесь, я уже уплатил”.

Администратор гостиницы седобородый сонный мужчина, взял у гостя паспорт, протянул бланк с графами на арабском. Мелик принялся было заполнять, но его остановил голос Имамгулу:

— Ага, писать на алфавите нечестивых — грех.

— Я умею читать на араб… а вот писать не горазд…

— Не беспокойтесь, я заполню.

Мелик, диктуя незваному помощнику данные о себе, чувствовал, что Имамгулу все эти сведения известны не меньше, чем ему самому.

Наконец с формальностями было покончено. Администратор протянул ключ.

Имамгулу проводил Мелика до дверей, зашел в номер, окинул взглядом.

— Шам хейир, — сказал он. — Милостью Аллаха вновь увидимся.

Было четверть четвертого. По-местному, четверть шестого. “Местное время, — с горечью подумал он. — Время родного города называю "местным временем". Конечно, в такую рань звонить жене негоже”.

— Ого! — Он окинул взглядом номер. — Да тут и телефона нет!

Решил позвонить попозже снизу. Лег в постель и после всех впечатлений дня, кажущихся галлюцинацией и кошмаром, провалился в глубокий сон.

Имамгулу знал, что говорит: поздним утром они вновь встретились. Спускаясь на первый этаж, Мелик увидел вчерашнего знакомца, сидящего на диване. При виде Мелика тот поднялся.

— Доброе утро! Я, знаете ли, подумал, что вы, как бы то ни было, странник. Может, помощь какая понадобится. Так что я к вашим услугам.

— Спасибо. Разве что не мешало бы выпить чаю…

— Конечно, конечно.

Прошли в маленькую чайхану. Бородатый официант подал на стол завтрак с чаем. Имамгулу протянул газету:

— “Сиратуль-мюстагим”1.

— Потом, — отозвался Мелик. Показав на большой портрет на первой полосе, спросил: — Это Агайи Муштехид?2

1 В переводе с арабского “Правый путь”.

2 Муштехид — духовный наставник у мусульман.

— Да. Наш верховный муштехид Агайи Бади-Кубейи. Здесь опубликована его проповедь. Сегодня по телеканалу “Иман” также передадут. Это действительно просвещенный человек, ученый муж. Ему нет равных и в светских, и в религиозных науках.

Мелик, слушая речь Имамгулу, обильно уснащенную арабскими и фарсидскими словами, знакомыми из классической литературы, но полузабытыми, думал про себя: “Бедный наш язык! В каком же он состоянии оказался, если сей молодой сын отечества не может сказать пару фраз на беспримесном родном языке…” Он уже осознавал, что впредь все

время его пребывания в этом Бехиште Имамгулу от него не отвяжется и будет следовать за ним по пятам. От Имамгулу не скроется и его намерение свидеться с женой, может, он уже знает…

— Я должен позвонить…

— Извольте, ага, сообщить номер.

Мелик назвал четыре цифры телефонного номера жены, затем, чуть помедлив, последней заведомо назвал другую цифру. Хотел “прощупать” своего “опекуна”; знает ли он и этот номер?

— Позвоните. Хочу переговорить с Айпери-ханум.

— С кем? — заметно удивился Имамгулу.

— С Айпери-ханум. Это моя жена.

Слово “арвад” — “жена” — не сразу дошло до Имамгулу, привыкшего говорить на архаичном языке, напичканном арабизмами и фарсизмами. Мелик пояснил:

— То есть “оврет”. “Зовдже”, значит.

— А-а, конечно, разумеется.

Имамгулу отошел к администратору и долго о чем-то с ним толковал. Тот позвонил куда-то, потом передал трубку Имамгулу, который набрал записанный на бумажке номер. И вдруг насупил брови. “Наверно, последняя цифра сбила его с толку. Выдаст ли он себя?” — подумал Мелик.

Имамгулу устремился было к нему, но раздумал, помедлил, набрал последнюю цифру. Вопрос — какую? Названную Меликом — ложную или истинную, которую знали они оба? В таком случае он раскрыл бы свои карты. Выждав паузу, начал говорить. Что именно — Мелик не слышал. Отставив трубку, жестом поманил: “Извольте, ага”. Мелик подошел. “Махрух-ханум”, — сказал “опекун”, передавая ему трубку.

— Махрух-ханум? Кто она?

— Вы же сказали: ваша супруга.

Может быть, Мелик ошибается в своих подозрениях, Имамгулу, набрав именно записанный номер, просто из-за технической осечки попал к другому абоненту? Мелик хотел было уже повиниться, мол, последнюю цифру перепутал, но какое-то чувство побудило его взять трубку.

— Алло!

— Я слушаю вас.

Это была она, его Айпери! Годы состарили ее голос. Ведь столько воды утекло! Глухой, поблекший, печальный голос. Но ее голос. Мелик не смог бы перепутать этот голос ни с каким другим на свете.

— Здравствуй, Айпери. Это я.

— Простите, ага. Вы ошиблись номером.

— Как это — “ошиблись”? Да это же я, Мелик! Только три дня тому назад я узнал, что ты жива-здорова, мне передали твой адрес, телефон. Сейчас я здесь, в отеле “Иршад”. Куда мне прийти? Как нам увидеться?

В трубке — тишина. Мелику почудились сдавленные звуки, похожие на всхлипывание. Может, почудилось? После паузы донесся голос:

— Через час я буду в холле “Иршада”. — И сразу отбой.

Мелик подошел к Имамгулу.

— Спасибо, что помогли. Но почему вы назвали ее “Махрух”?

— Сама так представилась: Махрух-ханум.

Имамгулу не обмолвился о последней цифре, Мелик тоже держался как ни в чем не бывало. И без того все было ясно.

Он сел в вестибюле лицом ко входу, закурил и стал ждать. “Опекун” примостился поодаль и делал вид, что занят чтением “Сиратуль-мюстагим”. Изредка, уставясь на телеэкран, он внимал проповедям канала “Иман”.

— А что, здесь телевидение только проповеди передает? — поинтересовался Мелик.

— Нет, почему же. И новости сообщает, молитвы, передачи по истории религии… Транслирует из мечети намаз…

— А, скажем, представления, стихи, музыку?

— В день Ашура1 передают “шахсей-вахсей”, поют “марсия”, “новхе”…

1 Ашура — день поминовения убиенных имамов; далее перечисляются траурные плачи, песнопения.

— Танцы, светские песни, мугам?

— Астахфуруллах, ага! Все это — деяния шайтана.

“И мугам?” — хотел было спросить Мелик, когда увидел входящую в вестибюль женщину, закутавшуюся в черную чадру с головы до пят. Одни глаза были видны. Когда-то лучистые, яркие глаза — теперь они выглядели потухшими, усталыми и печальными. Но это были ее глаза!

Вскочил с места, кинулся навстречу жене, о которой столько лет не знал ничего. Женщина отпрянула, будто ей привиделся призрак, остановилась на расстоянии. Осекся и Мелик. Замедлив шаг, он приближался к ней с распростертыми руками. Но, видя, что она вновь, съежившись, попятилась, застыл на расстоянии вытянутой руки.

Он чувствовал, что “опекун”, навострив уши, следит за каждым их жестом.

Она:

— Простите, но я не могу подать руки чужому мужчине.

— Чужому? Да это же я, Айпери, я — Мелик, твой муж!

— Меня зовут Махрух.

— …Ну… пусть Махрух. Во всяком случае, ты моя законная жена.

— Нет, — сказала женщина. — Мы не заключили брак по шариату…

Мелик был ошарашен.

— Но тогда как быть с нашими детьми? У нас ведь сын, дочь. Разве ты не мать их?

Она потупилась:

— Это был мой грех. Я тысячу раз каялась, чтобы всемилосердный Аллах простил грехи мои.

Имамгулу, не выдержав, вмешался в разговор:

— Аллах милосерден! И простит вас.

— О каком грехе вы говорите? — обомлел Мелик. — Разве это грех — стать матерью?

— Без заключения брака по шариату — да… Это прелюбодеяние, да простит мне Аллах, — промолвила Махрух.

— Считается незаконным, — подтвердил Имамгулу.

— Ладно… присаживайся… э-э… присаживайтесь.

Женщина села в кресло напротив, поодаль от мужчин.

Мелик не находил слов. И она хранила молчание. Воцарилась тягостная тишина.

— Скажи-ка, — нарушил молчание Мелик, — у тебя нет связей и с детьми? С Бурлой, с Бейреком?

— Они не дети мне. Они отступники на услужении у кяфиров…

— Вот оно как, — только и выдавил из себя Мелик.

Махрух (теперь она действительно была Махрух, вовек неведомая, а не Айпери, с которой он долгие годы клал голову на общую подушку) сказала:

— Если у господина нет ко мне больше вопросов, позвольте покинуть вас.

Мелика обожгла мысль: вот сейчас, сию минуту он вновь потеряет свою жену, на этот раз навсегда.

— Погоди… не спеши… Расскажите хоть, как ты.. как вы…

— Спасибо, живем — не жалуемся, милостью Аллаха ни в чем не нуждаемся.

— А где ты… вы работаете?

— Преподаю в медресе. Веду уроки каллиграфии.

— Но ведь ты… вы были художницей.

— То была ошибка молодости. Изображать человека возбраняется. Всевышний да простит мне и этот грех.

— Значит, преподаешь каллиграфию? — бессмысленно повторил Мелик, не зная, о чем говорить.

— Да, ага. Учу переписывать Коран по графике “насх”, “насталих”, “куфи”.

— А на каком языке?

— Конечно, на азербайджанском, — опередил ее с ответом Имамгулу.

— И на зебани — фарси1. Есть у нас и данешгях2.

— Почему бы тебе не преподавать в унив… в данешгяхе?

— Там преподавание ведется на фарси, — сказала Махрух.

— Но студенты знают и свой родной язык, — поспешил вставить реплику “опекун”. — Чем больше языков знаешь — тем больше пользы. Не так ли, ага?

— Разумеется.

— Да, кстати, поздравляю с праздником Навруз, — сказал Мелик.

— Навруз? — смешалась она.

— День восшествия на престол святого Али, — вмешался в разговор Имамгулу.

— Спасибо, — бесстрастным тоном сказала Махрух.

Сквозь стекла вестибюля Мелик увидел толпу паломников вроде тех, которых они обогнали ночью.

— На Нардаранское святилище держат путь?

— Да. А может, в Бузовны, к Али-аягы3.

Махрух вновь попыталась окончить тягостную встречу. Мелик решился:

— Агайи4 Бехбехани! — сказал он. — Эта женщина тридцать лет была моей законной женой, как бы вы ни считали. Мы официально сочетались браком по законам тех времен. Так что позвольте нам минут пять поговорить с глазу на глаз. Может быть, у нас есть что сказать друг другу. Не возражаете?

1 Зебани (фарс.) — язык.

2 Данешгях (фарс.) — университет.

3 Место в прибрежных скалах, где запечатлен след человеческой ступни, по поверью, оставленный святым Али.

4 Агайи — господин.

— Нет, разумеется. — “Опекун” отошел и сел на почтительном расстоянии, однако не спускал с них глаз.

Потоку людей за окнами не было конца.

— Зачем им таскать с собой столько посуды, котлов? — спросил Мелик.

Махрух проследила за его взглядом.

— Ни на какое святилище не идут они. На Янар-даг идут.

— На Янар-даг?

— Да, — отозвалась она, не глядя на него. — В домах нет ни газа, ни дров, и деревья все вырубили. Тащатся на Янар-даг, чтоб там на природных огнях сварить себе еду, —тихо проговорила она и, повысив голос, произнесла другим тоном: — Да, ага, они направляются на святилище. Наши люди очень набожны.

Мелик понял что к чему.

Махрух, повернувшись к улице и делая вид, что наблюдает за толпой, прошептала:

— Что бы ты ни слышал здесь — не верь. И моим словам — тоже. — И снова вошла в роль: — Мои питомцы занимаются с таким рвением, что до окончания медресе успевают по семь раз переписать Коран.

Мелик тихо сказал:

— Я вызволю тебя отсюда.

— Это невозможно, — безнадежно отозвалась она, повернув лицо к нему. И, спохватившись, продолжала: — Это совершенно невозможно! Мы не можем общаться со слугами шайтана. Будь это даже собственный сын или дочь!

Говорить было больше не о чем. Она поднялась.

— Ага, весьма признательна вам. — И, прикрыв пол-лица платком-яшмаком, чтобы скрыть движение губ, тихо произнесла: — Я считала тебя умершим. И ты впредь считай меня покойницей… — Глаза ее наполнились слезами.

Имамгулу, увидев, что она встала, подошел. Наверно, от его внимания не ускользнула слезинка, скатившаяся из глаз. Он отвел взор. Быть может, в отчете, который ему предстояло написать, он не станет отмечать эту слезинку. Ведь и он когда-то был человеком.

— Оставайтесь с миром, ага. — К Имамгулу: — И вам всего доброго, ага. — Повернулась. Побрела к выходу. Мелику показалось, что плечи ее вздрагивают.

Вот она вышла из отеля, ускорила шаги, уходя все дальше и дальше. Мелик провожал ее взглядом, пока она не превратилась в черную тень.

Он поднялся.

— Агайи Бехбехани, я сегодня должен уехать. Поручите подготовить мне счет.

— Что за спешка, ага? Побыли бы еще пару дней, посмотрели бы достопримечательности…

— Что увидел — то увидел, — сказал Мелик и, опасаясь быть превратно истолкованным, добавил: — благодарение Аллаху.

— Как вам угодно, ага.

Мелик поднялся в номер; собирая вещи, не нашел кассеты… Кто мог их взять? Имамгулу все это время находился с ним. Магнитофон был на месте. Кому же понадобились кассеты? Вдруг на ум пришла странная догадка: может быть, кассеты взял служитель отеля, чтобы слушать их тайком…

Спустился в фойе, взял счет, оплатил долларами. Сдачу администратор вернул в туменах.

— Зачем мне они?

— Понадобятся, — сказал Имамгулу. — Мелочь, можете подать нищему.

— Разве здесь водятся нищие? — спросил Мелик не без мстительной иронии.

— Конечно же нет, — всполошился Имамгулу. — Понадобятся, когда перейдете в зону красных. Говорят, там нищих пруд пруди.

— Разве там “ходят” ваши деньги?

Имамгулу попал впросак. Слово не воробей… Мелику стало его жаль. В конце концов, в чем провинился этот служака, чтоб загонять его в угол.

— Ну ладно. Оставайтесь с миром.

Имамгулу сказал с предельной учтивостью:

— Ага, я сам выпровожу вас.

Сперва фраза резанула слух. Но тут же Мелик вспомнил, что в наречии, которым теперь здесь пользуются, знакомые слова обретают подчас совершенно другой оттенок и “выпровожу” означает просто “провожу через границу”.

Выйдя из отеля, они прошагали по улицам бывшей цитадели — Ичери-шехер, которую сровняли с землей. Остались одни крепостные ворота, представлявшие странное зрелище без зубчатых стен с бойницами.

— Везде ли снесли крепостные стены?

— Да, ага. Из этих камней возведена новая стена — между Бади-Кубе и кяфирами.

— А Девичья башня? — опасливо спросил Мелик. — Ее… тоже?..

— Башня осталась на стороне кяфиров. Говорят, там сейчас склад лесоматериалов.

Новая пограничная стена прошла чуть поодаль от крепостных ворот. Пограничный пропускной пункт представлял собой узкую дверь в стене.

По одну сторону реял зеленый флаг с полумесяцем, по другую — серпастый-молоткастый кумач.

— Да откроются перед вами пути милостью Аллаха, — напутствовал его на прощание Имамгулу.

Пройдя через границу, Мелик оглянулся. Имамгулу все еще смотрел ему вслед. Мелику показалось, что в глазах “опекуна” сквозила печаль.

II

Первое здание, представшее ему, показалось знакомым. Ну конечно же это было здание Музея имени Низами. Но оно совершенно преобразилось. Сводчатые, в восточном стиле, двери и окна были переделаны в прямоугольные и забраны решетками; исчез орнамент из глазури.

Осмотрел фасад: лоджии, когда-то украшенные цветной глазурью, превратились в квадратные обесцвеченные ниши. А главное, статуи классиков поэтов и писателей сменили скульптуры Энгельса, Ленина, Сталина… остальных троих из новой компании он не смог узнать.

А где же памятник Низами? Прежде он возвышался в сквере напротив. Оглянулся. Там вознесся монумент, вымахавший выше гянджинского мудреца. Белый мрамор. Очки — из черного лабрадора. Марат! Конечно, это он. По обе стороны монумента застыл караул. Надпись кириллицей над парапетом: “Площадь Марата”. На торце бывшего музея дощечка: “Улица Марата Гарагёзова”.

Учреждение, адрес которого сообщил ему Эрхан, находилось на этой улице, в этом же здании. Это был Верховный комиссариат Бакинской коммуны.

Здесь-то ему предстояло разыскать Бейрека. Он не успел сделать и нескольких шагов, как перед ним выросла девочка-подросток в отрепьях с малышом лет четырех на руках и, угадав в нем приезжего, но не зная, на каком языке обратиться, показала пальцем на ротик чумазого малыша, мол, голоден. Мелик полез в карман, нашарил тумены и подал попрошайке. Девочка взяла, но, разглядев, плюнула и отшвырнула. Мелик понял, что здесь эти деньги ничего не стоят, извлек из кармана долларовую бумажку. У нищенки глаза загорелись. Тут же, как из-под земли выросла целая орава малолетных нищих. Большинство были девочки в рваных обносках, с сопливыми карапузами на руках, видимо, братишками. И все точно так же тыкали пальцем им в рот: мол, есть хотят.

Он извлек из кармана две пятидолларовые и одну десятку — деньги схватили на лету. Те, которым не досталось, сцепились с другими. Мелких купюр у него не осталось, а орава нищих не хотела выпустить его из кольца. Тут раздался свисток милиционера. При виде блюстителя порядка всех как ветром сдуло. Отстала только маленькая хромоножка. Милиционер настиг ее, он полез ей за пазуху, вытащил десятидолларовую бумажку и дал пинка под зад.

Мелик вошел в парадную дверь комиссариата, увенчанную большим портретом главного комиссара. У двери — милиционеры.

— Мне нужен Бейрек Мамедли. Он служит здесь.

Милиционер указал на окошко сбоку: туда.

За окошком, в комнатке с портретом вождя в сером кителе, восседал мужчина в таком же сером кителе с красным значком на груди и в темных очках.

— Я бы хотел увидеть Бейрека Мамедли, — сказал Мелик. — Я его отец.

— Здесь такой человек нет, — отозвался очкарик на ломаном русском.

— Не может быть, — возразил Мелик. — Мамедли Бейрек. Инженер-электрик. Проверьте, пожалуйста.

Мужчина в сером кителе поднял телефонную трубку, куда-то позвонил, переговорил полушепотом, затем протянул анкету.

— Заполняйте. На азербайджанском и на русском.

Мелик заполнил и отдал.

— Документы!

Мелик предъявил. Мужчина в сером кителе долго изучал документы и сверял их с анкетными данными. Вернул анкету:

— Неправильно.

— Что именно?

— Дата. — Под анкетой Мелик проставил дату: 22 марта.

— Разве сегодня не двадцать второе марта?

— Не марта, а Марата.

— Марата?!

— Уже два года так называется этот месяц, а ты не знаешь?

Он заново заполнил анкету с учетом календарного новшества.

— Второй этаж, пятая комната. К товарищу Тельману Гараханову.

Мелик стал подниматься по лестнице, украшенной портретами вождя — Марат верхом на коне, Марат за фортепиано… Дойдя до пятой комнаты, открыл дверь, обшитую дерматином.

Секретарша в сером кителе с красным значком на груди выкатила строгие глаза.

— Вы к кому?

— К товарищу Гараханову. — Он протянул ей документы и анкету.

— Минутку, — она исчезла за дверью.

Мелик окинул взглядом приемную. Стены были увешаны портретами Марата в сером кителе и украшены надписями: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует славная Бакинская коммуна! Победа коммунизма во всем мире неизбежна! Марат”.

На маленьком столике — толстый фолиант, красная брошюра величиной с записную книжку и газета “Бакинская искра”. На обложке фолианта с портретом вождя вытиснено: “Славный жизненный путь товарища Марата”. Такой же портрет — на брошюре. Он взял брошюру, полистал. Это был цитатник Марата. “Мечты народа — мечты партии”, “Наше дело правое, ибо правда за нами”, “Будущее принадлежит не отдельным нациям, а пролетариату”.

Мелик взялся за газету. Стало быть, свежий номер. Тексты на азербайджанском и на русском. Над заголовками тот же призыв к пролетариям всех стран и пророчество Марата о полной победе коммунизма. На первой полосе под изображением вождя в темных очках: “Верховный комиссар Марат Гарагёзов — стойкий и мудрый коммунист, явления которого человечество ждало на протяжении тысячелетий”.

Секретарша вышла из недр кабинета: входите.

Он переступил порог. Гараханов восседал за просторным столом. При виде Мелика поднялся. Но, удивительно, стоя он казался ниже, чем в кресле. Поднявшись, он будто уменьшился. Тот же серый китель, те же темные очки. Подал руку, вялую и холодную, как мясной фарш. Несмотря на то что перед ним лежала анкета посетителя, счел нужным осведомиться:

— Кто вы? Откуда прибыли, каким образом и по какому поводу?

Услышав ответ, многозначительно произнес: “А-а, Турция-я… Понятно…”

Узнав о цели приезда, товарищ Гараханов реагировал скептически:

— Я не верю в объективность буржуазной прессы. Но, в моем понимании, ваша цель — увидеться с сыном.

— Да, не скрою. Насколько мне известно, он служит здесь. Бейрек Мамедли.

Гараханов усмехнулся:

— Вы, очевидно, имеете в виду Бориса Мамедова? Да, у нас есть сведения, что он на самом деле доводится вам сыном.

— Позвольте… но почему Борис? Его зовут… звали Бейреком…

— Он давно сменил имя. Кстати, а что означает “Бейрек”?

— Это один из героев дастана “Деде Горгуд”.

Гараханов напряг память.

— Деде Горгуд… Горгуд Деде… А-а, вспомнил. Это, кажется, запрещенная антинародная пантюркистская сказка.

Спорить было бессмысленно. Не время и не место.

— Могу ли я увидеть сына? — спросил Мелик.

— Конечно. — Гараханов поднял трубку: — Боря, зайди. Тут твой папаша объявился. Да нет, не с того света. Из Турции. Впрочем, это одно и то же…

У Мелика забилось сердце. Сейчас он увидит сына. Бейрека… ставшего Борей. Но все равно это его сын.

Взгляд его блуждал по кабинету, увешанному диаграммами, отображающими крутой подъем индустрии и образования, каноническими портретами вождя, и вдруг зацепился за четвертого в традиционном ряду Энгельса—Ленина—Сталина… Козлобородая персона напоминала мраморный монумент на фасаде бывшего Музея Низами.

— Кто это?

— Товарищ Шаумян, — торжественно возгласил Гараханов, — руководитель первой Бакинской коммуны.

— Но ведь это армянский… — начал было Мелик, но Гараханов резко перебил:

— Причем тут армянский! Товарищ Шаумян не армянин, а коммунист!

Мелик, чувствуя, что многим рискует, не мог сдержаться:

— Сколько азербайджанцев загубил этот коммунист-дашнак в восемнадцатом году… в марте… то бишь в месяце марат!

Гараханов придал себе свирепый вид:

— Он карал не азербайджанцев, а мусаватистов. Заклятых врагов азербайджанского, русского, армянского пролетариата! — У него аж пена выступила у рта. Выпив воды, он чуть убавил тон: — Оно конечно, вы — из Турции, ваше сознание отравлено буржуазной пропагандой. Да и наши отечественные националисты в свое время понавешали собак на Баккоммуну и на Шаумяна. Позор! Теперь мы восстановили историческую справедливость. Мы, коммунисты Бакинской коммуны, возглавляемой товарищем Маратом! Да, мы гордимся тем, что знамя диктатуры пролетариата в Закавказье вновь поднял бакинский рабочий класс! Баку всегда являлся… этим самым…

— Колыбелью, — машинально подсказал Мелик.

— Да, да. Колыбелью революции. Теперь, когда и в России к власти пришли коммунисты, весь мир узнал, что первыми на правый путь вступили мы.

— В России коммунисты пришли к власти путем демократических выборов, но сразу же разогнали Думу.

— И правильно сделали! Это сборище болтунов пролетариату не нужно. Скоро мы восстановим СССР, зачинщиком этого дела явится Бакинская коммуна…

У Мелика защемило сердце.

— А кого изображают эти статуи перед музеем?

— Музеем?

— Извините, я забыл… Раньше здесь помещался Музей имени Низами.

— Низами? Низами… Ах да. Вы о поэте феодальной эпохи.

— И он тоже у вас под запретом?

— Почему же. Мы просто не печатаем его книги. Пролетариату не нужны поэты феодализма. Кстати, вот, — он показал на фолиант с золотым тиснением, — вышла в свет новая биография товарища Марата. Советую прочесть.

— А кто автор?

— Такие книги не пишутся отдельными авторами. Группа пролетарских писателей, выражающих искренние чувства рабочего класса. Они не сочли нужным указать свои имена. — После паузы: — Вы спрашивали о скульптурах перед зданием Комиссариата? Это памятники величайшим коммунистам — Энгельсу, Ленину, Сталину, Шаумяну, Кирову, Орджоникидзе…

— Немец, русские, грузины, армянин… А разве не было коммунистов-азербайджанцев?

— О, несчастный человек, оболваненный буржуазно-националистическими предрассудками! — воскликнул товарищ Гараханов. — Причем тут национальность? У коммунистов нет национальности. Их национальность… пролетариат! Вот, послушайте, что говорит товарищ Марат. — Он встал, взял красный цитатник, зачитал

вслух: — “Будущее принадлежит не отдельным нациям, а пролетариату”. Понятно? Если для вас важна национальность, почему вы не заметили монумент товарища Марата? Ведь он, в вашем понимании, азербайджанец.

— Да, конечно, — сказал Мелик.

“Когда же появится сын?” Он не мог отделаться от ощущения, что в галерее портретов канонизированных лиц кого-то не хватает. Вдруг вспомнил: Маркса! Конечно же Карла Маркса.

— Почему среди этих великих нет товарища Маркса?

— Это сложный вопрос. Дело в том, что мы ценим Маркса как основоположника научного коммунизма. Но… он был евреем… А наши главные враги — мировой империализм и сионизм. Если мы воздвигнем памятник и Марксу, нас могут превратно понять…

В это время открылась дверь и вошел молодой человек в сером кителе, с красным значком на груди и в темных очках. Мелик уставился на него.

— Что, не узнали сына? — криво усмехнулся Гараханов. — Боря, сними очки.

Вошедший снял очки. Бейрек! Но какой у него холодный, отчужденный взгляд! Повинуясь безотчетному порыву, Мелик хотел кинуться, обнять, но сдержался: может, у коммунистов возбраняется проявление отцовских чувств? И потом… этот холодный взгляд. Протянул руку, Бейрек подал свою. Зазвонил черный телефон, Гараханов поднял трубку и вскочил с места.

— Слушаю, товарищ Марат. — Вытянувшись в струнку, он вновь показался ниже ростом. — Сию минуту… — Меня вызывает товарищ Марат. Боря, перейдите с гостем в твой кабинет.

Выходя из кабинета, Гараханов бросил на ходу:

— Просвети отца. Он очень заблуждается насчет исторических заслуг товарища Шаумяна. Похоже, подпал под влияние националистов и пантюркистов.

Вышли в коридор. Бейрек подозвал кого-то и, достав из кармана ассигнацию, сказал: “Вот сто рублей. Купи в буфете водку, селедку, пирожков или что найдется”.

Мелик не знал, с чего начать разговор.

— Сто рублей — это сколько долларов?

— Столько же и долларов, — ответил Бейрек.

— Водку — за сто долларов? Не дешево…

— Это по официальному курсу рубль сравнялся с долларом, — он усмехнулся. — А так — доллар тянет на наш стольник.

— А в таком раскладе за доллар тебе и водку, и закуску…

— Да это только в нашем буфете. В городе все гораздо дороже.

По коридору, увешанному теми же изобразительно-мобилизующими плакатами, дошли до лифта. В лифте Мелик снова увидел портреты вождя в сером кителе и темных очках.

Поднявшись, подошли к двери, обитой кожей, Бейрек отпер ее. Тот же антураж, те же девизы. Но в этой комнате было множество приборов и несколько телевизоров. Среди портретов и диаграмм Мелик с удивлением обратил внимание на изображение спящей девчурки лет шести. “Неужели дочь Бейрека? Моя внучка!” — подумал он.

— Кто это?

— Шедевр одного художника — сказал Бейрек. — Прочти название.

“Видит во сне товарища Марата”, — прочитал Мелик.

— А что ты сказал Гараханову насчет Шаумяна? — поинтересовался Бейрек.

— Да ничего такого. Сказал, что он был дашнак.

— Нашел о чем говорить. И кому? У Гараханова мать — армянка.

Помолчали. Чтобы нарушить тягостное молчание и растопить лед отчуждения, Мелик начал говорить о том, откуда и с какой целью приехал, но, похоже, это совершенно не интересовало Бейрека, то бишь Бориса.

— Я встретился в той зоне с твоей матерью. Ты поддерживаешь с ней связь?..

— Нет, — равнодушно отозвался Бейрек. — Слышал, в религию ударилась, святошей стала… — Пауза. — К тому, до чего мы дошли, и моллы руку приложили.

— Молла или не молла, но она твоя мать.

На лице у Бейрека появилась ироническая ухмылка.

— Мать, отец… Сантименты минувших веков. В этом мире у человека нет никого.

Мелика охватил ужас.

— Да разве можно так жить?!

— Как видишь, живу.

— А как с Бурлой? Она тоже для тебя — сантименты минувших веков?

— И с ней никакой связи. Пошла в танцовщицы. В Baku-Siti развлекает буржуев танцем живота.

— Танцем живота?! — обмер Мелик. — Кажется, я приехал сюда только чтобы испытывать потрясения…

Бейрек оставил его слова без ответа. Вновь воцарилось молчание.

— А как у тебя житье-бытье, достаток?

— У меня неплохо. Как и у большинства работающих в этом здании.

— А вне этого здания? Каково им?

— Разве сам не видел? Нищенки тебя не облепили?

— Видел. А много ли их?

— Больше половины населения, — сказал Бейрек. И добавил с иронией: — Пролетарские дети.

— Эти дети нигде не учатся, не работают?

— Ха, ха… Разве сыщется работа? А учиться… всего-навсего две школы. И там учатся дети работников комиссариата.

Мелик достал сигарету и закурил.

— Турецкие? Дай-ка попробую. — Бейрек, сделав затяжку, сказал: — Знаешь, с чего начинаются уроки во всех классах? Сперва провозглашают лозунги во славу товарища Марата. Потом начинают насылать проклятия.

— Проклятия?

— Да. Пусть, говорят, ослепнут враги товарища Марата и враги пролетариата, Бакинской коммуны, пусть отсохнут у них руки, пусть их хватит кондрашка, сразит чума, холера, СПИД!

— Помнится, была у нас в селе старушка. Вот так же проклинала.

— И о СПИДе она знала?

— Нет. Но кляла в этом же духе: пусть отсохнут руки, язык отнимется, нутро сгорит, пусть кровью изойдет, пусть заразится чесоткой, а ногти отвалятся.

— Вот это что-то новое! — неожиданно оживился Бейрек. — Впечатляет. Надо бы взять на заметку и рекомендовать наркомпросу.

— Почему ты носишь темные очки? С глазами плохо? Я обратил внимание: все в темных очках. И в серых кителях. Что за мания такая?

— Ходить в другой одежде не положено.

— Темные очки — тоже обязательно-принудительны?

— Нет. Это своего рода знак солидарности с товарищем Маратом. Выбор добровольный. Но все в этом здании решили, что так надо.

— Говорят, что товарищ Марат косоглаз, потому и носит темные очки. Но тебе-то зачем? Слава Аллаху, глаза у тебя, как у джейрана… — он нарочно сказал приятность, чтобы растопить холодок общения.

Но Бейрек не реагировал. И вдруг после паузы выпалил с неожиданной злостью:

— Никакого косоглазия у товарища Марата нет! Он просто столько людей угробил, что никому не может смотреть в глаза!

Мелик так и обмер. Обвел взглядом приборы:

— А ты не боишься так откровенничать? Могут ведь подслушивать.

— Чего мне бояться? Что они могут сделать? Здесь я единственный специалист. Они нуждаются во мне. Все сплошь недоучки, дорвались до руководящих постов.

Кто — бывший кулинар, кто — дворник. Самый грамотный Гараханов, да и тот лет тридцать сапожничал.

— А Марат?

— В былые времена слыл в городе известным парикмахером.

— А какой он национальности?

— Аллах его знает. Вроде как азербайджанец. Изредка говорит на азербайджанском, но лучше бы не говорил.

Мелик обратил внимание, что у Бейрека с родным языком все в порядке. В отличие от Гараханова, то и дело вставлявшего русские слова.

— Говорят, что у него есть и еврейская кровь, потому он такой ярый антисемит. Немногим оставшимся здесь евреям житья не дает. А вот этот фолиант видишь? — Он показал на уже знакомый том с золотым тиснением. — Это уже, чтоб не соврать, пятидесятое жизнеописание вождя. И каждый раз его биография обрастает новыми героическими фактами. Если учесть хронологию событий, можно подумать, что он прожил по меньшей мере сто лет. То пишут, что он был военным советником у Мао и Ким Ир Сена, то он, видишь ли, посвящал Фиделя Кастро в теорию коммунизма. То он

поднимал негров в Африке на борьбу против колониализма… Но на самом деле он все эти годы цирюльничал в Баку.

— И никто об этом не знает?

— Были знавшие. Всех сжили со свету, стерли в порошок… Всех своих старых клиентов велел разыскать. А если кто случайно уцелел, так они теперь делятся воспоминаниями о подпольной революционной деятельности товарища Марата. Так что некогда он стриг головы — теперь их сносит.

— Ты бы придержал язык, Бейрек. Мало ли “ушей”. Как бы не пришлось расплачиваться.

— Не тревожься. Моя работа здесь, знаешь, в чем заключается? Забивать зарубежные радиостанции и телевидение. Чтоб никто ничего не видел и не слушал. А в этой комнате я установил такую технику, что никто не может подслушивать, потому говорю что хочу. Конечно, если ты не вздумаешь настучать…

— Как тебе не стыдно? — взвился Мелик. — Я же твой отец!

— А знаешь, сколько сынов на отцов накапали, сколько папаш на отпрысков своих настучали в ПэПэ? — горько усмехнулся Бейрек.

— Что это за ПэПэ?

— Пролетарский Патруль. Тайный сыск Коммуны.

Дверь открылась и вошел служащий с бутылкой водки и парой пирожков. На этикетке красовался товарищ Марат.

— Ты не голоден? — Это была первая человечная фраза, сказанная сыном отцу.

— Нет. — Мелик наконец решился: — Почему ты разговариваешь так… холодно, Бейрек? Сколько лет не виделись, я тосковал по семье, так рвался увидеться… Знал бы, каких трудов мне стоило добраться сюда…

— Ну, добрался, увидел и — пришел в восторг?

— Не говори со мной таким тоном. Ну чем я провинился перед вами? Чем?

Бейрек, не ответив, достал из шкафа рюмку, стакан, откупорил бутылку, налил отцу в рюмку, а себе наполнил стакан. И… ни слова не говоря, осушил залпом. Даже не закусил, только тыльную сторону ладони понюхал. Мелику случалось видеть такое в далеких северных краях, так порой пили русские. Наконец Бейрек-Борис нарушил молчание:

— Спрашиваешь, в чем провинился? А где ты был все эти годы? Что ты знал о тех, кого называешь семьей? Отвалил в Турцию, жил себе преспокойненько, а теперь объявился, семью проведать решил… взываешь к чувствам, мол, отец, мать и прочее. Это ли, по-твоему, отцовство?

— Ты несправедлив, Бейрек. Сам знаешь, все пути-дороги закрыты, всякое сообщение прервано. Как я мог связаться с вами, если даже не мог узнать, живы ли вы?

— А когда умотал в Турцию, бросив нас на произвол судьбы?

— Опять передергиваешь. Я не бросал вас. Я уехал в командировку.

— И на сколько лет затянулась твоя командировка?

— Как я мог знать, что разразятся такие события! Как?!

— Нет уж, извини. Эти события начались еще при тебе. Ты был известным журналистом. И что — не видел, по какому руслу идут события? Не читал газет, не смотрел телевидение, не слушал радио? Тебе было невдомек, что все эти источающие злобу,

ненависть, ксенофобию писания и речи, все эти алчущие крови златоусты создают в обществе такой разрушительный потенциал, который чреват неизбежным взрывом? И взрыв произошел…

— Через пару недель после моего отъезда, — уточнил Мелик.

— Но ты мог предотвратить его, находясь здесь.

— Как же я мог?

— Ты был на виду, к тебе прислушивались. Ты мог бы призвать людей одуматься, остудить страсти, сказать: братья, сограждане, раздрай ведет к трагедии, не ополчайтесь друг против друга, не доводите дело до братоубийства…

— Наверно, ты забыл, Бейрек, я взывал, вразумлял, заклинал — не вняли. Мы писали — нас не читали. Говорили — нас не слышали. Злоба ослепила людей. От криков и воплей оглохли. Никого не слышали и слышать не хотели, кроме самих себя.

— Эх… — Бейрек осушил еще один стакан, закусив пирожком. — Ты знаешь, что творилось после твоего отъезда?

— Знаю. Столкновения в Баку, в районах, кровь, гражданская война… Подрыв нефтепровода Баку—Джейхан… Там писали: это дело рук АСАЛА или ПКК1.

1 АСАЛА — армянская террористическая организация, ПКК — Курдская рабочая партия.

— АСАЛА или ПКК, какая разница. Три дня спустя грянул взрыв на армянской АЭС… Теперь и территория Армении, и Карабах превратились в мертвую зону… по крайней мере лет на сотню… — Бейрек горько рассмеялся. — Так-то развязали карабахский узел.

— И этот теракт приписали Турции, — сказал Мелик. — Армянская диаспора подняла вой на весь мир: дескать, в двадцатом веке был первый геноцид и вот — второй. Турцию

отстранили от всех международных организаций, стиснули экономической блокадой, прервали сообщение. Между тем никто до сих пор не доказал ее причастности к теракту.

— И не смогут доказать, — сказал Бейрек. — Но какое это имеет значение? Миром правит ложь! Ложь и сила! Кто сильнее — тот и прав.

Мелик обратил внимание: хотя Бейрек и выпил изрядно, а нить разговора не терял, и речь оставалась вполне внятной. Разве что глаза чуть затуманились.

— А потом грянул Мингечаур…

Бейрек с трудом произнес это слово, то ли все-таки сказалось выпитое, то ли потому, что название города на Куре отныне для всех азербайджанцев стало знаком самой тяжелой трагедии, самой великой боли.

— Кто подорвал Мингечаурскую плотину? Доморощенные герострaты, сепаратисты, внешние враги? Или ракеты, сбившиеся с курса из-за компьютерной ошибки? Вот тайна, которая никогда не раскроется.

Мелик знал, что и взрыв на Армянской АЭС, и разрушение Мингечаурской плотины — величайшие трагедии, глобальные экологические и гуманитарные катастрофы не только двадцать первого века, а, быть может, всех времен. Все равнинные районы Азербайджана оказались затопленными водой. Часть населения убежала в горы.

— Как теперь с теми, кто успел спастись? — спросил Мелик.

— Хуже некуда. Полный беспредел. В каждом углу — свой атаман, свой башибузук, свой удельный князь, кого хочет — затопчет в грязь… Первобытно-общинный бардак…

— Ведь именно в ту пору Баку раскроили на три части.

— Да. ООН приняла резолюцию “с целью пресечения анархии”. Наспех сколотили три государства, раздали трем зарубежным странам по мандату. Ведь тут нефть. Разве упустят супердержавы такой лакомый кусок! Теперь в этих трех зонах якобы созданы три суверенных государства. Какой тут суверенитет — можешь представить. Товарищ Марат даже по нужде сходить испрашивает разрешения у зарубежных патронов.

Мелик чувствовал, сколько накипело на сердце у сына. Но что он мог поделать с той великой бедой, которой подвергся и его сын, и он сам, и его народ?

— Сын мой, — сказал он. — Ты бы хоть попытался вырваться отсюда.

— Это невозможно, — Бейрек, сам того не ведая, точь-в-точь повторил слова своей матери. — Отсюда и птице не вылететь. Ты не видел, какую стену возвели? В прошлом году один бедолага пытался взобраться, перемахнуть… пристрелили тут же. Никто даже имени его не узнал. Это не город, а концлагерь. Отсюда один путь — на кладбище … Вот такие дела, отец… — он впервые произнес это слово: “отец”. И вдруг машинальным движением выхватил нетронутую Меликом рюмку и выпил.

— Пока не поздно — уезжай. Ты счастливец, что у тебя еще есть такая возможность. А мы как-нибудь доживем свой век, пока карга с косой не смилуется над нами …

— Бейрек… слышать от тебя такое для меня пуще смерти.

— Громкие слова.

— Нет, это не громкие слова! Надо что-то предпринять. Действовать. Неужели не осталось здесь людей, желающих изменить это все, покончить с этим маразмом? Неужели все здесь смирились, опустили руки, отчаялись?

— Нет… почему же... Есть и те, кто не терял надежды.

— Где же они?

— На дне морском. А кому повезло — на острове Наргин.

— На Наргине?

— Да. Остров включили в состав территории Бакинской коммуны. Теперь там соорудили мощный концлагерь. Не будь у меня этой специальности, не будь у них нужды во мне — кормил бы сейчас рыбок или в лучшем случае сидел бы в лагере. Почему бы и не сидеть? Отец — в Турции, мать и сестра — во враждебных зонах…

Мелик закрыл лицо руками. Бейрек почти сочувственно произнес:

— Не бери в голову, отец. Что наши семейные невзгоды перед великими бедствиями… Я довольствуюсь тем, что имею. Обеспечен. Смотрю тайком зарубежные телеканалы. Смог сохранить кое-какие книги. Иногда перечитываю Джалила Мамедкулизаде, Сабира. Чаще Достоевского. Особенно “Бесы”. Он, дьявол, как в воду глядел, словно все предвидел. Конечно, я не жирую, как Марат, даже пусть как Гараханов, но все же…

— То есть они богачи? Что же тогда коммунисты разглагольствуют о равенстве, пролетарские вожди…

— Равенство, братство! — Бейрек расхохотался. Это был полупьяный хохот. — Да кто верит в эти слова? У Гараханова виллы во Франции, у Марата — на всех континентах. Куда до него всяким Ротшильдам и шейхам.

— Скажи-ка мне, — Мелик вспомнил один их фотопортретов вождя, — Марат играет на фортепиано?

Бейрек протер осоловелые глаза.

— Это еще что за новости?

— Я видел его фотопортрет за фортепиано…

— А-а… — Бейрек расхохотался. — Ну взбрело в голову, вот и снялся. А так, он и “Чижик-пыжик” не сможет сыграть. Ты видел и другой снимок — на коне?

— Да.

— Так вот, он отроду не ездил не то что на лошади, даже на ишаке. И статую его ты лицезрел? Какая махина, а? Исполин! А на самом деле он на голову ниже коротышки Гараханова.

Зазвонил телефон. Бейрек взял трубку.

— Да, хорошо. Я сейчас, — повернулся к Мелику: — Извини, Гараханов вызывает. Пойдем вместе, он завизирует твой пропуск. А то не выпустят.

Мелик с удивлением увидел на столе Гараханова тарелку с проросшим семенем.

— Вот, полюбуйся, — Гараханов показал на тарелку. — Меня вызывал товарищ Марат. Оказывается, сегодня какой-то байрам. Навруз, что ли. Так вот, ПэПэ сообщил, что на базаре некто продавал вот эту зелень — проросшие зерна — “сэмэни”, что ли. — Гараханов откусил кусок “сэмэни”, пожевал и выплюнул. — Фу, какая гадость, как такое можно есть? Зарубежное радио оповестило о времени наступления весеннего равноденствия — смены года, и это сообщение было услышано в нашей зоне. Товарищ Марат рассержен: куда, говорит, смотрит Борис? Немедленно, говорит, примите меры, позор! Причем в канун дня рождения товарища Марата — вождя мирового пролетариата! Так что, Борис, разберись! — Он повернулся к Мелику: — Дайте вашу бумажку, и снова обратился к Борису: — Ну как, просветил отца насчет Шаумяна?

— Разумеется, — ответил Борис. — Он дал слово перевести труды товарища Шаумяна на турецкий и издать там.

— Это хорошо, — расплылся в улыбке Гараханов. — Что с того, что Турция — враждебное государство. Мы и там должны разбудить пролетариат, вовлечь в мировое коммунистическое движение. Пусть будут готовы к борьбе до полной победы. — К

Мелику: — Папаша, вы там не забывайте, наши самые большие враги — империализм и пантюркизм.

— А сионизм? — не удержался Мелик.

— И сионизм.

— А панисламизм, буддизм, протестантизм, парламентаризм?

— Конечно, конечно…

На Мелика нашло какое-то дурашливое озорство, и он сыпал “измами”, памятными с советских времен:

— А сюрреализм, импрессионизм, модернизм?..

Физиономия Гараханова выражала мыслительные потуги; он не понимал смысла слов и терялся в догадках — представляют ли они опасность для пролетариата?

— Фрейдизм, феминизм, фетишизм?.. — продолжал Мелик.

Гараханов наконец облегченно вздохнул, приняв “фетишизм” за “фашизм”.

— Конечно, и фашизм — наш непримиримый враг. — И перевел взгляд на Бейрека: — Я вижу, ты основательно поработал с папашей. Ну хорошо. Не буду вас задерживать. До свидания.

Бейрек проводил отца до дверей.

— Иди вот по этой улице Гарагёзова, с площади сверни на улицу Верховного комиссара. Там — погранпункт и переход в Третью зону.

— Сынок, — сказал Мелик, — не пей много.

— Ладно, — устало ответил Бейрек.

Мелик не знал, что еще сказать. Перехватил взгляд сына, покосившегося на часы.

— Сними-ка на секунду очки. Хочу увидеть твои глаза…

— Боже, какие сантименты, — поморщился сын, но очки все-таки снял. — Пустой, отсутствующий, ничего не выражающий взгляд. Подал руку: — Прощай. — И вдруг спросил: — Как живут люди в Турции?

— Как люди, — ответил Мелик.

III

Пройдя через узкую дверь в стене, Мелик очутился в третьей зоне и сразу спросил, откуда можно позвонить. Показали телефон-автомат. Купил жетон, вошел в будку и набрал номер Бурлы. Погодя донеслось бодрое, даже кокетливое: “Хелло!”. Это была она, Бурла. Но голос звучал как-то иначе, заученно, что ли. Дальше последовала английская фраза. “Автоответчик”, — догадался Мелик. Он немножко знал английский. “Меня нет дома, — говорил голос. — После сигнала оставьте месседж”.

— Здравствуйте, Бурла-хатун! — он только в детстве окликал дочь так, полным именем. — Это я, Мелик, твой отец. Хочу увидеться с тобой… Перезвоню…

Хотел было повесить трубку, как донесся голос Бурлы — живой и дрогнувший:

— Отец…

— Доченька… Бурла…

— Отец… Боже мой, ты жив!.. Как ты добрался сюда?

— Это долгий разговор. Расскажу при встрече. Мы можем увидеться?

— Конечно! Где ты?

— У погранпункта. Я прибыл из Коммуны.

— Там два пункта. Ты возле которого? На какой улице?

Он прочел название улицы сквозь застекленную дверцу.

— На 42-й Параллельной. Из будки телефона-автомата говорю.

— Тогда не отходи никуда. Я пошлю за тобой машину. Черный “Мерседес”. Шофера зовут Фил.

Через десять минут к будке подкатил черный “Мерседес”. Из нее вышел водитель в темно-синем костюме, в фуражке с околышем, с черным бантом на воротнике. Он учтиво открыл заднюю дверцу: — Плииз!

Салон “Мерседеса” благоухал кондиционированным воздухом. Радио передавало новости на английском языке. Ехали широким проспектом, блиставшим витринами шикарных магазинов и пестревшим рекламами.

Машина затормозила у светофора. Откуда ни возьмись подбежал мальчуган и стал щеткой драить ветровое стекло. Шофер дал мальчику несколько пенсов. Тот ринулся к другой подкатившей машине.

Зажегся зеленый свет. “Мерседес” устремился к нагорной части города и въехал в опрятный двор, обнесенный фигурной оградой. Садовник в желтом комбинезоне поливал газон. Двор показался Мелику знакомым, но разительно преображенным.

Подъехали к трехэтажному особняку. Водитель, быстро выйдя из машины, открыл заднюю дверцу.

— Плиз, — сказал Фил и направил гостя к дверям подъезда. Тут же перед Меликом вырос молодой человек атлетического сложения, но Фил остановил его:

— Это отец мисс Бурлы. — Атлет отстал. — Сори, — сказал Фил — водитель мисс Бурлы.

Акцент показался Мелику знакомым: — Вы азербайджанец?

— Ов коуз. Цдицеец. Фвэь Ашzuli1.

Вошли в кабину, тоже источавшую аромат. Фил-Физули нажал на кнопку второго этажа. Поднялись.

Дверь из дубовой древесины. Фил позвонил. И… вот она, Бурла, его крошечка Бурла-хатун! Теперь она выглядела настоящей ханум, очаровательно прекрасной. Кинулась к нему.

— Ата! Ата-джан!2  Если б ты знал, как я рада тебя видеть!

— Я — еще больше… — У него перехватило горло.

— Снимай пальто. Дай-ка сама повешу. — Что-то сказала Филу по-английски. Тот, откозыряв, ушел.

— Почему он разговаривает на английском? — поинтересовался Мелик.

— Окончил английскую школу.

— А по-азербайджански не умеет?

— Умеет. Как же.

— Тогда скажи ему, пусть говорит со мной на нашем языке.

— Непременно скажу.

Снимая пальто в прихожей, он обратил внимание на большую афишу и обомлел, увидев на ней фотографию полуобнаженной дочери.

— Это ты? — вырвалось у него.

— Нет, — рассмеялась она. — Одна моя знакомая. Об этом — после поговорим. Проходи.

Войдя в комнату, Мелик увидел сквозь стекло во всю стену панораму моря с песчаным пляжем, но, всмотревшись, понял, что это огромное застекленное фото, выполненное столь искусно, что возникает иллюзия реальности. На стене справа возвышалась гряда заснеженных гор. Слева — густой лес с вековыми деревьями, под их зеленым шатром тянулась просека. Мелик обернулся — и перед ним запенилась, заклокотала горная река, низвергавшаяся с уступа роскошным водопадом. Когда Бурла закрыла дверь, водопад удлинил свой искрящийся шлейф.

— А… окон в этой комнате нет вовсе?

— Зачем мне окна? — с досадой отозвалась дочь. — Чтоб глазеть на этот поганый город?

Она подошла к бару в углу комнаты.

— Что будешь пить: виски, джин, текилу, водку, коньяк?

— Погоди, погоди, не дави. Обойдусь чаем.

Она взяла трубку внутреннего телефона.

— Лера, tee![3] — Окатила ласковой улыбкой: — Я забыла, ты же истый мусульманский мужчина. Тебе бы только чаи гонять. Как этот… Мешади… Был такой мюзикл…

1 “Конечно. Меня зовут Физули” (азерб.).

2 Ата — отец.

3 Тее (англ.) — чай.

— Был, — невесело усмехнулся Мелик

— Дай-ка хорошенько рассмотрю тебя. Да. Чуть постарел.

— Не чуть, а очень. Особенно — за последние два дня.

— А что произошло за эти два дня?

Он рассказал о своих “зональных” впечатлениях.

— Бедная мамочка! — вздохнула Бурла. — Разве можно так жить?

— Ты не пыталась связаться с ней?

— Как? Все дороги закрыты. Ни позвонить, ни написать.

— А с Бейреком?

— Узнала по интернету его имейл, послала месседж, сообщила о себе. Ни ответа, ни привета. Потом закрутилась, честно говоря. К тому же, как видно, он не хочет переписываться со мной. Может, опасается. — Она перехватила его взгляд. — Что оглядываешься?

— Темновато у тебя.

— Я люблю такое освещение.

— Мне все же кажется, что окно бы не помешало…

— Да на кой черт! Хочешь полюбоваться пейзажем? Изволь, гляди, сколько хочешь. Эти не нравятся, подбери другой… — Она взяла пульт дистанционного управления, и с нажатием кнопки все четыре стены преобразились. — Песчаная пустыня, обледеневшее озеро, причудливые скалы, дорога, простершаяся до горизонта… — А если тебе нужен свет — пожалуйста. — Нажатие кнопки — и со светильников на потолке хлынул яркий солнечный свет. Мелик не мог скрыть изумления. Дочь позабавило его замешательство. — Ну, что еще? Воздух? Какой — морской, горный, лесной, степной? — Переключение пульта меняло микроклимат — дохнуло свежестью горного приволья; повеяло терпким йодистым дыханием моря; ядреным, бодрящим морозом; запахом травы, облитой дождем…

— Какие еще чудеса водятся в твоей магической комнате?

— Только здесь я могу отдыхать, — отозвалась она. — А чудес много. — Нажала на кнопку. Послышались птичьи голоса, гул моря, шелест листвы…

— Действительно, чудо. Такого я еще не видывал.

— Это еще не все. — Взяла другой пульт. Комнату заполнило благоухание, запах розы сменил аромат горной фиалки, затем — цветущего пшата, свежескошенной травы…

— Каким образом ты сотворила это все? — Он не хотел спрашивать: “во сколько это тебе обошлось?”.

— Это мой мир. Мир, в который ухожу, отрешаясь от всего на свете.

— Но мир иллюзорный…

— Иллюзорный? В тысячу раз лучше настоящего! Можешь ощущать желаемое, когда тебе угодно. Хочешь — день сменяется ночью, хочешь — наоборот. Вот,

смотри! — Нажала на кнопку, и комната погрузилась во мрак. — Подними голову, взгляни на потолок. — Потолок замерцал звездным небом. Млечный путь… Созвездия… Голос Бурлы, казалось, донесся из космических бездн: — Смотри, сейчас взойдет луна, и звезды погаснут.

Откуда-то из-за стены выкатилась луна и поплыла к потолку.

— Ладно… — сказал Мелик. — Достаточно… выведи нас в дневной мир.

Комната вновь озарилась солнечным светом.

В дверь постучали.

— Yes! — сказала Бурла.

Вошла горничная в белом фартуке. Учтиво поздоровалась с гостем, поставила поднос с чаем и конфетами и неслышно исчезла.

— Как же так получилось, что вас раскидало по разным зонам?

Бурла вздохнула.

— Ох… Чтоб эти дни ушли навсегда и не повторились… Я была дома… ты обратил внимание: это же наш старый дом? Да, да, не удивляйся. Я построила этот особняк на месте нашей ветхой хибары.

— Все три этажи — твои?

— Ну да.

“Но… на какие средства?” — хотел было спросить Мелик, но испугался ответа и сказал:
— Значит, ты была в тот день дома?

— Да. Гриппoвала, слегка. Мама и Бейрек были на работе. Они, ты помнишь, работали в разных концах города. Началась стрельба… За считанные часы на улицах выросли баррикады. Ни проехать, ни пройти, потом… этот ужас, разрушения, пожары… На первых порах мы хоть могли переговариваться по телефону, через пару дней и телефонная связь прервалась. А потом город разделили на три зоны. Сперва колючей проволокой, потом возвели эти чудовищные стены.

— Могилы бабушки и деда, кажется, оказались в этой зоне.

— Да? А где именно?

— Неужели забыла? Сколько раз мы навещали… В нагорной части…

— Ах да, вспомнила. Сейчас там луна-парк.

— Луна-парк?!

— Ну да. Могилы, знаешь, все равно сровнялись с землей, надгробья, плиты разрушились. Так что вот так… И на территории других кладбищ сейчас сооружены площадки для регби, бейсбола, гольфа…

— А где же хоронят умерших?

— Не хоронят, сжигают в крематории. Ладно, хватит о покойниках. — Встала, порывисто обняла отца, обвила руками шею. — Ведь мы и тебя числили в покойниках, а ты, вот, живой, целехонький, выбрался. Добрался… Словно солнышко взошло, настоящее солнышко, не такое, — показала на потолочное светило и, заметив, что он допил чай, предложила: — Еще стаканчик?

— Не откажусь.

— Сейчас скажу Лере, — потянулась к трубке, раздумала. — Нет, я сама подам тебе чай. Хочу поухаживать за тобой.

Вышла. Мелик заметил на столе журнал в броской обложке — “Монитор”. Взял, полистал и… вновь ему предстала Бурла в пикантных позах, в полураздетом виде. Да, это была она.

Вошедшая дочь застала отца хмуро разглядывающим журнал.

— Пропади пропадом эти борзописцы! Врут напропалую! Пишут, что у меня восемь кошек, четыре собаки. А у меня всего три киски и один терьер.

— Да при чем тут кошки, собаки?! Что это за снимки? Не стыдно тебе?

— Я знала, что тебе это не понравится. Ты же старый мусульманский мужчина. Но, знаешь, танец живота больше всех любят лицезреть эти самые мусульманские мужчины. Да, я танцовщица. Ты не знал?

— То, что танцовщица — дело твое. Но что значат эти снимки неглиже?

— По-твоему, танцевать нужно в шубе? Странные вы люди. На пляж, что ли, не ходили, не видели девушек в бикини? Выходит, вживую ходить обнаженной можно, а сниматься — ни-ни? Если прекрасное женское тело доставляет людям удовольствие, — почему его нужно скрывать? Ты что, не бывал в музеях? Не видел Венеру, Маху, Олимпию?

— Не думал, что моя дочь… Лучше бы я не дожил до этого дня…

— Брось, ради Аллаха. Стоит ли делать из этого трагедию, после того, что мы пережили. Вы думаете, если женщина танцует обнаженной, значит, она проститутка. Но знай, все, что я нажила, — она жестом обвела комнату, — заработала на сцене, а не в постели! Я здесь первая шоу-звезда.

— Не могла выбрать другую профессию?

— Какую? Учительствовать и подыхать с голоду? У меня нет ни мужа, ни богатого любовника, чтоб содержал меня. Все заработала трудом своих рук. Ну, пусть пупком даже. Да, я исполняю танец живота. Причем лучше всех.

— И имя, кажется, переиначила: “Бура”.

— Менеджер мой счел, что так звучнее.

Встала. Подошла. Обвила руками ему шею.

— Ата, ата-джан. Ну, не сердись. Я тебе сообщу приятную новость. Ты обрадуешься: я меняю профессию.

— Да ну? Кем же ты станешь? Не стриптизершей ли?

— Нет уж. Мэром!

— Кем, кем?

— Мэром. Мэром baku-siti.

— Какой ж из тебя, прости, мэр?

— Почему бы и нет? Чем я хуже других? Этих политических пустозвонов?.. Через три месяца — выборы. Мы живем в демократическом обществе, так? Десять человек выдвинули свои кандидатуры. Я популярнее их всех. У нас, знаешь, мастера поп-искусства пользуются самым большим уважением в обществе. На концертах — аншлаг, билетов не достать. Радио, телевидение с утра до вечера говорят обо мне… Пресса пишет… Народ, словом, любит меня. Будь уверен на сто процентов — отдадут голоса за меня.

— Ну, ладно, допустим. Но зачем тебе идти в мэры?

— Мне двадцать пять лет. Положим, я протанцую еще два-три года. А потом? Как я буду жить? Я привыкла к такому образу жизни, ни в чем себе не отказывать. Замуж не собираюсь. И жить за чей-то счет не хочу. Судила-рядила и решила, что самый верный способ — идти в мэры. — Рассмеялась, показывая на свою голову: — У твоей дочери котелок варит.

Позвонили в дверь. Погодя в комнату вошел живописный детина.

— Good day, my darling!  — сказал он. Они обнялись и смачно облобызались.

Его узкие брюки из черного атласа больше напоминали бриджи. Шелковая белая рубашка с кружевами. Длинные, свисавшие ниже плеч патлы были перехвачены красным бантом, в ухе — серьга.

Бурла представила ему Мелика.

— Знакомься, Джан, мой папа.

— У тебя есть, оказывается, папа? — сказал Джан жеманно, затем с кокетливой галантностью подошел к Мелику и поцеловал ему руку. Мелик при ближайшем рассмотрении обратил внимание, что лицо у Джана напудрено, а глаза подведены сурьмой.

Напудренный детина выпрямился и представился:

— Джах-Джах Джан.

Мелик не понял.

— Это его эстрадное имя. Джан у нас популярнейшая поп-звезда. Конечно, после меня.

Мелик заметил след губной помады на своей руке.

— Вы тоже… вертите животом? — спросил он.

Поп-звезда прикрыл ладонью рот, как платком, и долго смеялся.

— Джан — Бог брик-брака, — сказала Бурла. — Он и слова сочиняет, и музыку, и сам же исполняет. Вечером у нас совместный концерт, придешь, послушаешь.

— Darling, only five minute, — Джан отвел Бурлу в сторону и о чем-то пошептался с ней. И вновь они сплелись друг с другом.

Мелик отвернулся.

— Good bay, baby, — Джан направился к дверям и помахал рукой Мелику: — Bay-bay, ата-джан.

Мелик почувствовал облегчение, — обошлось без напомаженного поцелуя, — Джан покинул комнату вихляющей походкой.

— Это твой… любовник? — спросил Мелик. Бурла своим вольным поведением вынуждала его к такой откровенности.

— Кто? Джах-Джах?

— Не знаю уж, как его, Джах-Джах или Бах-бах.

Бурла расхохоталась.

— Да какой же из него любовник? Он же… ха-ха… настоящий гей.

— Что-что?

— Гей — не слышал? Ну, “голубой”. Как тебе объяснить… Ну не интересуется женщинами… Предпочитает мужчин…

— Понятно.

— Он просто коллега по искусству. Мой приятель.

— Странные у тебя приятели.

— Да он отличный парень… э… человек. Настоящий друг. Написал брик-брак для моей предвыборной кампании.

— А что такое этот брик-брак?

— Неужели не знаешь? Это же популярнейший ритм в нынешней мировой поп-музыке. У нас пионером этого жанра стал Джан. Он король брик-брака. Молодежь от него без ума.

— Что ж он не хочет сделаться мэром?

Она пожала плечами:

— Не знаю. Может, в душе он и не прочь, но обещал, что на этих выборах будет поддерживать меня. — Вдруг ее осенило: — Отец, а может, и ты останешься и примешь участие в моей кампании? Знаешь, какой будет эффект: танцовщица и ее солидный папа.

— Только этого не хватало.

— То есть ты считаешь, что я ни капельки не подхожу? — Она надула губки.

Мелик промолчал.

— Потом останешься здесь… будешь моим советником.

Мелик снова отмолчался.

— Извини меня, отец. Я должна ехать на репетицию, Лера тебя накормит. Через час спускайся вниз. Фил привезет тебя на концерт. Ты сам убедишься, что ничего страшного нет. После концерта — коктейль. А потом мы с тобой наговоримся. Хоть до утра.

Она вышла из комнаты. Мелик оказался в тупиковом положении. Не знал, как быть дальше. Вернулась — в дорогой меховой шубе. Подошла, положила голову ему на плечо — как в детстве. Он почувствовал на щеке мягкий ворс шубы. Его обдал тонкий аромат духов.

— Ата-джан, — прошептала она. — Оставайся. Если бы ты знал, как я одинока. — Вдруг отстранилась и вышла стремглав из комнаты.

Через час он спустился вниз, Фил подбежал и открыл дверцу “Мерседеса”.

— Куда едем?

— На концерт. В кабаре “Шах-сарай”.

— Это что за здание?

— Дворец каких-то шахов.

— Теперь — кабаре?

— Yes… sorry… извините… Мисс Бурла велела мне общаться с вами на нашем языке. Ай эм… Я… пэтриот. Свой “нейшн” люблю.

Они ехали по знакомому Мелику проспекту.

— Почему эта улица называется 42-я параллель-авеню?

— Потому, что и Нью-Йорк, и Баку находятся на 42-й параллели.

— Вот оно как.

“Мерседес” остановился у нижних ворот древнего дворца Ширваншахов — ворот Мурада.

От дворца остались одни стены. Весь облик преобразился до неузнаваемости. Повсюду световые рекламы, афиши…

На сцене переливались желтые, зеленые, красные неоновые буквы:

ШАХ-САРАЙ КАБАРЕ

ЭРОТИК ШОУ: ДЕКАМЕРОН — КАМАСУТРА — ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

EST-VEST SEX SINTEZ

РЕТРО: ТАНЕЦ ЖИВОТА — КАНКАН — СТРИПТИЗ

Эта реклама погасла, засветились и, вспыхивая, поплыли более яркие имена:

КОРОЛЬ БРИК-БРАКА ДЖАХ-ДЖАХ ДЖАН SUPERSTAR BURA

Фил провел Мелика внутрь. Древние стены были сплошь залеплены рекламами напитков, стиральных порошков, памперсов, туалетной бумаги…

Эстрадная площадка — аккурат посредине зала и обставлена с обеих сторон столами. За ближайшими сидели пожилые господа, иные — с молодыми пассиями; задние столы облепила молодежь, кто примостился прямо на столе, кто под столом, а кто разлегся, — парни с длинными волосами, девушки с короткими стрижками, не разберешь, кто есть кто.

Иные из девушек, устроившись на коленях у своих парней, слились с ними в страстных объятиях и лобызались. Но опять же вопрос, кто у кого на коленях сидел, он или она. А может статься, что парочки были однополые. Дружно работающие челюсти, жующие жвачку.

Мелик уже ничему не удивлялся.

Прочел надписи на телекамерах, установленных в зале: FIST TV, FASE TV, WORLD TV, QRAND TV.

Между столами порхали девицы в бикини, разнося напитки, гамбургеры, сендвичи; пожилые мужчины без пассий успевали погладить порхающих девиц по соблазнительным формам и сунуть долларовые купюры за бюстгальтеры. Те кокетливо благодарили.

Фил усадил Мелика за стол и откланялся. Погодя к столу подошло странное существо с зелеными, торчащими, как иглы у дикобраза, волосами и двуцветным — голубым и розовым — лицом. Существо село за стол и закурило. Мелик уловил запах, напоминающий опиум. Существо, смерив его отуманенным взглядом, протянуло пачку сигарет. Мелик замотал головой. “Дикобраз” пожал плечами.

Свет погас. Под оглушительную музыку, грянувшую из динамиков, тонкий луч выхватил середину сцены, на которую выскочил обнаженный по пояс удалец и задергался, выделывая эротические телодвижения.

“Дикобраз” вдруг обрел дар речи, указав перстом на плясуна:

— Наркоман.

“Рыбак рыбака видит издалека”, — подумал Мелик и спросил:

— Анаша? — спросил Мелик.

— Марихуана.

Плясун на сцене поубавил прыть и поднес к губам микрофон.

— Ай эм диск-жокей Симург Сид. Гуд ивнинг, леди энд гамильтон!

В зале загоготали, захлопали, завыли. “Дикобраз” вдруг вскочил на стол, растоптал тарелки и свистнул в два пальца.

Припорхнула официантка, убрала осколки тарелок, расставила новые. При этом наклонилась перед носом у Мелика, демонстрируя округлые сиськи. Мелик понял, что ему предлагают запихнуть туда баксы, но не стал этого делать. Раскрашенный сосед схватил со стола новые тарелки и швырнул их оземь; тарелки разбились вдребезги.

Человек на подмостках что-то верещал. Как ни напрягал Мелик слух, не мог разобрать, на каком языке и о чем. Это была мешанина английских и азербайджанских слов, изрядно покалеченных.

Шум — хоть уши затыкай, то хлопки, то свист, то вой, то звон разбиваемых тарелок. Официантки приносили новые — их постигала та же участь. Мелик обратил внимание, что в разбивании тарелок особенно усердствовали пожилые господа, которые получали повод полезть за бюстгальтеры с долларами и как-то утешить свое вожделение.

Диск-жокей воззвал к публике:

— Сайленс, плиз. Сакит, сакит!  Уан секонд! Bir saniyц!

Экран за сценой ожил. Мелик узнал человека на экране: это был Джан. Зал сразу затих. Диск-жокей объявил:

— Кумир нашего SITI, покоритель сердец, попа-звезда, пардон, поп-звезда Казанова XXI века! — Визг, овация, свист. — Диск-жокей выдержал паузу и повысил тон: — Король брик-брака!

Джан вырос словно из-под земли. Дикий рев, рукоплесканья, свист. Кумир предстал в длинной юбке с кружевной оборкой, в расшитой кофте, с гитарой на ремне. И стал с кокетливыми ужимками раздавать воздушные поцелуи публике.

— My dear, — сказал он. Дорогие мои! Оказывается, сегодня — праздник аборигенов… Навруз-байрам… Наурус — нау-рюс… Почти как “новые русские”. Я сочинил брик-брак по этому случаю: “Нью-рус холидей”.

Исторгнув аккорд из гитары, он начал петь во взвинченном ритме.

Навруз, Наурус, нью-рюс.

Рьюс, рьюс, рьюс.

Рус, рус, рус.

Намотай на ус.

Трик-трик-трак.

Брик-брик-брак.

Кись, кись, кись,

Кусь, кусь, кусь!

Джаз-бас…

Джыз-быз…

Джыз-быз!.. — подхватила публика. Вой, крики, свист. Джан продолжал шаманить:

Джаз, джаз, джаз!

Газ, даз, наз,

Ваз, таз, паз!

“Дикобраз” тащился от марихуаны и бормотал:

— Гений! Прикол! Во дает!

— А на каком языке он поет? — поинтересовался Мелик.

— Как на каком? Это брик-брак.

— Ну, что означают эти слова? Все эти “даз, баз, таз”?

— Это все на нашенском языке. Джан вызволяет слова из клетки. — “Дикобраз” с неожиданной ловкостью опять вскочил на стол и заорал: — Да здравствует свобода слова! Свободу словам!

Тотчас его призыв подхватили другие:

— Long live freedom! Свободу словам!

Кто-то завопил: — Свободу сексу!

Джан послал крикуну воздушный поцелуй.

— Viva sex freedom!

“Дикобраз” сел на стул, затянулся сигаретой и заорал:

— Пой, про гея, пой!

Джан сквозь шум и гам услышал реплику, погрозил пальцем.

— Пой, про гея, пой! — закричали с мест.

Джан одним движением разорвал на себе кофту и отшвырнул, обнажив торс, перетянутый черным кружевным лифчиком. Взял аккорд на гитаре и вдруг с размаху швырнул ее оземь. Гитара разбилась, но этого показалось мало, — король брик-брака стал топтать ее, разрывая струны. Публика впала в истерику.

— Гей, гей! Бей, бей! Не жалей!

Джан стал бросать обломки в зал. Возникло столпотворение. Зрители выхватывали обломки гитары, отпихивая и сбивая друг друга с ног, таская за волосы.

— В прошлый раз мне досталось два обломка, — сообщил “Дикобраз”. — Знаешь, сколько отваливают за них на аукционе? За платок или носки Джана?

Кумиру подали другую гитару. Он запел:

Кто найдется голубей?

Гей, голубчики, я — гей!

— Гей, голубчики, я — гей! — вторили фанаты.

Джан, поворачиваясь задом то в одну, то в другую сторону, выдавал:

Не слуга я, не лакей!

У меня дела о’кей!

Публика вторила ему. Текст был исчерпан. Последовали поклоны, реверансы, воздушные поцелуи свистящей, ревущей, аплодирующей массе.

Кумир отер пот с лица и бросил носовой платок в зал, вызвав очередную свалку. Счастливой обладательницей трофея оказалась дама, сидевшая впереди, — она облобызала платок и прижала к груди.

Джан продолжал:

— Дорогие мои, любимые мои, друзья мои! Я открою вам один секрет. Наша примадонна, гениальная танцовщица мисс Бурла собирается баллотироваться в мэры. (Свист, вой). Я посвятил этому событию брик-брак. (Хлопки), Не слышу аплодисментов! (Рукоплескания зазвучали громче.)

Станет мэром мисс Бурла!

Мисс Бурле гип-гип ура!

Воплощение мечты –

Королева красоты.

Голосуем за нее!

Кто там против, ё-моё!

Покер, джокер, черт возьми!

Ляжем за Бурлу костьми!

Не порите мне муру.

Голосуем за Бурлу!

— Голосуем за Бурлу! — подхватила публика.

Джан продолжал:

Будет избран новый мэр,

Мэрам прочим всем пример!

Маразматики — плебеи,

Харизматики — плейбои,

Прочь с дороги, с глаз долой!

К власти мы придем с Бурлой!

Голосуем за Бурлу!

Или шкуру с вас сдеру!

С мест скандировали:

Будет избран новый мэр,

Мэрам прочим всем пример!

Мелик поднялся: с него хватит. Больше у него не было сил выдержать.

Крашеный “дикобраз” заметил его движение:

— Куда ты, фатер? Еще Бура выступит. Закачаешься.

Но Мелик, лавируя между столами, уже продвигался к выходу. Вдогонку заулюлюкали:

— Куда папаша?.. Стриптиз упустишь!.. Для тебя — в самый раз!

Кто-то подтолкнул, кто-то отпихнул.

— Не засть сцену!

Какой-то тип, то ли пьяный, то ли накурившийся, преградил дорогу.

— Куда?

— Как куда? Ему к предкам пора.

Заржали, загоготали.

Мелик кое-как выбрался из зала. Пересек двор… бывшего дворца Ширваншахов. Вышел через главные ворота. Когда-то входил через них — на экскурсию.

Площадь была неузнаваема. Повсюду эротические картинки, откровенные фото, рекламы фривольных заведений. Казино “Лас-Вегас”, “Монте-Карло”, секс-шоп, эротическое шоу, кинотеатр порнофильмов… Мелик свернул в боковую улочку, а тут еще хлеще: за витринами при свете красных фонарей в вызывающих позах красовались голые девицы; они недвусмысленно подмигивали, поманивали жестами. Стараясь смотреть под ноги, он шел все быстрее.

Ряд красных фонарей заканчивался голубым фонарем. Навстречу вышел мужчина с закрученными усами, похожий на крысиного падишаха из сказки. Оскалился:

— Похоже, наши девицы вам пришлись не по вкусу. Если вам хочется иных развлечений, то у нас есть пригожие ребята…

Мелик отстранил усача и прошел мимо, он чуть не бежал и, миновав несколько улиц, оказался на темном задворке. Похоже — заблудился. Уловил запах горячей пищи. Это была тыльная сторона ресторана. Всмотревшись, различил какие-то копошащиеся у стены тени; свет выглянувшей из-за облаков луны выхватил из полумрака человеческие фигуры в убогих отрепьях, они рылись в мусорных контейнерах… В этой убогой толпе выделялся пожилой обросший мужчина в латаном пальто и в галошах, с изможденным лицом, в очках с разбитой линзой; он тоже рылся в отбросах, но делал это как бы через силу.

Увидев приблизившегося незнакомца, он отошел от мусорки. Остальным ни до кого не было дела, они увлеченно ворошили отбросы.

— Как я могу отсюда выбраться? — спросил Мелик у очкастого.

— А куда вы хотите выбраться?

Мелик и сам не знал, куда. Какой ориентир он мог назвать в этом городе, ставшем таким чужим. Мужчина в очках почувствовал его растерянность, подступил ближе.

— Может, вы хотите выйти к берегу? — он наклонился и доверительно прошептал: — Эту дорогу знаю я один.

— Какую дорогу?

— Тут недалеко в стене есть пролом, где можно пролезть и выйти к морю.

— А к какой Зоне относится море?

— Вы что, не здешний?

— Я давно здесь не был…

— А-а, вот как… Море, спрашиваете? Оно ни к какой Зоне не относится. Дно моря поделили, поверхность — тоже. А берега — замазученные, замызганные — кому они нужны? Вы помните бульвар? Так вот, уровень Каспия поднялся, вода затопила и бульвар, и проспект Нефтяников. Помните проспект? Так там теперь пески. Мазут, камыши и пески. Могу вывести вас туда. — Очкастый запнулся, помялся, сказал: — Но с одним условием.

— Каким?

Мужчина снял очки и потупился:

— Небольшое поощрение… Пять долларов… Всего только пять…

— Ладно.

Мелик и сам не знал, зачем согласился. В принципе зачем ему было выходить к берегу, на что ему море. Но он почувствовал, что этому бедолаге пять долларов нужнее, чем ему — море. И последовал за проводником в латаном пальто и в галошах.

Прошли по извилистым закоулкам. Это были не древние лабиринты Ичери-шехера, а хибары, наспех сколоченные из ящиков, ржавой жести, фанеры. Наподобие ветхих времянок Анкары, только куда более убогие. И все погружены во тьму; только кое-где сквозь щели сочился тусклый свет. Ни звука, ни голосов, ни запаха еды.

Наконец путь преградила каменная пограничная стена. Ни часовых, ни патрулей. Мужчина в очках несколько раз огляделся по сторонам и показал пролом в стене.

— Можете выбраться вот отсюда.

Сперва провожатый протиснулся сам, Мелик — за ним. Вышли на песчаный берег. Здесь явственно стал слышен гул моря. В ноздри ударил смрадный запах. Мелик зажал нос.

— Да, вонища! — сказал очкастый. — Вся канализация города отсюда стекает в Каспий.

Мелик хотел поскорее выбраться из этой клоаки. Ноги увязали в песке.

Зачем он сюда приплелся? Куда направляется? Он не мог сообразить. Очкастый тащился следом. Снял набитые песком галоши. Вытряхнул песок. Снова обулся. Кашлянул.

— Простите меня. Я выполнил свое слово. Вы…

Мелик понял, что он хочет сказать.

— Да, конечно, — и протянул “проводнику” десять долларов.

Тот покосился на купюру.

— Наш уговор был — пять. Зачем мне лишнее.

— У меня нет мельче. Берите, не стесняйтесь. Похоже, вы интеллигентный человек… Можно ли спросить, на каком поприще трудитесь… трудились?

Мужчина в очках потупил голову и грустно прошептал:

— Когда-то был писателем… — И не попрощавшись, побрел прочь. Поодаль остановился, вытряхнул галоши, обул и, пригнувшись, канул в пролом стены.

IV

Он шел вдоль берега, стараясь избавиться от зловония. Шел, куда глаза глядят.

Все было кончено.

Ни кола, ни двора, ни очага, ни семьи… ни народа… ни родины… ничего не осталось. Прошлое исчезло. Было загублено, порушено. Сожжено, растоптано. Настоящее — вот оно. Будущее? Будущего не было. Во всяком случае, для него. Не было у него, Мелика Мамед оглу, никакого будущего. Возвратиться в Турцию? Как после всего увиденного и услышанного, с такими воспоминаниями, с таким камнем на душе он сможет там жить? Вообще — жить?.. Покончить с собой? Вот тут вот, броситься в это загаженное море, утопиться? Утонуть в канализационном дерьме?

Его затошнило, удушье сдавило горло.

Он тащился через вязкие пески. Оступился. Упал. И не стал делать никаких усилий, чтобы подняться.

Всмотрелся в даль бухты, где угрюмо чернели очертания острова Наргин, превращенного в острог.

Вскрыть вены? Пустить себе пулю в лоб? Повеситься?.. Во всяком случае, лучше сделать это в Турции, — чтобы хоть похоронили по-людски. Здесь просто сожгут труп в крематории и пустят прах по ветру. Впрочем, если вдуматься, — разве это не логическое завершение его жизни? Обратиться в прах и развеяться по ветру. Ничего у него не осталось. И ничего не останется.

— Я же говорил вам: не отчаивайтесь!

Мелик вздрогнул: кто это на этом безлюдном берегу заговорил с ним? Поднял голову и обмер: рядом сидел на песке Эрхан. Что за наваждение? Каким ветром его сюда занесло? И как он выискал Мелика, как умудрился подойти так, что Мелик даже не заметил его?!

— Эрхан?! Откуда ты взялся?

Эрхан улыбнулся:

— С неба.

— Ты что, птица, что ли?

Эрхан на сей раз улыбнулся еще загадочнее.

— Может быть, и птица…

Они молча уставились друг на друга.

— Ну как, вы смогли увидеться со всеми вашими? — спросил Эрхан.

— Да… — вздохнул Мелик. — Не знаю, к добру ли, во зло ли ты удружил мне, устроив эту поездку…

— Об этом судить только вам.

— Лучше бы мне числить моих в покойниках, чем увидеть такими…

— Смерть — конец всему. Пока человек жив, он еще может надеяться, что жизнь изменится к лучшему. Это в какой-то мере зависит от самого человека. А уж после смерти ничего от него не зависит.

— Говорят, только в смерти нет выхода. Но, как видно, смерть сама — выход из безвыходности.

Эрхан ничего не сказал. Возможно, он состоял в некой сверхсекретной организации и был облечен полномочиями, обеспечивающими доступ куда угодно, вот и сюда он дотянулся, выследил, но что ему в конце концов нужно от Мелика?

— Как ты узнал, что я здесь, на этом берегу?

— Наверно, вы сами того не ведая, поднесли мой волос к огню. И я прилетел, чтоб выручить вас. Забыли сказку о Мелик-Мамеде? Может, я ваша птица-выручалка Зюмрюд?

— Брось, ради Аллаха. Какие тут сказки? Жизнь — горькая явь.

— Жаль, что это так. Но сказка правдивее жизни.

— Ладно. Если уж ты птица Зюмрюд, — вытащи меня в “светлое царство”! Гукнешь — мясца дам, гакнешь — водичкой напою… — Мелик удивился себе; он еще был способен шутить.

— Нет, — сказал Эрхан. — В светлое царство мы можем выбраться только сами…

— Кто это мы?

— Мы все.

— И что для этого нужно?

— Прежде всего — отличать белого овна от черного. И вскакивая на хребет белого овна, надо усесться так крепко, чтобы он не смог перекинуть тебя на спину черного овна.

— Ах, Эрхан… Мы не в том возрасте, чтоб верить в сказки.

Эрхан опять не ответил. Погодя сказал:

— Взгляните вот туда.

Уже светало. Мелик устремил взгляд в направлении, куда показывал Эрхан.

— А что такое ты там увидел?

— Не видите? Всмотритесь.

Мелик напряг зрение.

— Похоже, две собаки сцепились. Да, так оно и есть.

— Не собаки. Это два овна бьются. Белый овен и черный овен.

— Откуда им взяться здесь?

— Пришли по вас. Чтобы завершить сказку о Мелик-Мамеде. Ведь с неба еще не упали три яблока.

— Давно уже упали. Причем каждое — в одну из Зон.

— Нет, — возразил Эрхан. — Те яблоки — червивые… А я говорю о волшебных яблонях, которые день цветут, на второй — осыпают цветы, на третий — плодоносят. О тех яблоках, о которых мечтал падишах…

— И которые доставались чудищам-дивам, — Мелик гнул свое.

— Можно найти управу и на дивов. Не забывайте, что душа у дивов спрятана в кувшине…

— Что ты хочешь сказать этими сказками? Говори уж напрямик, чтоб можно было что-то понять.

— Мелик-Мамед мог бы, оседлав белого овна, выбраться в светлое царство. И у вас пока есть этот шанс.

Эти слова словно загипнотизировали Мелика. Он с трудом оторвал свое разбитое тело от земли, поднялся, шатаясь, сделал шаг, другой. Теперь он ясно видел дерущихся овнов. Повернулся к Эрхану и… оторопел: Эрхан исчез. То ли сквозь землю провалился, то ли в небо воспарил. Может, он и вправду был птицей? — сказочной птицей Зюмрюд?..

Мелик зашагал по зыбучим в пятнах мазута пескам к круторогим овнам.

Сейчас он видел отчетливо: вдалеке остался лишь один овен — Белый.

Но по мере приближения, он удалялся все дальше и дальше. Мелик ускорил шаги, пустился бежать, увязая в песке и с трудом высвобождая ноги. Ему казалось, что расстояние понемногу сокращается. Вот-вот он настигнет Белого овна. Вот-вот…

Еще немного…

Еще самую малость…

Август—сентябрь 2003

Загульба

## Мемуары

**Чингиз Гусейнов**

# Лета к воспоминаньям клонят

## Фрагмент книги мемуаров

*“… мы постоянно выходим из настоящего в прошлое и будущее, точно в прошлом и будущем можно уловить вечное настоящее. Поэтому, живя во времени, мы обречены никогда не жить в настоящем”*

*Н.Бердяев*

## Курьер “Вышки”

Отрочество началось вскоре после смерти отца: ощущение свободы, но и беззащитности перед всем и вся. И все же — волен жить, как хочу, и “отл”, добывавшиеся ради отца, дабы избыть собственные страхи и получить право защищать от побоев брата, стали соседствовать с “хор”, а то и с оценками рангом ниже. Матери не до нас — работа в больнице с утра и до вечера. Бабушка… Но кто слушается бабушку? Это перед сном в далеком детстве мы внимали ее сказкам про плешивого, который возмечтал на шахской дочери жениться и всякого рода хитростями добивается своего, а также про джыртана — мальчика-кортыша, который обманывает самого великана-людоеда!.. Бабушка не знает, что такое наказывать внуков, даже когда мешаем ей — бывало в детстве! — совершить намаз: стоит ей в молитве согнуться и припечататься лбом к коврику, как мы вскакиваем ей на спину, хватаем за голову, валимся и катаемся по полу, а она, бедняжка, лишь защищается, спеша завершить намаз.

Первое мое изумление отрочества, сразу после смерти отца, — от большого тяжелого ящичка, в котором удивительные фигурки — шахматы. Это чудо я увидел у одноклассника, что живет в доме рядом с нашим, в тупике, зовут его Реджинальд, фамилия Хайцер (потом узнал отчество — Янович). Записал названия фигур, какой из них какая предназначается на шахматной доске клетка и конечную цель: поймать короля противника, поставив мат. А потом Сулейман, сын миллионера Ашурбекова, в чьем доме “по уплотнению” мы жили, почти ровесник моей мамы, показал мне, как с королем и ладьей заматовать короля.

В большой комнате у окна — письменный стол, в котором средний ящик, широкий и глубокий, принадлежал отцу, правый ряд с тремя ящиками — мне, а левый — брату. Брат равнодушен к столу, а я проявляю к нему, особенно к отцовскому ящику, любопытство: в нем опасные бритвы с острыми лезвиями, все они (их два или три), ненужные тогда нам, вскоре обломились и были выброшены.

...Началась война. Да, ждали, повсеместно слышалось (и без конца пелось по радио): “Если завтра война!..” К этой строке — увлекались тогда, как и теперь, азербайджанские поэты подобными словесными играми — добавлялась строка на азербайджанском, в рифму со словом “война”, и получался двуязычный бейт-двустишие: “Если завтра война, мян чалым — сян ойна!” Смысл азербайджанской строки — развитие русской: “Попляшешь под мою дудку!” Авторство мне неизвестно, может, плод народного творчества?

Мы с ребятами, нам по двенадцать, стоим во дворе, прислонившись к перилам лестницы, и разглагольствуем о скорой нашей победе, а как иначе: ведь мы уже захватили Варшаву, бомбим Бухарест и Констанцу!

Вскоре весь коридор заполнен множеством толстых книг в твердых обложках, на немецком языке — как пойму потом, энциклопедиями. На переплетах — готический шрифт. Это книги Киндсфатеров, их выслали. Просто явились ночью — даже времени собраться не дали — повезли, кажется, на пристань и кораблем — в Красноводск, а оттуда — в Казахстан, в район Семипалатинска, ибо они — немцы, а немцы — враги. В книгах этих столько картин, защищенных тонкой папиросной бумагой! На что-то мне понадобился кусок толстенного переплета, его никак не разрезать, в ход пускается отцовская бритва, но лезвие тут же ломается.

Их квартиру заняла эвакуированная из Москвы семья работника Востокинторга Перцева, их дочь — моя ровесница. Потом они возвратятся домой, и Лена Перцева, зная, что я мечтаю поступить в Литинститут, пойдет в весенний день на Тверской бульвар и подробно опишет свое путешествие...

В разгар второго военного лета мой двоюродный брат Энвер устроился курьером в газету “Вышка”, и там созрел у него план побега на войну, вместе со мной. Развернул передо мной ученическую карту — вот куда бежать надо: сначала в Батум, а оттуда морем в Крым. Но, добавил после паузы, для этого нужны деньги. Тут Энвер глянул на меня как-то странно: я должен что-то ценное взять (не сказал украсть) у себя дома, ну… перламутровое ожерелье матери. Очевидно, у меня был такой взгляд — как это взять?! — что Энвер осекся и сразу сменил тему, сказал, что расхотелось ему работать в “Вышке”. Стал просить: “Пойди и скажи, что я больше к ним не приду!”

Утром я пришел в редакцию. Так, мол, и так, мой двоюродный брат не сможет у вас работать. Но скопились же срочные материалы, которые надо доставить! Раз я его брат, то должен их выручить! “А пока попробуй наш кисель!” — протянули мне банку киселя бледно-синего цвета, который я, вечно голодный, тут же с удовольствием выпил. Теперь пора приниматься за дело!..

Однажды, как обычно, вручили мне пакет, велев срочно доставить “однофамильцу” — Гейдару Гусейнову. “Знаешь, кто он? — Я не знал. — Он президент Академии наук Азербайджана!” (Позже узнал: не академии, а филиала Академии наук СССР.)

Что-то мне помешало тотчас исполнить поручение, академия почти рядом с домом, я прежде решил заглянуть к себе и вдруг… Меня ищут! Стремглав бросился в академию, но вахтер отказался взять пакет: “Гейдар Гусейнов хочет, чтоб пакет вручил лично ты”. Поднялся в страхе к нему. Он, взяв пакет, строго глянул на меня, велел подождать и ушел в кабинет (это, как я понял потом, была верстка его статьи в очередной номер). Через некоторое время вышел и, сказав, что надо срочно возвратить пакет в редакцию, отчитал меня: “Запомни три вещи! Первое — никогда не ври, второе — не вали свою вину на другого, а третье — тотчас исполняй дело, которое тебе поручили”. Вдобавок и от вахтера досталось: когда идет война, сказал он, “уважительная причина” может быть только одна: смерть. Это не столько напугало, сколько рассмешило меня. Таким неприятным эпизодом завершилось мое курьерство в газете “Вышка”.

Но с тех пор я стал следить за всем, что было связано с жизнью и деятельностью Гейдара Гусейнова. То и другое завершилось трагически. Его лишили Сталинской премии за книгу по истории философской мысли Азербайджана. Добиться такого мог, разумеется, только

Багиров, которому хватило смелости оспорить решение Сталина после того, как премия уже была вручена и оповещен весь мир. Конечно же разразился скандал, посыпались обвинения, а далее — самоубийство ученого! И весь сыр-бор — из-за единственной фразы во введении о шамилевском движении. Оно трактовалось в привычном для тех лет духе как антицаристское национально-освободительное. Но никто не мог предположить, что замыслил Сталин: за частным, казалось бы, случаем начиналась затеянная на самом-самом верху новая национальная политика, и он использовал Багирова, а потом и тогдашнего партийного лидера Дагестана, чтобы обнародовать свою новую историческую концепцию: осуждать внутри России все национально-освободительные войны, которые-де вовсе не носили характера борьбы против колонизаторской политики царизма, а были направлены против русского народа и инспирированы международным империализмом. За самоубийством Гейдара Гусейнова последовали гонения на историков, писателей, художников, высылки “враждебных народов” — крымских татар, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков… На памятнике Пушкину была замазана строка: “И друг степей калмык”. Все это впоследствии станет творческим импульсом к моему “Фатальному Фатали”. А пока:

Путешествие по школам

Шестая, пользовавшаяся почетом в городе, известна строгим военруком (во всех школах введено военное дело) Юрфельдом, которого мы все люто боялись. Однажды нас, семиклассников, взяли на недельные военные сборы. Он свирепо муштровал нас, обучая азам строевой службы и неукоснительному подчинению командам — они почему-то отдавались на немецком языке (то ли нас готовили служить в победоносной немецкой армии, то ли — командовать поверженной): “Ауф! Штилгештанден!”2 . Годы спустя я увидел Юрфельда на каком-то приеме в Баку и подошел к нему с внутренним трепетом: в моей памяти он был грозным великаном, но теперь передо мной стоял старый, ниже меня ростом, милейший человечек, с которым приятно было вспомнить незабываемое прошлое.

Учился я в 6-й короткое время, успел увидеть однажды, запомнив на всю жизнь, смирно шествующего в школу с ранцем на спине сына (он учился классом ниже) “хозяина республики” Багирова, “съевшего”, по терминологии бабушки, наших родственников — двоюродных братьев матери, Рахмановых.

Мне передавали, что сын Багирова Владимир — на азербайджанский манер, Джахангир, “владеющий миром”, — живя потом в Москве, хотел встретиться со мной — писателем; у него на квартире, говорят, висел, занимая чуть ли не полстены, большой портрет отца, в очках и с усиками. Во мне боролись любопытство и политическая брезгливость, боязнь замараться, и я тянул со встречей, пока не узнал, что он умер. Тогда пожалел, что не успели свидеться, сегодня, скорее, рад, что не поговорили, — о чем? — как благодарен

судьбе и за то, что в свое время мне не разрешили познакомиться с материалами судебного процесса над Багировым (90 томов), о чем было послано ходатайство из СП СССР за подписью Федина. Военная коллегия Верховного суда СССР в просьбе отказала.

…Потом была школа N№ 29 на улице Полухина3 , рядом с нашим домом, здесь я получил аттестат о неполном среднем образовании. Много тогда читал: “Три мушкетера”, “Остров сокровищ”, “Дети капитана Гранта”, “Дон Кихот”… Была у меня книга, на обложке значилось: “Робинзон Крузое”. Уговорил меня Лебедев, одноклассник, поменять ее на… саблю, тяжелую и ржавую. Я ее спрятал между матрацем и железной сеткой кровати и забыл, а когда вспомнил и заглянул под матрац, — нету ее: мать выкинула. Очень сожалел, но не о сабле — зачем она мне? — о книге: обманул меня Лебедев!

Тогда появилась у меня привычка при чтении заглядывать в последние страницы книг, где сведения об исторических лицах, и выписывать: кто? когда родился и умер? чем знаменит? Записная книжка завелась в старших классах, до сей поры чудом сохранилась, на обложке — изображение конской головы; я вносил туда мысли мудрых людей, ибо: “Следовать за мыслями великого человека, — этим пушкинским афоризмом книжечка моя открывалась, — есть наука самая замечательная”. Перелистаю: Суворов, Лермонтов, Маяковский, Гоголь (очевидно, с тех пор руководствовался его призывом: “Бей в прошедшем настоящее”), Сталин, Горький, Вольтер, Фирдоуси, Толстой, Руставели, Ленин, Киров (“Наша партия тверда, как гранит! Наша партия едина, нераздельна, как монолит”, — запечатлел я в книжечке), Тургенев — представляю, каким актуальным было тогда для меня высказывание: “Муж всегда виноват, когда жена нехорошо себя ведет”… Диккенс, Карамзин — из него: “Чем более живем, тем более объясняется для нас цель жизни и совершенство ее”. Из Талмуда: “Ученье в молодости — резьба на камне, в старости — черчение на песке…” — ошибочно считал арабской поговоркой. Данте (о, как для меня важно!): “Иди своей дорогой, и пусть люди говорят, что хотят”). Знаменитое высказывание Островского о бесцельно прожитой жизни; Белинский, Лесков, Энгельс (уже тогда — “о типических характерах в типических обстоятельствах”); Шекспир — тут точно: “Кто в нужде спешит к былым друзьям, тот в недругов их превращает сам”. Леонардо да Винчи… Я ведь, как и он, левша! И я могу выводить фразы зеркально! И тут вздумал я оказаться меж великих с собственным афоризмом, но он зачеркнут, читается лишь фраза: “Целься, чтобы меткою была”, а что, чем, куда — неясно. Низами, Сабир… Умиляет лозунг: “Командирский приказ — отцовский наказ” и т.д., и т.п. Короче — каша в голове!

…Итак, лето 43-го, немцы на Кавказе. Но вот только что Моздок освободили, это я не только запомнил, но и зафиксировал в тогдашнем своем “дневнике” (много раз случалось: запишу, а потом брошу, и тетрадка-дневник куда-то девается до следующего раза). Я — сам по себе, но постоянное ощущение голода, у брата тоже, а матери, больной, но продолжающей работать, вроде бы не до нас, ну а бабушка — в постоянных заботах о

хлебе насущном. Стояние в длинных очередях (не было на Востоке понятия “очередь”, вошло в обиход на Кавказе с включением в состав Российской империи, бабушка моя произносила “очред”). За хлебом — с соседкой, племянницей жены Ашурбекова. Вдова его еще жива, очень старая, лечит меня, когда заболит горло, керосином: окунет туда палец, сунет в рот и прижимает им мои гланды. Племянница ее Афра (жива ли?) старше меня, уже зрелая девица, то ли сама в очереди жмется ко мне, то ли я норовлю прижаться к ней — сердце аж стучит… Однажды это чуть не случилось, когда зашла к нам, я, обняв, поцеловал ее, свалились на кушетку, но она увернулась и, хохоча, сбежала; веселая была певунья — все песни Клавдии Шульженко, которой старалась подражать, записаны ею, русскоязычной, в особую тетрадочку.

За керосином — лавка упирается в улочку Мирзы-Фатали, а за лавкой — всего в полусотне шагов — Караульный переулок, который, в свою очередь, упирается в тупик, где живут Реджинальд Хайцер, чьи шахматы я все еще держу у себя, и очень красивая девушка, отец у нее врач. Она чинно проходит, важно держась прямо и не оглядываясь по сторонам, мимо наших ворот, и я многозначительным, как мне кажется, взглядом провожаю ее, не замечаемый ею. Это — Мая Шик, будущая мама Гриши Гурвича, яркого теледеятеля, увы, уже покойного.

На первом месте по интересам — шахматы и партнер Фред-Альфред Таланкин; часто бываю у них, они живут рядом со школой. Достав из ящика комода тетрадку, он украдкой читает мне стихи, написанные отцом, когда тот ухаживал за будущей женой — мамой Фреда. Впервые слышу фамилию Пастернак: поэт — кумир отца. Тоненькая книжка, Фред читает стихотворение, очень трудное, ничего не понимаю!

Павлик Шатайло. Аккуратен, дисциплинирован, ведет записи дел на неделю, четкость во всем… Они из Одессы эвакуировались, живут на Чадровой, после войны ее переименуют — что еще за чадра, которую женщины давно и навсегда скинули (бабушка моя и дочь ее, моя тетя, неизменно в черной чадре, а мать никогда не носила)! Высоченный памятник возведут в честь “освобожденной женщины Востока”. Впоследствии три с лишним десятка лет находились мы с Павликом в переписке: уезжая из Баку в Израиль в трудные 90-е, он вернул мне письма: ничего лишнего не разрешалось брать с собой.

Подружился с Романом Шейном — собирает ордена мира, его коллекцию впоследствии взяли на госучет, у него был даже слепок с ордена Победы, не говоря уж об ордене Ленина. Через Ромика сблизился с его соседом Свиченко Костей, тоже наш одноклассник, мы оба с улицы Гоголя. Специально прошел по этой улице с внучкой в 2002 г.: сохранилось ли название? Был убежден, что в раже переименований откажутся и от этих русских имен — Гоголя, Льва Толстого (улицы получили свои имена еще в досоветское время). И какова же была моя радость, когда узнал, что имена эти, как Пушкина и

Лермонтова, сохранились! Но чем проштрафился Максим Горький, которого заменил Мирза Ибрагимов, или Герцен, которого заменил Вели Мамедов? Дороги мне и Герцен, и Вели Мамедов, но зачем менять-то? Николай Островский (бывшая Старая Почтовая улица, где я родился) вытеснен… неважно кем. Не надо было менять тогда, в советские годы, а уж коли сменили, не следовало менять в постсоветские4 .

Снежная вершина Арарата

Костя растет без отца, от которого у него украинская фамилия Свиченко, его воспитывает мама-армянка, женщина добрая, отзывчивая. Я часто у них бываю, и вот однажды Костя, мечтавший стать летчиком, как отец, предложил поступать после семилетки в Ереванскую летную спецшколу ВВС. Быть летчиком мне не хотелось, но почему-то я сразу согласился — будто снова заговорила наша с Энвером заманчивая тяга к побегу из дома или путешествию, так и не реализованная. Однажды Костя пришел к нам с мамой уговорить мою маму отпустить меня. Мать долго противилась, а потом, устав спорить, нехотя согласилась. Так что мы с Костей, получив аттестаты семилетки, уехали в Ереван. Как оказалось, школа мобилизовала призывников, ускоренно готовила их по летному делу и с ходу направляла на фронт. Нас с Костей, подростков, встретили не без недоумения. Тем не менее дали курсантскую форму и определили в общежитие — четырехэтажное здание со сплошь выбитыми окнами, вскоре по ночам мы уже замерзали.

Первое потрясение — от царственного вида Большого Арарата, или, на наш манер, Агры-дага, Боль-горы. Он почти рядом (близок локоть — да не укусишь!), глядел вечноснежной вершиной в наше пустое окно; под лучами солнца шапка Арарата на фоне чистого синего неба светилась нежно-розовым цветом. К Большому Арарату, точно младший брат, прижимался Арарат Малый.

Общежитие стояло на пригорке, на перекрестке дорог, ведущих в Ереван и из Еревана, и почти каждую ночь потолок прорезался блуждающим светом фар американских студебекеров, мы слышали их рев, а они шли и шли нескончаемой вереницей в Иран. Дело в том, что на основании договора царских времен при возникновении на юге угрозы безопасности России войска были вправе войти в Иран. В результате в северной провинции Ирана сформировалось так называемое Демократическое азербайджанское правительство, у советских властей был дальний прицел — включить Южный Азербайджан в состав СССР в соответствии с “волеизъявлением” народа (опыт уже имелся в Прибалтике) и воссоединить его с Северным, или Советским Азербайджаном5.

Однажды преподаватель математики Асланян, довольный моими успехами, задержал меня после занятий и, разузнав, откуда и кто я, выразил недоумение по поводу моего желания стать летчиком. Тебе надо, сказал он мне, закончить нормальную среднюю школу и идти в вуз. Совет его отвечал моим собственным намерениям, и я решил бежать из спецшколы. Уеду без билета, видно ведь — подросток. Пришли с ребятами на вокзал — было уже темно — и увидели, что весь состав поезда, идущего в Баку, заняли военные пограничники, возле каждого вагона — дежурный с овчаркой, даже с купленным билетом не войдешь. Не помню, у кого созрел план: влезть через окно туалета, а в вагоне курсанта уже не посмеют высадить. С тыльной стороны обошли состав — лишь в одном месте было открыто окно, помогли мне влезть, дали чемодан и, попрощавшись, ушли. Как только за дверью стихло, я выбрался и сел на первую же скамью. Подходит ко мне офицер: кто я и как попал сюда? Впустили?! Быть того не может! А ну, пошли! Но тут, на мое счастье, кто-то позвал офицера, и он, приказав мне ждать, отошел. Я сообразил влезть под сиденье и чемодан — под голову.

Очевидно, тотчас уснул, а когда проснулся — состав стоит, вагон, залитый ярким солнечным светом, пуст! Вылез я из-под сиденья и тотчас забрался на самую высокую, багажную полку. Гляжу: станция Джульфа, пограничный город, военные сошли, направляясь, очевидно, в Иран, началась посадка: тоже военные, отслужившие, как вскоре выяснилось, свой срок в Иране. Поезд тронулся, я спустился с верхней полки, забыв об осторожности, и тут — проводник: где билет? Я ему — потерял, мол. На первой же остановке высажу! — пригрозил. Но за меня, курсанта, заступились военные. Кто-то спросил, проверяя: “Как вашего старшину зовут?” — “Баратов!” — “Мы с ним вместе служили, хороший парень!”

А я вспомнил, как Баратов однажды кулаком врезал мне в столовой по башке: я, не дождавшись команды, приступил к еде. Военные, чтоб оставил меня в покое, одарили проводника рисом, что везли из Ирана.

Вот и Баку! К тому времени прошло уже два месяца с начала учебного года, да и аттестат мой остался в училище. Ткнулся в одну ближайшую школу, в другую, третью… Зашел к завучу: так, мол, и так, мой аттестат… Николай Петрович Беляев не дал договорить: “Потом, потом, урок начинается!” Повел меня в восьмой класс, где был классным руководителем (я сел на последнюю парту, где все последующие годы было мое неизменное место), и стал объяснять урок, который, на мое счастье, был пройден в спецшколе.

— Кто повторит?

Я тут же к доске, все, как надо, растолковал, и математик, похвалив, вписал мою фамилию в журнал. А потом, прежде чем что-либо объяснить ему, я вдруг почему-то вспомнил про курьерство в газете “Вышка”. И тут Хорузик, или Петушок, как звали его ученики — что-то действительно было в нем петушиное: наскоки, хохолок на голове, — встрепенулся:

— А кто редактор газеты?

— Зоя Николаевна Беляева, — ответил я.

— Вот именно! Это моя дочь! — возликовал он.

Жизнь спецшколы и эпизод побега всегда волновали меня, еще тогда я не раз пытался приступить к сочинению рассказа в третьем лице о некоем юноше, имея в виду, естественно, себя, но после первых в сущности назывных фраз пыл иссякал, я чувствовал, что все это малоинтересно, рвал и выбрасывал сочиненное, чтобы спустя какое-то время начать сначала. Три тетрадных листочка, оказывается, сохранились, первая, с позволения сказать, проза — банальности и наивности. Последняя фраза: “Он был красив (вот так!), и летная форма еще более украшала его. Влез в вагон и остался один среди страшных, запутанных вопросов. Но невозможного нет перед курсантами спецшколы В.В.С.!”

Между шахматами и рифмами

У меня собственных шахмат не было очень долго, я одалживал их у соседа Амирханова, доска и фигуры пахли табаком, он много курил. Жил он в одной из комнат, которую прежде занимала семья Перцевых. Они вернулись еще до победы в Москву. Естественно, с родителями уехала и Лена, с которой — как я вбил себе в голову безо всяких на то оснований — что-то могло у меня начаться. Но в Лену был явно влюблен (или опять мне кажется?) мой одноклассник Володя Тасалов, ныне крупный московский эстетик, — он тоже уедет в Москву, поступит в архитектурный институт. Запомнилось его двустишие с “оригинальной” рифмой: “Затянув потуже пояс, сел я на московский поезд”. Мы оба увлекались Маяковским, я знал наизусть множество его стихов, был увлечен и Пушкиным, выучил почти всего “Евгения Онегина”.

Володю, еще когда учились в школе, настолько захватили шахматы, что он зачастил ко мне — впрочем, наверное, и из-за Елены. Почти всегда проигрывая, он упорно жаждал победы. Лишь многие годы спустя, уже в Москве, он сравняется со мной в игре, но встречаться мы будем все реже, пока вовсе не потеряем друг друга из вида. После распада СССР в конце 90-х, была случайная встреча в метро, он осунулся, был грустен, без особой, как мне показалось, радости записал мой телефон, не дав своего, — де непременно позвонит, но не позвонил.

А учителями моими были: знаменитый бакинский мастер Макогонов, я посещал его занятия в шахматной школе, далее — мой тезка Чингиз Шахмалиев, он вел занятия по теории шахмат в Азербайджанском университете, где первые два года учился и я, потом, переведясь в МГУ, обрел нового учителя — известного мастера Дуз-Хотимирского, но его занятия я посещал недолго: трудно было совмещать с учебой. Шахматы были тогда достойным, почитаемым родом интеллектуальной деятельности, с хорошими шахматистами даже на уровне любительских турниров считались, выделяли их. На филологическом факультете я играл на первой доске, в команде выступал также Виктор Хорев, полонист, ныне доктор наук, профессор из академического Института славяноведения. Это считалось важным общественным поручением и освобождало от иных обязательных нагрузок по линии комсомола или профсоюза. Но в Москве я каждый раз ощущал за доской отношение соперника к себе как к провинциалу — дескать, чего оригинального можно ждать от этого усатого красавчика с Кавказа? Я, усмехаясь в душе, мобилизовывался и, если удавалось выиграть, получал огромное наслаждение. На недооценке меня и моих, пусть скромных, шахматных способностей многие горели.

Играл в командных первенствах факультетов, а коль скоро выступал на первой доске, то приходилось противостоять самым сильным шахматистам МГУ. В турнире на первенство университета поделил первые три места, но от игры за выявление чемпиона пришлось отказаться — не было времени!

Много лет назад обнаружил в бумагах на синевато-сером шахматном

бланке — Московский ордена Ленина Государственный университет им. М.В.Ломоносова, 27 марта 1951 г. — запись о нашей партии с… Натаном Эйдельманом! Так вот я откуда его знаю, а думалось, что знакомы по Союзу писателей: нет, оказывается, по МГУ!

Однажды спросил у него, знает ли он, что много-много лет назад мы встречались с ним за шахматной доской?

— Не только знаю, — ответил, — даже помню, как проиграл партию!

Запись и сохранилась потому, что я выиграл. Записи проигранных партий, как правило, я не сохранял — такая честолюбивая привычка.

Но еще прежде, в 1945-м, была победа, о которой торжественно поведало радио, и я, как ошалелый, выскочив в теплый майский день из дома, помчался к Бешмертебе — Пятиэтажке, тогда это было самое высокое здание в Баку и на пятачке перед домом собиралось много народа.

Потом был 9-й класс в другой, 8-й школе, рядом с армянской церковью, затем 10-й — тоже в новой школе, знаменитой 160-й, за оперным театром… За десять лет учебы пришлось не по собственной воле сменить их чуть ли не с десяток!..

Однажды Фред принес стихи и стал хвастать: вот как его товарищ сочинил!

— Такое каждый сочинит! — сказал я ему.

— И ты тоже?

— Да! — ответил, не задумываясь.

— Сказать легко, ты попробуй! — ехидно усмехнулся он.

Задело меня его недоверие.

— Посиди тут, я сейчас! — И вскоре выдал ему нечто. Фред был ошарашен, зауважал меня и... вернул к прерванному сочинительству.

Вирус оказался заразительным, я пристрастился к поэтическому графоманству, определившему последующий мой выбор: учиться в Москве, где единственный в мире Литературный институт.

Мог бы обозначить этапы своего приобщения к сочинительству:

первый — с Энвером, нечто приключенческое, — бросил;

второй — через Фреда русские стихи — тоже бросил;

третий — через Атифа стихи на азербайджанском — бросил;

четвертый — по настоянию Павла Григорьевича Антокольского — переводы азербайджанской поэзии на русский для трехтомной антологии (выпущена в Москве в 1960-м) — увлекся и бросил;

пятый — по просьбе Мехти Гусейна, потом Азиза Шарифа, Абульгасана и других — переводы азербайджанской прозы на русский — тоже бросил;

ну и шестой — по совету покойной жены Марины — определил мою писательскую судьбу: проза на азербайджанском, далее вынужденный самоперевод, потом сочинительство на русском, перевод уже своего с русского на азербайджанский и снова — писательство на русском. И не осталось уже времени на воссоздание сочиненного на родном языке... Но я забежал далеко вперед.

Увлечения школьных лет. Уже в старших классах: “Два капитана” Каверина (будем в 80-е годы с Вениамином Александровичем соседями по даче в Переделкине), “Молодая гвардия” Фадеева (увижу его потом, так сказать, живьем, почти рядом, когда буду работать в СП СССР, в Комиссии по литературам народов СССР, на заседании Секретариата; сидят Фадеев, Леонов и обращаются друг к другу: “Саша… Леня…”). Фучик “Репортаж с петлей на шее”; “Ветер с юга” Эльмара Грина... И вдруг — находка: Достоевский! Сначала потрясение ранними петербуржскими повестями, “Белые ночи”, потом, в МГУ, — запрещенные в то время “Бесы” и “Братья Карамазовы”, дали прочитать “по секрету”. Увлечение Горьким. Культ Маяковского — по сей день могу часами шпартить его строки. В

10-м классе открыл — и долго этим жил — “Войну и мир” Толстого! И не оторвать меня было от “Тихого Дона”.

Мир моей национальной литературы… Но тут никто не заставляет, сознательная ориентация: трагедия “Вагиф” Самеда Вургуна. В Крепости, в гостях у родичей бабушки, Атиф, его брат Мансур, мой брат и я декламировали по ролям строки трагедии, и каждый желал играть роль Поэта, который дерзко, не склонив головы перед всесильным Ага-Мухаммед-шахом, отвечает тирану. Революционные пьесы Джабарлы. “Наступит день” Мирзы Ибрагимова.

Величие рассказчика Мамедкулизаде понял потом: в русской школе азербайджанскую литературу преподносили так, что она выглядела примитивной. Гениальность Мирзы-Фатали и Сабира тоже понял позднее.

В студенческие годы пожирал западную классику, французов, англичан, американцев, ну и, разумеется, итальянцев. Самое великое восхищение — “Божественная комедия” Данте. Много позже составил список самых великих произведений и, начиная с “Илиады” и “Одиссеи”, стал их осваивать.

…Мне приснились Мардакьяны, знаменитый пригород Баку, связанный — для россиян — с Сергеем Есениным. И я во сне тщетно искал хоть какие следы нашего с мамой пребывания там в ее последнее, 46-го года, “ах, какое счастливое!” — говорила она, — лето в доме ее родного дяди Абдулбаги, где мы сняли комнату на первом этаже двухэтажного дома за плату. Все в моем сне было непонятное.

— Вы тот самый Ч.Г.? — спросил кто-то.

— Да, тот самый! — отвечал я, блуждая во сне по чужим, незнакомым мне Мардакьянам: какие-то высокие учрежденческие помещения, переходы и коридоры, и всюду множество женщин, детей. “Есть из родственников моих кто?” — вопрошал я, называя имена Абдул-Баги, брата моей бабушки и моего двоюродного деда, его жены Бильгейис, сыновей их: Мансура и ровесника моего, Атифа. Никого! Одиночество в многолюдье!

Ностальгия по летним дням, по бакинским дачам сгинувших патриархальных времен, созвучная моим настроениям, была пронзительно остро выражена великим нашим поэтом Микаилом Мюшфиком в стихотворении “О, если б воротились дачные те дни!..” Об этом

стихотворении и вообще о поэте, который был расстрелян как враг народа, я тогда понятия не имел, лишь годы спустя, когда реабилитировали его, пережил, прочитав стихи, сильнейшее потрясение, пожалуй, никогда прежде не испытанное ни от одного азербайджанского стихотворения. И тогда я понял: вот кто первый поэт Азербайджана советской эпохи!

Частые и долгие шествия к морю. Оно катастрофически сохло, вода отступала от берега, и путь, казалось, почти с каждым днем становился длиннее. Мы шли и шли — я, Атиф, с нами студент-иранец, спортсмен-борец, он учился тогда в Баку. Атиф изучал в университете фарси, и они с иранцем болтали на непонятном мне языке, а потом Атиф — он был по натуре экспансивен — вдруг начинал петь, забыв обо всем на свете, часто — арии из “Лейли и Меджнуна” или “Кер-оглу”, будто пытался сильным своим голосом объять небо и землю. Вскоре оказалось, что он влюблен, и его избранница — ей шестнадцать, — подруга моей двоюродной сестры Солмаз, недавно окончившей, увы, дни своей жизни в Кельне. Солмаз однажды навестила нас с подругой-красавицей Сеярой, в которую Атиф влюбился; вскоре они поженились, а спустя годы, уже двое детей у них было, Атиф в порыве ревности развелся с нею, потом они снова поженились, родился сын, так что любовь-ненависть были неизменно рядом… Ныне Атифа нет в живых, Сеяра живет в Америке.

В 1946-м за счет прибылей от нефти по инициативе хозяина, как тогда говорили, республики Мир-Джафара (Мир-Аббасовича6 ) Багирова начался массовый поток азербайджанской молодежи в вузы Москвы, Ленинграда, Киева; политически это была одна из форм ассимиляции (лучшая привязка — через язык!), хотя объективно способствовала развитию культуры.

Но я еще в Баку, ни о какой поездке не думаю, продолжаю мыслить, так сказать, рифмами, учась в десятом классе, ходил даже раза два в литобъединение при СП. Руководили начинающими Иосиф Оратовский, щедрый на похвалы, внимательный к собеседнику, и Абрам Плавник, чуть желчный, — этот выражал оценку услышанного богатой мимикой с оттенками от восторга до резкого неприятия. Оба много сделали как переводчики для пропаганды азербайджанской поэзии. И слава богу, что потом, когда я, работая в СП СССР, сдружился с ними, они не вспомнили, что это я, мнивший себя поэтом, приносил им наивные вирши. Хотя эти мои многолетние усилия выработали навыки любительского сочинительства по поводу того или иного события: дня рождения, к примеру, жены, друга или товарища. Случалось, от нечего делать на каком-нибудь скучном (а они все, как правило, были скучными) заседании в СП избирал себе женский объект для поклонения — ею зачастую оказывалась Вера Рубер, консультант по эстонской литературе, — и сочинял дифирамб, оду, акростих, или просто “каламбурил”: “Он мнил себя эстетом, работая кастетом”. Или: “Неспроста люди ходят без хвоста”, “Сонная тетеря для общества потеря”.

…Движутся медленной поступью насыщенные в моей жизни 1946 и 1947 годы, полные художественных увлечений, но омраченные смертью матери (мне — семнадцать). Размышляя над ее жизнью, сочинил наивные стихи, посвященные ее памяти, аккуратно записав их на оборотной стороне ее фотографии: “…мать — это жизни продолженье…”. Буквы слегка вдавились в бумагу, отчего лицевая сторона снимка порой отсвечивает зеркальным письмом. Когда нет отсвета, четко видно чистое лицо, гладко зачесанные волосы, прикрывающие макушки ушей, косой пробор, густые брови, чуть ли не сходящиеся над переносицей, ясный, открытый взор, красивые губы, чуть потреснутые, с ямочками по краям… Она в скромном сером платьице с широким воротником, а рукав чуть присборен на плечах... Так по душам и не поговорили с нею.

Посещаю, погружаясь в мир потрясений, оперы на русском и азербайджанском: от “Тоски” до “Кер-оглы”; драматические спектакли — “Вагиф”; смотрю бесконечно дорогой мне фильм “Аршин мал алан” с Рашидом Бейбутовым и Лейлой Бедирбейли… Сразу после победы в Баку успешно гастролировал армянский джаз-оркестр, где солистом выступал, завоевав всеобщую любовь бакинцев, Рафаэль Бейбутов, сменивший (вернувший?) впоследствии имя и ставший Рашидом.

Осмысленная привязанность у меня была больше к иному, прежде всего к русскому, нежели к азербайджанскому: отношение же к своему — это наблюдается и среди нынешних азербайджанцев, живущих в России, — оставалось бездумным, стихийным, как к данности, о которой не думаешь, — она ведь во мне и никуда не исчезнет!

Все азербайджанское — язык, история, литература и искусство, культура вообще — изучалось в русскоязычной школе, как понимаю сегодня, минимально, от сих до сих, и в значительной мере формально, чтобы подчеркнуть суверенность республики в духе ленинской национальной политики.

Кто из азербайджанских писателей входил в школьную программу?

В первую очередь конечно же Джалил Мамедкулизаде (жил некогда на углу нашей Старой Почтовой и Караульного переулка). Непременно надо было знать анекдотический по форме рассказ “Почт гутусу”, или “Почтовый ящик”, — этого вполне, мол, достаточно. А что до авторской боли в рассказе, его подтекстов, языковых глубин — без этого можно обойтись. Ахвердов? Да, рассказ “Бомба”. На всю жизнь запоминается знаменитая фраза: “Дом Фейзулла бомба рабатай!” — ее произносит городовой-азербайджанец, который во что бы то ни стало хочет выслужиться, ибо иначе прогонят со службы, и, принимая

арбузы за бомбы — времена-то террорные, всюду бомбисты, — он срочно докладывает о том начальству. Сабир? Да, но лишь короткое “Ушаг ве буз”, “Дитя и лед”: мальчик спешит в школу, падает, поскользнувшись на льду: “Ах, какой зловредный лед! Но ничего! Недолго ждать!.. Весной расстаешь и исчезнешь!” Якобы о царизме: сгинет, мол, мороз самодержавия!

Чуть-чуть Низами — никак нельзя без великого персоязычного поэта огромного ареала от Кавказа и до Индии. Поэт причислен недавно к азербайджанской литературе, ибо родился в Гяндже, считал себя тюрком и признавал, что очень хотел бы сочинять на родном языке, но, увы, почитается он во дворцах грубым, лишенным благозвучия. В 1947-м вся страна собиралась отмечать 800-летие со дня его рождения (в 1941-м должны были отметить, но помешала война), должны ученики знать наизусть хотя бы эти строки в переводе с родного для Низами языка фарси на родной язык его этноса — азербайджанский: “Кечмиш заманда, йунаныстанда, бир шах йашармыш, буйнузу вармыш!..” Это об Александре Македонском из “Искандер-наме”: “В давние времена в Греции жил царь, у него были рога”.

Полвека спустя эти строки прочтет мне наизусть под Тель-Авивом мой школьный товарищ Вика Тер-Григоров, которого я знал в Баку как Шапиро — удивительно, что помнит! Его за отличное знание азербайджанского посылали на школьные олимпиады, и он чисто произносил эти стихи Низами, получая призы. Приехав учиться в Москву, дабы защититься от столично-социалистического антисемитизма, он взял себе материнскую армянскую фамилию Тер-Григоров7 , с которой впоследствии уехал (естественнее было бы уезжать как Шапиро) в Израиль8 .

Ну и современных писателей чуть-чуть: я выучил наизусть “Южные стихи” Рустама: “Тебризим, Тебризим, чаным Тебризим!” — “Мой Тебриз, мой Тебриз, душа моя Тебриз!” Это о столице иранского Азербайджана, где во время Отечественной войны с помощью советского штыка установилась, о чем я уже писал, демократическая власть, впоследствии разгромленная, и тысячи эмигрантов — персов и азербайджанцев — хлынули, спасаясь от гибели, в Азербайджан и Таджикистан, в их числе иранская поэтесса Жале, ряд молодых тогда, а ныне известных азербайджанских поэтов: Азероглу, Биллури, Джафарпур, Гюльгюн, Туде, Сохраб Тахир… — кто-то, слава богу, еще жив, кто-то давно покинул сей мир.

Но вернусь к азербайджанскому в русской школе. История народа? Преподавалась унифицированная для всей страны единая история от Рюрика до Ленина. Азербайджанский язык? Учили, но в минимальной степени. Для азербайджанцев — предмет ненужный, и без того они, как полагали родители тогда и теперь, знают-де родной язык. Глубокое, кстати, заблуждение: азербайджанцы в русской школе утрачивали

родной язык, становясь в лучшем случае русскоязычными, в худшем — полуязычными; а неазербайджанцам он был тем более не нужен — лишняя трата времени!

Так вышло, что в русских школах, в которых я учился, преподавали азербайджанский армяне, выходцы из Карабаха, они неплохо знали азербайджанский и русский, может, потому привлекали их учить в русскоговорящей школе? Меня обычно освобождали от этих занятий, но одноклассники просили оставаться, чтобы помогать им.

Интенсивный — выкладываюсь на полную катушку — последний, 10-й класс в 160-й школе. Идти далеко, чуть ли не через весь город. Чувствуется, что кто-то из сильных мира сего опекает нашу школу. Для тех лет немыслимое: десятый класс в спецвагоне едет на экскурсию в Батуми. Смотрю с высокого лесистого холма на Черное море — да-да: “Прощай, свободная стихия!..”

А по окончании школы — кто же ходил на последнее родительское собрание? кажется, брат — тоже немыслимое: нам выдают, каждому в отдельности(!) альбом; на первой странице — впервые в моей жизни напечатано типографски: “Ч.Г.О. (“о” — это отчество, Гасан оглы) Гусейнов”. В альбоме — пожелания Ленина и Сталина (их профили в кружочках). Второй призывает помнить, любить, изучать первого — нашего учителя, нашего вождя, а первый… — тут советов не счесть, и все сводятся к строительству коммунизма. На жизненный путь наставляют учителя: жить с пользой для Родины, чтоб не жалеть о потерянных годах; никогда не терять мужества в минуты неудач, быть строгими к себе и справедливыми к окружающим.

Помещен список выпускников и фотографии, сделанные в классной комнате. Прямо в лицо фотографу глядит Виталий Вульф — популярный ныне телеведущий, сценарист, биограф великих деятелей театра и кино. Неподалеку задумался над задачей (подпись: “Решение трудной задачи”) Рахман Везиров — в горбачевские времена первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Меня на фотографиях нет: сидел на последней парте. Мой сосед Невский попал в кадр, а я — нет.

Литинститут

Отбирают желающих учиться в Москве и других больших городах. Я, естественно, выбрал (случайно открыл для себя в справочнике) Литературный институт имени Горького при СП СССР, какое-то в словах сладостно-манящее звучание. Быть может, я — дитя пропаганды: главный город страны! Красная площадь! Кремль!.. Нет, не то. Чувствовал, что готов состязаться со всеми, учась в Москве? Или снова, как с Ереваном, жажда путешествий? Думалось: где-то лучше, чем здесь. А уровень преподавания в Москве высокий. Многие уезжали, почему и мне не попробовать? Рахмана Везирова зачислили в модный вуз МГИМО, но мама категорически воспротивилась. Закир Багиров едет в Институт стали имени Сталина (потом, увлекшись лыжами, сломает ногу, вернется в Баку и будет учиться на историческом, станет философом, защитит докторскую, на долгие годы займет пост министра культуры республики, пока его не сменит сын великого Бюльбюля Полад, бывший певец и композитор, актер кино).

У меня, кстати, припасены деньги на случай отъезда, скопил: я ведь получаю пенсию за отца до завершения школы, что-то мать, когда жива была, дарила, бабушка из своих пенсионных, получаемых за моего отца. У меня аж три тысячи рублей! Это рождает чувство стабильности, и я могу позволить себе уехать учиться в столицу страны.

Из Москвы приехала комиссия принимать вступительные экзамены. Поступление — вне конкурса, если, конечно, не провалишь экзамен. Пользуются успехом Московский институт востоковедения, впоследствии ликвидированный, где учились хорошие мои знакомые Юлиан Семенов, Зия Бунятов (Герой Советского Союза, он жил на частной квартире, но часто приезжал к нам в общежитие на Стромынке), Гриша Александров, русский парень из Гянджи, великолепно — в тонкостях и нюансах — владевший азербайджанским языком, а также Игорь Печенев, известный переводчик с тюркских языков; Институт внешней торговли, тоже перспективный, как МГИМО, а рядом с МГУ и старым зданием американского посольства на Моховой — МГРИ, геолого-разведочный, сюда поступил мой приятель Адиль Джанибеков. Многое в моей юности связано с ним, в частности первое это. В ушах до сих пор звучит его голос: “Как? Никаких женщин? Не спробовал?”

…Пишу абитуриентское сочинение на вольную тему о нашей молодежи русскими стихами, в стиле, мнится, Пушкина и Лермонтова, не без влияния Маяковского, то гладко, то лесенкой, с разрывами, и побольше чтоб восклицаний — ведь поступаю в Литинститут, стать желаю советским поэтом!.. Помню лишь строку в сочинении на тему, которая формулируется вроде бы так: “Какова она, советская молодежь, теперь?”, и, естественно, отталкиваюсь от знаменитого двустишия великого поэта, выигрышных для меня строк: “Печально я гляжу на наше поколенье…”. И сразу же напрашивается стих: “Да, молодежь не та!” И обилие к ней рифм — мечта, красота, даже… “аэростат”. С ужасом представляю себе теперь уровень этого, с позволения сказать, сочинения, — не дай бог, когда всплывет.

Тем не менее все экзамены блестяще сданы, и я принят, как заявляет комиссия, в долгожданный Литинститут!..

Нам выдали вузовские документы, а также — от имени правительства Азербайджана — зимние пальто, шапки-ушанки, и — в путь: спецвагон в Москву отправляется!.. И вот — Казанский вокзал (тогда поезда из Баку приходили туда). Вечер. Из вузов пришли представители встречать будущих студентов из Азербайджана — работа поставлена на должном уровне. Вскоре всех, кроме меня, разобрали. За мной никто не явился. Состояние почти паническое: стою на перроне, думаю, что делать? Сдал в камеру хранения чемодан (он у меня фанерный, разукрашенный всякого рода цветами, с висячим замком) — и вот я свободен! Лечу на крыльях! Метро! Радиальная станция “Комсомольская”. Пересадка. Станция “Маяковская”. Эскалатор — на него ступил легко, будто всю жизнь катался. Улица Горького. Чудо: в вечернем небе Москвы увидал ярко горящую Кремлевскую звезду!

Тверской бульвар, памятник Пушкину (он стоял тогда на стороне Тверского бульвара). Литинститут. Железные ворота. Дом в глубине сквера. Ступеньки, ведущие в подвал. Общежитие. Большая комната. У стены составлены железные кровати. Высятся матрацы, сваленные один на другой. И… двое студентов, старше меня.

— И кто же ты? — спрашивают, желая уточнить мое этническое происхождение. Грузин? Нет? Армянин? Тоже нет? А кто?

И тогда, и всегда хорошо знали бакинцев, а вот азербайджанцев, увы, знали мало, первый, через кого узнали о нас, был Рашид Бейбутов.

После расспросов направляют меня к ректору, чтобы тот разрешил остаться в общежитии; ректор живет здесь же. Стучусь к нему в квартиру. В дверях появляется седой человек — кажется, ректором тогда был Федор Гладков — снова расспросы, и мне разрешено — до выяснения обстоятельств моего приезда — заночевать в общежитии.

Вернулся, что ж, говорят мне, располагайся. Матрац под себя, матрац на себя и под голову (деньги мои — в мешочке, зашитом в трусы).

Утром встал — ищи, где жить будешь. Ткнулся в одну гостиницу, в другую — мест нет. К вечеру забрел еще в одну — авось повезет — “Киевскую”. Но очередь к администратору

— не подступишься! И тут поистине случается чудо: меня… брат родной окликнул! Да, передо мной мой брат Аликрам: он как тарист ездил в составе молодежной азербайджанской делегации в Прагу на первый фестиваль молодежи и студентов, приехали в Москву, завтра — на родину. С помощью их руководителя получаю место в семиместном номере сроком на десять дней.

…Нет, сказали мне в Литинституте, принять меня никак нельзя (мог ли я тогда подумать, что пройдет 12 лет, и я буду преподавать в этом институте!), ибо я не прошел необходимый для поступления творческий конкурс, к тому же нет у меня никаких публикаций или хотя бы рекомендации СП Азербайджана. Все лимиты исчерпаны, но мне предлагается другой вуз — библиотечный институт. А вот здесь учиться уже я не согласен. Узнаю впоследствии, что именно в этот институт поступил приехавший из Сухуми мой ровесник Фазиль Искандер! Правда, сначала он поступал в другой вуз, популярный, кажется, на философский факультет МГУ, но во время собеседования кавказец, хоть и с золотой медалью (знаем мы, как на Кавказе такие дела делаются), не понравился, и тогда выбор Фазиля пал на библиотечный. Спустя три года он выдержал творческий конкурс и поступил в литературный. И я за ним: ведь мы уже успели, живя в одном общежитии, стать друзьями, сочиняем-состязаемся, разве нет?9 Впрочем, Фазиль приехал в Москву годом позже меня, так что в мой первый приезд мы встретиться никак не могли: мне надо было б, зная наперед, что через год он приедет, ждать его, такие вот фортели фортуны!

“Каждый мнит себя стратегом…”

Два учебных года, проведенные на филфаке АГУ — 47/48 и 48/49, были из счастливых в моей жизни. Изумительная группа. Дружба — проверено временем — на долгие годы. Великолепные учителя — Тумбель, Амиров, Гольдина, Юрий Гранин (Худабашев) — писатель, стилист, человек совестливый и оттого, очевидно, спившийся; потом, в Москве, я видел его часто в Ленинской библиотеке: он зарабатывал на жизнь тем, что редактировал (а может, и сочинял?) дипломные работы, кандидатские диссертации.

…Нас трое, и мы часто проводим время вместе: Гриша Гомельский, он старше даже моего старшего брата, Иван Аванесов, самый “старый” среди нас, участник войны, и я для него — дитя, которого надо опекать, оберегать, в частности, от увлечений не дай бог женщинами, ибо сильно развита у него холостяцкая психология, к женщинам относится философски: без них никак нельзя, а с ними хлопотно, лучше не сближаться (сам он женится поздно и весь уйдет в заботы о детях, которые родятся один за другим).

Ироничен, сочиняет стихи, потом издаст сборник и очень будет этим гордиться. Сохранилось у меня два-три его письма ко мне в Москву. Даже не представляю себе, будь он жив, как бы его потрясла война между армянами и азербайджанцами!.. Спустя столько лет, а ведь прошло более полувека, встреча почти с каждым — своего рода праздник. По сей день переписываюсь или общаюсь с Мариной Немировской (США), а также с израильтянами — Фимой Шапиро, Гришей Гомельским и Майей Гринберг. С Гришей, кстати, связаны и мои первые прозаические опыты: случалось, приходил к нему домой на Буйнакскую, мы садились каждый за свой стол — и… сочиняли нечто (мать Гриши, прожившая очень долгую жизнь и умершая в Израиле, была в то время стенографисткой самого Мир-Джафара Багирова!).

Осталось в памяти, как Гриша артистически читает любопытный свой рассказ о дуэли на шпагах, написанный в духе романтической русской классики прошлого века, а я ему — те самые пресные приключения, связанные с побегом из ереванской летной спецшколы.

Могу приехать в Израиль, где, слава богу, еще здравствуют мои бакинские друзья-евреи и школьных, и университетских лет, как сделал это в 1996 г., и, переезжая из одного города в другой — Иерусалим (жил я тогда у сына жены, Дениса Липтова, съедена по ивритскому написанию буква а меж п и т), Хайфа, Тель-Авив, Кармиель, Натания, Ришон-Цион, Ашдод, Маалот, еще города… — ни разу не остановиться в гостинице.

В 1948-м, когда я учился в АГУ, было создано это спасительное для многих, в том числе бакинцев, государство. Помню ликующего сокурсника Циркина: он каждый день, доверившись мне, делился величайшей радостью по поводу долгожданного события. Увы, хрупок здешний мир, и начало, будем честны, положено теми, кто задался чудовищной целью — вопреки нормам мирового сообщества уничтожить Израиль как суверенное государство, в котором святая святых — город трех вер Иерусалим, на арабском — Эль-Кудс.

1947-й. Фильм “Весна”, потом узнаю: намек на секрет атомной бомбы содержался в фильме. Начало новой волны арестов. Есть годы — ничего не вспомнишь, а есть — сколько ни рассказывай, все будет мало. Много событий в тогдашней моей бакинской жизни: 800-летие великого поэта Низами Гянджеви; в Москве, помню, готовились к другому 800-летию — города, в связи с чем доводилось слышать суждения земляков и вообще кавказцев: мол, когда у них только-только город главный закладывался, у нас уже были такие литературные шедевры, как “Хамсе, или Пять поэм” Низами, “Давид Сасунский”, “Витязь в тигровой шкуре”!

Торжественное открытие памятника Низами в Баку. Фадеев, Симонов. Слышу хрипловатый голос Павла Григорьевича Антокольского, читающего в Доме ученых знаменитую свою поэму “Сын”. Мог ли я тогда подумать, что менее чем через десять лет буду часто общаться с ними в СП СССР, готовить с П.Г.Антокольским трехтомную “Антологию азербайджанской поэзии”, и он будет неустанно повторять, как он рад, что наконец-то увидят свет реабилитированные поэты, говорить о них так, будто знал их — великих Гусейн Джавида, Мюшфика, чьи стихи переводил, — лично. Так и слышу, как он требует от СП Азербайджана: “Бросьте ваши интриги, давайте молодых, но чтоб на уровне классики!”.

Еще из важнейших для меня событий (в свете последующей поездки в Москву, о которой пока, обжегшись, не помышляю, к тому же перестал, кажется, сочинять стихи), — денежная реформа 1947 года.

Упорно ходят слухи, что деньги обесценятся, а значит, я лишусь своего “капитала”. Как быть? С кем посоветоваться? Надо самому решать! А реформа вот-вот грянет. Может, через день-два. Прихожу в сберкассу, что рядом, на улице Гуси Гаджиева, хотя называют ее по-старому Базарной, долго вчитываюсь в Положение о сберкассах, постигая его сокрытый смысл: где таится обман? Но… как-никак государственный документ. Гарантирует. Однако вера во власть все-таки относительная. И я принимаю решение: из имеющихся у меня трех тысяч — целое для меня состояние! — две положить в сберкассу, а одну на всякий непредвиденный случай при себе оставить. Вечером слышу по радио: реформа! Успел! Эх, надо было тверже верить в Советскую власть: до трех сданных в сберкассу тысяч деньги обмениваются один к одному, остальное — рубль за десять. Я рад, что у меня хоть две тысячи новых, и огорчен, что тысяча на руках — это всего лишь сто.

Еще работают магазины! Бегу к киоску, очень дорогую покупаю книгу — роскошно изданный в Грузии на русском языке том Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”. Массу крылатых фраз вписываю оттуда в записную книжку. “Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны”.

## Неизбывная тяга

Через два года, в 1949-м, перевожусь на третий курс русского отделения филфака МГУ. Еду, как окажется, навсегда. Знаменитое общежитие на Стромынке. Студенты — бывшие

фронтовики и мы, бывшие школьники. Но конфликта поколений нет, есть конфликт между участниками войны: нашими и, к примеру, немцами, хотя они — демократические.

Аресты среди студентов: комендантша ходит по этажу и всех зевак вталкивает в комнаты, чтобы не стояли в коридоре — не видели, как забирают уличенных в антисоветской деятельности, а именно — терроризме (готовили, дескать, покушение на Сталина во время демонстрации).

С дистанции времени по-особому видятся фигуры, впоследствии ставшие значительными, даже выдающимися, с кем довелось учиться, жить в общежитии, — докторами, профессорами, членкорами, академиками, короче — деятелями.

Не могу не назвать некоторых моих однокурсников (в одной комнате жили!), в частности знаменитого психолога Володю Небылицына. Челябинец, золотой медалист, был принят без экзаменов на филфаковское отделение психологии, логики и русского языка; увы, прожил всего лишь чуть более сорока лет, но успел приобрести широкую известность в научном мире, погиб (с женой) в авиационной катастрофе. Человек колоссальной работоспособности, он с утра до вечера пропадал в читальне, плюс спорт — легкая атлетика. Молчалив и неизменно сосредоточен на своем, однако был готов в любую минуту прийти на помощь. Часто на лице — ироническая ухмылка этакого бывалого человека, выработавшего философское отношение к собственному бытию, — мол, меня ничем уже не удивишь. Может, поэтому, будучи моложе меня (разница в год-полтора тогда была значима), он воспринимался как старший, при нем я не позволял себе шуточки-шалости. Такой, как Володя, действительно мог, как я где-то вычитал о нем, стоять у истоков создания академического Института психологии, внести, будучи человеком “волевых рывков”, существенный вклад в дифференциальную психофизиологию, в разработку “теории общих и частных свойств нервной системы”10.

Крупчанов Леня, ныне доктор филологии, поступил сразу после демобилизации, основательно занимался, точно соскучился по учебе. Как старший в комнате, не одобрял моих сердечных увлечений, отвлекавших меня от занятий, но говорил об этом тактично, чтобы не обидеть. С солидным сыном его, кандидатом наук Александром Леонидовичем, я ныне работаю в МГУ на кафедре истории русской литературы нового и новейшего времени филфака, с трех стен которой (четвертая — окно) глядят на нас портреты видных русских писателей XX века11 .

На этой кафедре вот уже полвека после окончания МГУ работает однокурсник мой, крупный знаток русской поэзии, Слава Зайцев, из стромынкинцев — теоретик литературы Петя Николаев, энциклопедист Коля Розин… Как не вспомнить Юру Оклянского — в

очередной раз переставляя свои книги, в которых окончательно запутался, наткнулся на его книжку с броским названием “Роман с тираном” (жанр определен как биографическая повесть, это о романе со Сталиным П. Капицы и А. Толстого) и повесть-воспоминание о таком же романе с тем же тираном И. Эренбурга. А еще — Костомаров Виталий… В незавидной роли эксперта по стилистике он участвовал, увы, в судебном процессе над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, подведя тем самым — может, сам того не желая, — теоретическую базу под обвинение. Впрочем, тогда, чтобы отклонить официальное предложение властей, требовалось мужество, согласие же сулило выгоды по части карьеры и почестей, как случилось с “общественным обвинителем” от ученого, так сказать, мира З.С.Кедриной: при первом же подходящем случае она была удостоена ордена “Знак почета”.

Но первое впечатление от группы (мало изменившееся потом, разве что ностальгия по былому сгладила острые углы): московские отношения не похожи на бакинские. Здесь четкое деление на москвичей и общежитейских: москвич нечасто придет в общежитие, но и ты редко будешь приглашен в гости. К тому же ощутима боязнь открытости, искренности, откровенности — могут заложить. Как-то в комнате я сказал, что не хочу заниматься никакой общественной деятельностью, а вскоре на очередном профсобрании меня куда-то выдвинули, и тут же мой сосед по комнате отвел мою кандидатуру: мол, он говорил то-то и то-то. А после этого как ни в чем не бывало — этого я вовсе не мог понять — продолжал со мной общаться. На Востоке перекос в другую сторону — подвергший тебя критике сразу становится врагом. Не поймешь, что и лучше.

Сказал как-то, что мне непривычно видеть курящих студенток, мол, это девушку не украшает, — на ближайшем же комсомольском собрании группа обсуждает, точнее, осуждает мои “восточные пережитки”. Не забуду, как Костомаров, дружески (не без оттенка, впрочем, снисходительности) расположенный к нам, провинциалам, поступил параллельно учиться в иняз, из-за чего пропустил однажды комсомольское собрание. Его поведение незамедлительно стало предметом обсуждения: видите ли, предпочитает изучение иностранного языка посещению собраний. Кстати, такое обвинение в 30-е годы могло дорого стоить (до войны человек, изучавший польский, мог быть обвинен как ведущий шпионскую деятельность в пользу Польши). Я даже грешным делом иногда думаю, что нас специально плохо учили в средней школе иностранным языкам. Короче, от бакинской группы в душе остались тепло и сердечность, а от московской — холод.

Рано утром в комнате читается вслух (нечто вроде политбеседы) сталинская работа о вопросах языкознания. Хорошо поставленным голосом, словно художественный текст, декламирует добрый (но палец ему в рот не клади!) малый Саша Косоруков, впоследствии известный деятель аппарата СП СССР, глава Иностранной комиссии. А я лежу, лень вставать, и думаю: “Какая чепуха, читать такое вслух, да еще обсуждать!”

Разумеется, помалкивал: де пытаюсь осмыслить великие идеи.

В группах обсуждаются художественные произведения, получившие Сталинскую премию. Узнаю, что Володю Небылицына вызвали в комсомольское бюро курса и подвергли идеологической обработке за то, что пассивен во время обсуждений: “Может, тебе не нравится советская литература, отражающая нашу действительность?” — спросил его секретарь бюро, тоже наш же сокурсник (тогда был непримиримо “за”, а после развала всего остался таким же непримиримым, но уже “против”). Небылицын ответил гениально: дескать, ему не нравится, как нашу действительность отражает советская литература — понимай, как хочешь.

Вчера еще на лекциях с восторгом произносилось имя Николая Яковлевича Марра, а сегодня все, кому не лень, клеймят академика, ибо Сталин назвал его лжеученым.

Вчера еще на лекциях говорилось о значении традиций байроновского романтизма в русской поэзии, а сегодня — началась борьба с низкопоклонством перед Западом — ни-ни: все должно быть самобытно, никаких чуждых влияний! (Тогда-то и родится знаменитая фраза: Россия — родина слонов).

Вчера еще, говоря о великой поэме Гоголя “Мертвые души”, вспоминали про творческий импульс, полученный им от “Божественной комедии”, — показать ад, чистилище и рай российской действительности. А сегодня — ни слова о каком-то итальянце Данте, который якобы оказал воздействие на нашего гения, ибо идет борьба с космополитизмом, противным русской национальной идее!

Я, поддавшись влиянию китайских студентов, грызущих гранит науки (придет в читальню, вынет из портфеля мешочек с пузырьком чернил, достанет ручку перьевую, разложит книги и тетради и сидит с утра до позднего вечера), много читаю, конспектирую, изучаю русскую, западную, античную литературу, не забывая, однако, и о всякого рода утехах, в том числе любовных.

Случались в общежитии на Стромынке и шутки-проделки всякого рода, на которые мастером был мой земляк, впоследствии известный историк Рауф Сеидов. Он был старше всех нас, говорил басовито, выглядел солидно, в повадках был степенен и важен, носил красивые очки, из-за стекол которых глядели умные, серьезные и проницательные глаза. Мы жили с ним в интернациональной комнате: два азербайджанца, он и я, два русских —

Небылицын и Топычканов, осетин Вано Черткоев, ставший впоследствии (загадочно, но факт) Иваном Кодалаевым, и два литовца — Йозас Булота (он был женат на студентке географического факультета, но женатым получить комнату в общежитии было почти невозможно) и Захариас Григорайтис, который дружил с Аликом Штромасом. Тот жил в юрфаковском отсеке и часто приходил к нам; родителей его сгубили в гетто, и сам Снечкус, тогдашний Первый секретарь ЦК КП Литвы, усыновил его12 .

Студенты из стран народной демократии создавали в общежитии общины, это поощрялось, и мы, азербайджанцы, тоже решили создать нечто вроде национальной общины, собрались — был среди нас Шамо Рагимов, красноречивый, самоуверенно-талантливый, сын нашего писателя Сулеймана Рагимова (ему часто присылали самолетом аж плов в казане); Фуад Касумзаде, ныне известный философ, сын ученого-филолога Фейзуллы Касумзаде… Так вот, мы собрались, учредили общежитейскую азербайджанскую общину, выбрали нашим лидером Данила Гулиева — он учился на истфаке — человека степенного, рассудительного, солидного. Мне как филологу поручили выпустить первую нашу газету. Но не успели мы обдумать план деятельности, как сотрудничать будем с другими общинами, а также развивать, дабы не забыть, родной язык, отмечать совместно национальные праздники и т.д., как нас вызвали в студком общежития и объявили затею нелепой, даже вредной: мы-де насаждаем национализм. Спасло, что Данил — член партии и участник войны, к тому же “согласился”, как и я, с доводами студкома.

Надо было — понимание это у нас отчетливое — совершенствовать язык, особенно нам, русскоязычным азербайджанцам, а таковых немало, так что я стал для себя составлять всякого рода словники народных выражений, терминов по отраслям знаний, в особенности философских, придумывал даже неологизмы для тех или иных этических и бытовых понятий.

Плюс ко всему стали меня привлекать, кажется, по совету кого-то из замляков, к составлению квартальных обзоров для ЦК ВЛКСМ азербайджанских молодежных изданий на национальном языке. Так я стал подрабатывать к стипендии (она была мизерной) плюс сбережения, которые хранил в сберкассе плюс пенсия, которую присылала мне бабушка: брат неплохо зарабатывал, играя на свадьбах, выезжал на гастроли, тоже, кстати, неплохо оплачивавшиеся, в районы республики с певцами, случалось, выдающимися, как великий Бюльбюль, Агигат Рзаев и Шовкет Алекперов — так что бабушка целиком была на его иждивении. Замечу, что эти легкие заработки, принося хорошие деньги, увы, отнимали у брата много времени, что в конечном итоге отразились на его собственном музыкальном творчестве, а ведь у него был несомненный талант композитора, не реализовавшийся сполна.

В обзорах требовалось рассказать: о чем пишут? Какие благородные чувства — прежде всего советского патриотизма, социалистического интернационализма и дружбы народов — эти издания воспитывают? Я, разумеется, искренне считал эти идеи справедливыми. Понимание, что я выступаю как бы в роли столичного цензора, пришло позже. Признаюсь: ни молодежную газету “Азербайджан гянджляри”, ни книги для детей и юношества я особо не критиковал, тем более за идеологические ошибки, которых, впрочем, и быть не могло: местная цензура не пропустила бы ничего, противоречащего социалистическим идеям. Но начинали во мне копиться мысли, подтачивая тогда еще крепкую, но постепенно ослабевающую веру в идею социализма: центральные органы, оказывается, не очень-то доверяют местным! И позже: вторыми секретарями ЦК компартий республик неизменно избирались, точнее, назначались, за редчайшими исключениями, только русские — для слежки за местными властями, для контроля над кадровой политикой, проведения линии верхов — значит, государство-то, в сущности, русское!

Еще из поздних отрезвляющих разумений, пришедших в Москве, городе многонациональном, но вовсе не интернациональном, каким был старый Баку: не следует лезть “националу” куда не положено. В весьма резкой форме много лет спустя это было высказано казаху Олжасу Сулейменову, который посмел вторгнуться в святая святых русского народа — “Слово о полку Игореве”, пытаясь расшифровать темные места и отыскивать в лексике — вот уж обнаглели инородцы! — тюркские корни.

В Баку я знал слово чушка — так бакинцы называли выходцев из районов, своих провинциалов. В Москве узнал еще два, но уже с оттенком этническим, тоже на чу: чурка и чучмек. Стало быть, есть русские, в честь которых по окончании войны вождь народов произнес специальный тост (согласен, справедливый, ибо тяжесть войны легла прежде всего на их плечи), а есть нацмены, к каковым отношусь и я.

И все же я благодарен Москве: обогатив меня полнотой русской культуры, она повернула меня к богатству культуры своей, национальной.

Задания обозреть те или иные издания я время от времени продолжал получать, но обзоры не хранил — лишь один чудом остался — на книгу “Огни коммунизма”, выпущенную в Баку в честь Волго-Донского судоходного канала. В рецензии на более чем двадцати машинописных страницах (видимо, жалко было выбрасывать: столько времени потратил!) я подробно анализирую стихи, рассказы и очерки почти всех знаменитых писателей Азербайджана, решивших откликнуться на “великие сталинские стройки коммунизма”. Здесь представлены все, от Самеда Вургуна, Мирзы Ибрагимова, Сулеймана Рустама, Расула Рзы, Османа Сарывелли до Бахтияра Вагабзаде (стихотворение “Руками Сталина”), Б.Наби, он же Наби Хазри, Габиля… Все произведения, вопреки искреннему старанию

авторов, оказались вымученными, убогими по содержанию. Таким же был и обзор. Вот заключительный “перл”: “Писатели недостаточно по-коммунистически, а порою и халтурно отнеслись к созданию произведений о Великих Сталинских стройках коммунизма”.

Впрочем, меня не очень баловали этими — кстати, оплачиваемыми

неплохо — обзорами. Очевидно, их содержание не удовлетворяло. В одних случаях ждали рапорта об успехах литературы в освещении важной темы, а тут — всеобщий брак. В других — заказывали обзоры в ожидании громких идеологических разоблачений, а я им предлагал рецензии спокойные, стало быть, внешне беззубые. И потому сотрудничество продолжалось недолго. Кто-то из опытных, кажется, сосед по комнате, смекалистый и хитрющий Захариас Григорайтис, надоумил меня, как писать внутренние рецензии, чтобы тебя часто привлекали к работе: нужно сообразить, что хотят от тебя услышать, и понять, для кого ты пишешь свою рецензию. Впоследствии, когда стал постоянно рецензировать рукописи в “Советском писателе” (сотрудничал с ними свыше тридцати лет!), я ловил себя на мысли, что кое в чем сознательно следую этому совету, если хочу спасти правдивую и талантливую рукопись.

Однажды — тоже ради заработка — согласился выступить переводчиком на допросе земляка, совершившего какой-то проступок. Думая оттянуть дело, он заявил, что по-русски не понимает, но в процессе допроса я понял, что он прекрасно знает русский.

— Что же ты всем нам голову тут морочишь? — сказал я ему на своем языке.

— Думал, что не найдут в Москве человека, знающего азербайджанский.

“Судебные” эти заработки продолжились и в аспирантские годы — меня привлекли к переводам судебных дел, которые велись в республике на азербайджанском и запрашивались в порядке надзора или пересмотра столичной прокуратурой или Верховным судом.

Чтоб было доходчиво?

Середина века, но о том не думается, ибо итоги подводить рано.

Жизнь настолько разветвилась, не знаю, по какой тропке пойти, с чего начать рассказывать, к тому же они зачастую запутываются, превращаясь в клубок, и надо рвать нити, ибо никак не развязать узлы.

Линии к тому же разноуровневые.

Азербайджанская. Скандал с Гейдаром Гусейновым, уже упомянутый. В те годы было ясно, но воспринималось локально, как интрига, связанная с ревностью бессменного вождя Багирова к славе другого (или других, ведь то же можно сказать и о преследованиях им другой выдающейся личности — поэта Самеда Вургуна!), желание свести с ним счеты, лишний раз показать свою власть. И эрудицию — стало модно, чтобы вожди пониже рангом копировали вождя большого, и Багиров выступал как ученый-историк.

Война кончилась победой, основная тяжесть пала на русских, украинцев и белорусов, многие другие народы разоблачены как “народы-предатели”!.. Кровопускания-де оздоравляют социалистический организм. И это воспринималось как нечто должное: властям виднее, Кремль думает за нас. К тому же лично я ощущал себя, признаюсь, социально защищенным: не говори лишнего, не выступай против советской власти (а она и законность были для меня едва ли не синонимами) — и тебя никто не тронет.

Цепочка процессов между тем складывалась зловещая. Ополчились на эпические сказания народов, в частности тюркских, причем зубодробильная критика велась устами самих националов. В Литгазете от 7 июля 1951 г. опубликована статья видных азербайджанских ученых Д.Гаджиева (Джафар Хандана) и М.Кули-заде (Мирзага Гулузаде вскоре стал директором Института литературы и языка АН Азербайджана) “Об одной антинародной книге” (“Китаби Деде Коркут”), направленная против “идеализации реакционных литературных явлений прошлого”. Книга, мол, насквозь пропитана ядом национализма (цитата из доклада товарища М.Д.Багирова на очередном съезде Компартии Азербайджана; там же было сказано, что кое-кто из литературоведов и писателей [речь о выдающихся деятелях азербайджанской культуры Г.Араслы, М.Рафили, А.Дамирчизаде и др.], потеряв политическую бдительность и чувство ответственности, пропагандирует эту вредную книгу). Там же помещена информация о том, что эпос осужден поэтом Мамед Рагимом и специалистами, в те времена определявшими всесоюзную политику в области литератур народов СССР (указаны имена: Л.Климович, П.Скосырев, К.Зелинский, З.Кедрина); принял участие в “обсуждении” и поэт Семен Липкин, много переводивший

национальную поэзию. Создается Комиссия для изучения эпического наследия (читай — для “разоблачения” других эпосов, назову киргизский “Манас”).

Еще прежде, когда начались гонения на русских деятелей культуры (Зощенко и Ахматова), аналоги тут же стали находить в других национальных республиках, нападая, например, в драматургии на так называемую теорию бесконфликтности, якобы притупляющую классовое чутье народа. Я даже реферат писал в университете на тему борьбы с этой самой теорией, исходя из понимания, что без больших конфликтов не может быть большой литературы. “Все верно вы написали, — сказал мне педагог, — но безбожно мало!”

Борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом (в моих бумагах цитата из не модного нынче Белинского: “… у нас так много квасных патриотов, которые всеми силами натягиваются ненавидеть все европейское — даже просвещение и любить все русское — даже сивуху и рукопашную дуэль”). И тут смыкались идеологическая и национальная линии: оказывалось, что эти самые низкопоклонцы почти сплошь евреи, которые, хоть получили свое государство, увы, не ставшее, как мечталось в Кремле, социалистическим, но, дескать, были и остаются народом безродным, космополитами.

Происходившее, однако, непосредственно меня не касалось, и потому я самозащитно отгонял его от себя, прячась в учебу, шахматы, встречи всевозможных праздников с выпивками (в драках я никогда не участвовал), уходя от суеты московских дел в дни бакинских каникул, всегда радостных и счастливых в кругу семьи и друзей. Ну и в утехи плоти, любовные увлечения — как без них?

Однажды летней ночью в Москве

Опоздал на последний поезд метро, топал в общежитие от станции “Аэропорт”, где жила она, долгая моя любовь-привязанность (я — лирик, она — физик), через всю Москву: по Ленинградскому, минуя Белорусский вокзал, к Садовому кольцу, далее — Самотечная площадь (уже дворники вышли подметать улицы), Колхозная, поворот к трем вокзалам, Сокольники, а там уж и Стромынка — и солнце восходит навстречу мне!..

Вскоре — летние каникулы 1950-го в Шуше. Я у брата: он, женатый, получил туда очередное назначение, став директором музучилища.

Все лето восторгаюсь чудесной природой Карабаха, слышу изумительные народные азербайджанские песни, отменно исполняемые обычными людьми, которые вовсе не считают себя певцами. В Карабахе петь — все равно что говорить, не случайно Шуша — колыбель нашей музыкальной культуры. Поэтической — тоже!

У меня пока и в мыслях нет желания жениться, переписываюсь с нею, оставшейся в Москве. Она печально-недоверчива к нам — до меня у нее были другие кавказцы, и оба обманули ее. Один из них — мой земляк, поведал мне о ее прошлом, удивляясь, что я так долго с нею: до него у нее был грузин, от которого она забеременела, и именно он, мой земляк, помог ей избавиться от ребенка (теперь она уже никогда не родит!).

О, как я переживал! Метался между двумя крайностями, из которых одна была “литературно-европейская”: как же я могу бросить ее, жестоко обманутую мерзкими мужчинами? Мой долг защитить ее! — другая бытовая, к тому же отягощенная восточной традицией: Я не могу оставаться с нею! Она прошла через столько мужских рук! Что скажут люди?

Признаюсь, я мучительно переживал, что не могу переступить, простить, боялся, что это будет преследовать меня всю жизнь. Очевидно, и она понимала, какая борьба идет в моей душе, и стала постепенно отходить от меня к своим физикам.

Вернулся я после каникул в Москву, а она — вдруг чужая. Но ревность, не успев разгореться, сменилась подленькой, предательской радостью: не я ее бросил, а она меня! Виноват не я! И все же — будто камень свалился с плеч: нечего мне разбрасываться, она уже работает, а я еще учусь, нет времени ни на что другое, кроме занятий, курсы четвертый и пятый тяжелые, надо думать о дипломе.

По пути на бульвар

Замдекана Сергей Иванович Василенок, который читал курс по белорусской литературе (другой замдекана, Михаил Никитич Зозуля, преподавал украинскую), посоветовал мне писать дипломную работу по перспективной отрасли — национальной литературе. В случае успешной защиты я мог бы остаться в аспирантуре при вновь открываемой кафедре литератур народов СССР. Как студент русского отделения я могу при этом опереться в работе и на литературу русскую.

Получилось так, как и предполагалось: пишу диплом по новомодной тогда теме рабочего класса, основываясь на двух азербайджанских романах: “Апшерон” Мехти Гусейна, удостоенный высшего признания — Сталинской премии, и “Тайна недр” Манафа Сулейманова, о которых как о ярких достижениях национальных литератур трубит пресса. И тут читаю в газете, что в Москве на каком-то писательском собрании выступил Мехти Гусейн. Узнав, что он остановился в гостинице “Москва”, я решил украсить свой диплом ссылкой на личную встречу с автором. Вот он, в книге — молодой, а в жизни — почтенный. Поднимаемся с ним в лифте, входим в скромный номер, вскоре еще какие-то азербайджанские писатели пришли. Было видно, что Мехти Гусейн доволен: о нем аж в МГУ дипломная работа пишется!13

Диплом оценен высоко, меня рекомендуют в аспирантуру на новую кафедру, которая вот-вот, через месяц-другой, уверяют меня, открывается (на самом деле случится это через… десять лет!), мне лестно, что стану первым ее аспирантом.

А пока еду в Баку и жду вызова. Однажды по пути на бульвар у здания Академии наук встречаю земляка со Стромынки, он завершил учебу на химфаке и, как и я, рекомендован в аспирантуру. Узнаю, что он только что был у президента Академии наук и получил ходатайство на бланке АН с подписью и печатью учесть нужду республики в ученых данной специальности. А что если и мне получить такую бумагу? Не помешает! И нынешнего президента любопытно повидать — вспомнил, как некогда приходил сюда курьером к Гейдару Гусейнову. Поднимаюсь на второй этаж, все окна настежь — жара!.. Молоденькая секретарша по моей просьбе зашла-вышла: “Да, Муса Мирзоевич (Алиев) может вас принять”.

Объясняю президенту цель своего визита, разговор идет по-русски. Он прерывает меня:

— Только что по такому же вопросу был у меня ваш товарищ. — И тут же меняет тему: — Какую школу вы закончили? 160-ю? — взгляд теплеет. — А кто у вас директором был?

— Была и есть, — отвечаю, — Зоя Константиновна Березина.

Явно довольный — он-то и был “сильным мира сего”, который курировал нашу школу! — вдруг говорит с удивляющей меня прямотой:

— Бумага, которую вы хотите получить, никакого веса не имеет и потому я ее вам не дам. — И, подождав пока я приду в себя, предлагает: — А что если мы сами по линии Академии наук пошлем вас в Москву, в аспирантуру Института востоковедения?

Поворот для меня неожиданный, а ответить нужно немедленно, и я говорю “да”. Президент тут же звонит по телефону (как потом выяснилось, директору Института языка и литературы), и я слышу весь разговор, который идет, естественно, по-азербайджански:

— Мирзага, надо еще одного человека в твой список включить.

— Но места исчерпаны.

— А ты найди!

— Ты дал мне пять мест, и все они заняты.

— А ты постарайся!

— Но как?!

— Заменить никого не сможешь?

— Да нет, все подобрались толковые.

— Захочешь — найдешь!

— Никак не могу!

— Не ожидал, что ты такой упрямый.

— Да нет же, я…

Но президент прерывает:

— Ладно, так и быть, проявлю щедрость, дам тебе из президентского резерва еще одно место именно для этого человека!

Являюсь взволнованный к директору в институт, это в двух минутах ходьбы.

— …Вот так просто явились к президенту? — удивился. — Без документов?

— Да, — отвечаю.

— Так несите же!

— Документы мои в Москве.

— В Москве?! — снова удивляется и тут же миролюбиво добавляет (потом признался, что подумал, будто я близкий родственник президента, раз посмел прийти к тому запросто):
— Постарайтесь срочно их заполучить.

Уж не помню, как мне удалось получить бумаги из отдела аспирантуры

МГУ, — впрочем, тут постаралась моя будущая жена Марина.

Юность брала свое, занятия — занятиями, а подругу иметь не мешало б, влюбчивая моя натура того требует! И тут вижу однажды: в столовой подходит к буфету девица, крепко сложена, выглядит серьезно, почти антипод прежней, кокетливо завлекательной, стоит, задумчивая, у прилавка и, ничего не купив, тихо отходит, мельком глянув на меня. И, наблюдая за нею, вдруг ни с того ни с сего задаю себе вопрос: “А мог бы я жениться на ней?” И тут же отвечаю: “Почему бы и нет?”

…Она, Марина Гринблат, взявшая потом мою фамилию, и стала моей женой, матерью единственного моего сына. Очень на нее похожа наша внучка Дина — не только повадками и внешностью, особенно глазами, но и принципиальностью, открытостью, отзывчивостью на чужую беду, умением находить с людьми общий язык (и дорогу к сердцам). Это подтверждает и Елена, вторая моя жена, которая знает Марину лишь по фотографиям и моим рассказам.

Началось с подшучиваний Марины над моими переживаниями (оказывается, знала и не раз видела меня с той!) и ее больших озорных иудейских глаз. В тот день я долго сидел в их многоместной общежитейской комнате, девицы приходили и уходили, а я все сидел — выходили, как мне потом сказала сама Марина, чтобы пошушукаться: из-за кого из них я так долго сижу?!

Снова пригласила к себе — целую сковородку картошки нажарила! Потом заболела, приносил ей какие-то лекарства. А однажды мы с нею оказались в клубе общежития, она подошла к роялю и стала довольно ладно играть — репертуар ее главным образом состоял из задушевных украинских песен, она и пела их весьма неплохо по-украински.

Рассказала, что она из детдома, отец погиб на войне, сочинила целую легенду о нем, упомянула, будто он был русским (опасалась, как потом, много лет спустя, призналась: вдруг я окажусь антисемитом?) и звали его Александром (а не Давидом, как в действительности), о нем якобы перед смертью ей поведала мать. То, что мать ее была тогда еще жива и находилась в сумасшедшем доме, куда сдала ее родная сестра Клара14, Марина скрыла. Очень красочно рассказала (это было правдой), как они с мамой эвакуировались из Одессы на пароходе, который нарвался на мину и затонул, — спаслись единицы, в том числе и они с мамой.

Наш необитаемый остров — это был клочок земли в пруду неподалеку от Стромынки, к нему вел железный мостик со сгнившим деревянным настилом, и мы шли по нему, держась за ржавые перила. Там и случилось это чудо чудное. Я поверил (интуиция подсказала) в ее талант строить семью, решил: женюсь! И не ошибся.

…Итак, связался я тогда с Мариной (как — не помню), попросил, чтобы срочно забрала документы из МГУ и прислала в Баку.

И вот я снова в Москве, но в новом качестве: сдаю экзамены в аспирантуру ИВАНа (Институт востоковедения Академии наук). Нас пятеро абитуриентов,

и все — в сектор Советского Востока. Возглавляет его ученый-востоковед Е.Э.Бертельс. Работает здесь (я буду первым его аспирантом) наш известный ученый и переводчик на русский почти всех классиков азербайджанской прозы Азиз Шариф, впоследствии профессор МГУ. Из нынешних знаменитостей — Азада Рагимова, специалист по Средним векам. Завершают аспирантуру такие в будущем светила, как иранисты Рустам Алиев и Андрей Бертельс (сын Е.Э.), арабист Нури (Мухаммед-Нури) Османов, крупнейший переводчик Корана. Особо хочется вспомнить друга — Акпера Бабаева. За год до моего поступления его исключили из кандидатов в члены партии “за связь с иностранным писателем”. Фамилия указана не была. Спустя годы Акпер пытался доказать в райкоме, который не выдавал ему характеристику для поездки за рубеж, что речь шла о Назыме Хикмете, с которым с момента приезда в СССР турецкого поэта-коммуниста в 1950 г. и по день своей смерти он общался. Видный специалист по турецкой литературе Акпер Бабаев так и не смог за всю свою жизнь, оборвавшуюся еще в советские годы, поехать в Турцию, куда теперь и виза-то не нужна!..

По-прежнему живу на Стромынке (еще не открепили меня), продолжаю встречаться с Мариной и однажды решаю: хватит ютиться по уголкам-закоулкам, пора жениться! Земляк Адиль ушам своим не верит, пытается отговорить:

— Зачем тебе это?! Живи с нею, кто тебе мешает, но жениться…— нет, не затевай этого, пожалеешь потом!

Брат мой тоже против, он по-своему прав: ни кола ни двора ни у меня, ни у детдомовки Марины, это во-первых, а во-вторых, на какие деньги будете жить? И я, уловив намек на поддержку, которую бакинские родственники мне оказывали, пока я был один и учился,

торжественно заявляю, что с сего дня от нее отказываюсь, мол, решил жениться — сам буду содержать семью. Но есть еще аргумент у брата, льстящий самолюбию:

— Такой молодой, такой умный, такой красивый, неужели не смог найти в Москве, где столько генералов, министров, крупных государственных чиновников, подходящую пару, чтобы быть обеспеченным, иметь квартиру, машину, дачу?!

— Увы, отдаю должное твоему разумению, дорогой брат мой, но не смог такую найти, так что придется довольствоваться тем, что выпало мне на мою долю.

К слову сказать, мне импонировало, что я выбрал в жены именно еврейку — в пику распространенному тогда (только ли тогда?) антисемитизму. Меня, бакинца (есть — был? — такой “субэтнос”), он чрезвычайно шокировал, унижал, мне казалось, что оскорбляют лично меня. А вскоре, месяца через два-три, скрытый антисемитизм в связи с делом врачей перерастет в открытое преследование евреев. Их погонят с работы. От должности замдиректора в ИВАНе осовободят выдающегося востоковеда Иосифа Самойловича Брагинского, уволят из МГУ первоклассного преподавателя филфака Абрама Александровича Белкина — как мне нравились его лекции по русской литературе, в частности о Чехове, с проникновением в суть явлений, в слово, фразу, психологию творчества, с умением выявить многообразие подтекстов.

Среди земляков на Стромынке выделялся активностью аспирант Ширмамед Гусейнов, ныне профессор Бакинского университета, он писал диссертацию об истории газеты “Бакинский рабочий”, русский язык знал средне, и я по его просьбе редактировал отдельные части работы. Он был почти единственный, кто с радостью отнесся к намерению моему жениться, сказал, что сам никак не решится, и проявил неуемную энергию в организации (в складчину) свадьбы, совместив ее — так легче было получить зал в столовой общежития — с праздником Октябрьской революции.

Студенческая свадьба наша была шумная, бестолковая, никем и никак не управляемая, многолюдная, полуголодная. Некоторые даже не узнали, что гуляли на свадьбе. А утром — мы ночевали в разных комнатах — не имея ни копейки в кармане, мы собрали и сдали массу оставшихся от гуляния бутылок.

Почти сразу после свадьбы мы сняли рядом с общежитием угол, отгороженный ширмой, в комнате с пожилой хозяйкой. Глянув на нас, она не спеша перелистала наши паспорта:

— Вы разве еврейка? — спросила удивленно у Марины.

Вместо нее, почувствовав подвох, ответил я:

— Да, а что?!

Хозяйка смутилась, дескать, просто так спросила, не похожа, мол, на еврейку.

А вскоре — смерть Сталина, за которой последовало закрытие дела врачей!15 Сохранил “Правду” от 11 марта 1953 г., в которой скорбные отклики, в частности, большая статья Ильи Эренбурга “Великий защитник мира”. Одна лишь цитата: “В Нью-Йорке, окруженные полицейскими, доносчиками, погромщиками, честные люди говорили в печали: “Умер друг мира”. Стихи Михаила Луконина “Партии родной”: “Невыразимое, неслыханное горе легло на наши плечи, рвет сердца. На Красной площади — людское море. Сквозь слезы видим своего отца. Нет, он не умер”… И т.д.

Красная площадь… А ведь именно здесь планировалась казнь через повешение нескольких еврейских деятелей: трудно представить себе, но ведь могло быть!

Все это, пусть сумбурно, варилось в моей башке и готовило будущие сюжеты, в частности, романа “Магомед, Мамед, Мамиш” и “Директория Igra”, исторических сочинений “Доктор N”, “Фатальный Фатали”, где прочитываются игры властей застойной поры, перекинутые во времена величайшего деспота Шах-Аббаса.

…Не сразу, но вскоре — наш первый серьезный конфликт с Мариной, чуть не доведший до разрыва, когда случайно узнал — протрепалась подруга, — что жива ее мать. Решили, к радости Марины, как только уладятся наши дела, навестить ее в больнице, куда сама Марина иногда тайком ходила. Но совместное наше посещение откладывалось из-за безвыходности: куда я ее заберу? Лишь по истечении четырех с лишним лет (сыну было три года, и мы получили от СП СССР комнату в коммуналке!) Марина решила навестить маму и взять с собой сына в надежде: а вдруг, узнав, что у нее есть внук, мать излечится?

И вот мы в больнице. Марина велит нам с сыном стоять неподалеку, наготове. Спустя некоторое время я увидел, что она спускается по лестнице, поддерживая мать, та еле шла. У нее действительно был взгляд безнадежно больного человека. Марина знаками

предупредила меня — не подходить, и они, миновав нас, вышли в больничный двор. “Нет, — сказал врач, — брать ее нельзя, ее поведение непредсказуемо, к тому же дни ее сочтены”.

Вскоре Евгения Яковлевна умерла от саркомы. Всю жизнь Марина боялась даже произносить название болезни, от которой в 59 лет умерла сама.

“Мне некуда спешить. Я не спешу…”

…Однажды дочь Мухтара Ауэзова Лейла, сокурсница по аспирантуре, просит меня позвонить в СП СССР. Им нужен такой специалист, как я: ушел из Союза старейший его работник, курировавший тюркские литературы, — Мир-Джаббар Мир-Яхъяев, критик и переводчик (в частности, романа Мехти Гусейна “Апшерон”). Будучи ровесником Самеда Вургуна, М.-Дж. относился и к нему, и ко всей современной родной литературе несколько пренебрежительно. Вдобавок повздорил с другом Вургуна — всесильным Константином Симоновым, не выполнив поручения составить текст его выступления на съезде писателей Азербайджана. Сказал: сам пиши свое выступление.

Симонов по возвращении в Москву на очередном секретариате высказал недоумение по поводу поведения консультанта, М.-Дж., в свою очередь, вспылил, мол, если он не устраивает СП, то может уйти. Так и “ушли его” “по собственному желанию”. И тут в СП появляюсь я, молодой, комсомолец, характеристики — как в фильме “Кавказская пленница”, выпускник МГУ, русист, неплохо знаю национальный языки, без пяти минут кандидат наук… Впрочем, сам я скептически отнесся к предложению работать в Союзе писателей, но согласился сотрудничать. Мне поручили проанализировать стенограмму на азербайджанском языке ответственного заседания Правления СП Азербайджана — обсуждения разгромной статьи некоего Понедельника в Литгазете о плачевном состоянии дел в писательской организации, где царят чинопочитание, интриги, молодым не дают дорогу. Обзор мой понравился, уговоры продолжились весной 1955-го в беседах с председателем Комиссии по литературам народов СССР Николаем Тихоновым и его заместителем Самедом Вургуном.

Вургун, седой, с пышной шевелюрой, глубокими морщинами на лице — еще и пятидесяти нет, а вид семидесятилетнего старца, — курил в задумчивости:

— Давали мне читать твой обзор. Мог бы высказать точку зрения определенней, осудив хулиганскую статью Понедельника, хотя многого ты знать не можешь. А впрочем, — махнул рукой, — в наших делах разве поймешь, кто прав, кто виноват? — Он ждал, как оказалось, машину, ее подали, и он уехал.

В те же дни встретился в Ленинке с директором азербайджанского Института литературы Мирзагой Гулузаде, пославшим меня с легкой руки президента академии в аспирантуру, и он поведал мне о неизлечимой болезни Самеда Вургуна, а потом чуть ли не со слезами прочел его не опубликованное тогда стихотворение “Мен телесмирем”, “Я не спешу”, блестяще, почти дословно переведенное впоследствии Константином Симоновым: Пусть длится ночь, пусть опоздает утро — в объятьях дум сижу я у огня. Пусть то, что я скажу, не так уж мудро, но мудрость друга — выслушать меня! Пока любить и петь я мучим жаждой, пока, живой, теплом земли дышу, я жизнь продлю в ее мгновенье каждом, — мне некуда спешить. Я не спешу16.

…Не без волнения вошел я как-то в знакомое со школьных лет здание Союза писателей, в кабинет Мехти Гусейна. И он вдруг спрашивает: “ һаралысан?” — то есть откуда я родом? Понимая, что земляческие пристрастия, порождающие интриги и распри, — один из главных бичей азербайджанцев, свидетельство разобщенности, доставшейся с прошлых времен, которое мешает народу ощутить себя единым, я с улыбкой, снимающей выспренность, но многозначительно отвечаю:

— Азербајчанлыјам, — мол, “я азербайджанец” и нечего, дескать, впутывать меня в интриги.

Мехти Гусейн слегка смутился и, будто оправдываясь, сказал:

— Понимаю, что азербайджанец, просто хотел узнать, в каких наших краях такой славный молодой человек родился.

А я — опять-таки полушутливо:

— Край у нас у всех один — это наш Азербайджан.

И началось постижение мое азербайджанской литературы в лицах, широченного потока с множеством ручейков-рукавов, заводей. Обрело живую плоть абстрактно-книжное знакомство: рассказывать об этом — в сущности говорить о почти полувековой истории не только и не столько литературы и писательских судеб, но и народа, республики и даже всей страны, поэтому об этом — как-нибудь в другой раз.

Есть гениальная азербайджанская поговорка, она у меня всегда на кончике языка: “Иэидин адыны ешит, юзцнц эюрмя”, что означает в моем вольном переводе: “Лучше о герое (джигите, знаменитости) услышать, нежели увидеть его”, узнать ближе, познакомиться, потому что обаяние имени зачастую при знакомстве улетучивается.

В советские годы почти все (а может быть, даже без почти!) так называемые “национальные” писатели (не исключение, разумеется, и мои земляки не только старшего поколения, но и тогдашние молодые, а ныне маститые) чрезвычайно почтительно относились к номенклатурным писательским чинам всесоюзного масштаба.

Тут наряду с общепринятым гостеприимством, характерным для националов (они и в Москву приедут с дарами, и угостят собратьев щедро, и встретят с той же широтой у себя, когда те приезжают к ним), была и корысть, не стану гадать, чего больше: бюрократически-творческого подобострастия или искреннего радушия?

Существовала пирамида (имеется в виду и издание книг национального писателя “в центре” на русском языке, и отзывы в прессе, и многое другое), взобравшись на которую становишься видимым и слышимым далеко. Такая поддержка автоматически находила отклик в республике, с тобой начинали считаться. Плюс в центре — более высокие гонорары. Слышу гневные окрики: “Клевета! Ложь!.. А Сулейман Рагимов? А Мехти Гусейн? А Мирза Ибрагимов? А…”. — “Увы, — отвечаю, — не чужд был этому даже неподкупный и ценимый мной Расул Рза!”17.

Что ж, в исторической ретроспективе негативные качества знаменитого человека, точно обшивка ракеты при ее входе в плотные слои атмосферы, сгорают, остается лишь достойное, замечательное… Мне, лично знавшему и близко общавшемуся со всеми без исключения азербайджанскими писателями второй половины XX века, требуется усилие, чтобы провести грань между пониманием объективной значимости того или иного из них в истории национальной литературы и субъективным знанием его человеческих слабостей.

Как бы то ни было, русский язык — независимо ни от чего — становился для каждой национальной литературы выходом в большой мир, невольно приравнивая, с одной стороны, русскую литературу к национальным, а с другой, поднимая ее статус на уровень, не ощутимый, быть может, самими русскими. Но мало кто из нас задумывался тогда — да и теперь тоже — над этим.

Впрочем, правда — всегда правда, по-азербайджански ли она звучит, по-русски ли.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Предыдущие публикации см. в „ДН“, 2002, N№ 4 и “ДН”, 2004, N№ 4.

2 Я долгие годы произносил штилгештанген, запомнив через штангу. Внучка моя, услыхав это однажды в моем “исполнении”, захохотала, поправив меня:

— Не штанг, а штанд, то есть штилгештанден.

3 Вспоминаю улицы, в свое время названные именами 26 Бакинских Комиссаров и ныне — как и все советские названия — переименованные: Полухина, бывшая Персидская, обрела имя миллионера-мецената Муртуза Мухтарова; Басина — Физули; Фиолетова, бывшая Барятинская, — А. Ализаде; Джапаридзе — ранее Великокняжеская, затем Ольгинская, стала имени Мамед-Эмина Расулзаде; Малыгина, бывшая Гарчаковская, — ныне имени мецената, миллионера Зейналабдина Тагиева; Корганова, бывшая Мариинская, — Расула Рзы; улица Шаумяна стала Азербайджанским проспектом; Мясникова, прежде Милютинская, потом Троцкого, ныне — Тарлана Алиярбекова и т. д.

4 Однако появилась новая российская улица Л. и М.Ростроповичей — в честь отца и сына, расставшись при этом с историческим названием Колодезная.

5 Сталинская эта авантюра не удалась, о чем, если представится возможность, — в свое время.

6 Титул Мир, прибавляемый к имени, означает принадлежность к роду пророка Мухаммеда, это — символ избранности, ловко использовавшийся Багировым.

7 Это с точностью один к одному повторилось в судьбе бакинца Гарри Каспарова, чья фамилия по отцу Вайнштейн, но посоветовал ему Михаил Ботвинник взять фамилию матери-армянки: с еврейской фамилией в СССР карьеры не сделаешь, даже если докажешь, что ты самый сильный в мире шахматист.

8 Приехав в Израиль, тщетно звонил Вике Шапиро, чтобы встретиться, телефон не отвечал. Потом узнал, что за несколько дней до моего приезда его похоронили — первая потеря близкого бакинца в Израиле. Многое осталось нереализованным у него, в частности замысел на сей раз не по научно-биологический его специальности, а по журналистской: в последние годы собирался написать об академике-патологоанатоме Скворцове Мих. Серг., который был другом-учителем его матери. В 1953 году, когда умер Сталин, именно ему, 60-летнему, доверили вскрытие, чтобы знать правду, и он откровенно поведал (Вика лично слышал, когда Скворцов сразу после вскрытия пришел к его маме): “Странно, как Сталин мог в таком состоянии жить? Кора головного мозга атрофирована, маразм в последней стадии!”

9 Потом, сто лет спустя, у меня родится такое а ля философское изречение: “Я более всего люблю виртуальное общение: представить, домыслить, наполнить, дать форму и содержание, и это становится для меня реальностью. Итак: на первом месте сочинительство (будущее на базе прошлого, творимое в настоящем), на втором — сон (отсвет настоящего) и лишь на третьем — собственно реальность (быстротекущее настоящее)”.

10 В память о нем была издана большая книга: В.Д.Небылицын. Жизнь и научное творчество, в которой есть главы: Очерк жизни в воспоминаниях. Труды. Идеи. Архив. М., 1996.

11 Пожелтели от времени портреты родоначальников советской литературы от Блока, Горького, Маяковского до Федина, Шолохова и Тихонова (портрет вдруг однажды упал и разбился, не восстановили, заменив новеньким Шварцем); потом добавлены активные творцы советской литературы — от Твардовского и Вампилова до Распутина и Шукшина, на начальном этапе или в преддверии перестройки удостоены были портретов Мандельштам, Пастернак, Платонов, по спешке или закономерно, судить не буду, Л. Бородин (называю именной инициал, ибо есть Бородин Сергей — крупный русский

исторический романист, недооцененный исследователями), Высоцкий. Спустя какое-то время втиснулись в угловое пространство стен нобелевские лауреаты Солженицын и Бродский. Портрет Бродского кто-то забрал себе на память, пришлось повесить новый, долго искали и набрели на портрет с кошкой, который и украсил дальний угол, став чуть выше Солженицына. От них отвернулся Набоков, глядит в сторону Бунина. А Бродский с кошкой напоминает известную картину: Ленин с кошкой — такой вот парад избранных сорока шести, разумеется, не исчерпывающий всего и вся, тут вполне могли быть и — назову первых пришедших на

ум — Каверин, Ильф и Петров, Катаев, Тынянов, Эренбург, Антокольский, Симонов и множество-множество других, в том числе русско-белорусский Быков.

12 В пик брежневского застоя, в 1974-м, он уехал за рубеж, профессорствовал в вузах Англии и США, опубликовал воспоминания об Александре Галиче, с которым был дружен: в московской квартире Штромаса Галич впервые спел песню “Когда я вернусь…”, исполненную трагического мироощущения.

13 Года три спустя встретились в Баку, куда я приехал в командировку в качестве консультанта СП СССР по азербайджанской литературе — в некотором роде “столичный чиновник”. Мехти Гусейн был тогда ответственным секретарем СП Азербайджана, но ни он не вспомнил обо мне, студенте, ни я не стал ему напоминать о нашей встрече.

14 Одесское детство Марины, война, эвакуация, утонувший корабль, который вывозил их с мамой из Новороссийска, — спаслась горстка, в том числе и они с мамой, жизнь в военной Москве у сестры, сумасшедший дом, куда сестра ее поместила, точнее сказать, сбагрила, а заодно отдала племянницу в детдом… Обо всем этом рассказано в нехитром моем сочинении “Повесть о золоте”.

15 У меня есть листок, на котором я скорописью воспроизвел рассказанное мне Камилем Икрамовым о том, что астрофизик Шкловский самое великое свое открытие сделал в апреле 1953 г.: ехал на работу в предчувствии, что всем им хана, и вдруг у газетного стенда увидел толпу, прочел об оправдании врачей — перешел на другую сторону, сел в трамвай, приехал домой и записал формулу — самое великое свое открытие! Произошел как бы физиологический процесс высвобождения энергии!

16 Вскоре я был в Баку на 50-летии умирающего первого Народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна, прикованного к постели. Возглавлял делегацию СП СССР К. Симонов, мое поколение помнит его стихи: “Мой друг Самед Вургун, Баку покинув, прибыл в Лондон, бывает так: большевику вдруг надо съездить к лордам”; в стихах запечатлена

“слишком острая для дипломатического стиля” (А.Адалис) речь Самеда Вургуна, обращенная к Уинстону Черчиллю.

17 Помню, были втроем: Расул Рза (приехал на чествование в Колонном зале 150-летия Лермонтова), секретарь СП СССР всесильный К.Воронков и я. К.В. спросил у Р.Р.:

— Есть в Вашем выступлении ссылки на Хрущева?

— Нет, — ответил Р.Р. и тут же с готовностью: — А что, надо?

— Нет-нет, — поспешил ответить К.В., — никаких ссылок!

Р.Р. был озадачен ответом К.В. и, когда тот удалился, вслух произнес:

— Позволяет себе говорить такое о Хрущеве! — К.В. знал, а мы с Р.Р. не ведали, что Хрущев только что смещен со всех своих должностей.

## Публицистика

**Эмиль Агаев**

### Вперед в прошлое

*Время за нами, время перед нами, а при нас его нет.*

*В.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка*

Что есть прогресс?

Ход истории отнюдь не линеен, как о нем иногда думают. Он, подобно кардиограмме сердца, не ровен и прерывист. Да и представления о том, что прогресс — это “движение вперед, к лучшему”, а регресс — “движение назад, к худшему”, верны далеко не всегда. И наконец, существует нулевой вариант развития — стагнация, отсутствие вообще всякого движения. Это ситуация, когда маятник истории словно бы застывает на месте, как стрелки часов в доме умершего. Как знак беды…

Если с этой точки зрения — “прогресс—регресс” — взглянуть на современную ситуацию в Азербайджане, она окажется весьма сложной и противоречивой. Парламентские выборы, под знаком которых прошел минувший год, не обещали прорывов в новое качество. И тем не менее после “парада революций” общественность на что-то надеялась, хотя все помнили разгром оппозиции, учиненный два года назад во время президентских выборов. Чуда не произошло. В “старом новом парламенте” не нашлось места для ряда видных политиков, зато появились “люди со стороны” (полицейские, директора мало кому известных предприятий, местные воротилы), а оппозиция почти не представлена.

Новый, 2006-й, пройдет под знаком вступающих в строй трубопроводов — нефтяного Баку—Тбилиси—Джейхан и газового Баку—Тбилиси—Эрзурум, под звон нефтедолларов, которые потекут в Азербайджан (и будут течь еще тридцать лет), а значит, под знаком возможных перемен к лучшему. Прогресс? Не будем спешить с предсказаниями… Надежды на экономику, которая “сама по себе” принудит к тому, что станет неприемлемым сосредоточением власти и денег в руках узкого круга лиц, а борьба с коррупцией и ее кровным братом — монополизмом примет не формальные, а реальные черты, — надежды эти, скажем прямо, невелики.

Некоторый оптимизм внушает крепнущий голос интеллигенции, развитие неправительственных организаций и, в частности, их активизация в отношении использования нефтяного фонда — идея его прозрачности и контроля за ним находит все больше сторонников. Наконец, у части общества еще не угасла вера в президента Ильхама Алиева, в его решимость вернуть жизнь провинции, пробудить от летаргического сна промышленность и сельское хозяйство. Последнее особенно важно, поскольку при существующем в мире разделении труда такие страны, как Азербайджан, могут выйти на международный рынок с плодами своей щедрой земли, с услугами в транзите и туризме намного успешнее, чем с промышленными товарами. Стронется или нет с мертвой точки развитие не связанных с нефтью сфер в целом — это для Азербайджана вопрос жизни-смерти.

Таким образом, новый год все же кое-что да сулит. Посулы эти простираются от возможного начала более осознанных и последовательных реформ и до разговоров, муссируемых, в основном, западными институтами, о “подвижках” в устранении карабахской проблемы — тормоза, замедляющего развитие не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. В свете столь острых и масштабных проблем выглядят “мелочами” даже такие важные начинания, как, например, новая национальная валюта, деноминируемая не просто снятием нулей, а сближением ее курса с долларом, что должно, с одной стороны, упростить расчеты, а с другой — соотнести нынешние цены с ценами советского времени. Так, буханка хлеба будет стоить 20 гяпиков (копеек), проезд в метро — 5 гяпиков, килограмм масла — 3 маната 20 гяпиков… Неплохо придумано, хотя и рискованно, поскольку усилит ностальгические настроения, и без того сильные у многих

(особенно у людей старшего поколения). Неудачно и то, что январское начало замены денег совпало с повышением цен. На дизельное топливо, на проезд в городском транспорте и соответственно — на продукты питания. Эксперты предрекают инфляцию свыше десяти процентов. Заверения властей, что они этого не допустят, а также уже принятые “меры” — к примеру, увольнение некоторых шоферов автотранспорта за то, что подняли цены на проездные билеты, — ни к чему не привели: транспорт-то частный!

“Перекличка”

Когда-то у нас было принято сравнивать все с 1914 годом. А что если и сейчас использовать тот же прием и сравнить современный Азербайджан с Азербайджаном начала прошлого века?

Для такого сравнения есть повод. Ведь главное, чем живет сейчас страна, — нефтяной бум, Республика, Карабах, — все это было и в досоветской истории.

Вот и начнем сравнивать по порядку.

Конечно, если сопоставить нынешний нефтяной бум с нефтяным бумом начала прошлого века, то разница очевидна. Современный Баку даже в самых дерзких прогнозах не может претендовать на роль “нефтяной столицы мира”, каковой он был некогда, когда давал половину всей нефти, добываемой на планете. С другой стороны, если говорить о статусности, то до революции 1917 года Баку был всего лишь уездным городом (хотя и одним из крупнейших в империи), в то время как сейчас он является столицей независимого государства. То есть если век назад он развивался в русле российского капитализма, то сейчас, по идее, у нас должен получить развитие капитализм “свой” — национальный.

И сразу же возникает парадокс. Хотя независимому Азербайджану минуло уже без малого пятнадцать лет, у нас только говорят о формировании национальной буржуазии и среднего класса, о переходе от трайбо-кланового капитализма к государственному. Я молчу уж о том, что в современном Азербайджане не сыщешь нефтепромышленников, подобных Тагиеву, Нагиеву, Асадуллаеву, знаменитых в свое время не только своими миллионами, но и масштабами благотворительности и меценатства, — у нас вообще нет

официально существующих миллионеров, выплачивающих государству налоги (подпольные олигархи не в счет!).

Иначе говоря, в условиях Российской империи миллионы от бакинских нефтяных фонтанов сыпались в карман не только иностранных компаний и русских предпринимателей (последних, к слову, в Баку было немного), но и предприимчивых азербайджанцев, армян, представителей других кавказских народов, живших в Азербайджане… Сейчас, когда Азербайджан стал независимым, таковых среди богачей, как ни странно, не видно…

А что с занятостью населения? Во времена первого нефтяного бума в Баку стекалась рабочая сила не только из собственной провинции, в том числе Карабаха, но и из Южного (Иранского) Азербайджана, из России, Европы. А теперь? Теперь, во время второго нефтяного бума, граждане Азербайджана устремились на заработки в другие страны, прежде всего в Россию, не находя применения своим рабочим рукам на родине… Еще один парадокс? Конечно!

А теперь поговорим о Республике.

Много писано и сказано о том, что нынешняя Азербайджанская Республика (АР) является наследницей Азербайджанской Демократической Республики (АДР), возникшей в 1918—1920 годах — в исторической паузе между крушением Российской империи и “реанимацией” ее в формате советской власти. Нынешний Азербайджан принял тот же флаг и гимн, что и АДР, а идеология мусаватизма с точки зрения соединения трех начал — тюркизма, исламизма и модернизма (европеизации) приемлема, в принципе, и сейчас… В России вряд ли многие сейчас помнят, какие политические организации действовали в Азербайджане в начале XX века и какова была их идеология. В новейших словарях — в том числе в вышедшем в Большом энциклопедическом (под редакцией А.М.Прохорова) — из всех тогдашних партий упомянута только “Мусават”, причем о ее программе в соответствии с советской исторической традицией говорится: “опиралась на идеи панисламизма и пантюркизма”, то есть даны заведомо неверные сведения. Впрочем, это еще можно как-то понять. Непонятно другое — ведь и сам нынешний Баку вспоминает об АДР только по праздникам, да и то не всегда. Так, в минувшем году не отмечалось на государственном уровне даже 85-летие АДР. В Баку заложен камень, где должен быть возведен памятник основателю первой республики — Мамеду Эмину Расулзаде, но памятника до сих пор нет. Как нет и монумента АДР, хотя, согласно распоряжению тогдашнего президента страны Гейдара Алиева, его должны были установить до февраля 2003 года.

Чем это можно объяснить? То ли тем, что нынешняя партия под тем же названием “Мусават” находится в оппозиции к властям… То ли загадочное замалчивание связано с именем основателя АДР и вызвано желанием избавить современников от труда ломать голову над вопросом — кого в Азербайджане следует считать политиком номер один XX века! То ли, наконец, за всем этим стоит нежелание фиксировать внимание общественности на том, что в нынешнем названии Республики Азербайджан, “продолжательницы дела АДР”, выпала такая “мелочь”, как слово “демократическая”…

А ведь АДР вошла в историю как действительно демократическая республика, успевшая за 23 месяца своего существования сформировать парламент и правительство, национальную армию, создать Бакинский университет, в котором преподавали, в основном, русские профессора… К слову, АДР была единственной из образовавшихся тогда в Закавказье республик, которой удалось избежать национализма. Достаточно сказать, что среди многочисленных фракций в азербайджанском парламенте были и Славянорусский Союз, и целых две армянские фракции (и это-то — при напряженных отношениях с Арменией!). А на что использовались тогда государственные средства, в том числе средства от нефти? На просвещение народа, на строительство школ, читален-библиотек, на оплату обучения в Европе особо одаренной молодежи. На развитие культуры — в продолжение традиций начала века, когда в Баку появились первый на всем мусульманском Востоке театр, опера и оперетта, возникла профессиональная композиторская школа, стал выходить замечательный сатирический журнал “Молла Насреддин” и т.д.

В те времена не пахло национализмом, но все делалось во имя нации. Не пахло, к слову, и авторитаризмом, взятками, коррупцией, регионализмом…

Стало быть, сравнение “не в нашу пользу”? Выходит так!

Наконец, третье — Карабах.

Обострения армяно-азербайджанских отношений случались и начале минувшего века. Вспомним трагические события 1905 года в Баку, и не только в Баку, но и в Тбилиси, и в Карабахе, других местах совместного проживания двух народов (по утверждениям советских историков, эти столкновения были спровоцированы царской администрацией, дабы отвлечь народ от “большевистской заразы”, и в этом есть своя логика), а также резню, которую устроили в азербайджанских городах и селах воинские части, возвращавшиеся с фронтов первой мировой войны и застрявшие в Баку в 1918 году. Однако национальный конфликт удалось погасить и в 1905 году, и 1918-м благодаря, в первом случае, наличию единого пространства Российской империи, а во втором — в силу

образования своего, национального государства, которому удалось защитить азербайджанское население, сохранив за собой не только Карабах, но и Зангезур, “подаренный” через некоторое время Советским Азербайджаном Советской Армении.

Получается, что и в армяно-азербайджанском вопросе мы сталкиваемся все с тем же парадоксом: в прошлом больная проблема решалась лучше!

На круги своя

А теперь вернемся в наше время, в 2006 год.

При внешних признаках преуспевания и прогресса Азербайджан, скажем прямо, находится в состоянии отката назад.

Отката, но — куда? И в чем?

Несомненно укрепление личной власти Ильхама Алиева, стремящегося воспроизвести в собственной деятельности начало блистательной политической карьеры своего отца. Насколько ему удастся повторить ее, сказать трудно. Однако на данный момент вопреки ожиданиям не произошло никаких коренных реформ — ни политических, ни экономических, ни смены “старой команды” на новую, как не произошло и смены самого механизма функционирования государственной машины. Нынешний президент избрал путь:

— кадровых изменений (пока частичных, а то и “перестановочных”: людей просто меняют местами);

— сохранения основ сложившейся власти.

В его решении продолжить курс Гейдара Алиева можно при желании усмотреть лишь первый этап долговременной программы, не исключающей коррекции этого курса (разумеется, без идеологизации новшеств: новое ведь всегда можно выдать как нечто, вытекающее из старого!). Однако сам ход событий делает такое предположение маловероятным.

Практически разгромив оппозицию и получив “старый новый парламент”, который в чем-то лучше, в чем-то хуже прежнего, но столь же бесправен, Ильхам Алиев записал в свой актив еще один разгром — раскрыв заговор внутри собственной команды и арестовав двух влиятельных чиновников — министра экономического развития и министра здравоохранения. Причем если первый — Фархад Алиев, судя по всему, действительно питал дерзкие намерения и, заручившись поддержкой как оппозиции, так и Запада (его считали чуть ли не единственным в правительстве реформатором!), был, как утверждается, причастен к попытке организации государственного переворота, то второй — Али Инсанов — служил, напротив, оплотом самой консервативной, регионально сплоченной (выходцы из Армении) части политического истеблишмента. Таким образом, одним ударом президент покончил с двумя крайностями у себя под боком, а заодно — положил на лопатки главного политэмигранта и самого опасного соперника на предстоящих в 2008 году президентских выборах — экс-спикера парламента Расула Гулиева, воспрепятствовав его возвращению в Баку.

Таким образом, нынешний год в Азербайджане, где не ожидается выборов и других “помех” спокойному правлению президента, можно объявить “годом Ильхама Алиева”. Сейчас, окончательно освоившись в президентском кресле, он получил карт-бланш не только на ближайшую, но и, судя по всему, долговременную перспективу (переизбрание его в 2008 году, я думаю, — дело техники!). Весь вопрос в том — что он будет делать. Какие решения принимать…

Наиболее вероятное — Азербайджану предстоит дальнейший откат назад. Что ж, искать новое не обязательно на стороне — в Европе и США, на Западе или на Востоке, в нынешнем огромном мире, где имеется множество моделей, которые, однако, далеко не всегда устоялись и прошли проверку временем, а главное — не во всем подходят для нас. Ведь можно, не изобретая велосипеда и не открывая Америк, использовать и собственный национальный опыт. Сам по себе прагматический подход к прошлому политика, а не историка имеет право на жизнь. Как тонко подмечено у Даля, “память, относительно прошлого, то же, что заключенье, догадка и воображение относительно будущего”.

Но главный вопрос — масштаб анализа и цели, которые при этом преследуются.

Если бы…

Как далеко намерен Ильхам Алиев “углубиться в прошлое”? Ограничится ли он периодом деятельности своего отца (как в постсоветское, так и советское время) или попытается заглянуть глубже в нашу историю? Глубже, а заодно и шире…

Ведь, возвращаясь к перечисленным выше парадоксам, можно нащупать “точки пересечения” дней минувших с днем сегодняшним. Разумеется, речь не идет о том, чтобы использовать готовые решения проблем, сходных с нашими (прошлое кануло в Лету!), и даже не об адаптации к современным условиям путей или подходов к таким решениям. Я говорю о принципах, нравственных критериях.

Скажем, об изменении отношения к оппозиции, которое пока остается откровенно пренебрежительным и даже конфронтационным. Об изменении отношения к парламентаризму. Нет, речь не идет о преобразовании Азербайджана в парламентскую республику, ибо, как показал опыт АДР, да и формирующейся ныне новой, “постататюркской” Турции, президентская республика, пожалуй, больше отвечает нашему менталитету!

Не настало ли время подумать о большей самостоятельности — о полной независимости говорить рано! — законодательной ветви власти. А также и судебной… Не пора ли по-новому (или, может, вернее сказать — по-старому) осмыслить отношение верховной власти к национальной элите (пока не все уехали!) — к той, которая избежала конъюнктурщины и компрадорства и которая, болея за отечество, вынужденно стоит в стороне, но вовсе не потому, что все ее представители находятся в оппозиции к правительству, а из-за того, что она оказалась не востребована. Я имею в виду, в том числе, — и элиту русскоязычную. Это не ее вина, что Советский Союз, декларируя равноправие всех народов, выделял-таки из них “старшего брата”. Помню первые выступления только что избранного первым секретарем республиканского ЦК Гейдара Алиева, которые он произносил на посредственном русском, и тот невероятный прогресс, которого он добился в языке “старшего брата” буквально за считанные месяцы. Иначе было нельзя! Как помню и слова моего друга-поэта после одного республиканского совещания: “Ну, почему, почему единственное выступление, которое прозвучало сегодня на азербайджанском, оказалось г…!” И азербайджаноязычные азербайджанцы (да простится мне такой оборот!) не виноваты в том, что школам, где они учились, уделялось меньше внимания, а учебники на национальных языках (как и уровень преподавания в целом) не всегда были на высоте…

Если АДР при своем возникновении не сразу перерезала пуповину, соединяющую ее уже с распавшейся, но сохранившей свое языково-культурное влияние Российской империей, а национальное правительство возглавила интеллигенция, вышедшая из ее “шинели” (и это — несмотря на вклинившийся между ними “островок” советской власти в Закавказье — Бакинскую коммуну), то нынешняя АР начиналась, по существу, с большевистского бунта, обращенного против центра, что имеет свои объяснения — проблема Карабаха. Однако выступления против центра вскоре обрели не “антимосковскую”, а антирусскую окраску, а затем обратились и против собственной интеллигенции, несмотря на то, что бакинская элита никогда не была ангажирована Москвой1. “Обладающая наиболее высоким интеллектуальным потенциалом ее (то есть интеллигенции —Э.А.) часть, которая сформировалась под влиянием западной культуры… охладевает к своему народу, — писал в те годы социолог Ахмед Гашем оглу. — В результате страну ежегодно покидают многие представители той весьма ценной части нашего народа, что могла бы обогатить нас своим опытом и широтой кругозора!”2

Придя к власти, Гейдар Алиев сразу же совершил один из первых своих визитов в Москву, восполнив тот ущерб, что наносили стране стихийные “акты мщения” народнофронтовцев неофициальному шовинизму советской империи. Он вернул также к управлению старые кадры, сделав, в частности, премьер-министром одного из “бывших” — директора завода бытовых кондиционеров.

(Хочу сделать оговорку. Речь здесь идет исключительно о команде власти, а не об отношении к русскоязычному населению и к русским вообще — враждебности к ним не было и при народном фронте, нет их, тем более, сейчас. В Азербайджане функционируют, как и прежде, русские школы, есть русский театр и даже Славянская академия, а набор в вузы, где преподавание ведется на русском языке, даже растет.)

Судя по кадровым назначениям, которые произвел Ильхам Алиев, сам получивший образование на русском, новый президент намерен продолжить эту традицию своего отца. Правда, теперь желательно, чтобы сильные мира сего говорили не только по-русски, но и по-английски. Так ведь и во времена АДР элита прекрасно владела, помимо русского языка, иностранными. И, к слову, уделяла внимание развитию азербайджанского языка не меньше, чем это делают сейчас. Так, работая в редакторско-издательском отделе Милли меджлиса, автор этих строк не раз сталкивался с дефицитом терминов (прежде всего в экономической и правовой сферах) и не уставал удивляться тому, что после установления независимости по непонятной причине закрыли существовавший в советское время при Академии наук Азербайджана терминологический совет.

Это лишь некоторые примеры того, чему мы могли бы поучиться у прошлого. А вспомним опыт АДР по части просвещения или строительства национальной армии, в офицерском корпусе которой служили не только зарубежные “спецы”, но и, скажем, грузины. Сейчас мы стараемся использовать иностранный военный опыт, привлекая в армию, например, турок. Но это уже после поражения в Карабахе! А что было бы, если б народный фронт, гордящийся (и справедливо гордящийся) “выдворением” находящихся на территории Азербайджана “русских” (советских) воинских частей, выпроводил бы их с большим тактом и умом — так, как сделал это Гейдар Алиев в Нахичевани, где войска провожали почетно, с оркестром… Тогда нам не пришлось бы довольствоваться техникой, выведенной из строя (мой сын, работавший в те годы во флотской газете, рассказывал, в каком плачевном состоянии находились корабли, доставшиеся нам после расформирования Каспийской флотилии).

Разумеется, кое-что полезное можно вынести не только из досоветского опыта, но и опыта СССР, невзирая на то, что в целом Советский Союз был, конечно, — прав Рейган — “империей зла”! И безусловно необходимо делать все возможное для сохранения и развития экономических и культурных связей на постсоветском пространстве.

Прошлое во имя будущего

Разумеется, история не признает сослагательного наклонения. И все же я убежден: если бы большевизм не прервал начавшийся в России процесс развития капитализма, который как “эстафета” передался отпочковавшимся от империи и недолго, к сожалению, просуществовавшим национальным государствам, то азербайджанцы, как и другие народы бывшей царской России, добились бы в своем экономическом и культурном развитии намного большего, чем они имеют сейчас. И обретя рано ли поздно — в процессе распада мировой колониальной системы — национальную независимость, образовали бы не безликое СНГ, а нечто вроде Британской лиги наций.

Советы разрушили экономическую основу демократии — частную собственность, а в дальнейшем стали даже чем-то большим, нежели “тюрьма народов”, — они сделались “тюрьмой личности”, независимо от ее социального статуса и национальности (о религиозной принадлежности и говорить нечего!).

А ведь при АДР мы имели:

— еще не разрушенные (несмотря на Бакинскую коммуну) традиции частной собственности и национальную буржуазию;

— национальную идеологию (мусаватизм), уже получившую определенное развитие;

— национальную элиту;

— стремление к сохранению традиционно хороших отношений с Красной Россией, наряду с налаживанием межгосударственных отношений с Турцией, Ираном, европейскими странами;

— отдачу всех ресурсов исключительно на нужды национального развития, открытость частному капиталу, заботу об обеспечении нужд и просвещении народа, повышении уровня его культуры, отделение религии от государства без ущемления самой религии…

Сказанное, разумеется, не перечеркивает всего того, что достигнуто Азербайджаном сейчас, — нынешнюю общественно-политическую стабильность, “контракт века”, внедренные у нас новые экономические и гражданские институты западного образца. Однако не следует забывать, что процессы модернизации и вестернизации берут свое начало не где-нибудь, а во временном пространстве начала минувшего века, во времени существования Азербайджанской Демократической Республики.

Да, капитализм сто лет назад был другим, и техника добычи нефти была иной (невозможен возврат, скажем, к продаже частным лицам нефтяных участков, могущих дать фонтан, а значит — изменились способы вложения капитала и получения прибыли). Не говорю уже об особенностях геополитики и геоэкономики в век глобализации, о том, что совершенно другими стали нынче географическая и экономическая карты мира… И все же не следует забывать, что сами принципы рыночной экономики, дипломатии, межгосударственных отношений остались такими же, какими они были прежде.

Последний шанс

Итак, если сто лет назад Азербайджан переживал в полном смысле слова национальный ренессанс — экономический, политический, культурный, который можно сравнить разве что с ренессансом XII века, с эпохой Низами, — то теперь мы оказались в межвременье. Между неясным, туманным будущим и брежневско-горбачевским прошлым1.

Позади крах СССР и пятнадцать лет независимости, когда власть завоевывали поочередно:

— национал-демократы (их историческая роль состояла в том, чтобы дистанцироваться от Москвы и сломать советскую государственную машину);

— партократы (их роль заключалась в консолидации власти вокруг раздела собственности и в установлении стабильности с помощью авторитарных методов);

— национал-государственники (их роль — в обеспечении перехода к государственному строительству демократическими методами с приоритетом общенациональных задач).

То есть на нынешнем витке истории национал-демократы, по сути дела, вновь возвращаются к власти, но уже в новом качестве. Речь идет не просто о смене политических поколений — о смене исторической задачи.

Взглянем однако, кто они, эти неодемократы (“государственники”) и как они понимают (я не говорю — исполняют!) эту задачу.

Увы, государство и общество не только в Азербайджане, но и на всем вообще постсоветском пространстве не стали “сообщающимися сосудами”: укрепление государственности направлено фактически на подавление, а не на развитие общества. Увы, наше общество, не став гражданским, не способно противостоять давлению и так же бессильно, как и во времена СССР. Нынешние же “государственники” укрепляют не государство в себе, а себя в государстве — вот в чем беда! И происходит это, повторю, не только у нас…

Азербайджан оказался частично в прошлом, частично в будущем. Смена поколений у власти, увы, не привела к смене исторической задачи.

Тут можно винить власть, можно — оппозицию, можно говорить — а готовы ли к этому мы сами.

Но главное, с учетом сегодняшних реалий (и эта мысль не только моя), зависит от политической воли власти. Надежды на перемены к лучшему, хотя и слабые, еще остаются. Но если перемены не произойдут, то дальнейшая наша судьба будет зависеть вновь целиком и полностью от народной воли, как это было в начале 90-х годов прошлого века, — с новыми потрясениями и новыми страданиями, новой болью…

Такая перспектива реальна. И если президент Ильхам Алиев не использует нынешний, по существу последний исторический шанс для того, чтобы оздоровить, наконец, власть, избавив ее от коррупции и монополизма, и не направит

свою деятельность целиком на интересы общества, то Азербайджану — скажем прямо! — уготована судьба наибеднейших, несмотря на богатые природные ресурсы, стран — судьба Нигерии.

И еще. Ильхам Алиев — первый на постсоветском пространстве (и не последний, как считают эксперты) наследственный президент. Ничего страшного в этом лично я не вижу. Подобные прецеденты были и в Америке, а в некоторых странах демократической Европы, как известно, сохранился даже институт монархии — правда, конституционной. Почему бы не быть сходному институту и у нас? Единственное обязательное условие — “коронованные” персоны должны стать, так сказать, “справедливыми царями”, желающими блага своему народу, а не самим себе и своему окружению.

“Мы — с вами, если вы — с нами” — так была озаглавлена статья одного из бакинских интеллигентов, полных энергии и идей, но пребывающих — не по своей вине — вне власти3. А забастовавшие работники пункта по наполнению баллонов жидким газом, расположенного около дороги в Бакинский аэропорт, по которой регулярно проезжает президентский кортеж, начертали лозунг: “Президент, помоги нам!”. И хотя дело кончилось тем, что президентская охрана арестовала, а затем отпустила работников пункта, сам по себе этот призыв примечателен. Народ разуверился и во власти (в чиновниках), и в оппозиции (одни и те же старые лица) и если чего-то ждет от кого-либо, то разве что от президента!

Что ж, “реформы сверху” — не худший из вариантов. Таковые (плохие или хорошие) случались и прежде, но… В наши дни они благотворны только при одном совершенно непременном условии. А именно, чтобы “верхи” прониклись пониманием неизбежности триады: частная собственность — гражданское общество — демократия. Неизбежности не только для “низов” — неизбежности для самой власти.

И я невольно вспоминаю одного престарелого учителя из Нахичевани, которого повстречал несколько лет назад в санатории на Апшероне. Звали его Гейдар-муаллим. Держался он в стороне от нас, гулял, надвинув на брови пожелтевшую от времени соломенную шляпу и нося с собой приемник еще советского выпуска. Иногда он останавливался возле нашей компании и, обронив одну и ту же, неизменную фразу: “Кому нужна независимость? Президентам!”, продолжал прогулку. Мы не раз пытались вызвать старого учителя на разговор, но он только слушал и кивал — мол, все это я знаю…

…Ах, как хотелось бы, чтобы независимость была нужна не только президентам, о чем говорил старый учитель, а всем нам! И еще. Как хотелось бы, чтобы мы, наконец, научились выносить из прошлого не то, что плохо, а то, что хорошо…

Баку

1 Произошедшая впоследствии дифференциация азербайджанцев по языковому принципу, по мнению доктора исторических наук Эльдара Ибрагимова, отвечала интересам Америки, заинтересованной в вытеснении России из Азербайджана (см. газету “Обозреватель” от 30 августа 2004 г.)

2 Газета “Азадлыг” от 31 июля 1993 года.

3 Газета “Обозреватель” от 30 декабря 2004 года.

# Критика

**Асад ДЖАХАНГИР**

## Глобализация или национальное: в чем выход из дилеммы?

*Асад Джахангир — главный редактор литературно-критического журнала “Кёрпю” (“Мост”), литературный критик.*

### 1. Об основных направлениях современной азербайджанской прозы

90-е годы (говоря “90-е”, мы не имеем в виду лишь хронологию, ибо у литературно-художественной мысли есть собственное время, и стрелки ее часов, порою спеша, порою отставая, могут и не быть адекватны времени историческому; в этом смысле литературно-художественные “90-е”, начавшиеся до исторических 90-х годов, продолжаются и после них) вошли в художественную мысль Азербайджана как период кардинальных изменений — как и во все сферы жизни народов бывшего Советского Союза. Закат последней великой империи мира “разбил вдребезги, как стекло, раздробленное о камень” (Анар), семидесятилетние догмы художественной мысли. Распахнулись двери в мир и хлынул поток религиозной, политической, художественной мысли, зачастую с ядовитыми и

радикальными примесями… 90-е годы были посвящены постижению и сортировке этих сложных, противоречивых, многосторонних процессов. Поэтому в развитии прозы эти годы могут быть охарактеризованы скорее как период внутренней подготовки к новому этапу, чем как новый этап. То, что литература переходного периода носит переходный характер, логично, закономерно. И поэтому заметные события в азербайджанской прозе этих лет в большей степени связаны с именами известными, нежели с теми, кто приступил к творчеству в 90-х. Это роман “Иисус, Моисей” Исы Муганны; трилогия “Площадь” (романы “Масса”, “Загробная любовь”, “Блаженство”), роман “Нарост жизни” Сабира Ахмедли; повесть “Комната в отеле”, утопические и антиутопические сказки “Белый овен, черный овен”, рассказы “Красный лимузин”, “Паника”, эссе “Ночные размышления” Анара; мемуары “От Айлиса до Айлиса”, повесть “Герань Масан” Акрама Айлисли; повесть “Знаменосец”, рассказы “Цветы красной гвоздики остались в отеле “Pera Palas”, “Звездные времена неба”, “Сары гялин”, “Карабах шикестеси” Эльчина Эфендиева; роман “Перенос”, рассказы “Селезень безводного озера”, “Белая ворона” М. Оруджа; повесть “Поезд через Гямярли” Азера Абдулла; роман “Свобода”, сюрреалистическая поэма “Толпа”, рассказы “Президент”, “Гений”, “S.V.A.C.O.” Афаг Масуд; роман “Некролог” Сейрана Сехавета; роман “Маэстро”, повесть “Гяур” и рассказ “Август” Сафара Алышарлы; многочисленные рассказы Камиля Авсароглу…

В чем характерное отличие прозы 90-х годов по сравнению с прозой 30—

50-х и 60—80-х? Советского человека (героя-революционера или трудящегося-ударника), характерного для литературы 30—50-х годов, в 60-х сменяет человек нации, а в 90-х — просто человек: индивидуум. В этом смысле ведущая линия в литературе семидесятилетнего советского периода — очищение человека от всяческих социально-политических и национальных идеологий и постепенный, но бесповоротный выход к себе, кристаллизация. Парадокс состоит в том, что этот человек, еще не успев обрести, осознать себя, начал терять себя, ибо главный герой литературы 90-х — человек, потерявший в водоворотах хаотичного мышления периода хаоса свою социальную, национальную, расовую идентичности, потерявший самого себя.

Не только в прозе 60-х, но даже в прозе 30—50-х проблема индивидуальности человека в той или иной мере находила свое отражение. Здесь речь о доминировании ведущей тенденции. Если в самых типичных образцах азербайджанской прозы 30—50-х годов (Абульгасан, С.Рагимов, М.Гусейн, М.Ибрагимов, А.Велиев), на которую в значительной степени повлияли Н.Островский, Д.Фурманов, Н.Серафимович, М.Шолохов, главной была большевистская борьба “передового” индивида ради угнетенного, обездоленного социума, против внешних “врагов” и внутренних “антисоветских чуждых элементов”, то в прозе 60—80-х годов борьба человека с самим социумом, против социальных догм и общественных табу выходит на передний план, идею социально-политической свободы заменяет идея индивидуальной, моральной, внутренней свободы, соцреализм уступает свое место различным “измам” (скажем, экзистенциализму). Порою эта борьба переносилась во внутренний мир индивида, заменялась отчуждением человека от самого

себя и, как в повести Анара “Контакт”, окутывалась ореолом психологической фантастики либо, как в рассказах Эльчина, появившихся в конце 80-х, принимала абсурдный характер. Все это, в сущности, могло служить подтверждением мыслей об абсурдности попыток окольных поисков свободы. Эта тенденция нашла свое прямое, открытое выражение и превратилась в главную тему романа “Свобода” Афаг Масуд, одного из интереснейших литературных фактов 90-х годов, своим мистико-психологическим настроением созвучного магическому реализму Маркеса. Эйфория свободы выплеснулась наружу из глубинных пластов подсознания и перешла в плоскость открытого, ясного осмысления.

Такие прозаики, как К.Афсароглу, С.Алышарлы, Э.Аллязоглу — “промежуточное звено” между прозаиками 60-х и 90-х годов. Главная особенность этих прозаиков, вышедших в большинстве своем из деревни, — превращение их в писателей абсурдной беспространственности, из-за того, что они не смогли принять город. Например, музыкант — герой романа “Маэстро” С.Алышарлы — и к городу не смог приспособиться, и к деревне относится с неприкрытой иронией, и это обусловливает его трагедию. Хотя в колоритно написанных повестях “Последний падишах сумасшедших”, “Умный безумец”, “Обвинение” и многочисленных рассказах (“Слепой колодец”, “Бритва”, “Между сном и явью”, “Трещина”, “Собакокрад”, “Внезапная весть”, “Вечернее представление”, “Насурьмленная девушка”, “Русская свадьба”) К.Афсароглу и ощущается скрытая ностальгия по деревне, по ее антиурбанистической духовно-нравственной атмосфере, ради критики антигуманистической сущности антисоветского режима писатель в качестве места действия выбирает именно деревню.

В психологически тонких рассказах Эйваза Аллязоглу, собранных в его книгах “Мертвое лето” и “Спящие динозавры”, сталкиваются традиции классика азербайджанского рассказа М.Джалила, поиски современной прозы и даже опыт киноискусства. В основном это бессюжетная проза. Что, по-моему, вызвано специфическим отношением Эйваза Аллязоглу к жизни: “Надо чем-то сделать жизнь интересной, пускай даже лживыми праздниками, лживыми слезами. Будто живем, будто дышим” (“Прогулка”). И автор превращает отражение, как кинолента, “серой”, однообразной, самой обычной жизни в главнейшую цель.

Герои Эйваза Аллязоглу, как правило, живут в материальной нужде, могут красть соседскую курицу, чтобы встретить пожаловавшего к ним гостя (“Угощение”), способны пойти на кражу скота (“Вернулись с пустыми руками”), но еще больше они задыхаются от моральной нужды, во внутреннем духовном застое, в этом “сером” мире они пытаются найти утешение в обращении к первозданной чистоте любви и природы (“Дождливые воспоминания”), в возвращении к воспоминаниям детства, “когда в мире царил порядок”, а когда из этого ничего не выходит, приходят к абсурду — решению сделать жизнь интересной с помощью интриг, дрязг и споров: “В этих спорах было нечто, напоминающее спорт, это “нечто” придавало смысл нашей серой, однообразной жизни,

делало ее интересной” (“Тяжесть лет”). Самое сложное для его внутренне одиноких, беспокойных, скучающих героев — умение жить в этом неинтересном мире: “Умение просто жить стало чуть ли не геройством, мужеством” (“Семь платанов”).

Для пессимистичных героев писателя, бессильных перед судьбой, и в детство и прошлое — единственно родное, в духовном смысле, время — путь закрыт, так и на будущее особой надежды нет, единственный выход — уход во внутреннее, нравственное очищение через слезы, взгляд на жизнь с высоты, философское отношение к тому, что было и прошло.

В прозе Яшара, особо выделяющегося своим талантом среди писателей этого поколения, автора книги “Семь рассказов”, очевидны попытки выхода из социальной проблематики классической прозы и прозы 60-х годов. Яшар преподносит ситуации из деревенской прозы 60-х годов (например, А.Айлисли), опираясь на художественный опыт латиноамериканской прозы, Г.Г.Маркеса и Х.Рульфо. В основе его рассказа “Похороны” лежит не болезненность, которую исследовала проза 60-х, а безболезненность смены родной деревни на притягательный город, то есть основная духовно-нравственная проблема человека XX века — синдром отчуждения. Герой рассказа получил высшее образование в городе, уже десять лет как создал семью, забыл оставшихся в деревне отца, мать и сестру, которой он в детстве выбил камнем глаз и ослепил судьбу. Однако, превратившись из простого деревенского паренька Юсифа в уважаемого Юсифа Джалилова, он потерял свою человечность, забыл человеческий, сыновний, братский долг. Однажды Юсиф получает телеграмму: “Завтра похороны, приезжай поскорей” — и думает, что умерла его мать, но по приезде в деревню узнает, что умер отец, к тому же месяц назад. Тогда он окончательно хоронит не только отца, мать, убитую им мысленно десять лет назад, морально убитую сестру, но и все, что привязывало его к прошлому. Но как все умерли для него, так и он умирает для всех, и даже для себя. В отличие от героев А.Айлисли, внезапно пришедшая телеграмма, трагедия

сестры — старой девы, одиночество старухи матери не пробуждают Юсифа. Жестокая реальность берет верх над романтико-сентиментальной верой в духовное возрождение. Свойственная деревенской прозе философия надежды — надежды на то, что отцовский очаг защитит от морального падения, пробудит в человеке светоносное начало, — аннулируется. Пространство детства не пробуждает в Юсифе мудрого ребенка. Весть о смерти приводит Юсифа в деревню — и деревня говорит ему о том, что он умер, он умирает вместо того, чтобы ожить.

Герой рассказа — воплощенное самопознание зла. “Похороны” — одна из удавшихся, пусть и с трепетом и дрожью, встреч со злом в прозе — после соцреализма, видевшего все “в свете” нефтяных вышек либо колхозных столбов. Лихорадочная атмосфера в рассказе

рождается от внутренней чуждости автора злу. Он видит зло, признает его победу, но не хочет его принимать.

Шестидесятники видели корень жизненных проблем в социальной сфере. Рассказ “Похороны” — попытка перейти к новой прозе с асоциальной (метафизической) проблематикой. Однако проза, хотя и хоронит социальную проблематику “старой” прозы, как Юсиф, “похоронивший” отца, не достигает проблематики с новым назначением (теряет землю, а небо не постигает) и, никакой опоры себе не найдя, скатывается в абсурд.

То, что творчество писателей, вошедших в литературу в 80-е годы, не стало новым этапом в ее развитии, обосновывается тем, что они не отделились полностью от прежней литературно-эстетической системы и не усвоили полностью новую эстетику, оставшись в абсурдной неопределенности между ними.

Радикальные революционные изменения, произошедшие в жизни Азербайджана (и в жизни народов бывшего СССР вообще) в 90-е годы, — падение социалистического режима, приобретение национального суверенитета, переход от однопартийной системы к многопартийной, от планового хозяйства к рыночной экономике, острое внутриполитическое противостояние плюс Карабахская война — оказали сильное влияние на духовность людей и на литературу — зеркало этой духовности. Лжепатриотический пафос, “светлая” коммунистическая патетика о труде, равенстве, братстве и счастье, идеи декларативной дружбы народов, романтика героизма на манер Александра Матросова и Герая Асадова рухнули так же, как и плакаты, украшающие все, начиная с дорог вдоль хлопковых полей и виноградников и до улиц больших городов. Литература, лишившаяся официальных идеологических подпорок, осталась лицом к лицу с жесткой жизнью, с людьми, потерявшими голову от горестей, и Богом. Эстетические идеалы, связанные со светом, добром и красотой, в особенности у представителей молодого поколения, уступили место мраку, злу и антиидеалу уродства. Литература, лишившаяся одновременно социального статуса и многомиллионной читательской массы, отказавшись от претензий на роль воспитателя, вынуждена была отступить в уголок. Пошла на убыль прежняя вера в слово писателя. В связи с переходом на рыночную экономику немыслимо упали тиражи книг. Литература стала личным делом писателя и читателя. Именно в этот период вошли в литературу такие писатели, как Рашад Меджид, Эльчин Гусейнбейли, Орхан Фикретоглу, Гюнель Анаргызы, Ильгар Фехми, Гамид Херисчи, Мурад Кёхнегала, Балахан, Самир Садагятоглу, Халид Шюрюк.

Характерная для прозы 60-х вера в то, что с изменением социальной среды исправится и человек, не характерна для писателей этого поколения. Далекое от всякой сентиментальности признание победы в современном мире, вне зависимости от желания человека, зла над добром, критика пропагандируемых на протяжении десятилетий

притворного национализма и фальшивого патриотизма, падение художественно-романтической парадигмы, превращение многозначительной самоиронии и иронии к окружающим в способ художественно-профилактического лечения духовно-нравственных болезней общества, отказ от традиционных сюжетов, повествования и характеров — главнейшие идейно-художественные положения их творчества. Все это, без сомнений, должно осознаваться как художественно-эстетические проявления тотального невроза и психоза, обусловленных национально-освободительным движением, внутриполитическим противостоянием, войной, экономическими трудностями, присущими тем годам, когда формировался литературный вкус и мировоззрение этих прозаиков. Однако достаточно беглого взгляда на их творчество, чтобы понять, что применять эти — самые общие — рассуждения в качестве абсолютного норматива к их творчеству в целом или же к любому отдельному произведению ошибочно. Ибо нет всеобъемлющей теоретической мысли. Кроме того, в отличие от шестидесятников, в теоретико-эстетическом аспекте ясно осознающих, чего они хотят, в основном выступавших с единой теоретико-эстетической платформы, для художественно-эстетического мироощущения поколения 90-х характерна разнородность, даже бессистемность.

Помня о том, что всякая классификация условна, я бы все же попытался разделить писателей этого поколения на несколько групп.

Для таких прозаиков, как Р.Меджид и Г.Анаргызы, характерно продолжение традиций национальной прозы, в особенности прозы 60-х годов.

Вступивший в литературу в конце 80-х–начале 90-х годов как поэт, а впоследствии более известный как издатель, возглавляющий один из самых влиятельных печатных органов республики — “525-ю газету”, — Рашад Меджид в своем рассказе “Таксист поневоле” (“10 сентября”) с точки зрения противостояния добра и зла стоит на противоположном Яшару полюсе, он выносит на передний план светлые стороны человека или нации, выражает свою веру в победу света над тьмой, добра над злом.

Рассказ построен на любопытном происшествии. Полная материальных затруднений жизнь человека, работавшего в советское время инженером на заводе, который закрылся в эпоху независимости, ради пропитания занявшегося извозом. Ситуация усугубляется тем, что средняя его дочь заболевает и попадает к врачу. Чтобы заплатить хирургу, недостает 50 долларов. В это время судьба — в обличии случая — приходит ему на помощь: двое американцев — мужчина и женщина — садятся в такси, женщина забывает сумочку с 1600 долларами. Таксист возвращает сумочку — с надеждой, что получит с них 100 долларов, решит проблему, но не получает ничего, кроме “sah oll!”1 .

Автор детально сопоставляет таксиста, его жену, раньше работавшую в детском саду, открывшую в себе “дар” прорицательства, детей, коллег таксиста, один из которых в советское время был врачом, другой ученым, третий коммерсантом, и уплетающего за обе щеки пахлаву американца и его жену, ценящую собаку выше человека. (На деньги, забытые в такси, американцы планировали купить собаку.) В противоположность постепенно усиливающейся в период независимости тенденции американофильства писатель отдает преимущество бедному, но духовно богатому таксисту, его семье и друзьям, то есть своей нации. Однако пафос рассказа не только в его патриотическом духе, но и в солидарности с многовековой народной верой в то, что “Бог смотрит с неба”, что в изображенные педантично реалистичным языком события вмешалась “ирреальная” сила. Оптимистический тон рассказа также определяется тем, что Рашад опирается на эту многовековую веру.

В рассказе “Дерево” Гюнель Анаргызы, посвященном резне, учиненной 20 января 1990 г. в Баку, любовь азербайджанского парня и армянской девушки описывается в символико-аллегорическом стиле. Однако автор, взяв своих Адама и Еву за руки, незаметно спускается из “райского сада”, где растет дерево, наземь — к реальности… Герои Анаргызы напоминают Ромео и Джульетту. Но они представители не враждующих родов, а воюющих наций. Во время резни в Баку парень прячет у себя дома любимую девушку и ее бабушку. У старой бабушки, пришедшей в ужас от происходящего в городе, не выдерживает сердце, и она умирает. Девушка заявляет: “Моя бабушка умерла по вашей вине. Вы, отняв наши земли, уничтожили наш народ. Поэтому я вас ненавижу… И тебя ненавижу”, — и плюет в парня, тем самым ставя национальные интересы, интересы Родины превыше любви. Девушка умирает — несчастный случай. А парень — как Ромео — по-настоящему любящий ее, вешается на столетнем дереве — “свидетеле” армяно-мусульманской “любви”. Отметив семь дней с его смерти, мать парня дает поручение срубить дерево, — “виновника” трагедии…

Кто прав? И кто виноват? Анаргызы преподносит античную, классическую, романтическую дилемму — государство, нация, закон или сердце, любовь, человек? — в абсолютно реальном ракурсе, далеком от пафоса лирической страсти, парадигмы романтической любви.

Однако отношение Анаргызы к произошедшей трагедии далеко и от примитивной однозначности. Как Иисус в наказание за “преступление”, совершенное Адамом и Евой под Райским деревом, был распят на кресте, изготовленном из дерева, так и любовь парня, начавшаяся под деревом, завершается его повешением на нем. Такой ракурс превращает парня из обычного азербайджанского юноши, повесившегося из-за армянской девушки, в обобщенный образ МУЖЧИНЫ, идущего на жертву — от Адама и до Иисуса — ради женщины, любви и жизни. Срубленное деревО означает самоуничтожение человека, вне

зависимости от национальности, а ГРЕШНИК, вне зависимости от национальности, возраста, пола, — это ЧЕЛОВЕК.

Эльчин Гусейнбейли и Ильгар Фехми особо выделяются как интересом к литературно-эстетическим новшествам, плодовитостью, так и обращением к таким объемным жанрам, как повесть и роман. Гусейнбейли, бравший тему для своих первых рассказов из деревенской жизни, получил высшее образование в Москве, Фехми, хотя и является прекрасным знатоком классической восточной литературы, связан неразрывными нитями и с современной европейской и русской прозой. Наверное, потому их творчество синтезирует в себе “новаторство” и “архаику”. В отличие от писателей предыдущих десятилетий, они стараются быть более “искренними”, глубже прорабатывать запретные сферы. Однако, в отличие от многих сверстников, им чужд и чрезмерный радикализм. Видимо, поэтому их творчество встречается спокойно, не вызывает общественного раздражения в плохом смысле этого слова.

Эльчин Гусейнбейли, до последних двух лет знакомый нам в качестве автора книги “Танцующий мальчик”, состоящей из лирико-иронических рассказов, такими своими романами, как “Вокруг тутового дерева”2, “Человек-рыба”, “Чайки-чернобыльники”, — потенциальный романист.

Прозу Эльчина выстраивает синтез — синтез смеха и слез, трагизма с комизмом, национального с глобальным, сна с реальностью, природы с человеком, романтики с реализмом, эстетизма с антиэстетизмом и т. д. Устами Мухаммеда, героя романа “Вокруг тутового дерева”, писатель раскрывает эту особенность своего литературно-художественного мышления: “…Течения искусства, к которым принадлежали Шишкин и Пруст, были совершенно различными. Один — реалист-натуралист, другой — романтик-импрессионист, и если вы справедливо подойдете к делу, увидите мое желание объединить как минимум их обоих”.

Для романов Эльчина характерен поиск корней современных духовно-нравственных проблем в глубоких исторических пластах. Любовь Мухаммеда и Айши — учащихся в Москве героев романа “Вокруг тутового дерева” — уничтожает окаменевшая, стереотипная, превратившаяся в утратившие срок годности догмы “мусульманская мораль”. Не случайно герои романа названы именами основоположника ислама Мухаммеда и его любимой супруги. И в романе “Человек-рыба”, встреченном с особым интересом, главная — древнейшая тема борьбы мужчины за женщину. У журналиста, известного антидемократическому режиму как автор статей демократического толка, отнимают с помощью тестя и шурина его любимую жену. Журналисту, начавшему борьбу ради женщины, желающему утвердиться как мужчина, все общество, управляемое каким-то невидимым “шефом”, знакомые и незнакомые люди советуют поднять “белый флаг”.

Шеф, плетущий интригу против человека, желающего сохранить внутреннюю свободу, независимость, мужество, становится олицетворением самой Судьбы из древнегреческого мифа и не хочет отдать Елену Менелаю. В отличие от древнего мифа сражение завершается победой троянцев: журналист, с коварным умыслом отправленный шефом на рыбалку, в результате фантасмагорической метаморфозы превращается в рыбу, начинает плыть по течению. Еще одна личность растворяется в социуме. И роман завершается финалом, подтверждающим идею: “зло всегда побеждает”.

“Песнь волка”, задуманная как триптих, посвящена уже теме карабахской войны и человеческой теме. Автор завершил пока две части триптиха — “Пленники” и “Старик” — и характеризует их так: “Песнь волка” — идеологическое произведение. В первой части изображается непостижимость войны. Вторая часть — показатель нашего недавно начавшегося самопостижения и поражения”.

Ильгар Фехми — один из самых молодых представителей современной азербайджанской прозы, начинал как поэт, он автор сборника стихов “Смерть прекрасна или ты?”. Фехми выделяется среди молодых прозаиков тем, что хорошо знаком как с классическими восточными, так и современными европейскими литературными традициями. Своеобразный синтез в его прозе восточного духа и западной писательской техники дает возможность говорить о многообещающих перспективах его как писателя.

Благодаря произведениям, созданным по мотивам национального героического дастана “Кероглу”, его сравнивают с Борисом Акуниным, автором циклов романов. Из этого цикла у Фехми вышла в свет повесть “Ченлибельская лисица”, главным героем которой он сделал одного из отрицательных персонажей дастана “Кероглу”, Плешивого Хамзу, и роман “Воронье гнездо”, где сплелись образы и мотивы, взятые из истории Сефевидов XVII века и народного дастана, а также повесть “Актриса”, в которой органично увязаны мелодрама и детектив. Читательский интерес вызвал также “Коллаж из истории Баку”, публикующийся по частям в прессе и написанный примерно в том же жанре, что и “Биография Лондона” Питера Акройда или “Стамбул” Орхана Памука. Автор стремится запечатлеть, сохранить в памяти образы и речь типичных бакинцев, постепенно становящихся все более похожими на “последних могикан”, и неповторимый колорит Баку.

Новая проработка известной и популярной темы современными методами, деконструктивное отношение к классической традиции, подкладывание под традиционный детективный сюжет, отработанный до мельчайших подробностей, не характерных для этого жанра философских смыслов, двойная кодификация — то есть нацеленность художественного текста на вкус и мышление как интеллектуальной элиты,

так и массового читателя дает возможность охарактеризовать творчество Ильгара Фехми как образец умеренного постмодернизма в азербайджанской литературе.

В текстах представителей крыла радикальных новаторов — Г.Херисчи, М.Кёхнегала, Балахана, Х.Шюрюка, С.Садагятоглу и других — бросается в глаза их чрезмерный антиэстетизм. Представители этого крыла, тяготеющие к уродливым и темным сторонам жизни, не к ангельскому, а к дьявольскому лицу человека, пытающиеся по-оппортунистски препарировать классиков, начиная с гения азербайджанской поэзии Физули и заканчивая великим мастером рассказа XX века Мирза Джалилом, недолюбливающие классиков советского периода и шестидесятников, в качестве литературного эталона для себя принимают мышление и стиль французского писателя Ф.Селина, современного турецкого писателя О.Памука, из русских писателей — В.Сорокина и Э.Лимонова. Они пытаются написать “черную книгу” родины и нации, вообще человека. Взявшие за основу постмодернистское мировоззрение и стиль радикалы принимают это направление, состоящее из сложных и разнообразных течений, однозначным образом — как эпатаж, стоят на позиции полного отрицания литературных традиций, прошедших сквозь века, пытаются придать массовый характер криминогенным ситуациям, экзотическим жизненным явлениям, превратить кровь и секс в лейтмотив художественного текста. Сторож кладбища Гриша — герой рассказа Балахана “Санитар”, выкопав из могил свежезарытые трупы, варит их в кастрюле и устраивает ужасный пир своим любимым свиньям. Автор подходит к этому в невыразимой степени гадкому делу с парадоксальной логикой, придает этому акту символический смысл “санитарии” не только того, что под землей, но и того, что происходит на ее поверхности, — социально-политических проблем.

С.Садагятоглу в повести “Патологоанатом”, написанной с нарративом символико-психологической прозы, пытается изобразить морг как аллегорическое пространство общества. Герой повести, занимающийся патологоанатомией, являет собой аллегорический образ хирурга, оперирующего труп общества. М.Кёхнегала в фантасмагорической повести “Штопальщик облаков”, главными героями которой он сделал своих детей Зейнеб и Мустафу, объявляет падение романтической парадигмы. Повесть написана от лица ребенка. Однако, хотя события схвачены детским взглядом (и репрессии 37-го года, и современные социально-политические проблемы), повесть написана в “жанре” мультфильма для взрослых. Самый общий настрой ее, пусть и косвенно, но доказывает бессмертность романтического мышления и эстетических идеалов, которым автор вынес смертный приговор: взрослые, чтобы избавиться от социально-политических ужасов, льнут к детям, мужчина льнет к своим детям, считающим своего отца сильнее всех на свете. И в итоге последним укрытием для человека, избегающего общества наподобие отшельника, становится не только мир детей, но также и романтизм — мир детства рода человеческого.

Г.Херисчи, сделавший своим главным кредо замещение художественно-эстетического творчества антиэстетическим “разрушением”, выступающий как главный идеолог и теоретик радикалов, в своих многочисленных выступлениях по телевидению и в интервью провозглашает мефистофелевское начало и антигуманизм философии Ницше философско-эстетической основой своего “разрушения”. В романе “Некролог” он выносит “смертный приговор” “старому” миру и образу мышления. Гамид, выражающий свое “деконструктивное” отношение к морали и мировоззрению то азербайджанской женщины — в лице Тахмины, героини романа Анара “Шестой этаж пятиэтажного дома”, то восточного мужчины — в лице Джахандараги, героя романа Исмаила Шихлы “Буйная Кура”, даже делает шаг “вперед” по сравнению с Ф.Селином: его отвергнутые обществом, окончательно запутавшиеся, болезненные, нигилистические герои нападают даже на метафизические основы современных парадоксов. И естественно, что все эти попытки завершаются “фиаско”: ибо “разрушение” метафизики в понимании азербайджанца требует сперва ее восстановления.

Азербайджанские “необольшевики”, всеми своими “пролеткультовскими” попытками превратившие в главный принцип полноценное отражение жизни и сделавшие главной целью вынесение азербайджанской литературы на мировые меридианы, не смогли достичь своей цели. Ибо пропорции “белого” и “черного” в их разумении на этот раз нарушаются в пользу “черного”, и идеальное равновесие не возникает, наоборот, еще резче бросается в глаза комплекс “неполноценности”. Мне кажется, что один из лидеров-шестидесятников — Анар в своем последнем произведении “Белый овен, черный овен” в большей степени смог достичь этого равновесия. А что касается выхода к мировой литературе, то их произведения, если воспользоваться популярным у нас выражением, не перешли даже по ту сторону Баладжары.

Сегодня азербайджанская литература, в том числе проза, решает глобальную дилемму: быть верным в ускоренно глобализирующемся мире многовековым литературно-художественным традициям, или, закрыв на все глаза, броситься в пасть этого монстра глобализации. Оставим результат на волю времени. Но, по-моему, как и всегда, оптимальное решение и этой дилеммы может выпасть на долю тех, кто найдет золотую середину.

## 2. Об исторических корнях и современной панораме азербайджанской поэзии

Корни современной азербайджанской поэзии уходят самое меньшее на 1500 лет назад — в древнетюркскую поэзию. Первые образцы этой поэзии, считающейся общим культурным

достоянием тюркских народов, остались в четверостишиях и двустишиях, собранных в “Диване” (1072) великого энциклопедиста Махмуда Кашгарлы. Четверостишия, которые поют озаны, играя при этом на гопузе, — это в основном героические песни и образцы любовной лирики, а двустишия — стихи с дидактическим содержанием. Чучи, упоминаемый в “Диване” М.Кашгарлы, — первый тюркский поэт, чье имя нам известно.

С принятием ислама, возникновением общемусульманской культуры азербайджанская поэзия разделяется на два направления.

1. Классическая поэзия дивана, состоящая из таких жанров, написанных в размере аруза, как газель, касыда, рубаи, кита и др., и представленная в VII—VIII веках арабоязычными (Муса Шехеват, Исмаил ибн Яссар и др.), а с XI века — персоязычными азербайджанскими поэтами (Гатран Тебризи). Эта традиция, достигшая в XII веке своего Ренессанса (М.Бейлагани, Ф.Ширвани, И.Ширвани, А.Гянджеви, М.Гянджеви, Хагани, Низами и др.), по инерции длится до XX века. Хагани, автор блистательных касыд, написанных в витиеватом стиле, считается выдающимся мастером этого жанра восточной поэзии. А творчество Низами, который в своей “Хамсе”, состоящей из пяти дастанов-поэм, заложил основу традиции романа в стихах, своими эстетическими особенностями (сюжет, повествование, человеческие характеры) и такими жизнелюбивыми идеями, как создание справедливого общества, свободная любовь, вера в силу человеческого сознания и воли, выйдя за рубежи Азербайджана, влияет на литературу Ближнего и Среднего Востока, указывая ей направление.

С наступлением нового тысячелетия начинается регионализация и национализация общетюркской литературы. Любовная газель “Сердце мое забрала…” пера Гасаноглу (XIII) — первое известное нам стихотворение, написанное на национальном языке. Имадеддин Насими, которого по приказу халебского эмира казнили, содрав с него кожу, из-за “еретических” стремлений в его стихах, своей сектантской поэзией, воспевающей величие человека, закладывает основу философской газели в азербайджано-тюркской поэзии. Поэтический мир Насими, где человек становится главным героем, созвучен идеям гуманизма и человеколюбия, начавшим широко распространяться в европейской мысли с XIV—XVI веков. Традиция сектантской поэзии с религиозно-философским содержанием еще продолжается в творчестве Шаха Исмаила Хатаи (XVI), Сеида Абулькасима Небати, Сеида Нигяри (XIX), но все же постепенно слабеет и гаснет, соответствуя человеческому сознанию, от века к веку делающемуся более материалистичным. В творчестве Кази Бурханеддина и Джаханшаха Хегиги (XIV) — оба были главами государства и обладали ярким талантом полководца — поэзия дивана, написанная на национальном языке, настраивается на характерные для древнетюркской поэзии воинственные ноты. Творчество Мухаммеда Физули (XVI век), писавшего на трех языках (арабском, персидском, тюркском) в эпическом, лирическом, драматическом жанрах на научные, религиозные, философские темы (в особенности — с лирическими

газелями о платонической любви и поэмой “Лейли и Меджнун”, написанной в ответ Низами), мощный финал традиции классической поэзии, ее почти тысячелетней истории. Во второй раз после Низами азербайджанская поэзия демонстрирует силу своего влияния на литературу народов Ближнего и Среднего Востока. Хотя поэтические традиции Физули и продолжаются на протяжении веков в творчестве Гёвси Тебризи (XVI), Саиба Тебризи (XVII), Сеида Азима Ширвани, Хуршудбану Натаван (XIX), они уже так и не могут подняться до уровня Физули, постепенно утрачивая свои функциональные возможности, а в творчестве Алиага Вахида (XX) превращаются в анахронизм. В этом смысле переход современных молодых авторов, начинавших с жанров классической поэзии дивана (например, Ильгар Фахми, автор книги стихов “Смерть прекрасна или ты?”, 2002), на прозу — и даже на постмодернистскую прозу — соответствует логике времени.

2. Силлабическая поэзия на национальном языке, оставившая свои самые древние следы в художественных образцах, помещенных в “Диване” М.Кашгарлы. Начиная с XVI века эта линия азербайджанской поэзии постепенно усиливается. То, что Шах Исмаил наравне с образцами классической литературы дивана пишет баяты, варсагы, гошмы, держит в своем дворце ансамбль озанов, состоящий из сотни искусных мастеров, оказывает большое влияние на оживление стиля народной поэзии. Появляются такие сильные народные мастера–ашуги, как Гурбани (XVI), Ашуг Аббас Туфарганлы, Сары Ашуг (XVII), Хесте Гасым (XVIII) и Ашуг Алы (XIX), наконец, эта линия достигает своей вершины в творчестве великого новатора народной поэзии Ашуга Алескера (XIX—XX). В творчестве М.В.Видади, М.П.Вагифа (XVIII), Г.Закира (XIX) формы народной поэзии приходят в письменную литературу.

Под влиянием идей великого реформатора азербайджанской художественно-философской мысли Мирза Фатали Ахундова со второй половины XIX века начинается переход с территории общевосточной культуры на территорию европейской культуры. Но в начале XX века, с установлением советской власти, и традиция романтической поэзии (Г.Джавид, М.Хади, А.Саххат, А.Шаиг), формирующейся под сильным влиянием турецкой литературы (А.Гамид, Т.Фикрет, Н.Кемаль), и традиция сатирической поэзии (М.А.Сабир, М.Мюджус, А.Гямкюсар, А.Незми), выступившей как своего рода пародия на мировосприятие классической поэзии дивана, обрываются. Романтическая пышность сценических произведений Г.Джавида, своей драмой “Мать” (1910) заложившего основу азербайджанской стихотворной драматургии, оказывает серьезное влияние на возникновение стихотворной драматургии Самеда Вургуна. Традиция сатирической поэзии Сабира с ее относительным ослаблением коммунистической идеологии, видящей все в свете лампочек, повешенных на колхозные столбы, постепенно восстанавливается в стихах Р.Ахмедзаде, Р.Забиоглу, а после 90-х годов — в стихах Б.Пунхана, А.Гурбанлы.

Литераторы, вступившие на творческий путь в годы советской власти и находящиеся под влиянием идей пролеткульта, с 30-х годов делятся на два направления: “силлабисты”

(С.Рустам, М.Мушфиг, М.Рагим, О.Сарывелли, в особенности С.Вургун), являющиеся продолжателями традиций Вагифа, и сторонники свободного стиха (М.Рафили, Р.Рза, А.Фаруг), вдохновляющиеся современной европейской, русской, турецкой поэзией (прежде всего В.Маяковского и Н.Хикмета). Борьба за управление литературным процессом заканчивается в первой половине века триумфом традиционалистов. Заявляют о себе такие представители школы основоположника современного азербайджанского литературно-художественного языка Самеда Вургуна, как Б.Вагабзаде, Н.Хазри, Габиль, М.Араз, Дж.Новруз, Т.Байрам, О.Рза, А.Вефалы, а немного погодя Н.Кесеменли, М.Исмаил, С.Рустамханлы, А.Ол. Новый взлет этого стиля после творчества С.Вургуна и Б. Вагабзаде являет собой поэзия З.Ягуба, связанная неразрывными нитями с многовековой традицией народной поэзии.

С 60-х годов усиливаются позиции и возрастает число сторонников свободного стиха, объединенных вокруг Расула Рзы: А.Керим, Ф.Годжа, А.Салахзаде, Ф.Садыг, И.Исмаилзаде, Т.Абдин. Следующий этап модернистской поэзии связан с творчеством Ч.Алиоглу и А.Мирсеида. Представители “третьей силы” (В.Самедоглу, Р.Ровшан, В.Б.Одер) опираются по форме как на народную, так и на модернистскую поэзию. Эта поэзия возникла как продолжение в новых исторических условиях, с одной стороны, передовых европейских традиций, с другой — традиций классической поэзии дивана, в особенности Физули, и явила собой естественное разрешение почти полувекового антагонизма между традиционалистами и новаторами. Пренебрежение общественно-политической тематикой, “гражданской поэзией”, сосредоточение основного внимания на человеке и его внутреннем мире, отказ от лживой надежды на “светлое будущее” коммунизма, превращение темы скорби и смерти в главный предмет размышлений возникают в их творчестве как протест против трафаретов соцреализма. Наиболее сильное влияние на молодых авторов, пришедших в поэзию в 70—90-х годах, оказывает поэзия Рамиза Ровшана.

Современная азербайджанская поэзия развивается также и под влиянием передовых традиций европейской, и в особенности турецкой и русской поэзии. На сегодняшний день в азербайджанской поэзии существует несколько ведущих направлений: поэзия реалистическая, романтико-символистская, модернистская и постмодернистская.

Реалистическая поэзия, продолжающая традиции национальной поэзии и представленная прежде всего Алисамидом Кюром — поэтические книги “Кентавр”, “В поту и крови”, “Реки, вышедшие из русла”, (2005), Гашамом Наджафзаде — “Поправка к книге моей жизни”, (2001), “И прочее”, (2004), Эдалетом Аскероглу — “Люди, не потерявшие свой завтрашний день”, (2003), Ильхамом Гахраманом — “Цветок мой превратился в мяту”, (1998), “Лебедь, не плачь”, (2002), Мубаризом Месимоглу — “Закрытая дверь”, “Ради красного словца”, “Тираны — не тень Творца”, (2004), выделяется социальной проблематикой, естественностью языка, наличием сюжета и живых характеров.

Национально-освободительная борьба, карабахская война, потеря родной земли, любовь к родному краю, трагедия шехидов и беженцев, протест против социальной несправедливости, призыв к общенациональному политическому единству и национальному самосознанию, бытовые трудности, рожденные переходом на отношения рыночной экономики, — основные темы этой поэзии.

Я видывал однажды сапоги

убитого солдата.

Они стояли прямо,

еще храня телесное тепло,

пред памятью покинувших их ног.

О смерти человека говорит

красноречивее всего обувка

и потому колечко обручальное

на пальце, нажимающем курок,

молит всякий раз отчаянно:

не тычь меня в железо!

Чего солдат в окопе натерпелся —

спроси у ног.

Морщины кожи —

меты напряженья

и бурь, бушующих в душе.

Словом, обувь —

печальнейшее фото человека,

его клише.

(Г.Наджафзаде “Обувь”)

Среди вступивших в ряды носителей традиции символистско-романтической поэзии можно назвать имена талантливой поэтессы Басти Алибейли, автора книги “Тень одинокой свечи” Ализаде Нури, Васифа Сулеймана — автора книги “Стань любовью, приду тебе поклониться” (2003), Гулу Агсеса — автора книги “Каждое место — это ты” (2002), Сехер — автора книги “Дыхание души” (2003). Для творчества этих поэтов, язык, интонации, ритм, мир образов которых сформировались в первую очередь под влиянием знаменитой троицы 60—70-х годов (В.Самедоглу, В.Б.Одера и в особенности Р.Ровшана), характерна концентрация внимания на внутреннем мире человека, муках одиночества человека, забытого обществом, не находящего никого, к кому можно было бы обратиться, кроме Бога, и не надеющегося порой даже на Него, скорбь и мысли о смерти, рожденные этими муками. Многочисленные общественно-политические, военные события 90-х годов не становятся предметом их поэзии. Даже в своих “модернистских” опытах эти поэты остаются верны аллегорико-символистскому образу мышления.

Мало ли балконов подходящих,

Не ищи приюта у меня, касатка.

У меня чадит костер невзгод моих,

Закоптишься у огня, касатка.

Ты купалась под весенним душем

На балконе, помнишь ты, цветущем,

О потомстве думая грядущем,

Ждем беды, как западня, касатка.

Говорю тебе, поверь, во благо,

Я терплю по милости Аллаха,

Хоть во мне самом палач и плаха,

Улетай, услышь меня, касатка.

(Б.Алибейли “Касатка”)

Новаторские тенденции, возникшие в 20—30-х годах прошлого века, продолжаются в модернистском ответвлении азербайджанской поэзии, которая в годы советской власти по известным причинам подвергалась давлению вульгарно-социологической критики. Сегодня возникла благоприятная почва для ее развития. Художественно-эстетическим характеристикам этого направления больше всего соответствуют стихи Э.З.Гараханлы, А.Яшара, Д.Османлы, И.Ибрагимли, Ниджата и других поэтов.

Стихи Эльхана З.Гараханлы — автора книги стихов “Аяты сражений” (2003) — можно разделить на две группы: “древние” и “современные”. В первой автор реставрирует лексикон художественных образов, собранных в “Диване” М.Кашгарлы и древнетюркской поэзии в целом. В этих стихах современная художественная мысль преодолевает границы поэзии С.Вургуна, М.П.Вагифа, М.Физули, ашугской поэзии и идет немного глубже. Стихи Гараханлы написаны в двух главных (короткие и длинные стихи) формах древнетюркской поэзии, по большей части построены в ритме дженги либо марша. “Аяты сражений”, как видно из названия, несут в себе героический дух древнетюркской поэзии и исламские идеалы, с их идеей призыва к священному джихаду ради истинной справедливости, и тем самым могут считаться новым этапом в синтезе двух главных направлений азербайджано-тюркской поэзии. В целом эти стихи — выражение окрепшего после приобретения политической независимости процесса национального самосознания. В написанных на урбанистическую тему “современных” стихах поэт обращается к свободному стиху. Быстро меняющиеся приметы жизни современного города являются художественными декорациями этих стихов, а городской житель, далекий от всяческих национально-патриотических чувств, желающий жить своей жизнью, — антуражем.

Рубаи Азад Яшара из книги “Все и никто” (2003) написаны по образцу классической литературы дивана, а баяты и джигалы теджнисы — по образцу фольклорной литературы. У Яшара есть и постмодернистские тексты — пародии, сюжетные мини-стихотворения, сюрреалистические и медитативные стихи. В предисловии к своей книге он называет “постмодернизм истинным путем выхода для нашей литературы, находящейся в замешательстве от SOSреализма”, и это еще одно доказательство того, что работа А.Яшара в этом направлении будет расширяться.

Хотя представители постмодернистской эстетики (Салам, Мурад Кёхнегала и др.), заявившие о себе в последнее десятилетие прошлого века, и немногочисленны, они все же занимают в современной поэзии особое место и играют особую роль как носители постепенно усиливающейся тенденции. Салам — автор поэтических книг “Не тебе адресованы слова, сказанные тебе” (1996), “И центр земли — угол для одиноких” (1999), “Иди навстречу пути” (2002) — пришел в постмодернизм из символико-романтической поэзии, отдав дань традициям Р.Ровшана. Его стихи возникают на стыке интонаций аруза

и силлабики, опираются на фразеологические ресурсы языка, им свойственны деконструкция, пародийность (и даже автопародия), ирония, доходящая до сарказма. На примере его стихов наглядно видно, как рушится романтико-символистская парадигма. В стихах, написанных в таких жанрах ашугской литературы, как гошма и герайлы, Салам производит работу по постмодернистской деконструкции содержания. Такие темы, как скорбь, смерть, любовь, встреча, разлука, такие аллегорико-символические образы, как свеча, цветок, могила, камень, зеркало, корабль, дерево, вода, ветер, огонь, дитя, характерные и для народной, и для классической поэзии дивана, в его стихах травестируются, приобретают пародийный характер:

Ни отрады посмеяться,

Ни беды погоревать.

Из цветов такого мира

Только б веники вязать.

Стихи Мурада Кёхнегала, собранные в книге “Предание о яблоке” (2002) и увидевшие свет в периодической печати, перекликаются с творчеством таких известных современных русских поэтов, как А.Вишневский, Д.А.Пригов. Постмодернистское мышление выходит в его поэзии на новый — осознанный с теоретико-эстетической точки зрения — уровень, обнажается и начинает работать и на смысловом, и на формальном уровне. Его гошмы и герайлы, где полностью реконструированы героический архаизм и эстетика, а также опыты, названные им “тяжелые стихи”, могут быть охарактеризованы как постмодерновая реконструкция соответственно ашугской и романтической поэзии. Образцы, названные им “Свободные газели”, выражающие саркастическое отношение человека XX века к понятию “божественной любви”, являющемуся стержнем классической поэзии, — это деконструкция и формы, и содержания классической поэзии дивана, а его стихи, задуманные как пародия на известные тексты поэтов советского периода (С.Вургун, М.Мушфиг, Р.Рза, Габиль), — деконструкция поэзии советского периода, таких ее идеалов, как “гражданственность”, “патриотизм”, “счастье”, “свобода”, “трудолюбие”.

Заявляю в германское посольство

про свое изгойство-неустройство

может, разгильдяевского свойства.

Я — поэт азербайджанский, написал

стихов-творений вдосталь,

хлебнул щедро в краю родимом досвета,

вкусил законов джунгулей до смерти,

и если Вы позволите, я мог бы

в одном из ваших городов проворненько

трудиться скажем, дворником,

носил бы униформочку с эмблемой,

орудовал бы веником, метлой

служил бы “штадту”

за щедрую зарплату.

Позвольте жизнь, что здесь течет задешево,

Дожить достойно там.

Всего хорошего.

Азербайджанское художественное мышление начинает входить в культурный контекст современной Европы. И основные факторы, в начале XXI века обусловливающие ход художественной мысли, связаны с осознанием и решением противоречий, рожденных этим болезненным процессом.

1 Искаженное азерб. “sag ol” — “спасибо”.

2 Название народной популярной песни.

**Афаг МАСУД**

**Письмена души**

*Беседу ведет Людмила Лаврова*

У произведений азербайджанской писательницы Афаг Масуд есть одна поразительная особенность. В своей прозе, охватывающей многие острые проблемы современности, она как будто угадывает многое из того, что еще не проявилось в реальности, не воплотилось в жизни и судьбах людей, но чему предстоит непременно случиться. Она рассказывает человеку о нем самом такие тайны, что заставляет подозревать, уж не вещунья ли она, раз коснулась таких глубин человеческой природы, где та незримыми нитями связана со всем мирозданием.

В связи с этим вспоминается гениальное по своей точности замечание Салтыкова-Щедрина о романах Достоевского: он “вступает здесь в область предведений и предчувствий”. Знаменательно: корректура всегда пытается править в слове “предведений” “е” на “и”, что вроде бы грамматически верно. Однако Михаил Евграфович имел-то в виду как раз не какие-то там посещающие художника видения, для него дар Достоевского сродни способностям ведуна, ЧЕЛОВЕКА, ВЕДАЮЩЕГО О ТОМ, ЧЕМУ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКА НЕТ.

Похожее таинство происходит в рассказе Афаг Масуд о визите ныне покойного Папы Иоанна Павла II в Баку. Это небольшое произведение написано практически в документальном ключе, его даже можно было бы назвать очерком, если бы… Если бы вдруг в этом простом и даже суховатом тексте не разверзались “хляби небесные” и огнедышащий ад человеческого бытия, не мерцали радуги “предведением” желанного обновления.

Спрашиваю Афаг:

— Как вы пережили исторический слом 91-го года? Что вообще происходило с писателями Азербайджана в этот период?

— Разделим тему и начнем с писателей. Как известно, литература у нас долгое время находилась на попечении государства и даже на первых ролях, а взамен государство просило лояльности, предлагало писать согласно определенному идеологическому канону. Когда все рухнуло, литература, писатели оказались на задворках общественного внимания, и они растерялись.

У меня есть рассказ “Общежитие”. Живет себе семья в коммунальной квартире, соседей полно, и жить под общим надзором они привыкли, им даже в чем-то удобно так, как вдруг удается уехать за город, на дачу, где они остаются одни. И тут их охватывает чувство растерянности. Оказывается, они совсем не знали друг друга. Муж — жену, отец — своего ребенка. Им предстоит строить свои отношения заново, а это совсем нелегко…

Так произошло и с писателями. Каждый остался наедине с самим собой, со своим талантом, совестью и листом чистой бумаги. Настало время созревания другой литературы. Не было поводьев одной на всех идеологии, потребовалось определиться в собственном мировоззрении, взглядах на общественные процессы, на человека.

Разумеется, у нас были и в той реальности мастера слова, существующие как бы вне идеологического канона, работающие поверх барьеров всевозможных партийных установок и ограничений. Это в прозе прежде всего для меня Юсиф Самедоглу, Акрам Айлисли, Анар, Эльчин…

Прошло пятнадцать лет, да еще каких! О текущем всегда писать сложно, тем более таком: взрывном, не устоявшемся, полном мути и одновременно — вкраплений бесценного опыта. Пожалуй, про то, что нам пришлось пережить, удалось в какой-то мере рассказать Сабиру Ахмедову, Сейрану Сахавету, и я попыталась поймать жесткие ритмы 90-х годов в романе “Свобода”.

Мне кажется, ныне литература наша очнулась и выходит на новый этап, несмотря на то, что стало меньше новинок, упали тиражи, утрачено прежнее влияние на общество. Однако меня радует, что нет “заказных” произведений, созданных из желания кому-то угодить, из соображений конъюнктуры, политической или какой-то иной. Хотя расплодились так называемые самозваные литераторы — всяческие гаишники, олигархи, чиновники. Но это ведь не литература! У подобных сочинений короткий век.

А если говорить о себе… Начну с предыстории. Я выросла в литературной семье. Дедушка — народный писатель, отец — известный талантливый критик, правда, он рано умер, в 44 года. Книги — это был воздух, которым я дышала с малолетства. А еще — в семье царила прекрасная духовная свобода и атмосфера творчества. Возможно, поэтому свой первый рассказ я написала еще в школе. А опубликовалась впервые в 1973 году. Что задевало, какие темы? Скорее, настроения… Уже в ранних рассказах все пронизано чувством одиночества, отчужденности от общества.

Критики пытаются искать в моей прозе автобиографические элементы. Говорят, что я выражаю якобы самоощущение женщины Востока. Какой вздор! Женщина вообще — это меня совсем не интересует. Я не признаю никаких обобщений. Никогда не входила ни в какие группы, не подвержена стадному инстинкту.

Для меня важен человек, личность, единственная и неповторимая, ее внутренний мир. И пишу я о том, что каждый должен прорваться к собственной сути, к божественному “Я”, где нет никаких границ в виде политики, обветшавших догм, сковывающих твое начало творца привычек и установлений. Мне претит то, что часто называют национальной спецификой, некий внешний орнамент, ничего не говорящий душе. Кстати, когда меня взялись издавать в Австрии, там эту особенность сразу подметили. Я не привязываю свое повествование к какому-то конкретному месту, адресу. Все происходит здесь и — везде… Так что вы теперь понимаете, насколько я свободна и как пережила эти сложные 15 лет. Судьба человека написана не на земле, да и литература, вся, как говорил кто-то из великих, есть некий уже существующий, хотя и неисчерпаемый, бездонный текст, который каждый новый писатель “играет” по-своему…

Я недавно готовила книгу своего избранного, перечитала не без опасений ранние рассказы, которые написала в 20 лет, однако увидела нечто, меня обрадовавшее: я ведь и сейчас так пишу! Да, проходит и меняется время, и мы претерпеваем череду изменений, но суть, ядро — душа твоя неизменна.

— Но, помнится мне, в романе “Свобода” вы касаетесь общественно-политических проблем периода провозглашения независимости Азербайджана?

— Действительно, критика именно на этом делала акцент. Писали, что я что-то там “отражаю”. Возможно, и так. Но не это главное. У меня общественно-политические события — лишь фон. В центре же — фигура чиновника высшего ранга, его внутренний мир, то, как он переживает свою беспомощность, ненужность, одиночество. Для него с этими переменами закончилась жизнь, хотя он жив.

Мы откричали на площадях “свобода!”, “свобода!”, а дальше необходимо перейти в какое-то иное состояние, состояние внутренней свободы, когда ты свободен, повторяю, наедине с самим собой и даже во сне. А если этого не происходит, о какой свободе можно говорить?

Я рада: все, что творится вовне, обходит меня стороной. Нерушимая крепость — твой дух, твои дела.

Когда я возглавила Центр перевода, многие друзья мне говорили, зачем тебе это? Центр долго не продержится, государственной дотации на него не дают, на что будете существовать? Кому сегодня нужны книги, да еще переводные, их никто не покупает...

Подобные разговоры происходили в середине 90-х, когда в Азербайджане инфляция нарастала с каждой минутой, а у людей не было денег даже на хлеб… Но Центр выстоял, сохранился. И произошло это чудо благодаря нашей любви к подлинной литературе. Мы не поддались рыночным веяниям, не перешли на выпуск массовой продукции, всяких детективов, ужастиков, “мыльных” любовных историй. Нет, мы впервые на азербайджанском языке опубликовали Кафку, Томаса Вульфа, Элиота, Бернса. Я сама перевела “Осень патриарха” Маркеса. Мы делали все, чтобы как-то просвещать народ, доносить до него свет мировой культуры. Тем более что прервалась связь с Россией, Москвой, до нас не доходили русские журналы и газеты, переводные новинки.

Да и до сих пор нам в поиске интересных авторов и произведений помогает интернет. К сожалению, прежние тесные культурные контакты с Россией не возобновились.

— Нет ли противоречия, когда вы говорите, что стараетесь не замечать социума? Человек в социальном контексте “Осени патриарха” — это одна личность, а у Кортасара в “Игре в классики” герой, живущий в Париже, обладает совсем другими степенями свободы… Ушел советский формат несвободы, но возникли не менее жесткие ограничители, не так ли?

— Моя проза — это мое подсознание. Там глубоко, ничто снаружи не проникает. Я себя считаю счастливой, потому что туда, внутрь, ни суеты, ни бренных желаний и соблазнов не пропустила. Конечно, жить в обществе и быть свободной от него невозможно. Это известная истина. У меня семья, дети, житейские проблемы. Но я вам сейчас приведу одну притчу. Сенеке сказали: “Ты говоришь, материальный мир — это грязь, а у самого дворец, денег много…” А он ответил: “Но ведь я не этим питаюсь…”

Душа человеческая питается другим. Да, как гражданин, гражданка, я живу в обществе, имею свое мнение по тем или иным вопросам. Но моя проза с этим контакта не имеет.

— Есть ли в мировой литературе особо дорогие вам имена?

— Я внимательно и с любовью читала и продолжаю перечитывать Достоевского, Гоголя, Чехова. То, что мне дала русская литература, невозможно ни с чем сравнить. В мире есть много замечательных авторов, например, Камю, Кафка, но я выбираю этих троих. Но никогда не пыталась им подражать. И все же, не скрою, приятно было, когда мою пьесу принял для постановки в своем театре наш знаменитый режиссер Вагиф Ибрагимоглу и сказал обо мне, что это — Чехов в азербайджанской литературе. Такое признание дорогого стоит, но я другая, хотя, наверное, какое-то родство есть.

Сюжет пьесы прост. К некоему государственному деятелю, почти забытому, приходит писательница. Она хочет написать честную книгу об этом человеке и его времени, разобраться в тех тяжелейших в истории Азербайджана процессах, когда шли репрессии. А этот деятель — прямой их исполнитель, он боится воспоминаний, своего прошлого и прячется от нее, объявляя, что находится при смерти. Но, возможно, он и на самом деле умирает…. Страх, что кто-то постигнет его внутреннюю суть, разберется в метаниях его души, буквально парализует этого человека. И вот начинается внутреннее противоборство двух этих личностей, двух правд, потому что за каждым из них стоит своя правда. Да, сюжет прост, а пьеса непростая, как мне кажется. Это был сначала рассказ, а потом из него родилось драматургическое действо.

В азербайджанской литературе советского периода тоже есть имена, которые останутся… Некоторых я перечислила, а еще — Иса Гусейнов, Рамиз Ровшан… Об Анаре могу сказать, что мне всегда у него нравилась ясность языка. У меня трудный язык. Анар же обладает даром, я бы сказала, естественного самовыражения. Пишет, как дышит… Самые серьезные темы он преподносит прозрачно. Его проза доступна широкому читателю, а ведь по мысли она достаточно сложна. В этом его огромное художническое достоинство, но я ценю его и как личность. Анар не меняет взглядов в зависимости от ситуации или конъюнктуры, он необыкновенно надежный человек во всем.

— Вот вы говорили о Центре перевода, который возглавляете, о том, что не пошли на коммерциализацию в своей деятельности. Но ведь сегодня мы сплошь и рядом замечаем, как принципы рынка и рыночные критерии переносятся в сферу искусства. Вас не тревожит этот процесс?

— Это общемировой процесс. Надо пройти через это и нам. Так называемые массы выбирают всевозможные шоу, низкопробные зрелища, а на оперу, на серьезный спектакль, на концерт классической музыки ходят весьма немногие.

Вот где для государства открывается огромное поле благородной деятельности. Просвещение народа, поддержка высоких духовных ценностей — все это должно взять на себя именно государство, если не хочет получить вместо сознательных и активных граждан, обладающих высокой культурой, стада зомби.

Массовизация влияет и на социальную сферу, и на политику, и на человеческие отношения. Я не утопист, все не будут слушать классику, да этого и не надо! Просто в обществе должна выстроиться иерархия культурных приоритетов, а камертоном станет слой образованных, высоко духовных людей, элита. На них и станут равняться остальные. А то иной раз посмотришь заседание меджлиса, послушаешь выступления некоторых депутатов и становится стыдно за собственный народ. Представители власти не имеют права на достигающее размеров карикатуры невежество. Это, по-моему, азбука. Наши чиновники порой не знают элементарных вещей, но и учиться не хотят.

Мы пережили трудный период. Война, беженцы, экономическая разруха, и все же государство стремилось поддерживать театры, оркестры, книгоиздательскую деятельность. В дальнейшем эту программу поддержки национальной культуры стоит обязательно расширять. Вот и наш Центр перевода после письма Анара к руководству страны получил дотацию. Вагиф Ибрагимоглу обратился к президенту по поводу поддержки государством театрального искусства республики.

В рынке культура умрет, если ее не опекать. И что получим в итоге? Толпу.

Кто говорит, что рынок все расставит по своим местам? Да в этом случае возникнет общество одномерных особей и его постигнет неотвратимый крах. Допустим, все богаты, ездят на иномарках, имеют дома, одеваются шикарно. Но для чего все это внешнее благополучие, если у тебя не осталось ни сердца, ни души, а один-единственный инстинкт собственника? Куда двинется страна в таком случае? Без просвещения и нравственного воспитания, без духовных ценностей — для чего живет человек? Вожделение приобретательства, бездумное гедонистическое существование приведут к разгулу аморальности. К войне всех против всех.

Цивилизованной страна называется ведь не потому, что у ее граждан есть новейшая модель кофеварки, плазменный телевизор и по три автомобиля на человека, а потому, что там заботливо относятся к культурному достоянию. Ведь что, например, вспоминается при слове Англия? Не какой-то миллионер или магнат, мы сразу называем имя Шекспира…

Меня в начале 90-х годов частенько спрашивали: “Что ты здесь делаешь? Уезжай. Вон, поехали в Европу послами Айтматов, Сулейменов”… А я никогда и не хотела покинуть страну. Пусть мои труды пригодятся всего лишь сотне людей, но и это уже знак того, что они не пропали даром.

Многое может один человек…

О страшной зашлакованности материальным современного мира я написала в новелле про визит Папы в Баку. Я, в частности, пишу о том, как моя героиня в некий момент начала буквально бояться вещей, они как будто арестовали ее, не позволяли разобраться, что же с ней и людьми вокруг происходит. Но самое интересное, когда его напечатали, мне стали звонить читатели и говорить что-то вроде “вы нас спасли, мы умирали у себя в домах в окружении показного благополучия, задыхались среди этих супермодных штор и ковров, безделушек и хрусталя, безумной по своей нелепости мебели”. Смешно, но один мужчина признался: “Я вынес из дома шкаф, внезапно понял, что он давил на меня…”

— А между тем сегодня популярна теория шоппинг-терапии. Дескать, чтобы снять стресс, избавиться от неприятных мыслей, необходимо поскорее отправиться в магазин и покупать, покупать… Неважно что…

— Понятно, внутренний дискомфорт советуют вытеснить самыми вульгарными, низкими эмоциями. В известном философском вопросе: быть или иметь? — предлагают снять противопоставление и отождествить “быть” с “иметь”. Спасительную рефлексию по поводу того, что с тобой происходит, забивают шумовым эффектом потребления. В той же рекламе нам ведь не вещи рекламируют, нам навязывают определенный унифицированный образ жизни.

Я сейчас перевожу книгу одного суфия XII века. Там есть такое рассуждение: если человек не познал самого себя, не разобрался в причинах смены своих настроений и эмоций, как же он может разобраться в окружающем мире? Такой человек становится игрушкой разнообразных сил, в том числе и самых темных.

Литература как раз и занимается тем, что направляет личность в собственный внутренний мир, одухотворяя ее.

Могут возразить, что мои рассуждения абстрактны и далеки от реальности. Но вот работа парламента, законы, которые там принимают, это самая что ни на есть реальность. Но посмотрите, кто создает и принимает законы, которые должны определять нашу жизнь? Актрисы, шоумены, какие-то лоббисты, Бог знает кто… Справедливости ради следует сказать, что такая ситуация не в одном только Азербайджане, у вас в России, по-моему, ничуть не лучше.

Замечу, что во власти у нас никто так трепетно не относился к литературе, искусству, как Гейдар Алиев, светлая ему память. Подобная тенденция продолжается во властных верхах.

— Похожее отношение власти к культуре и просвещению культивировалось в Киргизии времен Аскара Акаева. Он принял республику почти разоренной, к тому же у республики сложное геополитическое положение, наркотрафик, постоянная террористическая угроза, бедность природных ресурсов. И первое, что сделал президент, повысил престиж образования, призвал молодежь учиться, открыл в каждой области высшие учебные заведения, предоставил возможность получить образование за границей. Таким образом, он не только озаботился о будущем Киргизии, но и спас целое поколение, отвратив его от криминала и наркотиков, канализировав энергию молодых на приобретение знаний. Акаев понимал важнейшую для политика вещь — миром правит невещественное!

— Очень важное замечание. У меня трое детей, и я не могу не задумываться, какое их ожидает будущее. Если ценность и достоинство книги определяется количеством продаж, если мерилом жизни в глазах общества становятся богатство и успех — предвижу печальные времена.

Что толку, что ты богат, если ничтожен душой? Важна не карьера, а умение сострадать людям, порыв подставить плечо ближнему в трудный час. Кто же проводник подобных высоких чувств в общество, как не писатель? Писательское слово должно просветлять человека.

Мы много говорим о значении экологии, защиты природной среды. Не

спорю — наиважнейшая задача. Но не меньшее, а то и большее значение приобретает экология души. Массовая литература, повальное увлечение компьютерными играми — все это работает на уничтожение божественного начала в человеке. А если сфера идеального в нашей жизни будет вытеснена голой прагматикой, возобладает звериный принцип “добей слабого”.

Прошу понять меня правильно. Я не против модной литературы, изысканной творческой игры, но все это должно покоиться на прочной нравственной основе. А новшество ради новшества — это не что иное, как красивые завитки вокруг пустоты.

— Вы, кажется, всерьез увлеклись работой для театра?

— Да, написала новую пьесу. Хожу на репетиции. И сама себе удивляюсь. Ведь в моей прозе нет острой интриги, захватывающих сюжетов, а для постановки на сцене как раз это важно. Меня вдохновляет Вагиф Ибрагимоглу. Он показал мне путь, как войти в ситуацию из мира чувств, не утратив при этом эмоционального накала текста. Словом, театр открыл передо мною новый горизонт. Внешне в моей пьесе ничего не происходит. Действие развивается в разговорах. Там всего три персонажа, но какие же невероятные события сотрясают душевный мир героев.

Кроме того, продолжаю писать эссе в цикл “Империя чувств”. Этих коротких рассказов ждет мой читатель. В каждом из них стремлюсь одним мазком запечатлеть мгновенное впечатление, мысль, чувство.

Для меня Человек — вселенная. Так что в литературе нет никаких периодов, нет границ, нет наций, нет времени. Переводы суфийской философии меня в этом убеждают. Смотрите, XII век, какой-то узбек-суфий, а мне так близки его суждения, будто это написано обо мне и для меня. От Чехова такое же ощущение… Происходит перекличка в познании человеческого сердца и души. Через века.

Баку

**Гасан ГУЛИЕВ**

**Банин: на пересечении литератур**

Писательница Банин Ум-эль-Бану (1905—1992) еще в детские годы вместе со всей своей семьей покинула Азербайджан и поселилась во Франции.

Она родилась в семье бакинского нефтепромышленника Мирзы Асадуллаева, получила хорошее домашнее образование, изучала европейские языки. После установления Советской власти в Баку ее семья отправилась в Турцию, а с 1924 года обосновалась в Париже.

В Париже ей пришлось поработать продавщицей, манекенщицей, продолжить образование. Затем она начинает заниматься переводами, журналистикой, редактирует на радио передачи на французском языке.

Постепенно Банин входит в литературные круги Парижа, становится известной среди русских писателей-эмигрантов, которые составляли особый слой эмигрантской элиты. Здесь в числе ее знакомых были философы Бердяев, Шестов, Лосский, поэты и писатели В.Иванов, М.Цветаева, К.Бальмонт, И.Северянин, Иван Бунин, Тэффи, Ремизов, Мережковский и его жена З.Гиппиус, Куприн, Зайцев, Адамович. В своих воспоминаниях Банин особенно выделяет Тэффи и Ивана Бунина, которые входили в круг ее близких друзей.

Первый роман Банин “Нами” (1943), повествовавший о событиях в Азербайджане в предреволюционный период и о социально-политической катастрофе, затронувшей все слои общества, не имел особого успеха. Однако это не остановило Банин, спустя два года она опубликовала роман “Кавказские дни” (1945), сделавший ее имя известным французскому читателю.

В этом романе, носившем автобиографический характер, писательница воссоздает картины детства, милые сердцу сцены дореволюционной поры, портреты своих родственников, деда со стороны матери Мусу Нагиева — известного миллионера, другого деда, Шамси Асадуллаева, тоже миллионера, своего отца — Мирзу Асадуллаева, ставшего в правительстве Азербайджанской Демократической Республики (1918—1920) министром торговли, взаимоотношения между родными и близкими.

Ее описания воссоздают биографию писательницы, историю известных домов бакинских нефтепромышленников, реалии и колорит эпохи, атмосферу детства, обычаи и нравы, народные праздники и обряды. Роман запечатлел отношения юной героини с окружающими ее людьми, умонастроения и взгляды современников, их отношение к событиям переломного времени.

С описаний своего дома, апшеронской дачи с их домочадцами внимание автора переключается на события, повлиявшие на ее судьбу и жизнь ее родственников. Это — приход Красной Армии в Баку, установление Советской власти: на этом фоне и воссоздаются дальнейшие злоключения семьи. Банин, в частности, рассказывает, что по завещанию деда она (ей тогда было 13 лет) и три ее старшие сестры стали миллионерами. Однако спустя несколько дней, с приходом большевиков, они в одночасье потеряли свои богатства, оказались перед необходимостью покинуть родину.

Вслед за романом “Кавказские дни” одна за другой выходят новые книги Банин: “Парижские дни” (1947), “Встреча с Эрнстом Юнгером” (1951), “Я избрала опиум” (1959), “После” (1961), “Иностранная Франция” (1968), “Зов последней надежды” (1971), “Портрет Эрнста Юнгера” (1971), “Эрнст Юнгер в разнообразных лицах” (1989), “Что мне поведала Мария” (1991).

Условно творчество Банин можно разделить на две части: произведения, в которых воспроизводится азербайджанская тема, мотивы, воспоминания и ретроспекция, и те, что относятся к французской, европейской тематике. Хотя в большинстве известных нам ее книг присутствует автобиографический фактор; она сама, как автор, принадлежит к двум мирам: Востоку и азербайджанским корням, восточной ментальности и миру европейскому — по образованию и образу жизни. Это проявляется и в общей творческой ориентации на европейского читателя, которому она пытается открыть свой мир, все то, что связывает ее с восточной традицией — свойство, обнаруживающееся у тех азербайджанских писателей-эмигрантов, которые пытаются не только понять иную традицию, но и быть понятыми на чужбине.

С другой стороны, это и прием, позволяющий через себя, собственную жизнь, опыт и мировосприятие обратить внимание на малоизвестные читателю события, факты, судьбы людей, неординарных, представляющих интерес и для европейского читателя.

Это прежде всего темы, связанные с ее родиной, где произошли события, повлиявшие на весь ход мирового развития: рухнул капиталистический строй и возникла новая

“советская система”. Как это произошло, чем было вызвано, какие последствия имело?.. Это было любопытно для европейского читателя, и писательница пыталась удовлетворить его любопытство.

Но если ее первый роман “Нами” лишь воспроизводил “общие черты” менявшегося времени, то роман “Кавказские дни” стал более конкретным в воссоздании событий, трагических для нее и ее семьи, всего сословия богачей и нефтепромышленников, в одночасье потерявших власть, богатство, привилегии, комфорт, жизненные блага и удобства. Это уже было личное, сама ее жизнь, судьба, истории ее близких, словом, это была та литература, которая вписывалась в поток произведений, воссоздававших крушение старого мира. Но в отличие от романов и повестей советских авторов (“Шамо” С.Рагимова, “Мир рушится” М.Джалала и др.) это был взгляд другими глазами — не просто очевидца, но жертвы крушения.

В этой связи начинает мощно проявлять себя новое качество ее творческой манеры — автобиографичность, точнее, даже документальность, фактографичность, делающие повествование реалистическим и, что важно, убедительным и правдивым свидетельством участника событий. Это становится важным свойством всей прозы Банин. Если “кавказская” или “азербайджанская тема” удовлетворяла познавательный интерес французского и, шире, европейского читателя в предвоенные годы (20—40-е), а также наш, современных азербайджанских читателей, то в дальнейшем Банин определила для себя еще один плодоносный творческий пласт — жизнь человека, оказавшегося в эмиграции.

Эмигрантская тема позволила свежим взглядом охватить разные стороны образа жизни, быта, людских взаимоотношений в “стране обитания” — и взглянуть на себя, свою собственную жизнь и судьбу как бы со стороны, непредвзято, осмысляя причины и обстоятельства, приведшие к эмиграции. Дать возможность читателям, представляющим коренное население страны, увидеть и понять положение и состояние людей, оказавшихся в этих новых условиях, рядом с хозяевами жизни, как бы людьми второго сорта... Конечно, речь идет о русской эмиграции, об эмигрантах из Советского Союза, к которым причисляла и себя Банин.

Она писала в газете “Фигаро” (от 2 декабря 1991 г.): “Русская эмиграция состояла из представителей всех классов общества: от белогвардейцев до звезд балета, от дворян до писателей, от священников до вольнодумцев. От философов до миллионеров.

Эти люди представляли не только все сословия, но и все национальности, все народы, жившие в пределах царской империи, от Балтики до Кавказа. Из них можно было бы воссоздать Российскую империю в миниатюре.

Сначала русские эмигранты составляли в Париже нечто вроде гетто, которое Тэффи — романистка, малоизвестная здесь, но популярная в России, описала с присущей ей живостью и язвительностью в повести “Городок”.

Этот городок насчитывал 40 000 жителей, одну церковь и множество кабаков.

Городок пересекала речушка. Когда-то в древности ее называли Секана, потом Сена, потом, когда городок разросся вокруг нее, ее стали называть “нашей маленькой Невой”. Обитатели жили компактно, или в предместье Пасси, или в районе “Рив гош”. Население городка состояло из мужчин и женщин, подрастающего поколения, а также из генералов, которые жили в долг и писали мемуары с целью прославить имя автора и навлечь позор на головы соотечественников”.

У Банин, когда она повернулась в сторону русской или, лучше сказать, собственной эмиграции, не было желания “прославиться” или “позорить” соотечественников. В отношении к новым властям в своем родном Азербайджане она не проявила ненависти или даже неприязни в открытой, инвективной форме, описывая все, как есть, и этой объективной манерой повествования достигала большей выразительности и достоверности в описании классового противника. Впрочем, и в описании своей родни и близких, которых коснулась катастрофа, она также исходила из внешне беспристрастной повествовательной манеры.

Главным, чем держалось повествование “парижских” книг Банин, был психологизм, умение пропустить историю через собственное, субъективное, но во многом справедливое восприятие автора — тонко чувствующей и эмоционально отзывчивой женщины. Интеллектуалки и художника, способной воспроизвести тончайшие, казалось бы, почти неуловимые психологические черты и настроения героя.

В этом смысле в азербайджанской литературе XX века, тем более в “женском” ее “звене”, трудно найти писателя, который так реалистично, с учетом социально-психологического состояния и взаимоотношений персонажей, смог бы создать “историю любви”, или, точнее, “неразделенного чувства”, как это сделала Банин в романе “Последний поединок

Бунина”. Сделала тонко и корректно по отношению к немолодому писателю-эмигранту, раскрывшему ей свои чувства.

“Любви все возрасты покорны”, — сказал поэт. И Банин-рассказчица это понимает и стремится вскрыть ее психологическую подпочву, показать любовь-игру, любовь, которая возвышает и стимулирует творческую натуру: ее, Банин, и ее “визави” в романе — Ивана Бунина, уже достигшего лавров нобелевского лауреата. Она поддерживает этот “огонь” влечения мастера к женщине “экзотической” и своенравной, какой видит ее в романе герой. Она могла бы сразу же затушить этот “огонь”, отвергнув его чувства, повернуть “тему” в другую сторону. Но ведь она — женщина, которой не чужды кокетство, перемены в настроениях, в отношении к мужчине, проявляющему к ней интерес...

Это может представить интерес и для нее: ведь ее партнер достоин всяческого внимания. И как личность, и как писатель, живой классик, и как один из мэтров русской эмиграции, за которым ведут наблюдение советские власти, подсылая к нему своих представителей, чтобы вернуть на родину, суля привилегии, гонорары, дачу, всяческие блага...

Но в еще большей степени он — ее герой, герой ее романа. Той любовной истории, которая, возникнув между ними, не стала взаимной, а приняла черты любви-страдания, любовной игры, в которой участвуют оба: он — немолодой мужчина, избалованный всеобщим вниманием, и она — писательница, для которой эта история дает благодатный материал, возможность показать известную в России и в мире личность вблизи, на закате творчества, в эмигрантских буднях — с близкой дистанции.

Банин не идеализирует Бунина в своем романе, воспроизводит его образ с учетом уже сложившегося о нем представления в эмигрантской среде, добавляет подробности и детали, показывает слабости, поведение в быту, черты характера, взаимоотношения в семье, с женой, с другими женщинами.

Особый интерес представляют страницы, посвященные Константину Симонову и его жене актрисе Валентине Серовой, пытавшихся, как пишет Банин, прельстить Бунина обещаниями благополучия и вернуть его на родину...

Этот рассказ, достоверный в деталях, создает представление о Бунине как человеке, верном своим принципам и убеждениям, представляя его в истинном свете: патриотом, не изменившим убеждениям и не поддавшимся посулам, несмотря на денежные затруднения и нелегкую жизнь эмигранта.

Роман “Последний поединок Бунина” — несомненная удача Банин, сумевшей из личной истории сотворить историю любви, которая разворачивается на наших глазах со всеми ее перипетиями; от первого знакомства до новых встреч, где есть и ссоры, и обиды, и надежда на взаимность, и горькое ощущение бесперспективности отношений...

Банин создает образную систему из причудливого соединения фактов, событий, с открытым для дальнейшего движения сюжетом, который развивается в соответствии с психологическими и эмоциональными состояниями персонажей. Она не дает поблажки ни одному из них, пытаясь быть правдивой и объективной до конца, доверяя в оценках и выводах читателю.

Другая страница творчества Банин открывается историей ее взаимоотношений с известным немецким писателем, философом и ученым-энтомологом Эрнстом Юнгером, с которым она познакомилась в 1943 году, когда тот, офицер германской армии, служил в Париже.

Юнгер — человек либеральных взглядов, осуждавший войну и фашизм, — автор таких книг, как “Стальные бури”, “На мраморных скалах”, еще до войны снискавших ему широкую известность в пацифистских кругах. Он прочитал роман Банин “Нами”. Затем началось знакомство, которое продолжалось вплоть до смерти писательницы.

Банин стала посредником Эрнста Юнгера в его литературных делах в Париже, переводила его статьи на французский, посвятила ему три книги — “Встречи с Эрнстом Юнгером”, “Портрет Эрнста Юнгера”, “Разноликий Эрнст Юнгер”.

К сожалению, ни эти три книги Банин, ни произведения самого Эрнста Юнгера “Гелиополис” и “Парижский дневник”, в которых есть немало страниц, посвященных Банин, неизвестны нашему читателю и сегодня.

В последние годы престарелая писательница работала над романом о Богоматери — “То, что мне рассказала Мария”, также неизвестным нам. Свой архив — книги, письма, документы — она передала немецкому писателю Ролфу Штиммеру.

Живя в Париже, Банин не была отгорожена от своей далекой родины, живо интересовалась процессами, происходившими в Азербайджане. Во Франции она снискала славу французской писательницы. Да и в советской печати того времени (“Неделя”, 1987, N№ 18) ее творчество также относят к французской литературе. Вопрос, заслуживающий того, чтобы стать объектом специального исследования в азербайджанской литературоведческой науке.

Ответ на этот вопрос, ясный и недвусмысленный, дала сама писательница, когда в тяжелые для азербайджанского народа дни выступила во французской газете “Монд” (20 января 1990 г.), где ее статью под заголовком “Нагорный Карабах” предваряла редакционная ремарка: “Азербайджанскую точку зрения выражает азербайджанская писательница Ум-эль-Бану”. В этой статье Банин дает информацию о Карабахе, армянах, пришедших на азербайджанские земли еще в начале XIX века, переселенных царским правительством в результате войны с Ираном и Турцией. Она говорит о давних притязаниях армян на азербайджанские земли, о связях дашнаков с большевиками и совместных их акциях против азербайджанского народа. “В то время как часто говорят об армянах как “жертвах” Османского империализма, почему-то никто не говорит о тех зверствах, которые армяне учинили в Азербайджане в прошлом”, — пишет Банин, выражая тем самым и свою приверженность как патриотки, “свое возмущение как человека честного и объективного”.

Будучи известной во Франции романисткой, Банин занималась и публицистикой, а также переводами: она переводила на французский язык художественную литературу с русского, английского и немецкого.

Умерла Банин в возрасте 87 лет и похоронена в Париже. И хотя она оставила большое литературное наследие, включающее романы, публицистику, переводы, дневники и письма, а также переиздания ее книг и незаконченные рукописи, ее творчество в целом мало известно в Азербайджане. Лишь в 1988 году в Баку на азербайджанском языке увидел свет ее роман “Кавказские дни” (в переводе с французского Гамлета Годжаева). Стали появляться заметки и сообщения о ней и ее творчестве. Однако обширное наследие, оставленное замечательной писательницей, все еще ждет своих издателей и исследователей.

# Эхо

**Лев Аннинский**

## Горгуд, где твой гопуз?

*Вдумчивый читатель не заплутает в представленном тексте. Всяческие предварительные комментарии претендуют на статус некоего научного введения, мы же далеки от подобных притязаний.*

*Камал Абдулла.*

*Неполная рукопись №№ А-21/733. Роман*

По примеру уважаемого Камала Абдуллы, да продлит Аллах его дни, полные трудов, мы тоже не станем претендовать на ученость. Тем более что поколения филологов, тюркологов и фольклористов уже написали горы научных работ и прокомментировали сказания огузов, рожденные в пору, когда этот народ еще не объявился в южнорусских степях и в Византию еще не вторгся, ведомый сельджуками. А передал нам эти сказания неутомимый Горгуд, которого в России принято называть Коркутом и сказания которого — “Китаб деде Коркут” — давно вошли в мировую сокровищницу культуры.

Сокровищница эта соблазнительна для мастеров прозы не менее, чем для ученых литературоведов, и роман современного азербайджанского писателя Камала Абдуллы — блестящее тому подтверждение. Читатель, прошедший огни, воды и медные трубы XX века, найдет в этой книге материал для вполне злободневных раздумий.

Ловят шпиона. Ищут свидетелей. Сличают показания, иногда выбитые, иногда добытые хитростью. Устраивают очные ставки. Перечисляют виды казней. Четвертовать, изрубить на куски, снести башку одним ударом, сбросить в пропасть вниз головой. Появление кнутобойцев из пыточной чередуется с хитроумными диалогами, где слова могут означать не совсем то или совсем не то, что имеется в виду, и уж абсолютно не то, что имеется в реальности.

“Бывает ли звук от одной ладони?” — “Бывает, господин мой, почему не бывать?” — “И какой же звук издает одна ладонь?” — “Одна ладонь издает звук тишины, мой господин”. Восток — дело тонкое.

С толстого запада прибывает посольство. “Из далекой страны, чей главный город, говорят, выстроен среди вод”. Венеция, что ли? — соображаю про себя, ища вторую ладонь. Венеды от Аттилы уже бежали или еще нет? “Почтенный посол, сколько времени, говорите, были вы в пути?” — “Больше года, повелитель. Надо учитывать огромное число разбойников на больших дорогах”. Господи, уж не Россия ли матушка? И город посреди вод — не Питер ли? Но беру себя за шиворот: до основания Питера — еще тысяча лет.

Возвращаюсь на тысячу лет назад. Где шпион? Как только подозрение падает на очередного царедворца, является старуха по кличке Брюхатая и заявляет, что это ее сын. А поскольку в молодости она сумела переспать со всем двором и сыновей у нее много, то

поди теперь проверь… Соскоб надо делать! — опять вскидывается во мне современный биокриминалист. — “Это все парфюмерия, — улыбается дед Горгуд. — А суть…”

А суть у деда — под семью покровами. “Тайна в тайну заключена и тайной укрыта”. И не вспоминайте Черчилля, который сказал нечто сходное тысячу лет спустя о стране, которой дед Горгуд знать не может. Но знает другое: “Мы никого не обманываем. Внутренняя скрытая сущность для большинства людей не имеет никакого значения, для них все дело во внешней сущности”.

Внешняя сущность — это, в частности, все официальные знаки отличия, все регалии, которые слетают с человека от одного богатырского удара сабли. Или от умелого подлога. Или от собственного желания человека уйти от своей роли. Человек исчезает, а роль остается. Правитель подменяет себя двойником. Одна из проникновеннейших сцен романа Камала Абдуллы, да сделаюсь я жертвой его художественного воображения: “Справишься, еще как справишься!” — приговаривает шах (Шах Исмаил ибн Гейдар ибн Джунейд Селеви, имеющий за собой десятиколенное родословие) и тайно передает власть безвестному засекреченному преемнику…

В моей неотсеченной читательской башке бьется мысль о президентских сроках Буша-младшего (или старшего), путается с мыслью о двойниках Саддама (или их не было?), но дело тоньше: что шах, что холоп — это в сущности одно и то же, ибо есть невидимая сущность и есть видимая оболочка — батин и закир, да поможет нам древняя арабская мудрость избежать дурацких аналогий с современностью.

Как?! Значит, шпионом может оказаться кто угодно? Именно. Неважно, кто. Шпион может быть назначен. Ловля шпиона и расправа над ним — хитроумная операция, задуманная самим шахом, она должна сплотить огузов и спасти народ от смуты…

Эдак на роль шпиона можно найти и добровольца? Как это предположил — тысячу лет спустя — Артур Кестлер в “Слепящей тьме”: Бухарин добровольно берет на себя роль врага народа, чтобы облегчить родной партии дело сплочения…

Сгинь, несчастный! Возвращаемся к шейхам, мюридам, дервишам и нукерам, описанным в книгах деда Горгуда, да оградит Аллах память его от наших страстей. Дед же предупредил: “Все, о чем скажешь, о чем подумаешь, может сбыться в этом бренном мире”. Слово опасно, тут нужна осторожность. Магия слов — художественная аура Камала Абдуллы, его героя деда Горгуда и, в свою очередь, героев деда, знающих, что

наведенное слово — реальность, а удачно найденное слово — спасение от реальности. “Скажи, разве виноградный сок не есть то же самое, что и вино? Это и есть вино, только через три месяца брожения. Какая разница, как его назвать?”

Дед делает вид, что слушает, а сам созерцает скрытый смысл слов. И шах делает вид, что слушает. Так и беседуют. С той “косметической” разницей, что собеседник шаха время от времени падает ниц и видит ноги его. А потом делает в своей рукописи (будущей “Китаб деде Коркут”) ремарки вроде такой: “Когда он молча сучит пальцами, это значит, разгневан”.

Тонок дед, однако.

Современный читатель, получающий его сказания из рук Камала Абдуллы, натыкается на мысли, пробуждающие активный встречный отклик. От бесспорного: “Уважение к дому своему — главное условие выживания в наши трудные времена. Как можно ожидать уважения со стороны других, если сам ты не уважаешь себя и свой дом?” — до спорного (во всяком случае, для нас, русских, зацикленных на том, что во всем всегда виновата власть): “Кого он интересует, этот несчастный шпион? Все дело в нас самих”.

Самое ценное в этом художественном эксперименте — непрерывное мерцание параллельных миров. В мире шаха — свой Горгуд, а в мире Горгуда — совсем другой шах, хотя они сидят и беседуют, один — прищурясь мимо собеседника, а другой — склонившись над свитком и высматривая, не сучит ли тот пальцами ног.

Что мир мюридов просвечен сегодняшней проблематикой и так он делается для нас вменяем, это понятно. Но почему мир современного человека должен быть переоформлен в мир мюридов? Чтобы стать вменяемым? Это, я думаю, главный вопрос, возникающий (у меня) при чтении романа Камала Абдуллы. И ответ на него есть.

Вдумаемся в название романа.

“Неполная рукопись N№ А-21/733”.

Пятизначный шифр, извлеченный из каталога Третьего сектора в Отделе некоего грандиозного Института и прикрепленный к средневековой легенде, может показаться

юмористической подначкой. Но только до третьего абзаца повести. В третьем абзаце в качестве места для публикации запроса о происхождении рукописи названа “525-я газета”.

Не знаю, сколько газет должно выходить в городе масштаба Баку, чтобы появилось такое название, но ясно вижу, что магия больших чисел входит в художественное условие романа.

Мир смутен, огромен, непостижим, невменяем. Все тонет в месиве утверждений, опровержений, достоверностей, мнимостей, фактов и антифактов, истинных и ложных сведений. Сверить варианты рукописи невозможно, приходится верить “пожелтевшим листам бумаги”, понимая, что написанное там давно потеряло с реальностью внешнюю связь, а связь внутренняя все равно до конца непостижима. Того общества, которое породило эти сказания, давно нет… Мгновенная аллюзия: а есть ли теперь то, что мы привычно называем обществом? Или это такой же мираж, как ставшая легендой древность? Да и что такое “древность” на тонущей в небытии шкале времени? Вы можете знать, кто древнее: Гомер или какой-нибудь безвестный певец огузов? Полифем или Тепегез? Одиссей или Бейрек? Агамемнон или Салур Газзан?

Какая, собственно, разница, подлинна ли рукопись деда Горгуда или поддельна? Все равно мираж. Может, пропуски в тексте случайны, а может, это намеренная путаница, чтобы спрятать концы. Ведь не может же быть так, чтобы огромное сказание без искажений передавалось из уст в уста, от певца певцу: никакая человеческая память этого не выдержит. Значит, один певец прячется в другом. Сквозь одну тайну проглядывает другая. Мусульманские письмена опасливо прячутся за христианскими, словно ожидая своего часа…

…Так что пропуски в рукописи и “дыры” в сюжете могут не только обеспечить необходимые в повествовании “петли” и “стоп-кадры”, они могут иметь и мистический смысл. Который необязательно соотносить с исторической истиной. Ибо ее нет. Ни тогда, ни теперь. Есть лишь танец канатоходцев на натянутых струнах Божьего инструмента.

“Если Творец знал, чего Он хочет, и независимо от внешних форм этого знания переслал это в мой мозг, то мое дело…”

Кто это говорит? Дед Горгуд? Или современный романист, воскрешающий деда при помощи монтажа фрагментов его рукописи? Или любой из героев потусторонней уже

старины, пропущенной сначала через святую наивность деда, а потом через скептическое отчаяние современного человека, довольствующегося “полнотой неполного”?

Ну, а раз все это так, то оба они — и средневековый книжник, и современный романист — могут с полным правом сказать: “…Мое дело маленькое”, — и отдаться пению.

“Горгуд, где твой гопуз?” — и руки тянутся к перу, перо к бумаге, минута — и стихи свободно потекут…

“А что такое гопуз?” — успеваете вы спросить.

Автор охотно задерживается для объяснения в сноске:

“Гопуз (тюркск.) — двухструнный смычковый инструмент, высоко натянутые струны которого при нажатии на них не достают грифа и издают звук свистящего оттенка”.

Хорошо сказано. Там, где не удается зафиксировать вольные струны на ладах внешней достоверности, возникает в мелодии оттенок свиста, в который с тревогой вслушивается закрученный в путанице шифров и кодов человек

XXI века.

А может, это свисток локомотива, готового рвануться в светлое будущее?

**http://magazines.russ.ru/druzhba/2006/3**